This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

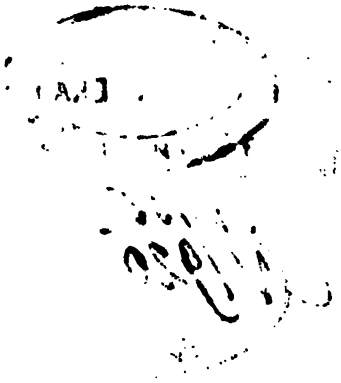
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 3 770 996

ВИССАРІОНЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ

БѢЛИНСКІЙ

БИБЛІОТЕКА
ПРОГИМНАЗІИ
№155
№1920



БѢЛИНСКІЙ

ЕГО

ЖИЗНЬ И ПЕРЕПИСКА

СОЧИНЕНІЕ

А. Н. ПЫПИНА.

ТОМЪ ВТОРОЙ

Изданіе «Вѣстника Европы».

№156
№1920.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. О., 2. л., 7.
1876

(240)

PG-2947
B5P9
v.2

ГЛАВА VI.

Первые годы въ Петербургѣ. — Впечатлѣнія новой жизни. — Статьи о „Бородинской Годовщинѣ“ и „Менцелѣ“. — Новый кругъ. — Встрѣча съ московскими противниками. — Сомнѣнія и внутренняя борьба. — Кольцовъ. — Окончательный поворотъ въ мнѣніяхъ Бѣлинскаго.

1839—1841.

„Въ мысли о Петербургѣ для меня есть что-то горькое, сжимающее грудь тоскою, но вмѣстѣ съ тѣмъ и что-то, дающее силу, возбуждающее дѣятельность и гордость духа“, — писалъ Бѣлинскій еще въ ноябрѣ 1837 одному изъ друзей, когда занятъ былъ первыми планами переселенія въ Петербургъ. Тѣ же ощущенія владѣли имъ теперь, когда эти планы наконецъ исполнялись. Въ самомъ дѣлѣ, предчувствіе было вѣрно: переѣздъ въ Петербургъ былъ настоящимъ переломомъ въ жизни Бѣлинскаго. Онъ чувствовалъ, что долженъ вступить въ какую-то новую сферу, которая должна разрушить многое изъ того, чѣмъ онъ жилъ, что́ стало привычкой его существованія — его дружескій кругъ, его идеальныя мечтанія и самый взглядъ на вещи, выработываемый съ такими усиліями ума и души; это „сжимало его грудь тоскою“. Но въ то же время упорное предчувствіе говорило ему (и онъ это не разъ высказывалъ), что только Петербургъ откроетъ его настоящую дорогу, что тамъ разовьется дѣятельность, составлявшая глубочайшую потребность его природы; что, испытавши тяжелый нравственный пере-

ломъ, онъ найдетъ себѣ внутреннее удовлетвореніе, и его трудъ исполнитъ его гордымъ сознаніемъ.

Петербургъ прежде всего отрывалъ Бѣлинскаго отъ тѣснаго кружка, въ которомъ до тѣхъ поръ сосредоточивалась его жизнь, и внѣшняя и внутренняя, и который такъ способствовалъ развитію и укрѣпленію его крайне-идеалистическаго настроенія. Эта жизнь въ кружкѣ уже исчерпывала себя къ концу пребыванія Бѣлинскаго въ Москвѣ; личные раздоры были признакомъ, что въ кружкѣ является что-то ненормальное, натянутое; нужно было освѣженіе отъ душнаго воздуха идеалистической экзальтаціи, выходъ въ простую дѣйствительную жизнь. Переселеніе въ Петербургъ было кризисомъ. Онъ былъ мучителенъ для Бѣлинскаго, потому что надо было отказаться отъ давней привычки, становившейся второю природою, отказаться отъ постоянныхъ личныхъ связей, гдѣ, кромѣ пищи идеализму, Бѣлинскій находилъ себѣ и искреннее сочувствіе, въ которомъ такъ нуждался. Въ Петербургѣ его окружили новые люди; онъ встрѣчалъ и отъ нихъ много искренняго расположенія, но для дружбы съ ними не было у него тѣхъ „историческихъ основаній", которыя онъ считалъ необходимыми и которыя дѣйствительно для нея необходимы. Нужно было время, чтобы онъ освоился съ новой обстановкой.

Съ другой стороны, Петербургъ произвелъ на него свое впечатлѣніе. Вообще, онъ поразилъ Бѣлинскаго какъ новое явленіе русской жизни, невольно приковывавшее къ себѣ вниманіе [1]). Та „дѣйствительность", которой съ такой ревностью доискивался Бѣлинскій въ своихъ кабинетныхъ теоріяхъ, представала передъ нимъ во всей своей реальности и — была рѣшительно непохожа на теорію. Эта дѣйствительность сама бросалась въ глаза; отъ нея нельзя было укрыться, какъ въ Москвѣ, въ своемъ кружкѣ, гдѣ друзья жили какъ въ укромномъ захолустьѣ, не видя и не слыша той машины, которая управляла ихъ теоретической дѣйствительностью. Здѣсь машина была

---

[1]) Ср. первыя статьи, писанныя Бѣлинскимъ въ Петербургѣ (театральные отчеты; Соч. III, 168 и слѣд.), статью „Петербургъ и Москва", 1845 г. (Соч. т. XII) и др.

на лицо, и Бѣлинскій, какъ ни избѣгалъ встрѣчъ съ чужимъ ему міромъ, не могъ ея не видѣть и не чувствовать на себѣ ея толчковъ... Здѣсь въ первый разъ „общество“ является ему не какъ отвлеченное представленіе, а какъ живое собраніе извѣстныхъ сословій, разрядовъ людей, типовъ, характеровъ; онъ долженъ былъ увидѣть и настоящія свойства и вліяніе этого „общества“, тяготѣющее надъ нимъ самимъ и его дѣятельностью. Ему надо было только отложить на минуту въ сторону теоретическія отвлеченности, чтобы жизнь явилась передъ нимъ въ совершенно иномъ свѣтѣ... Передъ нимъ настоятельно тѣснятся вопросы, какихъ онъ не задавалъ себѣ прежде, и для его правдиваго чувства не могли не представляться рѣшенія, которыя никакъ не укладывались въ рамки прежняго идеализма.

Всѣ эти новыя впечатлѣнія и испытанія подѣйствовали на Бѣлинскаго тяжелымъ, подавляющимъ образомъ, и его нравственное состояніе было тѣмъ труднѣе, что онъ чувствовалъ себя совершенно одинокимъ. Правда, въ первое же время, и послѣ, онъ встрѣтилъ въ Петербургѣ и нѣкоторыхъ московскихъ друзей; нашелъ преданныхъ друзей въ Панаевѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ лицахъ этого кружка; былъ совершенно доволенъ редакціей „Отеч. Записокъ“, о которой отзывался съ великими похвалами; онъ съ перваго раза сталъ много работать,—но прежняго кружка не было, онъ оставался одинокимъ, когда его мучила эта внутренняя борьба, эта „раздѣлка съ прошлымъ“... Потребность высказаться, подѣлиться своимъ страданіемъ и возникавшими новыми идеями обращаетъ его къ старой дружбѣ: съ пріѣзда въ Петербургъ Бѣлинскій начинаетъ дѣятельную переписку съ Боткинымъ, которая составляетъ одинъ изъ любопытнѣйшихъ и значительнѣйшихъ фактовъ нашей новѣйшей литературной исторіи. Разлука вновь завязала разстроенную дружбу; друзья, оба въ одно время, посылаютъ одинъ другому первыя посланія, которыя опять скрѣпили ихъ отношенія. Боткинъ былъ въ эти годы ближайшимъ изъ его друзей московскаго круга; теперь онъ былъ единственнымъ человѣкомъ, которому онъ могъ вполнѣ высказывать волновавшія его чувства, тревоги и сомнѣнія: петербургскіе друзья, при всей ихъ

привязанности къ нему, были еще ему чужды, — Бѣлинскій даже въ самыхъ серьёзныхъ между ними видѣлъ много „петербуржества“. Боткинъ одинъ имѣлъ въ послѣдніе годы его полное сочувствіе и довѣріе; ему извѣстно было все прошлое, ему одному знакома была вполнѣ та „рефлексія“, черезъ которую проходила у Бѣлинскаго всякая мысль, всякое ощущеніе, и которая теперь овладѣвала Бѣлинскимъ съ особенной силой. Нѣсколько позднѣе, въ іюнѣ 1840, Бѣлинскій говоритъ Боткину:... „Есть у меня на душѣ многое, чего я никому не скажу и никому не имѣю охоты сказать, кромѣ тебя. Не говоря уже о моихъ внутреннихъ скорбяхъ и терзаніяхъ, которыя, кромѣ тебя, никому не понятны, у меня и объ искусствѣ какъ-то мало охоты говорить съ кѣмъ бы то ни было, кромѣ тебя“... И въ началѣ своей петербургской жизни, въ первомъ приступѣ внутренней борьбы Бѣлинскій въ особенности почувствовалъ эту тѣсную близость съ старымъ другомъ. Это первое время отличается и наибольшей плодовитостью переписки: за первымъ письмомъ слѣдуетъ рядъ длинныхъ посланій, гдѣ Бѣлинскій дѣлится съ Боткинымъ всѣми разнообразными впечатлѣніями своей новой жизни, повѣряетъ ему свои самыя задушевныя мысли, всю борьбу прошлаго съ новымъ, встрѣтившимъ его теченіемъ идей. Въ письмахъ Бѣлинскаго остался цѣлый дневникъ его внутренней жизни, исполненный историческаго и психологическаго интереса.

Основная черта этой внутренней жизни заключается именно въ томъ, что для Бѣлинскаго все больше и больше разъясняется фантастическое преувеличеніе его прежней точки зрѣнія и раскрывается иной взглядъ на вещи, который наконецъ и становится его господствующимъ воззрѣніемъ. Этотъ переворотъ обнимаетъ всѣ его взгляды, философскіе, эстетическіе, общественные. Первыя работы его въ Петербургѣ (статьи по поводу „Бородинской Годовщины“, начатыя въ Москвѣ; „Менцель“, задуманный также еще въ Москвѣ; статья о „Горѣ отъ ума“) писаны еще согласно его московскимъ понятіямъ, и эти понятія высказаны даже съ рѣзкостью, возбужденной услышанными въ Москвѣ противорѣчіями; но мало по-малу Бѣлинскій противъ воли убѣждается, что гегеліянская философія не есть

столь абсолютная истина, какъ онъ думалъ; что прежняя исключительно эстетическая точка зрѣнія не даетъ полной оцѣнки искусства и способна приводить къ крайнему заблужденію, и онъ мучится воспоминаніемъ о своихъ заблужденіяхъ, какъ угрызеніемъ совѣсти. Весь этотъ переломъ произошелъ въ теченіи перваго же года его пребыванія въ Петербургѣ, и произошелъ въ немъ самостоятельнымъ развитіемъ: постороннія вліянія, которыя дѣйствовали до извѣстной степени, были только поводомъ, а главной причиной перелома было его собственное развитіе, встрѣча съ непосредственной дѣйствительностью, которой до того времени онъ не видѣлъ за философскими фантасмагоріями московскаго кружка. На него подѣйствовали не столько теоретическія возраженія, сколько сама жизнь, и, разъ ее увидѣвъ, разъ надъ нею задумавшись, онъ самъ передѣлалъ всю систему своихъ понятій... Въ одно прекрасное утро его новые петербургскіе друзья, и сама редакція „Отеч. Записокъ", повторяя вещи, слышанныя ими отъ самого Бѣлинскаго, увидѣли, къ своему изумленію, что Бѣлинскій говоритъ совсѣмъ иное; они не замѣтили совершавшейся перемѣны...

Въ письмѣ къ одному пріятелю, Бѣлинскій такъ разсказываетъ о началѣ своей переписки съ Боткинымъ изъ Петербурга [1]). Бѣлинскій разстался съ Боткинымъ холодно, уѣзжая изъ Москвы: прежняя ссора еще тяготѣла надъ нимъ...

«Я уѣхалъ въ Питеръ,—разсказываетъ Бѣлинскій.—Внутреннія страданія мои обратились въ какое-то сухое ожесточеніе: для меня никто не существовалъ, ибо я и самъ для себя былъ мертвъ. Наконецъ, Б. (Боткинъ) снова воскресъ для меня. Полтора мѣсяца писалъ я къ нему, полтора мѣсяца душа моя рвалась къ нему и всякая сколько-нибудь теплая минута неразрывно связывалась съ тоскливою думою о немъ. Я ощущалъ его въ себѣ: мнѣ казалось, что каждая капля крови моей полна имъ. И что-жъ? посылаю къ нему письмо; а дня черезъ два получаю отъ него: мы сошлись въ потребности говорить другъ съ другомъ, сошлись, не сговариваясь. Въ каждой строкѣ его, въ каждомъ словѣ я видѣлъ, чувствовалъ, что такое для меня этотъ человѣкъ и что я для него. Получаю отъ него отвѣтъ на письмо мое—начинаю читать—нѣтъ, у меня

---

[1]) Отъ этого письма мы знаемъ только отрывокъ, безъ означенія времени; но, кажется, отъ начала 1840 г.

нѣтъ словъ, чтобы выразить это впечатлѣніе. Я былъ и взволнованъ, и восторженъ, и умиленъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ—пораженъ и изумленъ: я никогда не могъ предполагать въ человѣкѣ столько любви и такой любви».

Обращаемся къ самой перепискѣ Бѣлинскаго съ Боткинымъ. Эта переписка сохранилась, къ сожалѣнію, не вполнѣ; но сохранилась бо́льшая доля (которую мы, кажется, имѣли въ рукахъ въ полномъ ея составѣ), и это собраніе, все-таки очень обширное, составляетъ важнѣйшій матеріалъ для біографіи Бѣлинскаго въ первые годы его петербургской жизни. До сихъ поръ онъ оставался въ литературѣ неизвѣстенъ, и мы постараемся познакомить читателя съ этой любопытной перепиской рядомъ цитатъ, которыя лучше всякаго изложенія представятъ тогдашнее настроеніе Бѣлинскаго и всѣ волненія его внутренней жизни его собственными словами въ задушевной дружеской бесѣдѣ [1]). Первое письмо изъ Петербурга, намъ извѣстное, помѣчено 22-мъ ноября 1839 г. Не знаемъ, было ли это именно то письмо, о которомъ упоминаетъ Бѣлинскій въ приведенномъ отрывкѣ; но вѣроятно Бѣлинскій разумѣлъ другое нѣсколько позднѣйшее письмо, очень длинное, писанное въ нѣсколько пріемовъ, отъ 16 декабря 1839 до начала февраля слѣдующаго года, и которое, по своему задушевному тону, по глубокой потребности сочувствія, дѣйствительно могло бы считаться полнымъ возстановленіемъ ихъ дружбы.

«Виноватъ, другъ Василій, — пишетъ Бѣлинскій, отъ 22 ноября, — ты писалъ ко мнѣ, спрашивалъ, безпокоился—одно мое слово—и ты былъ бы спокоенъ... Что́ дѣлать! Я нахожусь въ какой-то апатіи, въ которой, впрочемъ, есть все, кромѣ участія ко всему тому, что́ не я. Я и чувствую, и мыслю, порою даже и страдаю; но ни до тебя и ни до кого изъ васъ мнѣ дѣла нѣтъ, какъ будто вы всѣ не существуете и никогда не существовали. Или, видно, настало время разсчета съ самимъ собою, или чортъ знаетъ что́—но вотъ вамъ фактъ: понимайте и толкуйте его какъ хотите. Богъ да благословитъ васъ, а я не виноватъ.

«Питеръ—городъ знатный, Нева-рѣка пребольшущая, а петербургскіе литераторы—прекраснѣйшіе люди послѣ чиновниковъ и господъ-офице-

[1]) Переписка Бѣлинскаго съ другими лицами за это время извѣстна намъ только частію, и мы воспользуемся изъ нея нѣсколькими подробностями; относительно многихъ писемъ, недостающихъ въ нашемъ собраніи, мы не знаемъ даже, сохранились ли они вообще. Но письма къ Боткину (до половины 1843 года), во всякомъ случаѣ, занимаютъ въ этомъ матеріалѣ главное мѣсто.

ровъ. Мнѣ очень, очень весело: о чемъ ни заговоришь—столько сочувствія. Однимъ словомъ: Петербургъ—молодой, молодой человѣкъ, но говоритъ совсѣмъ такъ, какъ старикъ»... [1]).

Въ Петербургѣ онъ встрѣтился съ М. Б., съ которымъ у него уже и до этого времени не было прежнихъ дружныхъ отношеній. И теперь Бѣлинскій то мирился, то снова враждовалъ съ нимъ. Къ прежнимъ причинамъ раздора присоединилась еще новая—вмѣшательство М. Б. въ извѣстныя отношенія, гдѣ былъ заинтересованнымъ лицомъ Боткинъ. Впослѣдствіи (въ 1840) это вмѣшательство окончательно перессорило Бѣлинскаго съ М. Б. Но теперь, въ концѣ 1839, эти обстоятельства еще не выяснились, Бѣлинскій вновь принималъ участіе въ своемъ бывшемъ другѣ, и думалъ объяснять его характеръ и поступки неустановившимся развитіемъ, трудными для него „процессами духа". Нѣчто подобное Бѣлинскій находилъ и въ своемъ тогдашнемъ состояніи: оно уже теперь представляется ему такимъ труднымъ процессомъ, — бываютъ минуты, когда человѣку бываетъ не до другихъ, а только до себя.

«Я теперь собственнымъ опытомъ узналъ возможность такого состоянія,—говоритъ Бѣлинскій, обращаясь къ разсказу о себѣ. — Мнѣ теперь ни до кого нѣтъ дѣла, я никого не люблю, ни въ комъ не принимаю участія,—потому что для меня настало такое время, когда я увидѣлъ ясно, что или мнѣ надо стать тѣмъ, чѣмъ я долженъ быть, или отказаться отъ претензіи на всякую жизнь, на всякое счастіе. Для меня одинъ выходъ—ты знаешь какой; для меня нѣтъ выхода въ Jenseits, въ мистицизмѣ и во всемъ томъ, что составляетъ выходъ для полу-богатыхъ натуръ и полу-павшихъ душъ. Я теперь еще больше понимаю, отчего на святой Руси такъ много пьяницъ, и почему у насъ *спиваются съ кругу* все умные, по общественному мнѣнію, люди; но я не могу и спиться.. Мнѣ остается одно: или сдѣлаться дѣйствительнымъ, или, до тѣхъ поръ пока жизнь не погаснетъ въ тѣлѣ, пѣть вотъ эту пѣсенку—

Я увялъ и увялъ
Навсегда, навсегда,
И блаженства не зналъ
Никогда, никогда!
Всѣмъ постылый, чужой,
Никого не любя,

---

[1]) Фразъ Бобчинскаго о Хлестаковѣ.

Въ мірѣ странствую я
Какъ вампиръ гробовой» и проч. [1]).

Бѣлинскій замѣтилъ, нѣсколько неожиданно для себя, что, несмотря на вражду, которая ихъ раздѣляла еще съ Москвы, философскій другъ очень цѣнилъ Бѣлинскаго и пронагандировалъ его имя вездѣ, гдѣ могъ: „гдѣ бы онъ ни явился (замѣчаетъ Бѣлинскій въ письмѣ къ Боткину), съ кѣмъ бы ни познакомился, тамъ и тотъ уже знаетъ Бѣлинскаго". Бесѣды съ М. Б., когда не касались личныхъ вопросовъ, продолжали имѣть для Бѣлинскаго прежній интересъ. „Я немного побылъ съ нимъ въ Питерѣ, — разсказываетъ Бѣлинскій, — но много узналъ отъ него новаго, много уяснились мнѣ и собственныя мои идеи. Это одинъ человѣкъ, съ которымъ побыть вмѣстѣ значитъ для меня сдѣлать большой шагъ впередъ въ мысли—дьявольская способность передавать! Да, я вновь познакомился съ М...."

На первое время, вопросы, тревожившіе Бѣлинскаго, сколько видно, были тѣ же старые вопросы „абсолютной" жизни, теоретической „дѣйствительности". Онъ начиналъ видѣть, что извѣстная формула о „разумной дѣйствительности" невозможна въ томъ смыслѣ, какъ онъ до сихъ поръ ее разумѣлъ, но все еще старался оградить ее въ теоріи, признавая практическія исключенія. Первыя впечатлѣнія „общества" въ Петербургѣ были отталкивающія, но онъ не опредѣляетъ ближе своихъ впечатлѣній: его раздраженіе и иронія высказаны еще въ смыслѣ прежнихъ понятій — онъ видитъ въ обществѣ только profanum vulgus, лишенное „абсолютныхъ" интересовъ.

Въ письмѣ слѣдуютъ опять первыя впечатлѣнія петербургской жизни, въ которыхъ проглядываетъ иногда сожалѣніе о покинутомъ московскомъ кружкѣ, и среди желчныхъ замѣчаній сказывается оскорбленный идеализмъ московскихъ временъ. Въ первыхъ письмахъ еще только легкими чертами закрадывается сомнѣніе въ вѣрности старыхъ теорій...

«Несмотря на мое рѣшеніе избѣгать всякихъ знакомствъ, я завелъ ихъ бездну. Разумѣется, я прежде всего познакомился съ К-скимъ.

---

[1]) Бѣлинскій не разъ примѣнялъ къ себѣ эти стихи Полежаева, и въ прежнее время и послѣ.

Чрезвычайно добрый, теплый и умный человѣкъ! Въ немъ есть даже и чувство изящнаго, но оно не развито... Плетневъ добрый и простой человѣкъ, но онъ теперь на покоѣ у жизни. Князь Одоевскій принялъ и обласкалъ меня, какъ нельзя лучше. Онъ очень добрый и простой человѣкъ, но повытерся свѣтомъ и жизнью, и потому безцвѣтенъ, какъ изношенный платокъ. Теперь его больше всего интересуетъ мистицизмъ и магнетизмъ. Очень также хорошо отзывался онъ и о моемъ «Пятидесятилѣтнемъ Дядюшкѣ» [1]). У Панаева есть закадычный другъ Я-въ: — это, братъ, московскій человѣкъ, и я выключаю его изъ числа знакомыхъ... Да, и въ Питерѣ есть люди, но это все москвичи, хотя бы они и въ глаза не видали Бѣлокаменной. Собственно Питеру принадлежитъ все половинчатое, полуцвѣтное, сѣренькое, какъ его небо, обтершееся и гладкое, какъ его прекрасные тротуары. Въ Питерѣ только поймешь, что религія [2]) есть основа всего, и что безъ нея человѣкъ—ничто, ибо Питеръ имѣетъ необыкновенное свойство оскорбить въ *человѣкѣ* все святое и заставить въ немъ выдти наружу все сокровенное. Только въ Питерѣ человѣкъ можетъ узнать себя—человѣкъ онъ, полу-человѣкъ или скотина: если будетъ страдать въ немъ—человѣкъ; если Питеръ полюбится ему—будетъ или богатъ или дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ. Самъ городъ красивъ, но основанъ на *плоскости*, и потому Москва—красавица передъ нимъ. Въ театрѣ я былъ два раза (т.-е. въ Александринскомъ) и въ третій страхъ не хочется идти... Публика—господа офицеры и чиновники—.....позоръ и оскорбленіе человѣчества и общества...»

Бѣлинскій посылаетъ поклоны всѣмъ своимъ московскимъ друзьямъ, проситъ писать, жалѣетъ, что безъ Кудрявцева ему не съ кѣмъ читать ни „Иліады", ни Пушкина... Далѣе:

«Булгаринъ, встрѣтясь съ Панаевымъ на Невскомъ, на другой день послѣ выхода 11 № О. З., сказалъ—почтеннѣйшій, почтеннѣйшій—бульдога-то это вы привезли меня травить?

«Скажи Грановскому, что чѣмъ больше живу и думаю, тѣмъ больше, *кровнѣе* люблю Русь, но начинаю сознавать, что это съ ея субстанціальной стороны, но ея опредѣленіе [3]), ея дѣйствительность настоящая, начинаютъ приводить меня въ отчаяніе—грязно, мерзко, возмутительно-нечеловѣчески,—я понимаю *Фроловыхъ*...

«Твой переводъ «Ряса Монаха» я читалъ и перечитывалъ, упивался самъ и упоевалъ другихъ—теперь онъ въ рукахъ у кн. Одоевскаго. Гоголя видѣлъ два раза, во второй обѣдалъ съ нимъ у Одоевскаго. Хандритъ, да есть отъ чего, и все съ ироническою улыбкою спрашиваетъ

---

[1]) Замѣчаніе, сдѣланное какъ будто иронически.

[2]) Здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, это слово надо понимать не въ теологическомъ, а въ философскомъ значеніи.

[3]) Т.-е. внѣшнія, частныя выраженія ея сущности.

меня, какъ мнѣ понравился Петербургъ. Невскій проспектъ чудо, такъ что перенесъ бы его, да Неву, да нѣсколько человѣкъ—въ Москву.

«Бога ради о моихъ отзывахъ о Питерѣ и его литераторахъ—никому ни гугу, особенно объ Од. Каково я отдѣлалъ Загоскина? Статейки о Зотовѣ, Повѣсѣ, Иліадѣ—тоже мои—очень хорошія статейки»... [1]).

Вскорѣ послѣ того, Бѣлинскій снова пишетъ къ Боткину, отъ 30 ноября. „Мой милый, добрый и бѣдный Василій, — начинаетъ онъ, — письмо твое къ Панаеву поразило меня страннымъ впечатлѣніемъ. Какъ? неужели дѣло приняло такой дурной оборотъ? Я никакъ не ожидалъ этого"... Рѣчь идетъ объ упомянутой сердечной исторіи Боткина. Бѣлинскій упрекаетъ себя, что не писалъ ему раньше, но отвергаетъ, какъ нелѣпость, подозрѣніе его Боткинымъ въ „желаніи мстить за старое",—въ которомъ они оба „равно виноваты", — и опять ссылается на свое тяжелое внутреннее состояніе:

«Чортъ знаетъ, словно какой демонъ овладѣлъ мною: не могъ руки поднять, не могъ приневолить себя написать къ тебѣ хоть двѣ строки, хотя и чувствовалъ, что въ твоемъ положеніи мои двѣ строки для тебя безцѣнны, потому что могли бы избавить тебя отъ мучительныхъ безпокойствъ. Несмотря на всю мою неохоту говорить о себѣ и на твое несостояніе думать обо мнѣ, не могу не повторить, что нахожусь въ странномъ состояніи духа: и чувствую, и мыслю, и страдаю, даже тяжело страдаю, пишу много для журнала, и пишу съ жаромъ, интересомъ, но не могу ни писать къ друзьямъ, ни заниматься ими даже въ мысляхъ и принимать въ нихъ задушевное участіе. Это также относится и къ новымъ моимъ друзьямъ, какъ и къ старымъ. Думай объ этомъ что хочешь. Со стороны внѣшнихъ обстоятельствъ терплю крайнюю нужду—весь обносился, денегъ ни копѣйки даже на извощиковъ; къ довершенію всего, и у Панаева тоже»...

Въ концѣ письма, Бѣлинскій между прочимъ проситъ передать поклонъ Ог-вымъ.

Въ это время, въ послѣднихъ книжкахъ „Отеч. Записокъ" 1839 года и въ первой книгѣ 1840-го, печатались статьи Бѣлинскаго, которыя были крайнимъ выраженіемъ его московской точки зрѣнія, высшимъ пунктомъ примиренія съ „дѣй-

---

[1]) Шуточная фраза, опять по Гоголю. Упоминаемыя статьи находятся въ 11 № „От. Зап." 1839; но не помѣщены въ „Сочиненіяхъ" и (кромѣ романа Зотова „Шапка юродиваго") не упомянуты и въ спискѣ статей (т. III, 2-е изд., стр. 658).

ствительностью". Онъ не только еще признавалъ это „примиреніе" въ теоріи, но высказывалъ его съ необычной настоятельностью, которая должна была дать отпоръ противникамъ, а вмѣстѣ—заглушить свое собственное колебаніе.

Какая противоположность между увѣреннымъ тономъ этихъ статей, гдѣ шла послѣдняя открытая борьба за старое убѣжденіе, и письмами къ Боткину, гдѣ невольно высказывалось внутреннее страданіе отъ возникшихъ сомнѣній.

Слѣдуетъ длинное замѣчательное письмо, гдѣ раскрывается этотъ рядъ нравственныхъ страданій, которыя переживалъ Бѣлинскій въ то самое время. Внутренній разладъ доходитъ до послѣдней степени: убѣждая себя теоретически въ „разумной дѣйствительности", Бѣлинскій не находитъ въ себѣ и тѣни спокойнаго, удовлетвореннаго, нормальнаго отношенія къ жизни; онъ винитъ за это себя, свою испорченную „рефлексію", но теряетъ вѣру и въ философскія общности, противъ которыхъ начинаетъ возставать простое сознаніе и жизненное право человѣческой личности... То, въ чемъ недавно онъ былъ убѣжденъ, начинаетъ казаться ему горькимъ и безплоднымъ заблужденіемъ Длинное письмо, о которомъ мы говоримъ, писано въ нѣсколько пріемовъ, съ 16 декабря до первыхъ чиселъ февраля 1840 года [1]). „Спасибо, другъ Василій, за письмо твое отъ 30-го ноября: оно доставило мнѣ много сладостныхъ ощущеній, и возбудило во мнѣ желаніе писать къ тебѣ, но по множеству работы не могъ я до сихъ поръ собраться"... Рѣчь начинается о московскихъ новостяхъ кружка, сообщенныхъ Боткинымъ,— о романическихъ похожденіяхъ одного изъ друзей, которыя Бѣлинскій осуждаетъ, изъ-за ихъ предмета, но и завидуетъ имъ, какъ способности увлечься хоть чѣмъ-нибудь *безъ рефлексіи*. Слѣдующія далѣе разсужденія посвящены преслѣдованію этой давнишней черты кружка, и самого Бѣлинскаго въ особенности.

---

[1]) Въ этомъ промежуткѣ писалъ онъ къ своему родственнику Д. П. Иванову; и въ этомъ письмѣ (занятомъ ихъ домашними дѣлами) Бѣлинскій также жалуется на „особенное расположеніе духа", которое дѣлало его „равнодушнымъ ко всему и ко всѣмъ, даже къ себѣ"... „Питеръ навелъ на меня апатію, уныніе и чортъ знаетъ что. Счастливъ, кто можетъ жить въ Москвѣ, и особенно можетъ не жить въ Петербургѣ!"

«Отчего же я никогда не могъ предаться весь и вполнѣ никакому чувству... Я знаю, что, пораженный благородствомъ и *нравственностію* моего слога, М. [1]) выронитъ изъ длинныхъ рукъ трубку, разсыплетъ на полъ табакъ и, нелѣпо марая и загребая ими, зареветъ: «это оттого, что у Б. (Бѣлинскаго) глубокая натура, которая можетъ удовлетвориться только истиннымъ чувствомъ и любить только разъ въ жизни»! Если онъ это сдѣлаетъ, Боткинъ, наплюй ему, пожалуйста, въ рожу и скажи, что онъ—дуракъ... Нѣтъ, это вздоръ: въ каждомъ моментѣ человѣка есть *современныя* этому моменту потребности и полное ихъ удовлетвореніе.

Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ!
Блаженъ, кто во-время созрѣлъ!

«Я понимаю необходимость, разумность, а слѣд. и достоинство рефлексіи, какъ момента самаго разума, какъ движителя жизни, не дающаго человѣку убаюкаться на какой-нибудь низенькой ступенькѣ жизни, но дѣло въ томъ, что есть двѣ рефлексіи—нормальная и болѣзненная»...

Одна есть условіе глубокой натуры; другая есть слѣдствіе натянутаго болѣзненнаго развитія, резонерство, сердечная гниль, отравляющая всякое полное наслажденіе жизнью. Эта рефлексія сдѣлала его собственную участь—печальнѣйшею и горестнѣйшею изъ всѣхъ участей... „Я недавно догадался, что есть два рода идеальности,—здоровая и резонерская, и теперь понимаю ожесточеніе противъ идеальности. Чтó дѣлать, кругомъ себя я видѣлъ все резонерскую идеальность и самъ пребывалъ въ ней... Чѣмъ особенно восхищался я въ Станкевичѣ? Тѣмъ, чтó онъ ненавидѣлъ въ себѣ“... Бѣлинскій прерываетъ свое разсужденіе эпизодомъ самыхъ матеріалистическихъ отношеній къ женщинѣ, разсказаннымъ съ намѣренной рѣзкостью выраженій, и продолжаетъ:

«Боткинъ, Боткинъ! не сердись и не презирай, но пойми... (Подъ этимъ) скрывается нѣчто похожее на судорожное сжатіе сердца, на глубоко-болѣзненное стѣсненіе груди, въ которыхъ простая, глубокая потребность любви и сочувствія. Нѣтъ, никогда не страдалъ я такъ глубоко—силъ недостаетъ. Внутри меня что-то глубоко оскорблено. Я уже не мучусь апатіею, но страдаю цѣлые дни какою-то тяжелою болѣзнію. Ну, да что объ этомъ говорить! Ты и безъ словъ поймешь меня»...

Онъ согласится съ тѣмъ, кто говоритъ, что надо стремиться къ „общему“, трудиться и бороться, чтобы считать себя въ

[1]) Въ подлинникѣ имя одного изъ друзей.

правѣ на личное блаженство; но онъ не станетъ слушать того, кто бы сталъ доказывать, что жить должно только въ общемъ, презирая личное и субъективное:

«Всякая односторонность уже не бѣситъ, а глубоко оскорбляетъ меня. Одинъ кричитъ о высокомъ, прекрасномъ и идеальномъ; другой, съ ироническою усмѣшкой человѣка, постигшаго мудрость мудрости, говоритъ о паровыхъ машинахъ и комфортѣ; одинъ уважаетъ общее и презираетъ личное, другой не вѣритъ общему и лакомится только частнымъ; все это ограниченности и односторонности. Міръ древній жилъ въ исторіи и искусствѣ и пускалъ въ трагедію только царей, героевъ и боговъ; а новый міръ начался словами: «пріидите ко мнѣ всѣ страждущіе и обремененные»,—и тотъ, кто сказалъ ихъ, возлежалъ съ мытарями и грѣшниками, Бога назвалъ отцомъ людей, а людей—братьями другъ другу. Отъ того въ новую трагедію вошли и плебеи, и шуты, ибо героемъ ея сталъ человѣкъ, какъ субъективная личность. Смѣшно и досадно; любовь Ромео и Юліи есть общее, а потребность любви или любовь читателя есть частное и призрачное. Жизнь въ книгахъ, а въ жизни—ничто...

«Всѣ эти аллегоріи и «придворные экивоки» клонятся къ тому, что права личнаго человѣка такъ же священны, какъ и мірового гражданина, и что кто на вопль и судорожное сжатіе личности смотритъ свысока, какъ на отпаденіе отъ общаго, тотъ или мальчикъ, или эгоистъ, или дуракъ,—а мнѣ тотъ, и другой, и третій равно несносны. Говорить о себѣ, да о себѣ, или все о моихъ, да своихъ страданіяхъ, забывши, что и другой также думаетъ о себѣ и также богатъ страданіями,—не хорошо и не умно; но тяжело и давить въ себѣ все и не имѣть никого, кто бы дружески откликнулся на наши стоны... Ахъ, мой добрый Василій, такъ тяжело, какъ еще никогда не бывало! Моя одинокость въ мірѣ терзаетъ меня: никогда такъ мучительно не жаждала душа груди, которая отвѣтила бы вздохомъ на ея вздохъ, которая съ любовью приняла бы на себя усталую отъ горя голову... Великое благо въ сей жизни дружба, и особенно великое для меня, потому что оно одно, которое я вполнѣ вкусилъ; но—знаешь ли что́? мужская грудь и холодна, и жестка, а пожатіе грубой мужской руки, хотя бы и дружней, даетъ только жизнь, а не смерть, ту сладкую и блаженную смерть, о которой говоритъ Гёте въ своемъ божественномъ «Прометеѣ». А мнѣ хотѣлось бы хоть на мгновеніе умереть отъ избытка жизни, а послѣ этого, пожалуй, хоть и умереть въ буквальномъ смыслѣ. И что-же? Каждый новый день говоритъ мнѣ: это не для тебя—пиши статьи и толкуй о литературѣ, да еще о русской литературѣ... Это выше силъ—глубоко оскорбленная натура ожесточается—... и хочетъ оргій, оргій...

«Вѣдь нигдѣ на нашъ вопль нѣту отзыва!» [1]).

---

[1]) У Гофмана есть разсказъ объ удивительномъ и полу-фантастическомъ

«Грудь физически здорова—противъ обыкновенія—я даже не кашляю; но она вся истерзана—въ ней нѣтъ мѣста живого. Да, земля вспахана и обработана—каковы-то плоды будутъ?...

«Питеръ принялъ меня хорошо и ласково, но мнѣ отъ этого только грустнѣе... А, впрочемъ, душа моя Тряпичникъ, я жуирую... у князя Одоевскаго по субботамъ встрѣчаюсь съ посланниками...» [1]) и проч.

Эта мучительная жажда личнаго счастія, любви и дружбы охватывала его тѣмъ сильнѣе, что въ немъ именно нарушено было нравственное равновѣсіе. Его старыя идеи были видимо потрясены; онъ еще не хочетъ въ томъ сознаться, но рѣзче, нежели когда-нибудь прежде, нападаетъ на свою недавнюю „болѣзнь", рефлексію и идеальность, возстаетъ противъ „общаго" въ защиту личности, и, стараясь сохранить внѣшнюю связь съ своимъ недавнимъ образомъ мыслей, больше и больше отклоняется отъ него,—иногда уже вырываются отдѣльныя фразы совсѣмъ иного смысла. Пока онъ успѣлъ кончить это письмо къ своему старому другу, онъ уже сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ новомъ направленіи... Въ тяжкую минуту этого внутренняго процесса, онъ съ болью искалъ сочувствія, опоры въ трудной борьбѣ съ самимъ собою...

«*30-го декабря.*—Вотъ другъ Василій, какой промежутокъ въ моемъ письмѣ—почти половина мѣсяца! А въ эту половину много во мнѣ измѣнилось, хотя и все то же осталось, что́ и было,—мучительное и безотрадное страданіе. Не хочу и перечесть написаннаго—стыдно будетъ. Боже мой! скоро ли настанетъ время, когда я перестану стыдиться написан-

---

музыкантѣ Крейслерѣ —гдѣ Гофманъ, самъ замѣчательный музыкантъ и композиторъ, главнымъ образомъ высказалъ свою эстетику музыки (часть этого разсказа была переведена Боткинымъ въ „Наблюдателѣ"). Однажды этотъ капельмейстеръ Крейслеръ, въ кружкѣ своихъ друзей, вздумалъ фантазировать на испорченномъ фортепьяно, гдѣ остался цѣлъ только басъ,—онъ беретъ аккорды, и „подъ трепетъ звуковъ" декламируетъ слова, которыя должны были выразить смыслъ музыки. При одномъ изъ этихъ аккордовъ, Крейслеръ говоритъ о „дикомъ, бѣшеномъ безумствѣ", „судорожномъ упоеньи", „пляскѣ вкругъ зіяющихъ могилъ и разрытыхъ гробовъ":—„Вѣдь нигдѣ на нашъ вопль нѣтъ отзыва!" и проч. („М. Наблюд." 1838, іюль, кн. 2, стр. 186).

Можетъ быть, на музыкальныхъ вечерахъ Боткина были воспроизведены эти фантазіи капельмейстера Крейслера; по крайней мѣрѣ Бѣлинскій не одинъ разъ повторялъ въ письмахъ приведенныя слова.

[1]) Гоголевскія фразы.

наго или сказаннаго мною, перестану переходить отъ одной дѣтскости къ другой... Скоро ли мое слово будетъ мыслію, а не фразою, скоро ли ощущенія, производимыя на меня объективнымъ міромъ, будутъ формироваться во мнѣ мыслями, а не случайными порывами»...

Въ Петербургѣ Бѣлинскій встрѣтился съ кѣмъ-то изъ того московскаго кружка, съ которымъ онъ, еще живя въ Москвѣ, сталъ во враждебное отношеніе, какъ выше разсказано. Но встрѣча была еще очень недружелюбна. Изъ писемъ Боткина онъ узналъ, что въ Москвѣ, съ кружкомъ этихъ теоретическихъ противниковъ сблизился одинъ изъ ихъ молодыхъ друзей. Бѣлинскій недоволенъ этимъ сближеніемъ. „Съ однимъ (изъ этихъ теоретическихъ противниковъ) я видѣлся въ Питерѣ,—пишетъ Бѣлинскій: — умный, добрый, прекрасный человѣкъ; но еслибъ Богъ привелъ болѣе не видѣться, хорошо бы",—и въ оправданіе своей непріязни дѣлаетъ оговорку о терпимости, которую еще недавно считалъ необходимой: „обыкновенная терпимость разумна только въ отношеніи къ низшей дѣйствительности, а не къ высшей призрачности". Повидимому, это была встрѣча съ главнымъ представителемъ московскихъ противниковъ—потому что дальше въ письмѣ упоминается его имя.

«Ты правду говоришь, что кружокъ (московскихъ противниковъ), къ которому... приклеился нашъ юноша,—не твой: и не мой, ей-Богу, не мой, братъ. Знакомые—нештó, разъ-другой въ мѣсяцъ сойтись съ ними (и то въ толпѣ) не мѣшаетъ—люди честные, благородные, но неразумные, и даже не разсудочные. Я уважаю людей съ сильнымъ разсудкомъ—это народъ дѣльный, полезный, безъ претензій, словомъ—дѣйствительный... Будь каждый изъ этихъ людей—математикъ, статистикъ, агрономъ—каждый изъ нихъ былъ бы лучше и меня и тебя. Но они глубоко оскорбляютъ *духъ*, о которомъ хлопочатъ и которому они не родня... Я теперь въ такомъ состояніи, что оскорбленіе духа грубымъ непониманіемъ при поползновеніи резонерствовать о немъ—приводитъ меня въ остервенѣніе. Г-нъ былъ восторженъ и упоенъ Каратыгинымъ въ роли Гамлета: эхъ, заняться бы статистикой-то—славная наука! Знаешь ли чтó: въ комъ сильный разсудокъ, тотъ не можетъ быть призракомъ и попасть въ чуждую себѣ сферу. Право, мы оскорбляемъ разсудокъ, приписывая его резонерамъ»...

Восхищеніе Каратыгинымъ было, какъ видимъ, цѣлымъ преступленіемъ въ глазахъ Бѣлинскаго: это было „оскорбленіе духа". Правда, на первый разъ, Каратыгинъ произвелъ, въ нѣко-

торыхъ роляхъ (Велизарій, Людовикъ XI), впечатлѣніе и на самого Бѣлинскаго, который съ удивленіемъ говоритъ о немъ въ первыхъ статьяхъ о театрѣ, писанныхъ въ Петербургѣ [1]; но и въ этихъ статьяхъ (которыхъ все-таки онъ послѣ не одобрялъ) Каратыгинъ въ „Гамлетѣ", по давнишнему сравненію съ Мочаловымъ, кажется ему невозможнымъ и невыносимымъ: Каратыгина онъ вообще не любилъ и предоставлялъ ему только „внѣшнюю сторону" искусства [2].

Бѣлинскій не хотѣлъ кончать этого письма, начало котораго ему уже не нравилось, и послалъ его съ другимъ, которое началъ съ 3 февраля 1840 и которое также разрослось въ длинное посланіе [3]. Здѣсь онъ опять начинаетъ изображеніемъ своего тяжелаго нравственнаго состоянія:

«Не только давно сбираюсь и сбирался я писать къ тебѣ, мой милый и безцѣнный Боткинъ, но уже давно писалъ и пишу, какъ покажетъ это куча вздору, приложеннаго къ сему посланію, и выставленныя на ней числа. Причина моего молчанія—состояніе моего духа, страждущее, рефлектирующее, резонерствующее. Да, я не знаю свѣтлыхъ минутъ... Въ душѣ моей сухость, досада, злость, жолчь, апатія, бѣшенство и проч. и проч. Вѣра въ жизнь, въ Духа, въ дѣйствительность—отложена на неопредѣленный срокъ—до лучшаго времени, а пока въ ней—безвѣріе и отчаяніе. Не могу завидовать блаженству пошляковъ—ненавижу и презираю его всѣми силами моей дико-страстной натуры, но, право, часто жалѣю, зачѣмъ я не рожденъ однимъ изъ этихъ господъ: по крайней мѣрѣ, зналъ бы хоть какое-нибудь довольство и удовлетвореніе. А теперь не знаю никакого... И между тѣмъ мое мученіе нисколько не однообразно: каждая минута даетъ мнѣ новое, и потому я не могу кончить къ тебѣ ни одного письма: начавъ вчера, нынче вижу, что не то. Петербургъ былъ для меня страшною скалою, о которую больно стукнулось мое прекраснодушіе. Это было необходимо, и лишь бы послѣ стало лучше, я буду благословлять судьбу, загнавшую меня на эти гнусныя финскія болота. Но пока это невыносимо, выше всякой мѣры терпѣнія... Насъ губилъ китаизмъ... Мы весь божій свѣтъ видѣли въ своемъ кружкѣ. Появилось стихотвореніе, повѣсть — восхитили тебя, меня, К-ва и прочихъ чудаковъ, а мы и говоримъ, что публика поняла это сочиненіе. Чтобъ узнать, что такое русская читающая публика, надо

---

[1]) Соч. III, стр. 179, 199 и слѣд.

[2]) Соч. III, 177.

[3]) Мы нашли его по частямъ въ трехъ разныхъ собраніяхъ писемъ Бѣлинскаго.

пожить въ П. Представь себѣ, что двое литераторовъ приняли мою ругательную, наглую статью о романѣ Кам-го за преувеличенную похвалу и наглую лесть Кам-му, и упрекали за то Краевскаго [1]). Вотъ вамъ и публика! Чтó же сказать о моихъ дѣльныхъ статьяхъ? Для кого онѣ пишутся? Что же сказать о моемъ нелѣпѣйшемъ и натянутомъ вступленіи въ разборъ брошюрокъ о бород. битвѣ, которымъ всѣ восхитились [2])? Дорого далъ бы я, чтобы истребить его»...

Отнынѣ Бѣлинскій намѣревается писать не для себя и не для друзей, какъ бывало прежде, а для публики; онъ чувствуетъ, что „совсѣмъ не авторъ для *немногихъ*". Отзывъ о „Бородинской годовщинѣ" (только незадолго передъ тѣмъ напечатанной) показываетъ, какъ сильно сталъ измѣняться его образъ мыслей— сомнѣніе выростало. По всей вѣроятности, не безъ вліянія была здѣсь упомянутая встрѣча, повторенія которой онъ такъ мало желалъ; онъ раздражался противорѣчіемъ, рѣзко нарушавшимъ идеи, въ которыя онъ заставлялъ себя вѣровать, и въ желчныхъ нападеніяхъ на противника хотѣлъ заглушить тяжелое сознаніе, что идеи его колеблются и падаютъ...

Обращаясь къ Боткину, Бѣлинскій вспоминаетъ, что простился съ нимъ „ледовито-холодно"; онъ не думалъ о немъ; ему казалось, что онъ и не помирился съ Боткинымъ; дружба сдѣлалась ему ненавистна. Но 15 декабря онъ обѣдалъ съ своими пріятелями; тогда только-что вышла 12-я книжка „Отеч. Записокъ" со статьей Боткина („Итальянская и германская музыка"). „Послѣ обѣда П. (Панаевъ) прочелъ вслухъ твою статью— и все во мнѣ воскресло, и я вновь принялъ тебя въ себя, и, какъ будто кора спала съ меня, мнѣ стало и легко и больно, какъ выздоравливающему. П. читалъ съ неистовымъ восторгомъ (дня въ два послѣ онъ перечиталъ ее человѣкамъ десяти и знаетъ наизусть)... Въ самомъ дѣлѣ, какая глубокость смысла и какъ поэтически и опредѣленно выразилась она!" Чтеніе статьи воскресило въ немъ всю силу старой дружбы.

---

[1]) Этой рецензіи („Отеч. Зап." 1839, кн. 12, стр. 15—23 „Искатель сильныхъ ощущеній") нѣтъ въ изданіи сочиненій, а также и въ спискѣ статей (т. III).

[2]) Восхитился вѣроятно ближайшій кружокъ редакціи журнала; по послѣдствіи Бѣлинскій говоритъ, что статья произвела и совершенно иное впечатлѣніе—на нее „негодовали", или смѣялись надъ ней, по его словамъ.

Слѣдуетъ рядъ поклоновъ въ Москву [1]), просьбы къ друзьямъ работать въ „Отеч. Запискахъ"; характеристика новыхъ друзей въ Петербургѣ, которыхъ очень полюбилъ...; литературныя новости. „Статья моя о Менцелѣ искажена ценз., особенно мѣсто о различіи нравственности и морали — недостаетъ почти страницы, и смыслъ выпущенъ весь". Безденежье продолжается, но онъ надѣется заплатить свой долгъ: „вѣроятно, я скоро получу отъ Кр. мои 2,000 за прошлый годъ—тогда съ тобою съ первымъ расквитаюсь"... Далѣе:... „Мысли мои объ Unsterblichkeit снова перевернулись: П. (Петербургъ) имѣетъ необыкновенное свойство обращать къ христ—у. Миш... много тутъ участвовалъ. Нѣтъ, объективный міръ — страшенъ, и мы съ тобою скоренько порѣшили важный вопросъ". Объ этомъ Боткинъ долженъ былъ прочесть въ другомъ письмѣ, къ К-ву, которое Бѣлинскій собирался тогда же послать [2]).

Письмо продолжается 9 февраля:

«Вотъ тебѣ, Б., и интервалъ—съ 3 числа скачокъ на 9. Это очень вѣрно характеризуетъ мою жизнь и состояніе моего духа (впрочемъ, теперь во мнѣ духа нѣтъ ни на грошъ). По крайней мѣрѣ, ты и изъ этихъ скачковъ увидишь, что я не писалъ къ тебѣ не по равнодушію къ тебѣ, и бесѣдовалъ съ тобою чаще, нежели ты предполагалъ. Итакъ, о Лермонтовѣ. Каковъ его «Терекъ»? Чортъ знаетъ—страшно сказать, а мнѣ кажется, что въ этомъ юношѣ готовится *третій* русскій поэтъ, и что Пушкинъ умеръ не безъ наслѣдника. Во 2 № О. З. ты прочтешь его колыбельную пѣсню казачки—чудо! А это:

Въ минуту жизни трудную (и пр.; выписано все стихотвореніе).

«Какъ безумный твердилъ я дни и ночи эту чудную молитву,—но теперь я твержу, какъ безумный, другую *молитву*:

---

[1]) Между прочимъ, въ этомъ письмѣ опять упоминается: „Видѣлся я съ Г... хорошій человѣкъ, но въ Питерѣ ему не такъ будетъ скучно, какъ мнѣ (сказано конечно съ ироніей). Кланяйся ему".

[2]) Этого письма и вообще писемъ Бѣлинскаго къ К-ву мы не имѣли въ рукахъ. Далѣе: „Письмо мое покажи Кудрявцеву. Страстно люблю сего поэтическаго юношу, и мою любовь онъ дѣлитъ съ Кольцовымъ, хотя та и другая не похожи другъ на друга. Ей-Богу, мбчи нѣтъ, какъ люблю обоихъ. Къ послѣднему тоже скоро пишу. Богатырь, да и только — каковъ его „Хуторокъ?"—Затѣмъ названъ Лермонтовъ; но конца письма отъ 3 февраля у насъ недостаетъ.

И скучно, и грустно!... И некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды!.. (выписано стихотвореніе).

«Эту *молитву* твержу я теперь потому, что она есть полное выраженіе моего моментальнаго состоянія [1]). Повѣришь ли, другъ Василій,—всѣ желанія уснули, ничто не манитъ, не интересуетъ, даже чувственность молчитъ и ничего не проситъ. А дня черезъ два надо приниматься за статью о дѣтскихъ книжкахъ, гдѣ я буду говорить о любви, о благодати, о блаженствѣ жизни, какъ полнотѣ ея ощущенія, словомъ обо всемъ, чего и тѣни, и призрака нѣтъ теперь въ пустой душѣ моей. Полнота, полнота! чудное, великое слово! Блаженство не въ абсолютѣ, а въ полнотѣ, какъ отсутствіи рефлексіи при живомъ ощущеніи въ себѣ того участка абсолютной жизни, какой данъ тому или другому человѣку. Что моя абсолютность: я отдалъ бы ее, еще съ придачею послѣдняго сюртука, за полноту, съ какою иной офицеръ спѣшитъ на балъ, гдѣ много барышень и скачетъ штандартъ»...

Ему казалось, что онъ нашелъ примѣръ „полноты" въ одномъ изъ новыхъ петербургскихъ знакомцевъ, еще молодомъ человѣкѣ, упомянутомъ выше Н. Б., въ которомъ его восхищало соединеніе молодой благородной идеальности съ полной и спокойной естественностью. Этотъ новый знакомецъ сталъ для Бѣлинскаго идеаломъ здороваго, свѣжаго развитія. Свою собственную жизнь Бѣлинскій считалъ испорченной и погибшей.

«Я давно уже пересталъ ожидать перемѣны въ судьбѣ отъ чуда, а въ дѣйствительности вижу—гибель свою...

«Жизнь—ловушка, а мы — мыши, инымъ удается сорвать приманку и выдти изъ западни, но большая часть гибнетъ въ ней, а приманку развѣ понюхаетъ... Будемъ же пить и веселиться, если можемъ, нынѣшній день нашъ—вѣдь нигдѣ на нашъ вопль нѣту отзыва! Живетъ одно общее, а мы—китайскія тѣни, волны океана—океанъ одинъ, а волнъ много было, много есть и много будетъ, и кому дѣло до той или другой? Да, жизнь—игра въ банкъ, сорвалъ—твое, сорвали—бросайся въ рѣку, если боишься быть нищимъ»...

Несмотря однако на то, что ему становились понятны нѣкоторыя прежнія заблужденія, Бѣлинскій еще не можетъ объяснить себѣ своего состоянія, и еще разъ повторяетъ старое самообвиненіе въ удаленіи отъ дѣйствительности, отъ общества.

«Горе человѣку, если онъ ограничивается быть только человѣкомъ, не присовокупляя къ этому абстрактному и громкому званію званія ни

---

[1]) Т.-е. его состоянія въ томъ „моментѣ"—по ихъ терминологіи.

купца, ни помѣщика, ни офицера, ни чиновника, ни артиста, ни учителя. Общество покараетъ его. Эту кару я уже чувствую на себѣ...

Это были минуты крайняго упадка духа и отчаянія въ себѣ. Онъ хочетъ безусловно подчиниться той „дѣйствительности",— которая уже начинаетъ возмущать его; онъ винитъ себя, что не можетъ угодить ей,—полагая, что именно въ полномъ согласіи съ ней найдетъ свое спокойствіе. Онъ забываетъ и то, что званіе, которое онъ носилъ, званіе писателя, также должно бы было составлять нѣчто въ „обществѣ", стоющемъ этого имени.

Онъ пишетъ Боткину о литературныхъ дѣлахъ, проситъ его позаботиться, чтобы доставлена была статья ихъ философскаго друга, которая ожидалась для „Отеч. Записокъ" [1]); поручаетъ добыть отъ Кронеберга „Ричарда II" Шекспира; жалуется на цензуру: „Питерская цензура очень добра, но и глупа — изъ рукъ вонъ. Въ статьѣ о Менцелѣ мѣсто о нравственности и морали лишено смысла. Стихи Лермонтова и Красова не пропущены въ „О. З.", а въ „Л. Г." [2]), у которой другіе цензора, пропущены. Во 2-мъ № „О. З." стихи Ключникова „Знаете-ль ее?" напечатаны подъ названіемъ „Поэзія", ибо безъ этого условія цензура ихъ не пропускала, а какъ они были уже набраны, то и нельзя было ихъ выкинуть"...

Онъ видѣлъ „Роберта", и музыка на этотъ разъ произвела на него впечатлѣніе. „Вообще, я немножко подвинулся въ музыкѣ: въ „Робертѣ" не дремалъ, но отъ многаго былъ въ удовольствіи, самъ не зная почему... Бываютъ минуты, когда душа моя жаждетъ звуковъ. Дорого бы я далъ, чтобы послушать въ твоей комнатѣ Leiermann; мнѣ кажется, я зарыдалъ бы, еслибы, проходя по улицѣ, услышалъ подъ окномъ его чудные, граціозные звуки, которые глубоко запали въ мою душу. Когда Одоевскій при мнѣ заигралъ Лангерову: „Съ Богомъ, въ дальнюю дорогу"—во мнѣ душа заболѣла тоскою и радостью, услышавъ знакомые и милые звуки. Пожми руку доброму Лангеру"... Это

---

[1]) Она появилась въ 4-й кн. „От. Записокъ" 1840: „О философіи" (статья первая,—отдѣлъ Наукъ, стр. 55—78; второй статьи не было).

[2]) „Литературная Газета", которая съ 1840 г. смѣнила „Литературныя Прибавленія" и издавалась подъ редакціей Краевскаго (до конца сентября), а потомъ Ѳ. Кони.

былъ извѣстный въ то время музыкантъ, участникъ вечеровъ и квартетовъ Боткина, и черезъ него другъ кружка... „Leiermann", одна изъ немногихъ любимыхъ пьесъ Бѣлинскаго, есть пѣсня изъ „Winterreise" Шуберта, дѣйствительно граціозная, немного меланхолическая, и по музыкѣ крайне несложная и доступная...

Онъ видѣлъ Тальони: она лучше Санковской, но „больше видѣть нѣтъ ни охоты, ни силъ".

Наконецъ, воспоминаніе о Москвѣ:

«Ахъ Б. Б.! съ какою бы радостію побылъ я хоть минутку въ милой Москвѣ, послушалъ бы царственнаго гула ея колоколовъ, взглянулъ бы на святой Кремль и на бодрыхъ московскихъ людей съ бородками. Въ Питерѣ и простой народъ—не лучше чухонъ, офиц. и чиновн. Извощики идіоты... А еслибъ часокъ посидѣть въ твоей комнатѣ — святители! Но увы! мнѣ долго не видать Москвы, ради долговъ»...

Черезъ нѣсколько дней, 18 февраля, Бѣлинскій пишетъ новое длинное письмо. Боткинъ въ своемъ письмѣ 9—12 февраля затронулъ его больную и чувствительную струну,—потребность въ сочувствіи, — разсказомъ о дѣвушкѣ изъ нѣсколько имъ извѣстнаго семейства, но, впрочемъ, никогда Бѣлинскимъ не виданной, которая была его великой и горячей почитательницей. Это даетъ Бѣлинскому поводъ еще разъ высказать свои мечты о личномъ счастіи...

Онъ переходитъ потомъ, къ литературѣ, Боткинъ писалъ ему по поводу статьи объ очеркахъ Бородинскаго сраженія въ 12-й книжкѣ „От. Записокъ" 1839 г. [1]):... „Ужасно скучно—есть нѣсколько страницъ прекрасныхъ,—но въ цѣломъ чрезвычайно апатическое произведеніе"...

«Тебѣ не понравилась моя статья въ XII № «От. Зап.». Я это зналъ. Въ самомъ дѣлѣ, не вытанцовалась [2]). А странное дѣло, писалъ съ такимъ увлеченіемъ, съ такою полнотою, что и сказать нельзя—напишу страницу, да и прочту Панаеву и Я-ву. Въ разбить-то они больно восхищались, а какъ потомъ прочли въ цѣломъ, такъ не понравилась. Я самъ думалъ о ней, какъ о лучшей моей статьѣ, а какъ напечаталась, такъ не могъ и перечесть. Какъ нарочно это случилось тотчасъ послѣ

---

[1]) Соч. III, стр. 209—252.

[2]) Гоголевское слово.

прочтенія твоей статьи. Признаюсь въ грѣхѣ—я было крѣпко пріуныхъ. Хотѣлось мнѣ въ ней, главное, намекнуть пояснѣе на субстанціальное значеніе идеи общества, но какъ я писалъ къ сроку, и къ спѣху, сочиняя и пиша въ одно и то же время, и какъ хотѣлъ непремѣнно сказать и о томъ, и о другомъ,—то и не вытанцовалось. Теперь я ту же бы пѣсенку, да не такъ бы спѣлъ. Что она тебѣ не понравилась—это такъ и должно быть: ты понимаешь дѣло и смотришь на него не снизу вверхъ; но досадно, что́ и людъ-то божій ей недоволенъ»...

Должно, впрочемъ, замѣтить, что статья не понравилась Боткину не столько своимъ содержаніемъ, сколько изложеніемъ,—потому что другую статью той же тенденціи онъ очень хвалитъ. Въ томъ же письмѣ отъ 9—12 февраля Боткинъ говоритъ: „сейчасъ дочиталъ твою статью о Менцелѣ—одна изъ самыхъ живыхъ, одушевленныхъ статей, какія я когда-либо читалъ. Спасибо тебѣ, ты мнѣ ею доставилъ много пріятныхъ минутъ"...

«Очень радъ, что тебѣ понравилась статья о Менцелѣ—отвѣчаетъ Бѣлинскій.—Въ самомъ дѣлѣ, въ ней есть цѣлость, и еслибы о... Фрейгангъ не надѣлалъ въ ней выпусковъ и не лишилъ ее смысла на стр. 53 и 54 (замѣть это),—она была-бы очень и очень не дурна [1]). Во многихъ мѣстахъ Фрейгангъ зачеркнулъ *«всеобъемлющій* Гёте», говоря, что этотъ эпитетъ—божій, а не человѣческій. Вотъ тутъ и пиши. Съ твоимъ мнѣніемъ о статьѣ о «Горѣ отъ ума» я совершенно согласенъ: много хорошаго въ ней, но въ цѣломъ—уродъ... Что-жъ ты не сказалъ мнѣ ни слова о моей статейкѣ объ «Очеркахъ» Полевого? Ею я больше всѣхъ доволенъ [2])... Повѣришь ли, Боткинъ, что Полевой сдѣлался гнуснѣе Вулгарина... Статья о Марлинскомъ тебѣ не понравится, но именно такія-то статьи я и буду отнынѣ писать, потому что только такія статьи и доступны и полезны для нашей публики [3]). Но статья о дѣтскихъ книжкахъ—надѣюсь—будетъ такъ недурна, что понравится и тебѣ, и ты смѣло можешь сказать, что ты виноватъ въ ней. Въ самомъ дѣлѣ, если она будетъ хороша, то потому, что твое письмо воззвало меня отъ смерти къ жизни, и что, пиша статью, я перечитывалъ его, особенно одно мѣсто... Смѣйся, Б., оно въ самомъ дѣлѣ смѣшно»... [4]).

---

[1]) Страницы 53—54 „От. Зап." 1840, № 1, соотвѣтствуютъ стр. 326—327, т. III Сочиненій (2-е изд.).

[2]) „Отеч. Зап." 1840, № 1, Сочин., т. IV, стр. 11—42.

[3]) Эта статья явилась во 2-мъ № „Отеч. Зап." 1840; Сочин. III, стр. 438—487.

[4]) Статья о дѣтскихъ книгахъ была помѣщена въ № 3-мъ „Отеч. Зап." 1840; Сочин. III, стр. 487—547.

Бѣлинскій разумѣетъ то мѣсто въ письмѣ Боткина, гдѣ встрѣтилъ намекъ на разумное женское сочувствіе...

Отвѣчая на вопросы Боткина, Бѣлинскій возстаетъ на его мысль—издать переводъ „Ричарда II", Кронеберга, не въ журналѣ, а отдѣльной книжкой,—потому что противъ журналовъ Боткинъ имѣлъ какое-то предубѣжденіе. Бѣлинскій былъ убѣжденъ, что отдѣльное изданіе не имѣло бы ни малѣйшаго успѣха въ публикѣ, что напечатать „Ричарда" можно только въ журналѣ; онъ дивится наивности своего друга, который этого не понималъ, и пишетъ цѣлую филиппику противъ русской публики того времени, отчасти справедливую, но отчасти и странную, по его тогдашнему образу мыслей.

«Вѣдь ты вѣрно для того желаешь видѣть «Ричарда» въ печати, чтобы его читали и прочли? Знаешь ли ты, что «Макбета», переведеннаго *извѣстнымъ* литераторомъ—Вронченко, разошлось ровно пять экземпляровъ?... Я того и гляжу, что премудрый синедріонъ, состоящій изъ московскихъ душъ, вздумаетъ перевести всего Шекспира и великолѣпно издать его для удовольствія россійской публики. Смотрите же, господа, печатайте больше—экземпляровъ 100,000: россійская публика просвѣтится, а вы настроите себѣ каменныхъ домовъ и накупите деревень. Въ Питеръ бы васъ, дураковъ—тамъ-бы вы поумнѣли, тамъ-бы вы узнали, что такое россійская дѣйствительность и россійская публика. Въ журналѣ она прочтетъ и Шекспира: за журналъ она платитъ деньги, и за свои деньги читаетъ все сплошь»...

Онъ дѣлаетъ тривіальное сравненіе, и замѣчаетъ потомъ, что, говоря объ этой публикѣ, нельзя не быть тривіальнымъ. „Кого она (эта публика) поддерживаетъ, кого любитъ? Или людей по плечу себѣ, или плутовъ и мошенниковъ, которые ее надуваютъ". Увлекаясь обличеніями, Бѣлинскій опять впадаетъ въ прежнюю точку зрѣнія: винитъ публику и за ея страсть „ко всему, запрещенному цензурой", приводитъ слова Пушкина, что „съ прекращеніемъ его запрещенныхъ стиховъ, прекратилась и его слава". Бѣлинскій бранитъ и „всѣхъ" либераловъ: „они не умѣютъ быть подданными, они холопы: за угломъ любятъ побранить правительство, а въ лицо подличаютъ не по нуждѣ, а по собственной охотѣ". Въ его разсужденіяхъ еще отзывается раздражительность „Бородинской Годовщины" и вражда къ либерализму; затѣмъ онъ продолжаетъ:

«Чѣмъ взялъ Сенковскій? — спрашиваетъ онъ.—Основною мыслію своей дѣятельности, что учиться не надо, и что на все въ мірѣ надо смотрѣть шутя. Русскій человѣкъ любитъ жить на шеромыгу... Потомъ, кого любитъ наша публика?—Греча, Булгарина,—да, они, особенно первый, въ Питерѣ, даже при жизни Пушкина, были важнѣе его и доселѣ сохраняютъ свой авторитетъ. О публичныхъ лекціяхъ Греча и теперь говорятъ, какъ о чудѣ, съ восторгомъ и благоговѣніемъ. Вотъ наша публика: давайте-жъ, о невинныя московскія души, скорѣе давайте ей Шекспира—она ждетъ его. Нѣтъ, переведите-ка лучше всего В. Гюго съ братіею, да всего Поль-де-Кока, да и издайте великолѣпно съ романами Булгарина и Греча, съ повѣстями Брамбеуса и драмами Полевого: тутъ успѣхъ несомнителенъ; а бѣднаго Шекспира печатайте въ журналахъ—только въ нихъ и прочтутъ его»...

Наконецъ, онъ споритъ противъ предубѣжденій Боткина относительно журнала: литература имѣетъ великое значеніе для воспитанія общества, и журналистика въ наше время есть одно изъ лучшихъ средствъ къ этому воспитанію...

Боткинъ, говоря въ своемъ письмѣ о внутреннемъ состояніи Бѣлинскаго, высказывалъ увѣренность, что Бѣлинскій найдетъ нѣкогда сочувствіе, котораго такъ жаждетъ, и счастіе,—„но думаю, — говорилъ онъ,—что это тогда можетъ совершиться, когда ты больше и глубже разовьешь въ себѣ таинственное Entsagung [1]), этотъ высокій актъ нравственнаго духа, о которомъ ты, къ сожалѣнію, ничего не упомянулъ и который, какъ красная тоненькая, часто совсѣмъ незамѣтная снаружи ниточка въ снастяхъ англійскаго королевскаго флота [2]), проходитъ сквозь всѣ почти большія произведенія Гёте, и котораго апотеоза такъ поразительно и могущественно представлена въ Wahlverwandtschaften“. Это мнѣніе было совершенно въ тонѣ ихъ прежнихъ теоретико-поэтическихъ построеній жизни,—но въ Бѣлинскомъ опять заговорило чувство простой человѣческой истины, и онъ отвѣчалъ слѣдующими словами:

«Ты говоришь, что я мало развилъ въ себѣ Entsagung. Можетъ быть, его и совсѣмъ нѣтъ во мнѣ. Такъ какъ я понимаю его въ другихъ и вы-

---

[1]) Самоотверженіе, самоотрицаніе, о которомъ не мало говорилось въ кружкѣ, между прочимъ и по поводу Шиллерова Resignation.

[2]) Сравненіе, сдѣланное Гёте въ Wahlverwandschaften и повторенное въ „Серапіоновыхъ Братьяхъ“ Гофмана.

соко цѣню, то недостатокъ его въ себѣ и считаю ограниченностью, въ которой, однакожъ, не стыжусь признаться. Кажется, что для меня настаетъ время такихъ *простыхъ* признаній. По крайней мѣрѣ, теперь они для меня очень не трудны. Я этому радъ. Вообще я уже много посбавилъ себѣ цѣны въ собственномъ мнѣніи, и надѣюсь, что скоро сознаю себя тѣмъ, что я есть—безъ пошлаго смиренія и пошлой гордости. А можетъ быть, во мнѣ и кроется возможность этого таинственнаго Entsagung; но какъ это *мнѣ* узнать. Вообрази себѣ мужика, который всю жизнь свою не ѣдалъ ничего, кромѣ хлѣба, пополамъ съ пескомъ и мякиною, и, пришедъ въ большой городъ, увидѣлъ горы и калачей, и кандитерскихъ издѣлій, и плодовъ: можно сказать, что у него нѣтъ самообладанія и человѣческой воздержности, если онъ на эти вещи будетъ смотрѣть глазами тигра... а захвативши что-нибудь, начнетъ пожирать съ звѣрскою жадностію, а когда у него станутъ отнимать, онъ въ бѣшенствѣ разобьетъ себѣ черепъ? Какъ же отъ него требовать Entsagung? У всякаго есть своя исторія, мой добрый Василій»...

Письмо оканчивается 20 февраля разсужденіями о личныхъ отношеніяхъ Бѣлинскаго съ нѣкоторыми друзьями кружка, и о сердечной исторіи Боткина. Эта исторія, начавшаяся около 1839 года, происходила совершенно въ духѣ ихъ прежней романтической идеальности: чувство затуманивалось идеальными фантазіями и, съ одной стороны, имя, кажется, и ограничивалось. Особа была извѣстна Бѣлинскому, внушала восторгъ ему самому, и потому онъ вдвойнѣ былъ заинтересованъ этимъ дѣломъ. Но романтическая несостоятельность отношеній не могла наконецъ не обнаружиться. Исторія принимала неблагопріятный оборотъ, и, огорчая друзей, давала имъ по старой привычкѣ обильные поводы къ рефлексіи, но исходъ исторіи навелъ ихъ и на болѣе здравое пониманіе вещей.

Въ это же время Бѣлинскій пишетъ къ своему родственнику Иванову письмо, занятое его домашними денежными дѣлами въ Москвѣ. Онъ получилъ наконецъ возможность послать Иванову около 1500 р. асс., для расплаты съ московскими долгами. Главнымъ изъ кредиторовъ былъ Боткинъ, потомъ Нащокинъ (пріятель Пушкина), о которомъ Бѣлинскій говоритъ съ большой симпатіей, наконецъ еще одинъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, добрый человѣкъ (Вол—въ), который, по болѣе вѣрному объясненію московскихъ друзей, оказался просто ростовщикомъ.

И въ этомъ письмѣ Бѣлинскій жалуется на „тяжелое состояніе духа“:

«О себѣ... ничего не скажу, кромѣ того, что Питеръ мнѣ ненавистенъ и жить мнѣ въ немъ тяжело и мучительно. Впрочемъ, и кромѣ него много причинъ для моихъ страданій. Недостатокъ воли, лѣнь, безпорядочный образъ жизни, разныя огорченія, и внутреннія, и внѣшнія— все это дѣлаетъ мнѣ жизнь не слишкомъ-то веселою. Люди въ Питерѣ не тѣ, что въ Москвѣ, образованность лаковая, внѣшняя, а внутренняго—одно: корысть, мелкодушіе и невѣжество. Впрочемъ, вездѣ не безъ добрыхъ людей, и въ Питерѣ есть хорошіе люди, которыхъ я называю *московскими колонистами*, хотя иные изъ нихъ и въ глаза не видали Москвы... Внѣшнія мои обстоятельства пока еще ни то, ни сё, и больше худы, чѣмъ хороши, но все во сто разъ лучше, чѣмъ когда жилъ въ Москвѣ. Улучшеніе ихъ зависитъ отъ участи «О. З.» [1])...

Февраля 24, Бѣлинскій начинаетъ новое длинное посланіе. Наканунѣ онъ получилъ отъ Боткина письмо, еще разъ убѣдившее его въ ихъ тѣсной, неразрывной дружбѣ, и онъ прочиталъ письмо съ восхищеніемъ... Въ письмѣ опять много говорится о личныхъ отношеніяхъ ихъ обоихъ. Бѣлинскій въ это время окончательно расходится съ философскимъ другомъ: его до послѣдней степени раздражаетъ постоянная „рефлексія“ или, просто резонерство, которое иной разъ служитъ подкрѣпленіемъ фальшивыхъ положеній въ жизни. И онъ, и Боткинъ имѣли причины быть недовольными философскимъ другомъ, и Бѣлинскій въ февральскихъ письмахъ, между прочимъ здѣсь, даетъ полный просторъ своему враждебному настроенію. Очень вѣроятно, что это разстройство романтической дружбы и извѣданная на опытѣ Боткина несостоятельность романтической любви съ своей стороны способствовали тому, что Бѣлинскій все больше приближается къ давно желанной „простотѣ“, и

[1]) Вспоминая свои московскія дѣла, Бѣлинскій, между прочимъ, говоритъ о „Наблюдателѣ“. Надобно замѣтить, что издатель этого журнала, Степановъ, выставлялъ Бѣлинскаго причиной прекращенія журнала и безцеремонно злоупотреблялъ его именемъ. Бѣлинскій разсказываетъ, что было дѣйствительной причиной паденія „Наблюдателя“. Степанову хотѣлось издавать журналъ, который, ничего ему не стоя, давалъ бы работу для его типографіи, и онъ думалъ сдѣлать Бѣлинскаго своимъ орудіемъ въ этомъ благомъ предпріятіи: по его милости журналъ началъ страшно отставать, такъ что изданіе стало невозможно. Бѣлинскій говоритъ о немъ съ негодованіемъ.

даетъ больше мѣста внушеніямъ столь презираемой прежде „разсудочности“.

«Ты пишешь,—говоритъ онъ между прочимъ Боткину,—что онъ [1]) любитъ одно общее. О, пропадай это ненавистное общее, этотъ Молохъ, пожирающій жизнь, эта гремушка эгоизма!.. Лучше самая пошлая жизнь, чѣмъ *такое* общее, чтобъ чортъ его побралъ! Пусть лучше данъ будетъ моему разумѣнію маленькій уголокъ живой дѣйствительности, чѣмъ это пустое, лишенное всякаго содержанія, всякой дѣйствительности, сухое и эгоистическое (общее). Ты пишешь, что у меня такая же способность отвлеченія, какъ у М.: такъ да не такъ, я резонеръ и рефлектировщикъ, правда,—но за то, какъ скоро представали передъ меня дивныя явленія дѣйствительности, въ искусствѣ и жизни, я посылалъ къ чорту свою рефлексію, и никогда не мѣнялъ *человѣка* на *книгу*»...

Письмо продолжается 27 февраля, потомъ 1 марта. Эстетическіе вопросы постоянно возвращаются въ ихъ перепискѣ, какъ прежде въ ихъ бесѣдахъ, и Бѣлинскій съ жаромъ опровергаетъ здѣсь мнѣніе Боткина объ отсутствіи рефлексіи въ поэзіи Пушкина. Далѣе мы еще встрѣтимся съ этой темой.

«...Каждое письмо твое,—пишетъ Бѣлинскій,—свѣтлый праздникъ для меня, день счастія и даже полноты, поколику она для меня возможна. А о Пушкинѣ ты врешь, хотя, по своему обыкновенію, и мило врешь. Шекспиръ не зналъ новѣйшей германской рефлексіи, но міросозерцаніе его оттого не пострадало, не съузилось, равно какъ и обиліе нравственныхъ идей. У Пушкина то и другое безконечно, только труднѣе въ то и другое проникнуть, чѣмъ у нѣмцевъ. Вспомни, что ты самъ такъ глубоко и вѣрно подмѣтилъ въ «Онѣгинѣ»—какое безконечное міросозерцаніе, какой великій нравственный урокъ—и въ чемъ же—въ нашей частной жизни, среди помѣщиковъ! А тамъ еще «Цыганы», «Борисъ Годуновъ», «Русалка» (обрати на нее вниманіе), «Скупой Рыцарь», «Каменный Гость». Въ послѣднее время мнѣ открылся «Бахч. Фонтанъ»: мнѣ кажется, я въ состояніи написать объ этой крошечной пьескѣ цѣлую книгу—великое міровое созданіе! Присовокупи ко всему этому, что Пушкинъ умеръ во цвѣтѣ лѣтъ, въ порѣ возмужалости своего генія, умеръ, когда великій мірообъемлющій Пушкинъ уже кончился, и начинался въ немъ великій, мірообъемлющій Шекспиръ. Да, міръ увидѣлъ бы въ немъ новаго Шекспира»...

Бѣлинскому удалось прочесть извѣстное стихотвореніе „Памятникъ“, которое издатель „Утренней Зари“, Владиславлевъ, выпросилъ тогда для своего альманаха у опеки, которой пору-

[1]) Философскій другъ.

ченъ былъ разборъ и изданіе рукописей Пушкина. Бѣлинскій передаетъ содержаніе стихотворенія, и продолжаетъ:

«О, какъ дѣйствуютъ на меня подобныя самосознанія въ такихъ простыхъ цѣлостныхъ людяхъ, какъ Пушкинъ! Нѣтъ, Б., надо радоваться, что ядовитое дыханіе рефлексіи (ядовитое для поэзіи) не коснулось Пушкина, и тѣмъ не отняло у человѣчества великаго художника. Я понимаю цѣну, значеніе и необходимость рефлектированной поэзіи—я самъ безъ ума отъ символическаго «Прометея» Гёте; но, во-первыхъ, я настаиваю на то, что когда говорится объ истинной (непосредственной) поэзіи,—о рефлектированной можно и помолчать; а во-вторыхъ,—я вижу нравственную идею только въ *нерукотворныхъ*, *явленныхъ* образахъ, которые одни есть абсолютная дѣйствительность, а не тѣ, гдѣ хитрила человѣческая мудрость. Воля твоя, а послѣ Вертера и Вильгельма Мейстера—твое удивленіе къ Wahlverwandschaften мнѣ очень подозрительно. Я увѣренъ, что это тоже, что Вильг. Мейстеръ: вино пополамъ съ водою. Такія произведенія, много давая въ частяхъ, цѣлымъ своимъ только усиливаютъ болѣзненность духа и рефлексію, а не выводятъ изъ нихъ въ полноту созерцанія. А что Егоръ Ѳедорычъ [1]) восхищается рефлектированностію поэзіи Шиллера—брешетъ, собачій сынъ [2])... Еще разъ—счастіе наше, что натура Пушкина не поддалась рефлексіи: отъ того онъ и великій поэтъ»...

Онъ радуется, что у Лермонтова также мало рефлексіи: „есть надежда, что будетъ поэтъ!“ Онъ восхищается его стихотвореніемъ: „1-е января“ и „Казачьей колыбельной пѣсней“...

«Пиши мнѣ, пиши о каждомъ стихотвореніи Лермонтова—иначе я не хочу съ тобою знаться. Какъ, мой добрый и лысый Василій,—«На смерть Одоевскаго» тебѣ больше нравится, чѣмъ «Терекъ»? Сіе мнѣніе, о Боткинъ!—еслибы ты его напечаталъ,—я бы печатно отрекся даже отъ того, что когда-либо гдѣ встрѣчалъ тебя. Неужели на святой Руси только одному мнѣ суждено было добраться (съ грѣхомъ пополамъ) до тайны поэзіи, и носиться съ нею среди васъ, подобно Кассандрѣ съ ея зловѣщею тайною, осуждавшею ее на отчужденіе и одиночество среди ликующаго народа въ свѣтломъ Иліонѣ! Нѣтъ,—Кудрявцеву, вѣрно, «Терекъ» лучше нравится, чѣмъ «На см. Од.»—вѣдь не даромъ же я такъ люблю его... Спроси его и тотчасъ же увѣдомь или заставь его при себѣ же написать нѣсколько словъ объ этомъ—буду ждать этого съ такимъ нетерпѣніемъ, какъ будто и Богъ знаетъ чего...

«...Да, кстати: что съ тобою... дѣется? Ты безъ меня потерялъ всякое чутье къ поэзіи. Новогреческія пѣсни я замѣтилъ—онѣ превосходны

---

[1]) Гегель.

[2]) Опять гоголевская фраза.

и переводъ хорошъ [1]). Но, ради Аллаха, съ чего ты взялъ, что переводы Аксакова положительно хороши, а не положительно дурны? Неужели это Гёте?—Чѣмъ же онъ выше Семена Егоровича Раича? А Вецелевскаго стихотворенія я не понимаю: должно быть, рефлектированное. Струговщикова переводъ тоже не изъ лучшихъ его переводовъ. И вообще стихотворная часть въ «Одесск. Альманахѣ»—плоховата. Стихи Лермонтова недостойны его имени»...

Лучшимъ стихотвореніемъ въ альманахѣ онъ считаетъ „Сонъ", подписанный буквой М... Это стихотвореніе, говоритъ онъ, не было замѣчено никѣмъ, кромѣ его и Панаева, въ которомъ Бѣлинскій вообще видѣлъ большое чутье къ изящному...

Въ томъ же письмѣ находится отрывочная замѣтка, гдѣ Бѣлинскій возвращается къ вопросу о безсмертіи, который очень его тревожилъ. Онъ высказывается такъ:

«Что, другъ, ты ужъ говоришь, что лучше піэтизмъ, чѣмъ пантеистическія построенія о безсмертіи? Я самъ тоже думаю. Для меня Ев.—абсолютная истина, а безсмертіе индив. духа есть основной его камень. Временемъ тепло вѣрится—

Съ души какъ бремя скатится,
Сомнѣнье далеко,
И вѣрится, и плачется,
И такъ легко, легко.

Да, надо читать чаще Евангеліе—только отъ него и можно ожидать полнаго утѣшенія. Но объ этомъ или все или ничего».

Около того же времени (вѣроятно нѣсколько ранѣе) Бѣлинскій писалъ другое длинное письмо Боткину, отъ котораго мы имѣемъ только отрывокъ. Московскіе друзья передавали ему, что Станкевичъ недоволенъ его нападеніями на Шиллера и сердится на нихъ. Бѣлинскій жалуется, что за нимъ не хотятъ оставить свободы его мнѣнія, — продолжаетъ защищать свой взглядъ на Шиллера, но теперь все-таки выражается мягче прежняго. „Дѣло ясно,—говоритъ онъ: — кто-нибудь изъ насъ не понимаетъ дѣла; понять же его зависитъ отъ средствъ духовныхъ и времени, слѣд. сердиться смѣшно. Уважаю Шиллера за его духъ, но драмы его, въ художественномъ отношеніи, для меня—хоть бы имъ и не было. Вру ли, рѣжусь, не понимаю: положимъ такъ, но моя-ли то вина. Говорю, какъ вижу, а вижу,

[1]) Рѣчь идетъ объ „Одесскомъ Альманахѣ" 1840, Надеждина.

какъ говорю". Тамъ же онъ говоритъ о Гоголѣ: „Желалъ бы что-нибудь знать о Гоголѣ, да К. Аксаковъ не отвѣчаетъ на мои письма—видно сердится на меня—что-жъ дѣлать. Вполнѣ понимаю страданія Г. (Гоголя) и сочувствую имъ. Понимаю и его Sehnsucht къ Италіи. Родная дѣйствительность ужасна"... Будь у него самого средства, онъ ушелъ бы отъ нея въ глушь, въ деревню,—но, впрочемъ, она и тамъ найдетъ. „Страшная и гадкая дѣйствительность!"

Въ письмѣ 14 марта Бѣлинскій, между прочимъ, останавливается въ печальномъ положеніи своихъ журнальныхъ дѣлъ, зависѣвшемъ отъ труднаго положенія самаго журнала. Въ первые годы положеніе „Отеч. Записокъ" было, въ самомъ дѣлѣ, очень неблагопріятное. Первоначально онѣ были основаны въ видѣ небольшаго общества на акціяхъ [1]), изъ нѣсколькихъ человѣкъ. Одни внесли свою долю, другіе не вносили вовсе; нѣкоторые изъ участниковъ вмѣшивались въ самое веденіе дѣла, ставили условія, крайне стѣснительныя для журнала,—такъ что изданіе, на первый годъ, конечно, не имѣвшее много подписчиковъ, стѣсненное этими домашними препятствіями и наконецъ встрѣченное враждебно компаніей „Библ. для Чтенія" и „Сѣверной Пчелы" (имѣвшими тогда большое вліяніе на публику)—могло удержаться только при большомъ упорствѣ редакціи. Въ этомъ упорствѣ недостатка не было, и Бѣлинскій, самъ крайне непрактическій, не могъ довольно надивиться твердому характеру редакціи, ея самоотверженію (о которомъ послѣ сталъ судить иначе). Общее состояніе журнала отражалось, конечно, и на дѣлахъ Бѣлинскаго.

Бѣлинскій разсказываетъ о трудныхъ обстоятельствахъ изда-

---

[1]) Ср. „Литер. Воспом." Панаева, „Совр." 1861, февр., стр. 651. По словамъ Панаева, акціонерами или „вкладчиками" при основаніи „Отеч. Записокъ" были, кромѣ г. Краевскаго—редактора: кн. Одоевскій, А. В. Всеволожскій, Н. П. Мундтъ и Владиславлевъ, извѣстный издатель альманаховъ, жандармскій офицеръ; Панаевъ также долженъ былъ быть въ этомъ числѣ,—но онъ не вносилъ своихъ денегъ. Бѣлинскій, въ письмѣ отъ 16 апрѣля, называетъ также Враскаго (родственникъ кн. Одоевскаго, быть можетъ, представлявшій его въ дѣлахъ журнала); этотъ Враскій и Владиславлевъ, по его словамъ, были „лютѣйшіе" изъ вкладчиковъ по вмѣшательству въ дѣла „Отеч. Записокъ".

нія. Для него сдѣлано было все: редакція трудится безъ устали, все отлично устроено; порядочные люди пристали къ журналу, дали ему характеръ и единство (что́ есть, изъ другихъ журналовъ, только въ „Библіотекѣ“), мысль, жизнь, одушевленіе (которыхъ нѣтъ ни въ одномъ журналѣ), а между тѣмъ дѣло пойдетъ:

«И добро бы Сенковскій мѣшалъ?—Нѣтъ, Гречъ съ Булгаринымъ—хвала и честь расейской публикѣ..... Живя въ Москвѣ, я даже стыдился много и говорить о Гречѣ, считая его призракомъ; но въ Питерѣ онъ авторитетъ больше Сенковскаго. Лекціи свои онъ началъ читать, чтобы уронить «О. З.»—онъ говоритъ это публично. Вотъ тебѣ и дѣйствительность!.. Но еслибы и не это, если бы у меня и были деньги, мнѣ все не легче: я теперь понимаю саркастическую жолчность, съ какою Гофманъ нападалъ на идіотовъ и филистеровъ; я связанъ съ расейскою публикою страшными узами, какъ съ постылою женою... О, я теперь лучше бы сошелся съ Грановскимъ, лучше бы понялъ и оцѣнилъ эту чистую, благородную душу, эту здоровую и нормальную натуру, для которой слово и дѣло—одно и тоже»...

Замѣчаніе о Грановскомъ относится, безъ сомнѣнія, къ тѣмъ спорамъ о предметахъ общественнаго свойства, которые Бѣлинскому пришлось имѣть въ концѣ его московской жизни съ людьми другого кружка, иныхъ мнѣній. Грановскій въ этомъ случаѣ былъ на сторонѣ противниковъ Бѣлинскаго и вовсе не былъ защитникомъ „дѣйствительности“. Продолженіе письма указываетъ, что Бѣлинскому припомнились эти споры, и онъ начинаетъ замѣчать справедливость мнѣній, которыя до тѣхъ поръ такъ рѣшительно отвергалъ:

«Да, по прежнему брезгаю французами... но *идея общества* обхватила меня крѣпче,—и пока въ душѣ останется хоть искорка, а въ рукахъ держится перо,—я дѣйствую. Мочи нѣтъ, куда ни взглянешь—душа возмущается, чувства оскорбляются. Что́ мнѣ за дѣло до кружка—во всякой стѣнѣ, хотя бы и не китайской, плохое убѣжище. Вотъ уже нашъ кружокъ и разсыпался, и еще больше разсыплется, а куда приклонить голову, гдѣ сочувствіе, гдѣ пониманіе, гдѣ человѣчность? Нѣтъ, къ чорту всѣ высшія стремленія и цѣли! Мы живемъ въ страшное время, судьба налагаетъ на насъ схиму, мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче жить... Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книжку «О. З.» Я литераторъ—говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ расейской моя жизнь и моя кровь. Теперь стараюсь поглупѣть, чтобы расейская публика лучше

понимала меня: благодаря одуряющему вліянію финскихъ болотъ и гнусной плоскости, на которой основанъ Питеръ, надѣюсь вполнѣ успѣть въ этомъ»...

Онъ разсказываетъ далѣе, что редакторъ „Отеч. Записокъ" получилъ изъ Москвы предостереженіе о вредномъ вліяніи, какое Бѣлинскій можетъ возымѣть на журналъ. Предостереженіе исходило отъ Н. Ф. Павлова. Бѣлинскій бывалъ съ нимъ знакомъ въ Москвѣ, и Павлову случилось разъ или два „одолжить" Бѣлинскаго, который (какъ выше упоминалось) вскорѣ долженъ былъ очень этимъ отяготиться,—потому что Павлову казалось, и онъ говорилъ это, что „одолженіе" обязывало Бѣлинскаго ничего не говорить противъ его сочиненій. Эти слова дошли до Бѣлинскаго... Надобно сказать, что первыя повѣсти Павлова, вышедшія въ 1835 году [1]), произвели довольно большое впечатлѣніе. Въ 1839, явились „Новыя повѣсти"; въ „Отеч. Запискахъ" 1839, до вступленія Бѣлинскаго въ журналъ, помѣщенъ былъ восхвалительный отзывъ... Бѣлинскій и московскіе друзья думали иначе о повѣстяхъ Павлова: Бѣлинскій и прежде [2]) выражался очень сдержанно о степени таланта Павлова и достоинствѣ его первыхъ повѣстей. Теперь его мнѣніе еще больше опредѣлилось; Боткинъ прилагалъ къ повѣстямъ Павлова довольно язвительный эпитетъ, означавшій насильственное возбужденіе и аффектацію, которыхъ и въ самомъ дѣлѣ было довольно въ повѣстяхъ Павлова. Павловъ вѣроятно зналъ эти мнѣнія кружка, опасался, что они будутъ высказаны въ журналѣ, и пожелалъ остеречь „Отеч. Записки" отъ писателя, вреднаго для журнала. Редакторъ „Отеч. Записокъ", по словамъ Бѣлинскаго, въ письмѣ къ Павлову отказался понимать его намеки.

Въ письмѣ Бѣлинскаго не забыты и литературныя новости. „Въ 3 № „О. З." славная повѣсть Соллогуба: чудесный беллетрическій талантъ. Это поглубже всѣхъ Бальзаковъ и Гюговъ,

---

[1]) „Три повѣсти Н. Павлова", М. 1835. См. о нихъ „Эпизодъ изъ литературы тридцатыхъ годовъ", г. Сухомлинова, въ „Древней и Новой Россіи", 1875, № 1.

[2]) Въ статьѣ „о русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя" (въ „Телескопѣ" 1835, № 7—8; Сочин., т. I, стр. 204 и слѣд.).

хотя сущность его таланта и родственна съ ними". Далѣе, извѣстіе о дуэли Лермонтова съ Барантомъ: „Л. слегка раненъ, и въ восторгѣ отъ этого случая, какъ маленькаго движенія въ однообразной жизни"; просьбы къ московскимъ друзьямъ и знакомымъ о присылкѣ статей, къ Кетчеру о переводахъ изъ Гофмана, къ Грановскому, К-ву и пр. „Гоголь доволенъ моею статьею о „Ревизорѣ" — говоритъ — многое подмѣчено вѣрно. Это меня обрадовало".

Опускаемъ коротенькое письмо отъ 19 марта, наполненное горячимъ выраженіемъ сочувствія къ сердечнымъ бѣдствіямъ друга, которыя все еще не разрѣшались.

Затѣмъ новое длинное посланіе отъ 16 апрѣля. Бѣлинскій опять жалуется на томительную апатію:—„Не повѣришь, что за апатія, что за лѣнь овладѣли мною — истинное замерзаніе души и тѣла. Да, и тѣла, ибо и оно ничего не проситъ, и если исправно ѣстъ, то больше для порядка, чѣмъ для удовольствія. А душа совсѣмъ расклеилась и похожа на разбитую скрипку—однѣ щепки, собери и склей—скрипка опять заиграетъ, и, можетъ быть, еще лучше, но пока—однѣ щепки. Бо́льшею частію лежу на кровати и думаю объ испанскихъ дѣлахъ... Только фантазія и жива, но это къ моему горю, ибо фантазія первый мой врагъ"... Въ этомъ апатическомъ настроеніи онъ сомнѣвается въ самомъ себѣ, отказывается отъ надеждъ на личное счастіе, считаетъ ничтожнымъ содержаніе своихъ работъ,—но въ литературѣ для него остается и возбуждаетъ его одна задача—борьба противъ той пошлости, которую усердно распространяла ненавистная ему клика и которою такъ наслаждалось отупѣлое большинство „расейской" публики...

«...Мнѣ остается одно: объективный интересъ моей литературной дѣятельности. Только тутъ я самъ уважаю себя... потому что вижу въ себѣ безконечную любовь и готовность на всѣ жертвы, только тутъ я и страдаю и радуюсь не о себѣ, и не за себя, только тутъ моя дѣятельность торжествуетъ надъ лѣнью и апатіею. И потому я больше горжусь, больше счастливъ какою-нибудь удачною выходкою противъ Булг., Гр. и подобныхъ....., нежели дѣльною критическою статьею... Видно и въ самомъ дѣлѣ я нуженъ судьбѣ, какъ орудіе (хоть такое, какъ помело, лопата или заступъ), а потому долженъ отказаться отъ всякаго счастія, потому что судьба жестока къ своимъ орудіямъ — велитъ имъ быть до-

вольными и счастливыми тѣмъ, что они орудія, а больше ничѣмъ, и употребляетъ, пока не изломаются, а тамъ бросаетъ. Такъ и я: въ жизни... помучусь, поколочусь..., а тамъ... погружусь въ міровую субстанцію, и въ ней заживу на славу. Лестная перспектива впереди!»...

Онъ разсказываетъ Боткину о матеріальномъ положеніи „Отеч. Записокъ", которыя едва могутъ существовать, обремененныя долгомъ, и должны вести борьбу съ противниками, какъ Гречъ, Булгаринъ, Сенковскій и Полевой. „Что это за міръ! — восклицаетъ Бѣлинскій:—берутъ взятки открыто"... Гречъ, по словамъ Бѣлинскаго, „владычествуетъ" въ публикѣ. „Безъ „Пчелы", „О. З." имѣли бы вѣрныхъ 3000 подписчиковъ", а за первый годъ имѣли только 1800... „Портретъ Панаева [1]) и всѣ выходки въ „Литер. Газетѣ" противъ Греча производятъ сильный эффектъ — онъ рветъ волосы и неистовствуетъ. Но если-бъ ты зналъ, чего, какой борьбы, какихъ усилій стóятъ намъ эти выходки!.. При этомъ всегда бываетъ цѣлая исторія". Цензура еще пропускала на половину ихъ выходки, только благодаря связямъ князя Одоевскаго...

Эти представленія о „владычествѣ" Греча могутъ показаться теперь преувеличенными. По всей вѣроятности, Бѣлинскій въ этомъ случаѣ говоритъ отчасти подъ вліяніемъ того, что̀ слышалъ отъ редакціи журнала, которая придавала большую важность Гречу и компаніи, между прочимъ опасаясь отъ нихъ вреда для подписки, и постоянно противъ нихъ ратовала. Но и не одна редакція „Отеч. Записокъ" имѣла такое мнѣніе о „владычествѣ" Греча. Напомнимъ статью кн. Одоевскаго о „польской" литературной партіи конца тридцатыхъ годовъ [2]), которую онъ изображаетъ какъ цѣлую злонамѣренную стачку, приписывая ей систематическіе замыслы и тонкую интригу. Въ сущности, дѣло было безъ сомнѣнія проще. Не было, конечно, недостатка въ интриганствѣ, какое изображаетъ кн. Одоевскій и которое иной разъ могло быть очень опасно; „Сѣверная Пче-

[1]) Бѣлинскій разумѣетъ статьи Панаева въ „Литер. Газетѣ", подъ названіемъ „Портретная Галлерея". Въ одной изъ этихъ статей („Лит. Газета", № 12, 10 февраля) читатели должны были угадывать Сенковскаго, Греча, Булгарина, Полевого.

[2]) „Р. Архивъ", 1864.

ла“ пользовалась особеннымъ довѣріемъ генерала Дуббельта..., но кн. Одоевскій тѣмъ не менѣе, вѣроятно, преувеличилъ силу „систематической“ интриги: съ *этой* стороны опасность являлась уже нѣсколько позднѣе, и „польской“ интриги было несравненно меньше, чѣмъ русской. Въ литературномъ смыслѣ, писателямъ „Отеч. Записокъ“ не было никакого труда бороться съ ихъ противниками; каждый успѣхъ публики въ литературномъ пониманіи былъ паденіемъ ихъ враговъ; но на первое время эти враги могли казаться серьёзными врагами именно потому, что имѣли великій авторитетъ въ массѣ полуобразованной публики, считавшей Греча великимъ знатокомъ русскаго языка, Булгарина—прекраснымъ романистомъ и нравоописателемъ, Сенковскаго — образцомъ остроумія и т. д. Вопросъ былъ, слѣдовательно, не столько въ борьбѣ съ этой партіей, сколько въ воспитаніи самой публики, неразвитость которой могла создать такое „владычество“. Въ письмахъ того времени, Бѣлинскій не находитъ достаточно сильныхъ эпитетовъ для пошлости читающей публики и предметовъ ея почитанія...

Изъ разсказа Бѣлинскаго о дѣлахъ журнала видно, что, хотя, по его мнѣнію, и сдѣлано было нѣсколько ошибокъ, но журналъ уже съ перваго года произвелъ хорошее впечатлѣніе на публику, а противники начинали терять въ ея мнѣніи. Бѣлинскій возлагаетъ большія надежды на твердый характеръ редакціи, хвалитъ редакцію и за то, что она нисколько не мѣшается въ его собственную дѣятельность и предоставляетъ ему полную свободу. Затѣмъ онъ продолжаетъ:

«...Мы еще не безъ надеждъ. Несмотря на промахи К-ва (ст. о снахъ), на мои (глупая статейка о брошюркахъ Жук. и Глин., надъ которою смѣялся весь Питеръ и публично тѣшился Гречъ), на Кр. (рецензія о повѣстяхъ Павлова, на которую роготалъ весь Питеръ), и пр., и пр.; несмотря на новое и непереваримое для нашей публики направленіе «О. З.», нынѣшній годъ, вмѣсто того, чтобы убавиться стами тремя подписчиковъ, ихъ прибавилось сотни три... (На слѣдующій годъ онъ еще ожидаетъ прибавки)... Это тѣмъ вѣроятнѣе, что «конкретности» и «рефлексіи» исключаются рѣшительно, кромѣ ученыхъ статей... и вообще нынѣшній годъ популярнѣе и живѣе, а между тѣмъ публика уже и привыкаетъ къ новости... «Библ. для Чтенія» падаетъ. См. (Смирдинъ) ее про-

даетъ съ публичнаго торгу... «Сынъ Отечества» [1]) во всеобщемъ презрѣніи и позорѣ»...

Но въ ту минуту матеріальное положеніе „Отеч. Записокъ" было плохо, и Бѣлинскій проситъ Боткина устроить для редакціи заемъ въ Москвѣ у одного изъ богатыхъ знакомыхъ... Кромѣ того, онъ опять проситъ о присылкѣ статей, — которыя, впрочемъ, по указанной причинѣ не могли быть тогда оплачены. Онъ проситъ Боткина прислать свой „Римъ", Кетчера о переводѣ „Цахеса" и „Мейстера Фло" изъ Гофмана, Грановскаго, Кудрявцева и проч. Онъ желаетъ, чтобы изъ Гофмана переведено было все, чего еще не было на русскомъ языкѣ, — ему пришла мысль, что нужно перевести „Вильгельма Мейстера", что интересны записки Гёте, переписка его съ Шиллеромъ..

«Все читалъ «Серапіоновыхъ Братьевъ», Гофмана, — пишетъ онъ вслѣдъ затѣмъ. — Чудный и великій геній этотъ Гофманъ! Въ первый еще разъ понялъ я мыслію его фантастическое [2]). Оно — поэтическое олицетвореніе таинственныхъ враждебныхъ силъ, скрывающихся въ нѣдрахъ нашего духа. Съ этой точки зрѣнія болѣзненность Гофмана у меня исчезла — осталась одна поэзія. Много объяснилъ я себѣ и самого себя чрезъ это чтеніе. Вспомни повѣсть о трехъ друзьяхъ — это злая сатира на меня, и именно въ лицѣ того, которому отецъ мнимо-возлюбленной его явился, въ колпакѣ, съ букетомъ, читая его письмо. Вообще, Серапіоновскій кругъ напомнилъ мнѣ нашъ московскій — и много сладкихъ и грустныхъ ощущеній прошло по моей душѣ. Что за чудесная вещь — «Синьоръ Формика»! Да, все хорошо, даже и любовь свеклы къ дочери астронома — прелесть. Это не художественная поэзія, какъ Шекспира, Вальт. Скотта, Купера, Пушкина, Гоголя, но и не совсѣмъ рефлектированная, а что-то среднее между ними... Скажи, какъ тебѣ кажется мое мнѣніе. Вообще, я страстно полюбилъ Гофмана, не разстался бы съ нимъ, а о драмахъ Шиллера — такъ и вспомнить тошно»...

Онъ вспоминаетъ при этомъ о старыхъ временахъ. „Смѣшно вспомнить, какіе мы были (и отчасти есть и теперь) дѣти, и какими словами мы злоупотребляли. Болѣе всего досталось отъ насъ *художественному*". Онъ вспоминаетъ, какъ К. Аксаковъ наговорилъ имъ о „божественныхъ" переводахъ К. К. Павловой,

---

[1]) Въ 1839 г. редакторомъ его былъ Гречъ.

[2]) Выше было приведено прежнее мнѣніе Бѣлинскаго о Гофманѣ, когда фантастическое казалось Бѣлинскому только поэтическимъ произволомъ или болѣзненностью.

какъ самъ Бѣлинскій провозглашалъ это въ „Наблюдателѣ", К-въ и Аксаковъ въ „Отеч. Запискахъ". „Славный стихъ, славные переводы—только перечесть ихъ нѣтъ силы", замѣчаетъ Бѣлинскій.

«Молодецъ Кудрявцевъ! Какъ ни распѣвалъ я ему на разные голоса эти дивные переводы, онъ ничего въ нихъ не видѣлъ. Теперь я вполнѣ созналъ, что слово *художественный*—великое слово, и что съ нимъ надо обращаться осторожно и вѣжливо, даже въ приложеніи и къ Пушкину съ Гоголемъ [1]), и въ ихъ твореніяхъ отличать поэтическое отъ художественнаго и даже беллетрическаго. Напр. «Капитанская Дочка» Пушкина, по-моему, есть не больше какъ беллетрическое произведеніе, въ которомъ много поэзіи и только мѣстами пробивается художественный элементъ. Прочія повѣсти его — рѣшительная беллетристика. Кстати: вышли повѣсти Лермонтова. Дьявольскій талантъ! Молодо-зелено, но художественный элементъ такъ и пробивается сквозь пѣну молодой поэзіи, сквозь ограниченность субъективно-салоннаго взгляда на жизнь».

Бѣлинскій разсказываетъ затѣмъ о свиданіи своемъ съ Лермонтовымъ, томъ самомъ, которое описано въ „Литер. Воспоминаніяхъ" Панаева [2]). Бѣлинскаго въ высокой степени интересовала личность Лермонтова, но извѣстно, что ему не удавалось ни разу говорить съ нимъ серьёзно. Лермонтовъ никакъ не поддавался на сближеніе, старательно скрывалъ свою интимную мысль, отчасти по гордому самолюбію, лежавшему въ его характерѣ, отчасти по дурной манерѣ свѣтскаго фата и по той причинѣ, вслѣдствіе которой Пушкинъ хотѣлъ быть стариннымъ дворяниномъ и свѣтскимъ человѣкомъ, и никакъ не литераторомъ. На этотъ разъ Бѣлинскому удалось услышать отъ Лермонтова нѣсколько словъ искреннихъ и серьёзныхъ; вотъ его впечатлѣнія:

---

[1]) Замѣчаніе, которое было бы очень полезно запомнить современнымъ „художественнымъ" критикамъ.

[2]) „Совр." 1861, февр., стр. 661. Въ біографіи Лермонтова, при послѣднемъ изданіи его сочиненій (1873), мы назвали разсказъ Панаева не вполнѣ достовѣрнымъ, на основаніи словъ лица, бывшаго свидѣтелемъ разговора. Но, какъ видно изъ приводимыхъ здѣсь собственныхъ словъ Бѣлинскаго, Панаевъ очень вѣрно передалъ сущность дѣла, — конечно, по впечатлѣніямъ Бѣлинскаго тотчасъ послѣ свиданія.

«Недавно былъ я у Лермонтова въ заточеніи [1]) и въ первый разъ поразговорился съ нимъ отъ души. Глубокій и могучій духъ! Какъ онъ вѣрно смотритъ на искусство, какой глубокій и чисто-непосредственный вкусъ изящнаго! О, это будетъ русскій поэтъ съ Ивана Великаго! Чудная натура! Я былъ безъ памяти радъ, когда онъ сказалъ мнѣ, что Куперъ выше В. Скотта, что въ его романахъ больше глубины и больше художественной цѣлости. Я давно такъ думалъ и еще перваго человѣка встрѣтилъ, думающаго также. Передъ Пушкинымъ онъ благоговѣетъ, и больше всего любитъ «Онѣгина». Женщинъ ругаетъ: однихъ за то....., другихъ за то..... Мужчинъ онъ также презираетъ, но любитъ однихъ женщинъ, и въ жизни только ихъ и видитъ. Взглядъ—чисто-онѣгинскій. Печоринъ—это онъ самъ какъ есть. Я съ нимъ спорилъ, и мнѣ отрадно было видѣть въ его разсудочномъ, охлажденномъ и озлобленномъ взглядѣ на жизнь и людей сѣмена глубокой вѣры въ достоинство того и другого. Я это сказалъ ему — онъ улыбнулся и сказалъ: дай Богъ! Боже мой, какъ онъ ниже меня по своимъ понятіямъ, и какъ я безконечно ниже его въ моемъ передъ нимъ превосходствѣ. Каждое его слово—онъ самъ, вся его натура во всей глубинѣ и цѣлости своей. Я съ нимъ робокъ—меня давятъ такія цѣлостныя, полныя натуры, я передъ нимъ благоговѣю и смиряюсь въ сознаніи своего ничтожества. Понимаешь ли ты меня... о московская душа!»

Далѣе, Бѣлинскій опять говоритъ о Лермонтовѣ, по поводу одной повѣсти гр. Соллогуба [2]):

«Къ повѣсти Соллогуба ты черезчуръ строгъ: прекрасная беллетрическая повѣсть — вотъ и все. Много вѣрнаго и истиннаго въ положеніи, прекрасный разсказъ, нѣтъ никакой глубокости, мало чувства, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьевъ — ложное лицо. А, впрочемъ, славная вещь, Богъ съ нею! Лермонтовъ думаетъ также. Хоть и салонный человѣкъ, а его не надуешь — себѣ на умѣ».

По мнѣнію Бѣлинскаго, Лермонтовъ въ образованіи подальше Пушкина, и его не проведетъ не только Катенинъ (котораго Пушкинъ, какъ извѣстно, считалъ, не совсѣмъ основательно, великимъ критикомъ и по совѣту котораго выбросилъ 8-ю главу „Онѣгина"), но и „нашъ братъ". „Вотъ это-то и хорошо".

Слѣдуетъ сужденіе о московскихъ друзьяхъ, о К-вѣ, котораго Бѣлинскій въ то время очень высоко цѣнилъ. Бѣлинскій приходилъ въ восхищеніе отъ его статей въ „Отеч. За-

---

[1]) На гауптвахтѣ послѣ дуэли съ Барантомъ.

[2]) „Большой Свѣтъ, повѣсть въ двухъ танцахъ", „От. Зап." 1840, № 3.

пискахъ" [1]). Въ концѣ Бѣлинскій говоритъ о своемъ собственномъ состояніи, которое продолжало быть крайне тягостнымъ:

«...Плохо, братъ, плохо, такъ плохо, что не зачѣмъ бы и жить. Въ душѣ холодъ, апатія, лѣнь непобѣдимая... И не люблю, и не страдаю. Однакожъ внутри что-то дѣется само собою... И чѣмъ хуже вижу себя, тѣмъ лучше понимаю дѣйствительность, вижу вещи простѣе, а слѣд. и истиннѣе. Не подумай, чтобы опять бросился въ крайность самоуниженія. Нѣтъ, я вижу (себя)... обыкновеннымъ, каковъ я есть въ самомъ дѣлѣ, но какимъ я себѣ еще не представлялся. Лучшее, что есть во мнѣ — отъ природы наклонное къ добру сердце, которое не можетъ не биться для всего человѣческаго, но которое бьется для всего дѣйствительнаго не ровно, не постоянно, а вспышками. Я привязался къ литературѣ, отдалъ ей всего себя, т.-е. сдѣлалъ ее главнымъ интересомъ своей жизни, мучусь, страдаю, лишаюсь для нея, но... дѣлать изъ себя сильное и дѣйствительное орудіе для ея служенія... я объ этомъ пересталъ уже даже и мечтать. Однимъ словомъ, я вижу, что я — добрый малый, съ добрымъ, горячимъ (т.-е. способнымъ къ вспышкамъ) сердцемъ, съ неглупою головою, съ хорошими способностями, даже не безъ дарованія, но тутъ и все. Въ герои рѣшительно не гожусь, и необыкновеннаго во мнѣ нѣтъ ничего, а необыкновеннымъ я могъ казаться себѣ и даже другимъ потому только, что современная русская дѣйствительность ужъ черезчуръ отличается обыкновенностію. Дюжинная дѣйствительность!... Надежды на счастіе—нѣтъ... не для меня счастіе. Отъ него отказалась ужъ и услужливая моя фантазія»...

Вотъ еще черта характера, о которой намъ случалось упоминать, объясняемая самимъ Бѣлинскимъ:

«...Одно меня ужасно терзаетъ: робость моя и конфузливость не ослабѣваютъ, а возрастаютъ въ чудовищной прогрессіи. Нельзя въ люди показаться... истинное Божіе наказаніе! Это доводитъ меня до смертельнаго отчаянія. Что это за дикая странность? Вспомнилъ я разсказъ матери моей. Она была охотница рыскать по кумушкамъ..., я, грудной ребенокъ, оставался съ нянькою, нанятою дѣвкою: чтобъ я не безпокоилъ ее своимъ крикомъ, она меня душила и била. Можетъ быть — вотъ причина. Впрочемъ, я не былъ груднымъ: родился я больнымъ при смерти, груди не бралъ и не зналъ ея..., сосалъ я рожокъ, и то, если молоко было прокислое и гнилое — свѣжаго не могъ брать. Потомъ: отецъ меня терпѣть не могъ, ругалъ, унижалъ, придирался, билъ нещадно и площадно — вѣчная ему память. Я въ семействѣ былъ чужой. Можетъ

---

[1]) О „Пѣснахъ" Сахарова, „Отеч. Зап." 1839, № 6—7; объ „Исторіи древней рус. словесности" Максимовича, 1840, № 4.

быть — въ этомъ разгадка дикаго явленія. Я просто боюсь людей; общество ужасаетъ меня»...

Далѣе, говоритъ онъ о перепискѣ съ однимъ изъ друзей московскаго кружка, которая снова подняла въ немъ воспоминіе о разныхъ прежнихъ дрязгахъ и столкновеніяхъ... Наконецъ, онъ заключаетъ:

«Вотъ тебѣ и весь я въ настоящемъ моемъ положеніи. Одно надо еще прибавить: россійская дѣйствительность ужасно гнететъ меня. Я теперь понимаю раздражительность Гофмана при сужденіи глупцовъ объ искусствѣ, его готовность язвить ихъ сарказмами. Но язвить я не умѣю, а въ иныя минуты... Съ другой стороны, становлюсь какъ-то терпимѣе къ слабости, ничтожеству и ограниченности людей. Нѣтъ силъ сердиться на человѣка, который, ради денегъ, ковыляетъ по проселочнымъ дорожкамъ жизни»...

Въ приведенной цитатѣ мы опустили нѣсколько фразъ, написанныхъ съ той полной искренностью, какая возможна только въ интимной дружеской бесѣдѣ. Смыслъ этихъ фразъ—крайнее ожесточеніе противъ „дѣйствительности", еще очень недавно признаваемой разумною и цѣлесообразною. Въ понятіяхъ Бѣлинскаго уже готовъ былъ тотъ поворотъ, съ котораго должно считать окончательное образованіе его характера, какъ писателя. Его раздраженіе все еще связано съ интересами искусства: онъ негодуетъ на непониманіе искусства; но негодованіе противъ „филистерства" и пошлой литературы, питающей это филистерство, обращается потомъ противъ болѣе общихъ явленій дѣйствительности, служащихъ источникомъ того и другого. Бѣлинскій издавна былъ исполненъ этой вражды къ отсутствію высшихъ духовныхъ интересовъ, олицетворявшихся въ искусствѣ; теперь, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ дѣятельности, посвященныхъ разъясненію искусства и мало удовлетворявшихъ его своими результатами, онъ ищетъ причинъ явленія, и находитъ его въ условіяхъ дѣйствительности. Живя прежде въ исключительномъ кружкѣ, не зная практической дѣйствительности, онъ не отдавалъ себѣ отчета въ общественномъ положеніи искусства. Теперь онъ былъ въ иныхъ условіяхъ: жизнь въ Петербургѣ всякими путями наталкивала его на опыты практическаго свойства; впечатлѣніе было тягостное, и когда Бѣлинскій за-

далъ себѣ опредѣленный вопросъ о дѣйствительности, онъ увидѣлъ, какъ ошибочны были его прежнія теоретическія разсужденія; онъ сталъ наблюдать, старался понять ее, и интересы искусства освѣтились для него болѣе широкими интересами жизни. Передъ нимъ явилась „идея общества". Такъ, самъ собою совершался поворотъ въ его мнѣніяхъ, — и внимательное изученіе біографіи убѣждаетъ, что этотъ поворотъ неизбѣжно совершился бы въ Бѣлинскомъ и безъ постороннихъ личныхъ вліяній, собственнымъ движеніемъ его взглядовъ, по свойствамъ самой его природы и условіямъ общественной жизни. Постороннія вліянія, которыми иные хотятъ объяснить этотъ поворотъ, были при этомъ только второстепеннымъ возбужденіемъ.

Черезъ нѣсколько дней, 24 апрѣля, Бѣлинскій снова пишетъ къ Боткину, напоминая ему о „главномъ пунктѣ" своего прежняго письма, т.-е. о просьбѣ добыть денегъ для „Отеч. Записокъ". Въ письмѣ Боткина, на которое Бѣлинскій здѣсь отвѣчаетъ [1]),—сообщались московскія новости: оказывалось, что въ московскомъ кружкѣ, съ которымъ сближались теперь Г-нъ и его друзья, были споры изъ-за Бѣлинскаго; глава противниковъ, повидимому, возставалъ противъ него, защитникомъ Бѣлинскаго явился М. Б.—Бѣлинскій, въ которомъ еще не прошло раздраженіе прежнихъ споровъ съ этимъ кружкомъ, съ пренебреженіемъ отзывается на то, что „господинъ Г. его не жалуетъ", но вмѣстѣ съ этимъ очень враждебно говоритъ и о защитникѣ... [2]). Повидимому, эти извѣстія снова его разстроивали:

---

1) Этого письма, къ сожалѣнію, не было въ находившемся у насъ собраніи писемъ Боткина къ Бѣлинскому.

2) За нѣсколько дней передъ тѣмъ, 16 апрѣля, Бѣлинскій писалъ къ одному изъ московскихъ друзей, общему пріятелю обоихъ кружковъ, и по тону письма надо думать, что онъ уже начиналъ примиряться съ своими противниками. Онъ проситъ передать его поклоны новымъ знакомцамъ изъ этого кружка. „Мой усердный поклонъ Николаю Платонову, который улыбается (вѣроятно молча и медленно), Николаю Михайловичу (Сатину)—да исправитъ Господь пути его! Александру Ивановичу—да омрачитъ Всевышній его память, чтобъ онъ не говорилъ больше латинскихъ пословицъ, которыхъ я терпѣть не могу, какъ и всего на чужихъ мнѣ языкахъ". Бѣлинскій предоставляетъ своему пріятелю острить надъ этой его слабостью, сколько угодно.

«...Еще просьба,—пишетъ онъ къ Боткину:—если что́ тебя непріятно поразитъ въ моихъ письмахъ, не обращай никакого вниманія... помни, что я боленъ, тяжко боленъ, только самъ будь со мною поосторожнѣе—по той же причинѣ. Впрочемъ, я и физически очень плохъ—одышка доводитъ меня до отчаянія—не даетъ ничего дѣлать...

«Ты познакомился съ Гоголемъ—вотъ такъ поздравляю и даже завидую. Чертовски досадно, что онъ ѣдетъ не черезъ Питеръ, и что я его не увижу,—хоть бы изъ окна въ улицу посмотрѣть на него»...

Въ тотъ же день, 24 апрѣля, Бѣлинскій писалъ Кудрявцеву. Письмо его свидѣтельствуетъ о той мягкой, нѣжной привязанности, какую онъ питалъ къ Кудрявцеву, который, послѣ Боткина, оставался его ближайшимъ другомъ въ Москвѣ. Письмо Бѣлинскаго было отвѣтомъ на два длинныя письма Кудрявцева, отъ 7 января и 3 апрѣля. Кудрявцевъ въ то время только-что оканчивалъ курсъ въ университетѣ (ему былъ тогда 24-й годъ), но его имя уже пріобрѣтало извѣстность: въ университетѣ на него возлагали надежды; Грановскій относился къ нему съ самымъ дружескимъ сочувствіемъ, которымъ еще стѣснялся Кудрявцевъ-студентъ, скромно считая его незаслуженнымъ. Участіе Бѣлинскаго въ „Отеч. Запискахъ" привлекло въ этотъ журналъ и работы Кудрявцева: здѣсь стали печататься его повѣсти (подъ прежними буквами А. Н.), которыя продолжали нравиться Бѣлинскому, хотя вѣроятно и не въ прежней степени, и уже обращали на себя вниманіе своей мягкой, меланхолической задушевностью; въ критическомъ отдѣлѣ журнала помѣщались его рецензіи, отличавшіяся умомъ и тонкимъ эстетическимъ пониманіемъ,—ихъ нерѣдко смѣшивали съ рецензіями Бѣлинскаго [1]). Въ письмахъ къ Бѣлинскому Кудрявцевъ разсказывалъ ему о своихъ университетскихъ занятіяхъ, говорилъ объ ихъ эстетическихъ дѣлахъ, разспрашивалъ Бѣлинскаго объ его петербургской жизни, обращаясь къ нему съ выраженіями самаго теплаго сочувствія.

«Стыдно было бы мнѣ, любезнѣйшій П. Н., читать ваши извиненія передо мною въ молчаніи—пишетъ Бѣлинскій.—Вотъ уже второе письмо

---

[1]) Для тѣхъ изъ читателей, которые мало знакомы съ личностью Кудрявцева, могутъ служить воспоминанія Ешевскаго, „Совр. Лѣтопись", 1858, № 2, и Галахова, „Р. Вѣстникъ", того же года, кн. 4.

отъ васъ ко мнѣ, а отъ меня къ вамъ—ни одного. Но оставимъ это. Мы любимъ другъ друга и знаемъ это безъ всякихъ доказательствъ. Чтó письма—письма вздоръ,—помнить и думать о миломъ человѣкѣ легче, чѣмъ писать къ нему—ей-Богу. А я стражду такою лѣностью, что иногда мнѣ лѣнь дойти до стола обѣденнаго, хоть ѣсть и хочется. За то, еслибы вы знали, съ какою дѣятельностію и жизнію читаю и перечитываю я ваши милыя письма, гдѣ вы такъ и стоите передо мною въ каждой строкѣ, въ каждомъ словѣ, въ вашемъ студенческомъ сюртукѣ, съ трубкою въ рукахъ и съ невозмущаемымъ спокойствіемъ въ лицѣ. О, мой чернокудрявый и молчаливо созерцающій поэтъ, еслибы ваше обѣщаніе пріѣхать въ Питеръ [1]) сбылось и я бы обнялъ васъ въ своей комнатѣ и торжественно усадилъ на свои мягкія кресла, какъ бы нарочно для васъ купленныя! Какая бы это была для меня радость. Чтó вы не пишете, долго ли пробудете въ Питерѣ. Еслибы подольше—да нѣтъ!—во всякомъ случаѣ вы должны пріѣхать прямо ко мнѣ на квартиру и жить со мною—и тогда да благословенъ вашъ путь, а въ противномъ случаѣ—чортъ съ вами. Впрочемъ, что за вздоры—вѣдь вамъ надо же будетъ имѣть квартиру, такъ почему же вамъ не жить со мною... Вотъ запируемъ-то вмѣстѣ съ вами и съ К-вымъ... Перечелъ вашу повѣсть, окрещенную въ «Недоумѣніе» [2])—прекрасная повѣсть. Перечелъ «Катеньку Пылаеву» и «Флейту»—все хорошо и прекрасно, какъ и было. Привезите «Антонину»—у меня ея нѣтъ, а я хочу непремѣнно имѣть все ваше. Батюшка, что вы это творите съ вашимъ Сулье? Господь съ вами! [3]) «Влюбленный Левъ»—прекрасная беллетрическая повѣсть, а «Призракъ любви»—чортъ знаетъ что такое, насилу я дочелъ, и не радъ, что прочелъ. Право, вы заставите меня перечесть эту сказку. Ну, да объ этомъ мы съ вами потолкуемъ и поспоримъ въ Питерѣ. Васъ посылаютъ заграницу—доброе дѣло! Вижу, что университетъ моск. начинаетъ умнѣть, если выбираетъ такихъ людей. А вы отбросьте-ка пустую совѣстливость и недовѣрчивость къ себѣ. Посмотрите на себя не безусловно, а сравнительно съ окружающею васъ россійскою дѣйствительностію, и вы, при всей своей дѣвственной скромности, увидите, что, посылая васъ заграницу, вамъ отдаютъ только должное и дѣлаютъ пользу университету столько-же, какъ и вамъ. Вы рождены для кабинетной жизни—ваша тихая, дѣвственная натура только и годится, что для каѳедры; вы не для треволненій жизни, не для уроковъ и не для службы. О, мой милый будущій профессоръ, еслибъ Богъ привелъ меня послушать васъ и поучиться у васъ! Подвизайтесь, друзья мои, идите впередъ, всѣ къ одной возвы-

---

[1]) По окончаніи курса.

[2]) „Отеч. Зап.“ 1840, кн. 4.

[3]) Это эстетическое препирательство возбуждено было словами Кудрявцева (въ его письмѣ), которому очень нравились повѣсти Сулье, напечатанныя тогда въ „Отеч. Зап.“, и одна напечатанная еще въ „М. Наблюдателѣ“.

шенной цѣли! А я, старый инвалидъ, которому судьба не даетъ сдѣлаться даже и филистеромъ, я буду смотрѣть на васъ, благословлять васъ, гордиться и радоваться, смотря на вашъ гордый полетъ, мои юные, благородные орлы! Судьба сдѣлала меня мокрою курицею—я принадлежу къ несчастному поколѣнію, на которомъ отяжелѣло проклятіе времени, дурного времени!... Да, меня радуетъ новое поколѣніе—въ немъ полнота жизни и отсутствіе гнилой рефлексіи. Вотъ я въ Питерѣ сошелся съ Н. Б.—то-то юноша-то.

«Бога ради, увѣдомьте меня обстоятельно—пріѣдете ли, когда, на долго ли, какъ и проч. Если вамъ лѣнь или некогда, скажите Боткину—онъ напишетъ ко мнѣ. Жду вашего пріѣзда, какъ праздника. Шутка ли—вы и К-въ,—да это Москва цѣлая. Еслибы судьба какъ-нибудь еще занесла лысаго Боткина,—но нѣтъ, съ тѣмъ мнѣ долго не видаться»...

Лѣтомъ 1840 года Бѣлинскій дѣйствительно увидѣлся съ Кудрявцевымъ, который по окончаніи курса пріѣзжалъ не на долго въ Петербургъ.

Слѣдующее письмо къ Боткину, 16 мая, опять свидѣтельствуетъ, что Бѣлинскій мало успокоивался. Одно письмо Боткина очень его утѣшило. „Простыя, но вылившіяся прямо изъ души слова утѣшенія пали на мое сердце, какъ теплый весенній дождь на засохшую землю". Бѣлинскаго тревожили опять личныя исторіи Боткина, отношенія съ М. Б., съ которымъ онъ совершенно разошелся („онъ для меня рѣшеная загадка", писалъ Бѣлинскій)... Наконецъ, онъ обращается къ литературнымъ предметамъ, которые, по обыкновенію, принимаетъ къ сердцу, какъ личные вопросы. Онъ возобновляетъ съ Боткинымъ споръ о непосредственной и „рефлектированной" поэзіи, который велъ съ нимъ раньше по поводу Пушкина.

«Не могу выразить тебѣ всей радости, какую возбудили во мнѣ строки твои по случаю «С. Р. Водъ» В. С. [1]). Что—не правъ ли я? Ты не хотѣлъ мнѣ и отвѣчать на мою филиппику противъ твоего парадокса о Пушкинѣ [2]). О! вы все тѣ же, о, московскія души! Кто не согласенъ съ вами да съ нѣмецкими книжками, съ тѣмъ нечего и толковать—тотъ ничего не понимаетъ. Ты, Б.,—тебѣ всѣхъ стыднѣе,—ты судилъ объ искусствѣ, не зная его, ибо, къ стыду и сраму твоему, «С. Р. Воды» В.

---

[1]) „Сенъ-Ронанскія Воды", Вальтеръ-Скотта.

[2]) Парадоксъ заключался въ мнѣніи Боткина о недостаткѣ рефлексіи у Пушкина, что, по его мнѣнію, было недостаткомъ его поэзіи, а по мнѣнію Бѣлинскаго—великимъ достоинствомъ. См. выше письмо отъ 24 февраля—1 марта.

С. для тебя—новость. Ты видѣлъ искусство въ нѣмецкихъ рефлектировщикахъ, и только Шекспиръ еще производилъ въ тебѣ разумную рефлексію и не давалъ тебѣ твердо стать въ ложномъ убѣжденіи. Ты жалѣешь, что я не могу прочесть Wahlverwandschaften: а я такъ очень радъ этому, ибо и не читавши знаю, что это за нѣщечко такое, не только не художественное, но даже не поэтическое, а превосходное беллетрическое произведеніе съ поэтическими мѣстами и художественными замашками. И если когда я буду въ состояніи прочесть его, прочту, но не для себя, а для тебя, точно также, какъ пойду для пріятеля смотрѣть игру Каратыгина. Я убѣдился теперь, что Кар. дивный актеръ, а видѣть его все-таки не могу. Что В. С. въ обрисовкѣ характеровъ и еще въ чемъ-то Богъ знаетъ какъ выше Гёте,—не согласенъ: какъ между романистами, между ними ничего нѣтъ общаго,—одинъ—великій художникъ, другой—беллетристъ. Можно сказать, что Гёте Богъ знаетъ какъ выше В. Гюго, потому что, несмотря на все ихъ неравенство, какъ романисты они принадлежатъ къ одному роду. Что не отъ Бога, то отъ рукъ человѣка: паровая машина есть торжество человѣческаго ума, но какъ же ее сравнивать или подводить подъ одинъ разрядъ съ растущимъ деревомъ? Не думай, чтобы я отрицалъ необходимость и достоинство рефлектированной поэзіи: напротивъ, я теперь почитаю ее для нашей дикой публики необходимѣе произведеній истиннаго творчества. Она скорѣе ввела бы въ сознаніе нашего общества идею искусства, ибо реф. (рефлектированная поэзія) для толпы доступнѣе, чѣмъ истинное искусство,—и самъ Булгаринъ драмы Шиллера ставитъ выше шекспировскихъ»...

Онъ прочелъ еще новые романы Вальтеръ-Скотта „Пертскую Красавицу“ и „Ниджели“, и въ восторгѣ отъ нихъ:

«Дивный геній! А ты еще не знаешь Купера, который если не равенъ Вальтеръ-Скотту, то ужъ непремѣнно выше его, какъ художникъ. Досадный человѣкъ, такъ бы и прибилъ тебя. Совѣстно и говорить съ тобою объ искусствѣ. Я было ужъ и махнулъ рукою и замолчалъ, да послѣднее письмо твое расшевелило. И это ты, съ которымъ съ однимъ изо всѣхъ мнѣ такъ отрадно было говорить о Шекспирѣ, и—помнишь—кажется, мы понимали другъ другъ. По крайней мѣрѣ, я причисляю эти разговоры къ блаженнѣйшимъ минутамъ моей жизни. А все нѣмцы сбили тебя съ толку. Хорошіе люди—говорятъ объ искусствѣ превосходно, но понимаютъ его плохо»...

Въ концѣ этой тирады, Бѣлинскій забавно вызываетъ Боткина на полемическую переписку по поводу искусства, „общаго“, и проч.: „—Скучно, душа моя, хочешь заняться чѣмъ-нибудь высокимъ, а свѣтская чернь не понимаетъ. Если не согласишься со мною до послѣдней запятой, на колѣняхъ про-

шу тебя—сцѣпимся—право, мнѣ веселѣе будетъ жить, вѣдь безъ войны скучно, да и силы слабѣютъ". Бѣлинскій проситъ Боткина прочесть въ одной изъ его рецензій о „Бурѣ" Шекспира:—„въ ней есть ругачка на тебя и на всѣхъ васъ, нѣмецкихъ спиритуалистовъ-идеалистовъ" [1]). Онъ восхищается статьей К-ва [2]): „Статья К-ва — прелесть: глубоко, послѣдовательно, энергически, и вмѣстѣ спокойно, все такъ мужественно, ни одной дѣтской черты".

«Нѣтъ ли какихъ слуховъ о Кольцовѣ? Въ 5 № «О. З.» стихи Лермонтова (онъ ужъ долженъ быть на Кавказѣ)—прелесть [3]), но у насъ есть на запасѣ еще лучше; пѣсня Кольцова [4])—объядѣніе. Стихи Красова мнѣ рѣшительно не нравятся, особенно «Къ Дездемонѣ»—чортъ знаетъ что такое. Огарева «Старый Домъ» очень понравился и Сатина—водевильные куплеты на манеръ Requiem [5]). Прочти повѣсть Панаева «Бѣлая горячка»—славная вещь; обрати все свое вниманіе на лицо Рябинина—это живой во весь ростъ портретъ Кукольника [Вопросы о переводахъ «В. Мейстера» и «Ричарда II»].. «Цахеса» нельзя и подавать въ цензуру: еще съ годъ назадъ онъ былъ прихлопнутъ цѣлымъ комитетомъ. Премудрый синедріонъ рѣшилъ, что не прежде 10 лѣтъ можно его разрѣшить, ибо-де много насмѣшекъ надъ звѣздами и чиновниками [6])... Нечего печатать по части переводныхъ повѣстей, а оригинальныхъ нѣтъ во всей расейской quasi-литературѣ»...

Письмо отъ 13 іюня опять чрезвычайно любопытно по признаніямъ, раскрывающимъ внутреннюю жизнь Бѣлинскаго. Ему начинаетъ выясняться его тягостное настроеніе; среди его тревожныхъ волненій, Бѣлинскому все больше открывается связь личной жизни съ жизнью общества, и его взгляды постепенно склоняются на другую дорогу. Онъ еще и теперь не вполнѣ сознаетъ это положеніе, но чувствуется, что онъ уже подходитъ къ этому сознанію...

---

[1]) Сочин. IV, стр. 111 и слѣд.

[2]) Вѣроятно — критической статьей о книгѣ Максимовича, въ 4-й кн. „Отеч. Зап." 1840.

[3]) „Воздушный корабль" (изъ Зейдлица).

[4]) „Дума Сокола".

[5]) Стих. Сатина—De profundis.

[6]) „Крошка Цахесъ" Гофмана былъ напечатанъ въ „Отеч. Запискахъ" только въ 1844 году (іюнь).

«Письмо твое, отъ 21-го мая, любезный Б., и обрадовало и глубоко тронуло меня. Я хотѣлъ-было разразиться на него отвѣтомъ листовъ въ пятнадцать, даже уже началъ-было, но статья о Лермонтовѣ отвлекла меня. Не могу дѣлать вдругъ двухъ дѣлъ... Другъ, понимаю твое состояніе, и не виню тебя за то, что ты тяготишься людьми и требуешь уединенія и природы... Страданіе твое болѣзненно, въ немъ много слабости и безсилія, но не вини въ этомъ ни себя, ни свою натуру. Мы, въ этомъ отношеніи, всѣ какъ двѣ капли воды: по жизни ужасныя дряни, хотя по натурамъ и очень не пошлые люди... На насъ обрушилось безалаберное состояніе общества, въ насъ отразился одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ общества, силою отторгнутаго отъ своей непосредственности и принужденнаго тернистымъ путемъ идти къ пріобрѣтенію разумной непосредственности, къ *очеловѣченію*. Положеніе истинно трагическое! Въ немъ заключается причина того, что наши души походятъ на дома, построенные изъ кокоръ—вездѣ щели. Мы не можемъ шагу сдѣлать безъ рефлексіи, беремся за кушанье съ нерѣшимостью, боясь, что оно вредно. Что дѣлать? Гибель частнаго въ пользу общаго—міровой законъ. Въ утѣшеніе наше (хоть это и плохое утѣшеніе) мы можемъ сказать, что хоть Гамлетъ (какъ характеръ) и ужасная дрянь, однакожъ онъ возбуждаетъ во всѣхъ еще больше участія къ себѣ, чѣмъ могущій Отелло и другіе герои шекспировскихъ драмъ. Онъ слабъ и самому себѣ кажется гадокъ, однако только пошляки могутъ называть его пошлякомъ и не видѣть проблесковъ великаго въ его ничтожности. Воспитаніе лишило насъ религіи, обстоятельства жизни (причина которыхъ въ состояніи общества) не дали намъ положительнаго образованія и лишили *всякой* возможности сродниться съ наукою; съ дѣйствительностію мы въ ссорѣ и по праву ненавидимъ и презираемъ ее, какъ и она по праву ненавидитъ и презираетъ насъ. Гдѣ-жъ убѣжище намъ?—На необитаемомъ островѣ, которымъ и былъ нашъ кружокъ. Но послѣднія наши ссоры показали намъ, что для призраковъ нѣтъ спасенія и на необит. островѣ. Я разстался съ тобою холодно (дѣло прошлое!), безъ ненависти и презрѣнія, но и безъ любви и уваженія, ибо потерялъ всякую вѣру въ самого себя. Въ Петербургѣ, съ необитаемаго острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ,—и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ *москводушію* [1]), но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросается въ общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?»...

---

[1]) Бѣлинскій называлъ такъ идеалистическое простодушіе.

Онъ приводитъ нѣсколько стиховъ изъ Лермонтовской „Думы“ и продолжаетъ:

«А кстати: я несогласенъ съ твоимъ мнѣніемъ о натянутости и изысканности (мѣстами) Печорина: онѣ разумно-необходимы. Герой нашего времени долженъ быть таковъ. Его характеръ—или рѣшительное бездѣйствіе, или пустая дѣятельность. Въ самой его силѣ и величіи должны проглядывать ходули, натянутость и изысканность. Лермонтовъ—великій поэтъ: онъ объектировалъ современное общество и его представителей [1])...

«Да, наше поколѣніе—израильтяне, блуждающіе по степи, и которымъ никогда не суждено узрѣть обѣтованной земли. И всѣ наши вожди—Моисеи, а не Навины. Скоро ли явится сей вождь?»...

Эти слова очень характеристичны. Они ясно указываютъ, гдѣ, по признанію самого Бѣлинскаго, былъ главнѣйшій толчокъ, опредѣлившій его идеи:—онъ „сталъ лицомъ къ лицу съ обществомъ“; отсюда шло внутреннее страданіе, и цѣной его совершился въ Бѣлинскомъ тотъ переломъ, съ какого начинается его новая мысль. Далѣе, въ этихъ словахъ особенно можно видѣть, какъ въ личной исторіи Бѣлинскаго отражалось вмѣстѣ внутреннее развитіе цѣлаго поколѣнія, и становится понятно, почему это поколѣніе съ такимъ увлеченіемъ приняло Лермонтова: въ томъ, что́ для нашего времени кажется нерѣдко натянутымъ или аффектированнымъ, люди того поколѣнія видѣли полное и глубокое выраженіе ихъ собственной мысли и страданія. Бѣлинскій иногда чувствовалъ эту аффектацію у Лермонтова, но ему всегда хотѣлось найти ей разумное истолкованіе. Мысль объ обществѣ начинаетъ такимъ образомъ становиться прочнымъ интересомъ Бѣлинскаго, отчасти уже освѣщаетъ ему и прошлое. Въ слѣдующихъ словахъ ему очевидно вспоминаются споры съ противниками,—Бѣлинскій начинаетъ отдавать имъ справедливость:

«Живу я ни хорошо, ни слишкомъ худо. Къ Питеру притерпѣлся. Спасибо ему. Я уже не узнаю себя и вижу ясно, что́ надо въ себѣ бить: это его дѣло. Въ письмѣ нельзя высказать этого. Больше всего меня радуетъ, что я узналъ наконецъ, что чужія мысли, какъ бы ни противо-

---

[1]) Эту мысль развивалъ Бѣлинскій на статьѣ о „Героѣ нашего времени“, въ „Отеч. Запискахъ“ 1840, кн. 6—7 (Сочин. т. III, стр. 547 и слѣд.).

рѣчили нашимъ, должно выслушивать съ уваженіемъ и любопытствомъ, если только говорящій ихъ понимаетъ самъ себя. Недавно я поймалъ себя въ двухъ или трехъ случаяхъ, принявши за явную нелѣпость чужое мнѣніе (потому только, что оно противорѣчило моему), и потомъ увидѣлъ, что оно имѣло основаніе и заставляло меня отступиться отъ кровнаго убѣжденія, принявъ въ него новую сторону, новый элементъ. Всякая индивидуальность есть столько же и ложь, сколько и истина — человѣкъ ли то, народъ ли, и только ознакомляясь съ другими индивидуальностями, они выходятъ изъ своей индивидуальной ограниченности. Но объ этомъ послѣ. Съ французами я помирился совершенно [1]): не люблю ихъ, но уважаю. Ихъ всемірно-историческое значеніе велико. Они не понимаютъ абсолютнаго и конкретнаго, но живутъ и дѣйствуютъ въ ихъ сферѣ. Любовь моя къ родному, къ русскому, стала грустнѣе: это уже не прекраснодушный энтузіазмъ, но страдальческое чувство. Все субстанціальное въ нашемъ народѣ велико, необъятно, но опредѣленіе гнусно, грязно, подло».

Онъ проситъ Боткина непремѣнно прочесть „Краснаго морского разбойника“ Купера, которымъ тогда восхищался. Но и В. Скоттъ и Куперъ, какъ ни велики сами по себѣ, въ сравненіи съ Шекспиромъ они малы и обыкновенны. Бѣлинскій еще разъ прочиталъ „Ричарда II“... „Нѣтъ, братъ, что́ ни говори, а на счетъ Шиллера кто-нибудь изъ насъ грубо не понимаетъ одного. Все, что́ ты о немъ пишешь — правда, да только трагедій-то его читать нѣтъ мочи“.

Къ Петербургу онъ „притерпѣлся“; онъ сдѣлалъ новыя знакомства, именно съ кружкомъ Комарова, гдѣ бываетъ по субботамъ: „разъ въ недѣлю мнѣ надо быть въ многолюдствѣ молодомъ и шумномъ“. Но ему все еще памятенъ старый московскій кружокъ, и Бѣлинскій пришелъ-было въ восторгъ, когда Боткинъ написалъ ему о своемъ намѣреніи ѣхать въ Петербургъ,—намѣреніи однако не состоявшемся: „Ты сбирался въ Питеръ... Боже мой, да отъ одной мысли объ этомъ свиданіи выступаютъ у меня слезы на глазахъ. Недѣля, проведенная съ тобою, была бы вознагражденіемъ за восемь мѣсяцевъ тяжелаго страданія. Сколько бы надо было сказать другъ другу, какъ бы каждое слово было полно души и значенія, каждый разговоръ живъ, споръ интересенъ! Ахъ, Б., зачѣмъ ты написалъ мнѣ объ

---

[1]) См. отзывы московскихъ временъ и письмо, отъ 14 марта, 1840.

этомъ несбывшемся намѣреніи, лучше бы мнѣ было не знать о немъ"...

Это письмо отправлялось съ П. В. А-вымъ, съ которымъ Бѣлинскій незадолго передъ тѣмъ познакомился. Бѣлинскій говоритъ о немъ съ самымъ теплымъ сочувствіемъ, какъ о близкомъ человѣкѣ, посвященномъ въ его интимную жизнь, который можетъ разсказать Боткину и то, чего онъ не помѣщаетъ въ письма...

Затѣмъ въ нашемъ матеріалѣ перерывъ въ письмахъ на два мѣсяца, до середины августа.

Лѣтомъ была въ Петербургѣ „цѣлая Москва". Пріѣхалъ, какъ упомянуто, Кудрявцевъ; жилъ въ Петербургѣ прежній философскій другъ, собиравшійся ѣхать за границу, гдѣ его цѣлью былъ Берлинъ и его философія; наконецъ, пріѣхалъ К-въ. Боткинъ былъ по своимъ торговымъ дѣламъ на нижегородской ярмаркѣ.

Въ маѣ уѣзжалъ за границу одинъ изъ петербургскихъ пріятелей, П. Ѳ. З-нъ. Бѣлинскій поручалъ ему отыскать въ Берлинѣ профессора Вердера, и узнать отъ него, что́ дѣлается съ Станкевичемъ. Вердеръ, наставникъ Станкевича въ гегелевской философіи, сталъ его близкимъ другомъ, и послѣ около него собиралась обыкновенно небольшая колонія русскихъ искателей философіи. Въ письмѣ изъ Берлина, отъ 13 іюня, З-нъ сообщалъ Бѣлинскому неутѣшительныя извѣстія: Вердеръ говорилъ, что здоровье Станкевича (жившаго тогда въ Неаполѣ) очень плохо, и что онъ едвали поправится; то же подтвердилъ и Тургеневъ, постоянно видѣвшій Станкевича въ Неаполѣ и находившійся тогда въ Берлинѣ...

Только въ августѣ дошло до Бѣлинскаго извѣстіе о смерти Станкевича — человѣка, который по справедливости считался главой московскаго кружка, пользовался въ его средѣ неоспариваемымъ авторитетомъ и горячей привязанностью друзей. Извѣстіе пришло отъ А. П. Ефремова, одного изъ старыхъ московскихъ друзей, который былъ съ Станкевичемъ за-грани-

цей и былъ свидѣтелемъ его смерти [2]). Степень привязанности Бѣлинскаго къ Станкевичу читатель увидитъ изъ слѣдующихъ здѣсь писемъ. Бѣлинскій, по его словамъ, принялъ равнодушно извѣстіе объ его смерти. Изъ письма видно, что это равнодушіе было тупое подчиненіе страшной судьбѣ, что горесть скрывалась за ожесточеніемъ.

«...Письмо мое доставитъ тебѣ не радость и утѣшеніе, а горесть и страданіе,—пишетъ Бѣлинскій.—Ни слова больше объ утѣшеніи и радости—это слова обманчивыя и безсмысленныя, понятія отрицательныя, а не положительныя! Я все думалъ, что горе и страданіе даны человѣку для того, чтобы онъ лучше зналъ радость и блаженство; но теперь, какъ опытъ заставилъ меня глубже заглянуть въ жизнь, я вижу, что радость и блаженство даны человѣку для того, чтобы онъ сильнѣе страдалъ, жесточае мучился,—и жалокъ тотъ, кто ищетъ въ жизни не минутъ счастія, а прочнаго счастія, кто видитъ въ жизни не рядъ бивуаковъ, а постоянный домъ съ филистерскимъ халатомъ! Еще есть въ немъ смыслъ, если онъ чувствуетъ въ себѣ благородную рѣшимость и божественную способность сдѣлаться филистеромъ во всемъ значеніи этого слова, т.-е. скотиною вполнѣ... Но если онъ неспособенъ сойтись съ прозою жизни и довольствоваться прѣсною водою съ нѣсколькими каплями вина,—нѣтъ ему счастія на землѣ, хотя онъ и болѣе, чѣмъ кто другой, и желаетъ счастія, и стремится къ нему, и достоинъ его!

«Знаешь ли, Боткинъ,—ну да что за эффектныя предисловія—къ чорту ихъ и прямѣе къ дѣлу. Боткинъ—Станкевичъ умеръ!

«Боже мой! Кто ждалъ этого? Не былъ ли бы, напротивъ, каждый изъ насъ убѣжденъ въ невозможности такой развязки столь богатой, столь чудной жизни? Да, каждому изъ насъ казалось невозможнымъ, чтобъ смерть осмѣлилась подойти безвременно къ такой божественной личности и обратить ее въ ничтожество. Въ *ничтожество*, Боткинъ. Послѣ нея ничего не осталось, кромѣ костей и мяса, въ которыхъ теперь кишатъ черви. Онъ живетъ, скажешь ты, въ памяти друзей, въ сердцахъ, въ которыхъ онъ раздувалъ и поддерживалъ искры божественной любви. Такъ, но долго ли проживутъ эти друзья, долго ли пробьются эти сердца? Увы! ни вѣра, ни знаніе, ни жизнь, ни талантъ, ни геній не безсмертны! Безсмертна одна смерть: ея колоссальный, побѣдоносный образъ гордо возвышается на престолѣ изъ костей человѣческихъ и смѣется надъ надеждами, любовію, стремленіями!...

О, горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!

—сказалъ старикъ Державинъ»...

---

[2]) Анненковъ, біографія Станкевича, стр. 231—233.

Онъ приводитъ нѣсколько стиховъ изъ стихотворенія „На смерть кн. Мещерскаго“,—и продолжаетъ:

«Видишь ли, какая разница между прошлымъ и настоящимъ вѣкомъ? Тогда еще употребляли слова *тамъ* и *туда*, обозначая ими какую-то terram incognitam, которой существованію сами не вѣрили; теперь и не вѣрятъ... и не употребляютъ даже въ шутку этихъ пустыхъ словъ...

«Общее—это палачъ человѣческой индивидуальности. Оно опутало ее страшными узами: проклиная его, служишь ему невольно.

«Смерть Ст. не произвела на меня никакого особеннаго впечатлѣнія. Я принялъ извѣстіе о ней довольно равнодушно. Думаю, что, причина этого отчасти и долговременная разлука: Ст. оставилъ меня совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ я сталъ теперь и былъ безъ него. Онъ поѣхалъ въ Европу, я въ Азію — на Кавказъ. Духовную жизнь мою я считаю съ возвращенія съ Кавказа,—и все это развитіе до сей минуты (лучшее, по крайней мѣрѣ примѣчательнѣйшее время моей жизни) совершалось безъ него. Разлука—ужасная вещь... Но это не главное. Главная причина — состояніе моего духа, апатическое, сухое, безотрадное, причины котораго и во внѣшнихъ обстоятельствахъ и внутри. Внѣшнія мои обстоятельства худы до нельзя, до послѣдней крайности. А внутри—не умѣю и сказать. Мысль о тщетѣ жизни убила во мнѣ даже самое страданіе. Я не понимаю, къ чему все это и зачѣмъ: вѣдь всѣ умремъ и сгніемъ—для чего-жъ любить, вѣрить, надѣяться, страдать, стремиться, страшиться? Умираютъ люди, умираютъ народы,—умретъ и планета наша, — Шекспиръ и Гоголь будутъ ничто. Извѣстіе о смерти Ст. только утвердило меня въ этомъ состояніи. Смерть Ст. показалась мнѣ тѣмъ болѣе естественна и необходима, чѣмъ святѣе, выше, геніальнѣе его личность:

Все великое земное
Разлетается какъ дымъ:
Нынѣ жребій выпалъ Троѣ,
Завтра выпадетъ другамъ.

«Все вздоръ — калейдоскопическая игра китайскихъ тѣней. О чемъ же жалѣть!...

«Ст. умеръ въ Нови, между Миланомъ и Генуею, въ ночь съ 24 на 25 іюня»...

Въ томъ же настроеніи пишетъ онъ (23 августа) къ Ефремову:

«...Станкевича нѣтъ, и я уже не увижу его никогда, и никто никогда не увидитъ его,—странная, дикая, неестественная идея! Мнѣ все не вѣрится, все кажется, что смерть не посмѣла бы разрушить такой божественной личности. Разлука много отняла у меня: ты знаешь, какъ мы всѣ были глупы, когда оставилъ онъ насъ. Онъ не былъ свидѣтелемъ са-

маго важнаго періода моего развитія, онъ давно уже существовалъ для меня въ прошедшемъ, какъ воспоминаніе, какъ живое представленіе лучшаго, прекраснѣйшаго, что̀ зналъ я въ жизни. О, если бы ты зналъ, Ефремовъ, какъ я завидую тебѣ: ты жилъ съ нимъ цѣлый годъ, ты присутствовалъ при его послѣднихъ минутахъ, ты навсегда сохранишь живую память его просіявшаго по смерти лица»...

И здѣсь Бѣлинскій говоритъ опять съ недоумѣніемъ, что извѣстіе не произвело на него глубокаго впечатлѣнія.

«Странное дѣло! Какъ глубоко страдалъ я, и какъ религіозно было мое страданіе, когда умерла *она* [1]), которая была совершенно чужое мнѣ, хотя и прекрасное явленіе! Для меня было величайшимъ счастіемъ знать ее, видѣть и слышать, — и такъ хорошо зналъ ее, такъ мило видѣлъ и слышалъ ее; но большаго для меня и не могло быть; тогда какъ онъ называлъ меня своимъ другомъ, ему обязанъ я всѣмъ, что̀ есть во мнѣ человѣческаго,—и его смерть произвела на меня такое не глубокое впечатлѣніе! Можетъ быть, тутъ много значитъ, что я хоть мигъ, но видѣлъ ее не задолго до смерти. Но я думаю, что главная причина — мое теперешнее состояніе, которое можно характеризовать такъ: вѣры нѣтъ, знанія и не бывало, а сомнѣнія превратились въ убѣжденія. Мысль о томъ, что все живетъ одно мгновеніе... эта мысль превратила для меня жизнь въ мертвую пустыню, въ безотрадное царство страданія и смерти. Смерть, смерть! вотъ истинный Богъ міра..... Зачѣмъ родился, зачѣмъ жилъ Станкевичъ? Что̀ осталось отъ его жизни, что̀ дала ему она? Нѣтъ, ему надо было умереть, потому что чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше...

«Бога ради, Ефремовъ, увѣдомь меня, какъ можно подробнѣе обо всемъ, до малѣйшей подробности, — и какъ онъ жилъ, и какъ умиралъ. Не полѣнись, душа моя, — помни, что то̀, что̀ ты знаешь о немъ, есть общее наше достояніе. О, какъ жажду я видѣться съ тобою! Будетъ ли это когда-нибудь, или и ты скоро же умрешь? Собери всѣ мои письма къ Станкевичу для доставленія ко мнѣ, если воротишься, или найдешь случай. Для меня священна собственная моя строка, которую читали его глаза»...

Сомнѣніе и скептицизмъ находитъ Бѣлинскій и въ своемъ новомъ чтеніи, между прочимъ вмѣстѣ съ К-вымъ, который былъ въ это время въ Петербургѣ. Въ Москвѣ К-въ читывалъ Бѣлинскому Гегеля; теперь чтеніе возобновлялось въ другомъ направленіи, — гдѣ для нихъ „исчезала всякая достовѣрность въ жизни и знаніи".

---

[1]) Та дѣвушка, о которой говорится въ письмѣ Бѣлинскаго, отъ августа 1838 (гл. V).

«К-въ читалъ мнѣ отрывки изъ Фрауенштета (пишетъ Бѣлинскій) — молодецъ Фрауенштетъ! Послѣ его брошюрки прпадетъ охота не только резонерствовать, или мыслить, но и что-нибудь утверждать. Очень радъ, что тебѣ понравилась 2-я ст. моя о Лермонтовѣ [1]). Кроткій тонъ ея — результатъ моего состоянія духа: я не могу ничего ни утверждать, ни отрицать, и по неволѣ стараюсь держаться середины. Впрочемъ, будущія мои статьи должны быть лучше прежнихъ: 2-я ст. о Лермонтовѣ есть начало ихъ. Отъ теорій объ искусствѣ я снова хочу обратиться къ жизни и говорить о жизни. Въ «Набл.» и «От. Зап.» я доселѣ колобродилъ, но это колобродство полезно: благодаря ему, въ моихъ статьяхъ будетъ какое-нибудь содержаніе, не такъ какъ въ Телескопскихъ»...

Бѣлинскій уже давно смотрѣлъ на свою дѣятельность въ „Наблюдателѣ" какъ на „дѣло прошлое", какъ на увлеченіе. Такъ онъ говоритъ объ этомъ журналѣ еще въ одной изъ статей апрѣльской книжки „Отеч. Записокъ" [2]).

Въ припискѣ къ этому письму, онъ припомнилъ, что читаетъ „Антонія и Клеопатру" Шекспира, и восклицаетъ: „Творецъ небесный, неужели и Шекспиръ сгнилъ—и только? Бога ради, Боткинъ, скажи мнѣ, есть ли у Шекспира хоть что-нибудь, не говорю — дрянное, а не великое, не божественное?" Онъ читаетъ „запоемъ" Вальтеръ-Скотта; прочелъ пять трагедій Софокла—новыя впечатлѣнія;—„новый міръ искусства открылся передо мною. Вижу, что одно сознаніе законовъ искусства безъ знанія произведеній его—суета суетъ". По словамъ его, К-въ „много заставилъ его двинуться, самъ того не зная". Онъ опять рекомендуетъ Боткину читать романы Купера, „Послѣдній изъ Могиканъ", и другой, который готовился для „Отеч. Записокъ"—„Путеводитель въ Пустынѣ" (The Pathfinder). служащій продолженіемъ „Могиканъ". „Глубокое, дивное созданіе,—замѣчаетъ онъ о Патфайндерѣ:—К-въ говоритъ, что многія мѣста этого романа украсили бы драму Шекспира"...

Тѣмъ же 12-мъ августа помѣчено другое (вѣроятно ранѣе писанное) письмо Бѣлинскаго, посвященное разсказу совсѣмъ иного рода, именно подробному описанію той ссоры, происшедшей на его квартирѣ между двумя его пріятелями,— о которой гово-

---

[1]) „От. Зап." 1840, № 7; Соч. III, стр. 592 и слѣд.

[2]) Статья о „Репертуарѣ", Соч. IV, стр. 86.

ритъ Панаевъ въ „Литер. Воспоминаніяхъ“ [1]). Ссора приняла столь сильные размѣры, что результатомъ ея былъ вызовъ на дуэль. Бѣлинскій перетревожился до послѣдней степени, и, описывая событіе нѣсколько времени спустя и успокоившись, съ добродушнымъ комизмомъ изображаетъ свою собственную роль въ этой исторіи. Для дуэли были необходимы секунданты— приходилось выбирать ихъ между пріятелями, и Бѣлинскій, при всей малой способности къ такимъ воинственнымъ вещамъ, рѣшился-было быть однимъ изъ секундантовъ. Но дѣло было отложено, затѣмъ, что противники рѣшили — для бо̀льшаго удобства — произвести свою дуэль за границей, куда вскорѣ одинъ изъ нихъ уѣхалъ; другой выѣхалъ изъ Петербурга осенью 1840... Дуэль однако не состоялась и за границей.

Въ первыхъ числахъ сентября, Бѣлинскій писалъ къ одному новому заочному знакомцу, котораго рекомендовалъ ему Боткинъ и который послѣ присоединился къ петербургскому кружку пріятелей Бѣлинскаго. Боткинъ узналъ Кульчицкаго въ Харьковѣ, куда, по зимамъ, ѣздилъ по торговымъ дѣламъ своего отца; онъ встрѣтилъ Кульчицкаго въ семействѣ Кронеберговъ. Это былъ „харьковскій литераторъ“, — какихъ описывалъ г. Де-Пуле въ біографіи Д. И. Каченовскаго,—еще молодой человѣкъ, съ легкимъ талантомъ, весело остроумный, но еще большой романтикъ. Онъ былъ великимъ поклонникомъ Бѣлинскаго, котораго очень цѣнили и въ семействѣ Кронеберговъ, гдѣ хранились литературныя традиціи отца, упомянутаго нами прежде профессора. Боткинъ (въ письмѣ 9—12 февр., писанномъ послѣ поѣздки въ Харьковъ) разсказывалъ Бѣлинскому объ его харьковскихъ друзьяхъ и почитателяхъ; и завлекъ любопытство и воображеніе Бѣлинскаго [2]). Кульчицкій задумывалъ ѣхать въ Петербургъ, но ему нетерпѣливо хотѣлось познакомиться съ Бѣлинскимъ, и онъ еще въ началѣ года написалъ Бѣлинскому письмо, которое очень понравилось ему своимъ

---

[1]) „Современникъ“, 1861, № 11, стр. 46—47. Поводомъ къ ссорѣ были вовсе не „разсужденія о разныхъ философскихъ вопросахъ“, какъ говоритъ Панаевъ, а чисто личныя отношенія.

[2]) См. выше, письмо Бѣлинскаго, отъ 18 февраля.

добродушнымъ юморомъ. Знакомство началось, но Бѣлинскій собрался отвѣчать ему только 3-го сентября. Кульчицкій присылалъ тогда небольшія статейки въ „Литер. Газету"; впослѣдствіи онъ участвовалъ и въ „Отеч. Запискахъ".

Въ письмѣ Бѣлинскаго есть біографическія черты, не лишенныя интереса.

«Я давно полюбилъ васъ искренно (пишетъ онъ, начавъ письмо извиненіями въ своемъ невѣжливомъ молчаніи), по разсказамъ Василія Петровича и вашимъ къ нему письмамъ (которыя, NB, читая, всегда хохоталъ до слезъ)...

«Напрасно думаете вы, что кромѣ Боткина въ Харьковѣ все чуждо мнѣ: нѣтъ, Харьковъ давно уже представляется мнѣ въ мистическомъ свѣтѣ. Кромѣ уже васъ, котораго я считаю однимъ изъ самыхъ короткихъ моихъ знакомыхъ, меня давно интересовало семейство Кронеберговъ. Вамъ должно быть извѣстно, что я лично знакомъ съ Андреемъ Ивановичемъ [1]), равно какъ и то, что покойный его родитель, не задолго до смерти своей, почтилъ меня перепискою со мною. Память этого незабвеннаго для всѣхъ человѣка священна мнѣ; храню съ умиленіемъ, какъ святыню, его письма ко мнѣ, и горжусь его вниманіемъ ко мнѣ, хотя оно и было снисхожденіемъ къ молодому человѣку за доброе направленіе его натуры (къ тому же слишкомъ расхваленной усерднымъ пріятелемъ), а не заслуженная дань его достоинствамъ. Мнѣ не нужно увѣрять васъ, что заочное знакомство съ отцомъ и личное съ сыномъ представили мнѣ все семейство въ какомъ-то идеальномъ таинственномъ свѣтѣ, и возбудили во мнѣ живѣйшее желаніе (Боткинъ сказалъ бы: Sehnsucht) узнать его, тѣмъ болѣе, что оный часто упоминаемый Боткинъ наговорилъ мнѣ о немъ такъ много поэтически-прекраснаго».

Въ письмѣ къ Боткину, отъ 5 сентября, развиваются темы, затронутыя прежде—тщета жизни, невѣріе въ дѣйствительность, недостовѣрность знанія. Боткинъ, въ письмѣ къ Бѣлинскому, жаловался съ своей стороны, что его благія стремленія не находятъ осуществленія, что отъ нихъ остается только „дымъ фантазій и мечтаній". Бѣлинскому также слишкомъ извѣстенъ этотъ дымъ.

«...Но я въ томъ разнюсь отъ тебя,—говоритъ онъ,—что дымъ и называю дымомъ, не стою за нашъ вѣкъ, за который ты ратуешь съ такимъ донъ-кихотскимъ задоромъ! Другъ, это все слова и фразы, это тотъ

---

[1]) Извѣстный переводчикъ, между прочимъ едва ли не лучшій переводчикъ Шекспира.

дымъ, которымъ испарилась наша молодость. Ты переживаешь себя, заживо умираешь, а все по старой привычкѣ кричишь о разумности жизни. Если какой-нибудь гегеліанецъ (кажется, Фрауенштетъ), подкапываясь подъ основанія гегелизма, доходитъ до результата, что мысль (которую мы приняли за критеріумъ бытія) насъ надуваетъ, надѣвая на наши глаза очки, сквозь которыя мы видимъ все какъ ей угодно, а не какъ должно,—и восклицаетъ съ отчаяніемъ: «спасите меня, погибаю»,—такъ намъ ли, о, Боткинъ, не вопить, или, по крайней мѣрѣ, намъ ли защищать дѣйствительность, если она, столь безконечно могущественнѣйшая насъ, такъ плохо защищаетъ сама себя? Что до личнаго безсмертія,—какія бы ни были причины, удаляющія тебя отъ этого вопроса и дѣлающія тебя равнодушнымъ къ нему,—погоди, придетъ время, не то запоешь. Увидишь, что этотъ вопросъ—альфа и омега истины, и что въ его рѣшеніи,—наше искупленіе. Я плюю на философію, которая потому только съ презрѣніемъ прошла мимо этого вопроса, что не въ силахъ была рѣшить его. Гегель не благоволилъ ко всему фантастическому, какъ прямо противоположному опредѣленно-дѣйствительному. К-въ говоритъ, что это—*ограниченность*. Я съ нимъ согласенъ»...

Онъ вспоминаетъ опять о смерти Станкевича: „что же стало съ нимъ? А развѣ это пустой вопросъ? Развѣ безъ его рѣшенія возможно примиреніе?.. Нѣтъ, я такъ не отстану отъ этого Молоха, котораго философія назвала Общимъ, и буду спрашивать у него: куда дѣлъ ты его и что́ съ нимъ стало?“

Между извѣстіями и вопросами о друзьяхъ, онъ упоминаетъ объ А. И. Кронебергѣ, который въ это время работалъ надъ Шекспиромъ, и жалѣетъ, что не очень поладилъ съ нимъ въ прежнее время (вѣроятно, еще въ Москвѣ). Бѣлинскому очень нравится его статья [1]); въ ней онъ видитъ хорошее пониманіе Шекспира,—„а это много“; ему нравится и переводъ „Ричарда II“, обнаруживающій глубоко-поэтическую натуру.

Письмо, отъ 4 октября, высказываетъ уже въ очень опредѣленной формѣ тотъ поворотъ въ мнѣніяхъ Бѣлинскаго, который совершался въ немъ съ его переселенія въ Петербургъ такимъ медленнымъ, мучительнымъ процессомъ сомнѣній, недовольства самимъ собой, борьбы, отчаянія и ожесточенія. „Дѣйствительность“ давно перестала быть для него тѣмъ, чѣмъ была прежде; онъ все чаще возвращается къ мысли объ обществѣ,

---

[1]) Шекспиръ. Обзоръ мнѣній о Шекспирѣ, высказанныхъ европейскими писателями въ XVIII и XIX столѣтіяхъ. „От. Зап.“, 1840, № 9.

и досадуетъ на прежнія идеалистическія заблужденія... Мы видѣли, какъ постоянно видоизмѣнялись въ новомъ направленіи его мысли о дѣйствительности, „общемъ", о „французахъ", о Шиллерѣ, объ Entsagung, о любви,—каждое видоизмѣненіе было шагомъ къ новой системѣ понятій... Теперь онъ споритъ противъ Боткина, считавшаго свою натуру непроизводительною въ литературномъ смыслѣ; и объясняетъ, что причина этой малой производительности заключается въ томъ, что самъ Боткинъ знаетъ, какъ мало можетъ онъ встрѣтить себѣ сочувствія въ обществѣ, которое скорѣе всего отвѣтитъ на его трудъ пренебреженіемъ или чѣмъ-нибудь хуже.

«Но чортъ съ нимъ (съ обществомъ), — наша участь — схимничество. Проклинаю мое гнусное стремленіе къ примиренію съ гнусною дѣйствительностію! Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эманципаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма! какъ восклицалъ великій Пушкинъ. Для меня теперь *человѣческая личность* выше исторіи, выше общества, выше человѣчества. Это мысль и дума вѣка! Боже мой, страшно подумать, что́ со мною было—горячка или помѣшательство ума—я словно выздоравливающій. Да, Б., ты ничего путнаго не сдѣлаешь, хотя и доказалъ, что ты много-много прекраснаго могъ бы сдѣлать; но ни ты, ни твоя натура въ томъ не виноваты. Это общая наша участь,—и на этотъ счетъ я спою тебѣ славную пѣсенку—

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ, безъ шума и слѣда (и проч.).

Ну, а пока будемъ что-нибудь дѣлать хоть для забавы, разсѣянія отъ скуки или отъ безполезныхъ думъ объ испанскихъ дѣлахъ»...

Дальше мы встрѣтимъ еще болѣе рѣшительныя выраженія новаго взгляда на вещи...

Боткинъ упрекалъ „Отеч. Записки" въ недостаткѣ живыхъ историческихъ статей и иностранной критики (самъ онъ приготовилъ переводъ изъ Рётшера, который назначался въ 1-ю книжку „Отеч. Зап." 1841 года). Бѣлинскій отвѣчаетъ на это: „Да гдѣ же ихъ взять? Вѣдь „О. З". издаются трудами *трехъ* только человѣкъ—Кр., К-ва и меня—не разорваться же намъ, а другіе всѣ, могущіе дѣлать, отговариваются тѣмъ, что у нихъ не производящія натуры".

Бѣлинскій получилъ наконецъ отъ своего друга отзывъ о

Куперѣ. Они совершенно сошлись во мнѣніи объ этомъ писателѣ.

«Величайшій художникъ! — восклицаетъ Бѣлинскій: — я горжусь тѣмъ, что давно его зналъ и давно ожидалъ отъ него чудесъ, но это чудо («Патфайндеръ»), признаюсь, далеко превзошло всѣ усилія моей бѣдной фантазіи. «Сенъ-Ронанскія Воды» торжественно признаю лучшимъ романомъ В. Скотта,—но куда до «Патфайндера!» [1]).

Вопросъ о безсмертіи занималъ Боткина меньше и иначе. Бѣлинскій мирится съ этимъ разнорѣчіемъ ихъ интересовъ, потому что идеи нельзя навязать другому; пусть Боткинъ думаетъ объ этомъ иначе, за то у него есть свои, поглощающія его идеи, и, дѣлясь своими идеями и своими страданіями, они будутъ дополнять другъ другу созерцаніе жизни,—тогда у нихъ не будетъ пустыхъ споровъ и возникнетъ живое пониманіе и симпатія. „Увидимся, потолкуемъ и поспоримъ"; ...но, замѣчаетъ онъ, „не могу пока умолчать объ одномъ, что меня теперь всего поглотила идея *достоинства человѣческой личности* и ея горькой участи — ужасное противорѣчіе!" Онъ дѣлится съ Боткинымъ и слѣдующимъ замѣчаніемъ: „М. Б. [2]) пишетъ, что Станк. вѣрилъ личному безсмертію, Штраусъ и Вердеръ вѣрятъ. Но мнѣ отъ этого не легче: все также хочется вѣрить и все также не вѣрится".

Бѣлинскій обрадованъ былъ новыми разсужденіями своего друга объ Entsagung, отъ котораго онъ такъ упорно, почти съ ненавистью отрекался [3]).

«Именно, оно (Entsagung) есть свободное, вслѣдствіе нравственнаго понятія, отреченіе отъ блага жизни и принятіе на себя страданія; а не невольное. Вотъ я и правъ былъ, что это слово и бѣсило, и оскорбляло меня. У меня отнимали то, чего я не имѣлъ еще и случая выказать. Можетъ быть, во мнѣ этого и нѣтъ, а можетъ быть и есть — кто знаетъ? Я самъ не могу знать. Ты пишешь, что опять сошелся съ самимъ собою, что призракъ счастія разбитъ — признаюсь въ грѣхѣ — плохо вѣрю... Я вообще съ тобою въ одномъ страшно и дико разошелся: читаю и не вѣрю глазамъ своимъ, когда ты говоришь о жизни и счастіи, съ уваженіемъ

---

[1]) Этотъ романъ Купера былъ тогда переведенъ въ „Отеч. Запискахъ", 1840, № 8 и 9.

[2]) Находившійся уже за границей.

[3]) Ср. выше письмо, отъ 18—20 февраля 1840.

и не шутя, съ какою-то вѣрою. Я не сойдусь, не помирюсь съ пошлою дѣйствительностію, но счастія жду отъ однихъ фантазій и только въ нихъ бываю счастливъ. Дѣйствительность — это палачъ»...

Въ концѣ письма Бѣлинскій замѣчаетъ:

«Недавно со мною (съ мѣсяцъ назадъ) случилась новая гисторія, которая до основанія потрясла всю мою натуру, возвратила мнѣ слезы и безконечное, томительное, страстное порываніе, и кончилась *ничѣмъ*, какъ и прежде. Долго ли это продолжится. Видно, такова уже моя натура, какъ говоритъ Патфайндеръ. Всякому своя доля, но право, сквернѣе моей ничего нельзя вообразить»... [1]).

Новое длинное письмо, отъ 25 октября, посвящено почти исключительно той интимной исторіи Боткина, которая вообще занимаетъ много страницъ въ письмахъ Бѣлинскаго за это время. Бѣлинскій принимаетъ самое горячее участіе въ этой исторіи, высказываетъ свои взгляды на нее, старается опредѣлить и характеризовать дѣйствующія лица, успокоить своего друга и отвести его отъ экзальтированнаго чувства къ болѣе простому, спокойному и разумному пониманію вещей, То, что́ происходило тогда съ его другомъ, было ему знакомо по собственному опыту; это были „сильныя, но ложныя тревоги", „рефлексія". Затрудняясь высказать свою настоящую мысль, Бѣлинскій хочетъ намеками указать сущность дѣла. Онъ проситъ своего друга оставить на время „все нѣмецкое" и особенно то, что́ ему всего больше нравится, и читать Купера, В. Скотта, Шекспира, или оторваться „на время" отъ идеальнаго міра и войти въ интересы міра положительнаго и практическаго.

Эстетическое лекарство Бѣлинскій очевидно считалъ очень дѣйствительнымъ,—такъ глубоко онъ, да и его другъ, воспринимали поэтическія изображенія жизни; и чтеніе высокихъ художниковъ, какими были въ его глазахъ, кромѣ Шекспира, Вальтеръ-Скоттъ и Куперъ,—казалось Бѣлинскому столь же сильнымъ средствомъ противъ фальшиваго идеализма и романтики, какъ обращеніе къ интересамъ практической жизни. Въ под-

---

[1]) Вѣроятно объ этой „гисторіи", увлеченіи, ничѣмъ не кончившемся, сказано нѣсколько словъ въ письмѣ его къ Боткину, отъ 10 декабря 1840.

твержденіе необходимости выдти изъ фантастическаго міра въ практическій, Бѣлинскій приводилъ собственный примѣръ:

«Я не умѣю тебѣ этого хорошо растолковать, но я хорошо это знаю по себѣ: нѣтъ въ мірѣ мѣста гнуснѣе Питера, нѣтъ поганѣе питерской дѣйствительности, но я отъ нея не потерялъ, а пріобрѣлъ—я глубже чувствую, больше понимаю, во мнѣ стало больше внутренняго и духовнаго. Если бы не журналъ, я бы съ ума сошелъ. Если бы гнусная дѣйствительность не высасывала изъ меня капля по каплѣ крови, — я бы помѣшался. Оторваться отъ общества и затвориться въ себѣ—плохое убѣжище»...

Убѣждая своего друга смотрѣть на происшедшее съ нимъ, какъ на опытъ, на воспитаніе, и сохранить воспоминаніе о лучшихъ минутахъ, Бѣлинскій снова нападаетъ на прежній идеализмъ, отъ котораго Боткинъ еще не излечился:

«Тебѣ стыдно и больно было признаться мнѣ, что чувство твое убито, умерло: о, Боткинъ, ты все еще живешь въ мірѣ героизма и тебѣ трудно увѣриться, что всѣ люди—не больше какъ люди. Для меня—такъ человѣческая природа есть оправданіе всего. Событіе—вздоръ, чортъ съ нимъ... Важна личность человѣка, надо дорожить ею выше всего»...

Онъ опять приводитъ, въ видѣ эстетическаго аргумента, стихотвореніе Пушкина—„Подъ небомъ голубымъ страны своей родной“ и пр., и продолжаетъ:

«Неужели намъ и теперь быть дѣтьми, которыя такъ жарко вѣрили вѣчности человѣческихъ чувствъ и, утирая кулакомъ кровавыя слезы, повторяли, что жизнь—блаженство, и что намъ чудо какъ хорошо жить. Вчера любилъ, нынче нѣтъ—моя ли вина. Худо и стыдно становиться на ходули, а за все остальное пусть отвѣчаетъ человѣческая натура»...

Въ концѣ октября, Бѣлинскій былъ обрадованъ пріѣздомъ Кольцова, какъ разскажемъ далѣе. К-въ около того же времени уѣхалъ за-границу. Въ октябрьской книгѣ „От. Записокъ“ только-что была напечатана статья его о сочиненіяхъ Сары Толстой, надѣлавшая въ то время шуму въ петербургскомъ кружкѣ. Эта книга [1]), изданная въ началѣ 1839 г. и не бывшая въ продажѣ, возбудила тогда особенное вниманіе, какъ оригинальное литературное явленіе, и по личности ея автора. Графиня Сара

---

[1]) „Сочиненія въ стихахъ и прозѣ графини С. Ѳ. Толстой“. Переводъ съ нѣмецкаго и англійскаго. Москва. Двѣ части.

Толстая была дочь извѣстнаго Ѳ. И. Толстого-Американца; мать ея была цыганка. Это была чрезвычайно талантливая дѣвушка, съ блестящимъ, конечно свѣтскимъ образованіемъ, но фантастическая, нервная до страшно-болѣзненныхъ экстазовъ и ясновидѣній; она умерла въ 1838 г., едва семнадцати лѣтъ отъ роду. Ея сочиненія казались поэтическимъ откровеніемъ женственной природы, въ самой ея сущности, природы, еще нетронутой страстью и опытами жизни. Бѣлинскій былъ также заинтересованъ этимъ явленіемъ. По первымъ впечатлѣніямъ, Бѣлинскій былъ въ восторгѣ отъ статьи К-ва, и проситъ Боткина написать, какъ ему показалась эта статья и какъ о ней говорятъ въ Москвѣ. „По мнѣ—чудесная статья, но есть, особенно вначалѣ, какая-то тяжеловатость". Тутъ же онъ совѣтуетъ Боткину прочесть „Тарантасъ", гр. Соллогуба—„премиленькая вещица"; восхищается „Ночнымъ сторожемъ", Огарева [1]).

Въ слѣдующемъ письмѣ (помѣченномъ 31 ноября, вмѣсто октября), Бѣлинскій въ восторгѣ отъ извѣстій Боткина, который собирался дѣятельно работать для журнала и побуждать къ тому же другихъ московскихъ пріятелей. Онъ разъ уже спорилъ объ этомъ предметѣ съ своимъ другомъ, у котораго было предубѣжденіе противъ журналовъ — объяснявшееся вѣроятно тогдашнимъ характеромъ большинства ихъ, и теперь снова высказываетъ свое мнѣніе о значеніи журнала для нашей публики.

«Не повѣришь, Боткинъ, я съ ума схожу отъ радости—ты вдвое началъ существовать для меня теперь. Не думай, чтобы это выходило изъ моей *журналоманіи*—увѣряю тебя, что она давно уже прошла, уступивъ мѣсто разумному сознанію и глубокому убѣжденію, что для нашего общества журналъ—все, и что нигдѣ въ мірѣ не имѣетъ онъ такого важнаго и великаго значенія, какъ у насъ. Не болѣе пяти сочиненій разошлось у насъ, во сто лѣтъ, въ числѣ 5000 экз.,—и между тѣмъ есть журналъ съ 5000 подписчиковъ! Это что-нибудь значитъ! Журналъ поглотилъ теперь у насъ всю литературу—публика не хочетъ книгъ—хочетъ журналовъ,—и въ журналахъ печатаютъ цѣликомъ драмы и романы, а книжки журналовъ—каждая въ пудъ вѣсомъ. Теперь у насъ великую пользу можетъ приносить, для настоящаго, и еще больше для будущаго,

[1]) Семь главъ изъ „Тарантаса"—въ „От. Зап." 1840, № 10; „Деревенскій сторожъ", Огарева, № 9.

каѳедра, но журналъ бо́льшую, ибо для нашего общества, прежде науки, нужна человѣчность, гуманическое образованіе»...

Бѣлинскій радуется „до сумасшествія", что Боткину понравился 10-й № „Отечеств. Записокъ"; онъ проситъ московскихъ друзей работать для журнала, жалуется на Грановскаго, который до сихъ поръ не прислалъ ни строки въ „От. Записки", и не пишетъ ничего ему,—„а я (говоритъ Бѣлинскій) право такъ люблю его, такъ часто думаю о немъ, особенно въ послѣднее время, когда я въ нѣкоторыхъ пунктахъ нашихъ московскихъ съ нимъ споровъ такъ измѣнился, что, при свиданіи, ему нужно будетъ не подстрекать, а останавливать меня". Это—все тѣ московскіе споры, которые велъ Бѣлинскій въ концѣ 1839.

«Чуть было не забылъ,—говоритъ онъ въ концѣ письма:—разсказъ Кольцова о пріемѣ, сдѣланномъ московскою публикой Мочалову, измучилъ меня завистью къ вамъ, свидѣтелямъ его,—и въ Москвѣ не нашлось человѣка, который бы написалъ объ этомъ въ журналъ!»...

Мы говорили прежде о томъ, съ какимъ сердечно-дружескимъ, можно сказать, нѣжнымъ чувствомъ Бѣлинскій относился къ Кольцову. По переѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ, они продолжали мѣняться письмами. Кольцовъ по прежнему обращался къ Бѣлинскому какъ моральному авторитету, разсказывалъ ему о своей интимной жизни, которой ни передъ кѣмъ не открывалъ съ такимъ глубокимъ довѣріемъ, отдавалъ на его полный, окончательный судъ свои новыя работы, и съ скромною деликатностью ожидалъ его отзыва на свои симпатіи. Мы должны считать извѣстной біографію Кольцова, написанную Бѣлинскимъ; надо только прибавить, что упоминаемый тамъ „московскій другъ" Кольцова (жившій послѣ въ Петербургѣ) былъ именно Бѣлинскій. Письма Кольцова къ Бѣлинскому остаются еще неизданными, и по ихъ совершенно интимному характеру не могутъ быть изданы въ цѣлости. Нѣкоторые отрывки изъ нихъ включены въ біографію; мы прибавимъ еще нѣсколько выдержекъ, въ особенности такихъ, которыя опредѣляютъ свойство

ихъ дружескихъ отношеній и горячую привязанность Кольцова къ Бѣлинскому—недосказанную послѣднимъ [1]).

Приводя письма Кольцова въ его біографіи, Бѣлинскій замѣчаетъ однажды: „такъ писалъ онъ всегда, и почти такъ говорилъ. Рѣчь его была всегда нѣсколько вычурна, языкъ не отличался опредѣленностью, но за то поражалъ какою-то наивностью и оригинальностью“ [2]). Этотъ недостатокъ опредѣленности происходилъ отъ непривычки Кольцова къ литературному языку, котораго онъ никогда не слыхалъ въ своемъ обыкновенномъ кругу; онъ самъ нерѣдко признавалъ, что ему трудно высказать свою мысль, когда требовалась нѣсколько отвлеченная форма выраженія; а въ той „наивности и оригинальности“, которую затруднялся опредѣлить Бѣлинскій, участвовало между прочимъ удивительное мастерство въ настоящемъ *народномъ* языкѣ, которое даетъ такую силу выраженія поэзіи Кольцова, и нерѣдко чувствуется въ его перепискѣ. Эта черта его языка вѣроятно была еще не совсѣмъ привычна для тогдашняго литературнаго круга, когда въ самой литературѣ было еще немного образчиковъ настоящаго народнаго склада...

Извѣстіе о переѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ порадовало Кольцова, но онъ жалѣлъ, что не увидитъ его въ Москвѣ, куда собирался. Первое письмо въ Петербургъ Кольцовъ писалъ уже въ февралѣ 1840 г. „...Въ Питерѣ вы—часъ добрый! Жить поживать припѣваючи. Каковъ Петербургъ?—Сѣръ, и воздухъ мутенъ, и дни грустны;—на первый разъ онъ, кажется, для всѣхъ таковъ, а обживешься съ нимъ, и получшаетъ, и чѣмъ ужь дальше, тѣмъ лучше да лучше, а наконецъ и вовсе полюбится... Какъ бы мнѣ хотѣлось теперь хоть маленькую получить отъ васъ вѣсточку!.. Я терплю и думаю, что у васъ шли все такія обстоятельства, что вамъ было не до меня и, можетъ быть, порою часто не до себя, иначе я не могу и думать объ вашемъ долгомъ-долгомъ молчаньи. Если и теперь не до меня, — не пишите еще, справляйтесь съ своими внутренними и внѣшними

---

[1]) Одно письмо Кольцова къ Бѣлинскому (изъ бумагъ Ю. Н. Бартенева) напечатано еще въ „Р. Архивѣ“ 1875, № 11, стр. 394—397.

[2]) Сочин., т. XII, стр. 103.

требованіями; Богъ дастъ, придетъ время лучшее, тогда можно поговорить и со мною... Я знаю васъ, и это сознаніе всегда говоритъ мнѣ, также какъ и прежде"... Онъ посылаетъ Бѣлинскому нѣсколько стихотвореній, отдавая на его рѣшеніе: что́ получше—напечатать, что́ не хорошо—оставить. Кольцовъ вообще самъ не рѣшался судить о своихъ стихотвореніяхъ, и спрашивалъ обыкновенно мнѣнія Бѣлинскаго. Онъ проситъ дать что-нибудь изъ его пьесъ Плетневу для „Современника": ему „стыдно" передъ Плетневымъ и редакторомъ „Отеч. Записокъ", которые посылаютъ ему свои книжки, и онъ думаетъ, что мало отплачиваетъ имъ за то своими стихами: „они, положимъ, люди добрые и хорошіе, а все-таки за бумагу и въ типографію, а иногда и (за) пьесы платятъ, я думаю, деньги" (!).

Въ другихъ письмахъ (отрывкахъ), начала 1840, онъ разсказываетъ Бѣлинскому о своей домашней и дѣловой жизни, которая начинала крайне тяготить его: ему становилась невыносима „матеріальность", торговыя дѣла, какъ они велись въ его кругу, и полное одиночество въ его нравственныхъ интересахъ. Онъ не жалуется, но разсказываетъ, и съ раздраженіемъ сознаетъ, что ему даже становится трудно писать къ Бѣлинскому, съ которымъ такъ хотѣлось бы бесѣдовать; онъ винитъ себя въ недостаткѣ воли, въ малодушіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ думаетъ, что не могъ бы ничего сдѣлать противъ окружающаго, еслибы и захотѣлъ.

„Вотъ и теперь — пишу, а о чемъ? Думать тошно, а силы нѣтъ горю пособить: мнѣ даны отъ Бога море желаній, и съ кузовокъ души. Я очень знаю, что́ вы такое, да вамъ надобно того, что́ часто у меня не дома... Еще и то порою приходило въ мысль, чтобы васъ не безпокоить слишкомъ черезчуръ мелкою дрязгою;... хоть я и давно замѣчалъ въ васъ болѣе во сто разъ (расположенія), чѣмъ въ другихъ, но все-таки боялся: душа темна... Мнѣ возвыситься до вашей дружбы мудрено;... я вашъ давно, но вы мои еще недавно". Письмо, полученное отъ Бѣлинскаго, рѣшило въ немъ много сомнѣній и успокоило его; совѣты Бѣлинскаго угадывали то, что̀ было ему нужно... „Вы въ своемъ кружкѣ переродили меня,—говоритъ онъ дальше. Въ

послѣднюю поѣздку [1]) много добра захватилъ я у васъ; прежде только и зналъ, что людей проклиналъ, теперь благодарю Бога за жизнь свою. Одно измѣнило мнѣ. Жаль Серебрянскаго; вы одни замѣтили его. Какая прекрасная душа была! Какъ онъ васъ любилъ и уважалъ".

Въ слѣдующемъ письмѣ опять разсказъ о тягостной жизни, изъ которой Кольцовъ не зналъ выхода. Петербургскіе друзья думали вызвать Кольцова изъ Воронежа, думали, что онъ можетъ заняться книжной торговлей; редакторъ „Отеч. Записокъ" предлагалъ ему переѣхать въ Петербургъ и взять на себя управленіе конторой журнала [2]). Въ другомъ письмѣ Кольцовъ объясняетъ, отчего ему невозможно было принять этихъ предложеній: всякая, и книжная торговля, безъ большихъ средствъ, по его мнѣнію, непремѣнно связана съ обманомъ, съ тѣми торговыми продѣлками, которыя были ему ненавистны; но, кромѣ того, ему нельзя было покинуть Воронежа, гдѣ отецъ связалъ его денежными обязательствами по своимъ дѣламъ.

Въ концѣ апрѣля 1840, онъ пишетъ Бѣлинскому длинное письмо. Онъ угадалъ причину молчанія Бѣлинскаго —и теперь горячо благодаритъ его за письмо. Онъ смущается тѣмъ, что посланныя имъ пьесы не понравились Бѣлинскому: „вы мною теперь такъ владѣете, что ваше слово — приговоръ". Осенью онъ думалъ быть въ Петербургѣ... Теперь онъ надѣялся отдохнуть недѣли на три: въ Воронежъ пріѣхалъ Мочаловъ, „и у насъ въ Воронежѣ большой праздникъ, у театра шумъ и давка,— онъ пробудилъ нашъ сонный городъ". Съ Мочаловымъ Кольцовъ былъ знакомъ еще по московскому кружку, и они встрѣтились дружески. Кольцовъ восхищается „Отеч. Записками": „журналъ — чудо! критика — небывалая; у насъ всѣ хватились читать его, и критику преимущественно"; самъ онъ находитъ, что критика въ журналѣ всего лучше. Онъ въ восторгѣ отъ разсказовъ и стихотвореній Лермонтова [3]); находитъ, что Клюшниковъ (—e—) „началъ поправляться, и шибко пошелъ впе-

---

[1]) Въ Москву, въ 1838.

[2]) Ср. Сочин. Бѣл., XII, стр. 110.

[3]) Тогда печатались въ „Отеч. Зап." отрывки изъ „Героя нашего времени".

редъ"; „а Каткова, изъ Гейне—Ратклифъ—я не понимаю" [1]). Онъ посылаетъ Бѣлинскому еще рядъ своихъ стихотвореній, съ замѣчаніями, иногда оригинально высказанными [2]). Бѣлинскій думалъ тогда сдѣлать изданіе его стихотвореній; Кольцовъ пишетъ: „но только буду васъ просить при сборѣ книги выбирать однѣ добрыя (пьесы); а кой-какія слабыя, хотя бы онѣ и были ужъ напечатаны, въ книгѣ не печатать... Людямъ не много толку, что я мѣщанинъ, а надобно, чтобы книга стояла сама за себя, безъ уменьшенія и увеличенія"... Изъ его литературныхъ мнѣній любопытенъ отзывъ о Далѣ. Ему пришла мысль передѣлать въ оперу, хоть для чтенія, пьесу Даля „Ночь на распутьи": „она писана, кромѣ нѣкоторыхъ мѣстъ, языкомъ варварскимъ, а матеріалъ драмы—русскій, превосходный". Кольцовъ видимо не выносилъ искусственно-народнаго языка Даля, и думалъ, что въ передѣлкѣ пьесу Даля, „по крайней мѣрѣ можно было бы прочесть, а то ее теперь и прочесть нельзя".

Въ письмѣ 15 августа, опять очень длинномъ, Кольцовъ радуется на дѣятельность Бѣлинскаго. „Не шутя и не льстя говорю вамъ: давно я васъ люблю, давно читаю ваши мнѣнія, читаю и учусь, но теперь читаю ихъ больше... и понимаю лучше. Много ужъ они сдѣлали добра, но болѣе сдѣлаютъ... Ваша рѣчь—высокая, святая рѣчь убѣжденія"... О выѣздѣ изъ Воронежа теперь ему поздно думать; это нужно было сдѣлать, когда былъ помоложе, притомъ у него „нѣту голоса въ душѣ быть купцомъ"; его задушевное желаніе—учиться, прочитать многое, и поѣздить года два по Россіи; но желаніе это несбыточно. Онъ объясняетъ подробно, почему нельзя ему взяться и за книжную торговлю; по его словамъ, книжная торговля у насъ ведется обыкновенно на небольшія средства, всякимъ сначала, безъ опыта и образованія, и потому вести ее честно этимъ людямъ невозможно. Его отношенія съ отцомъ были, какъ извѣстно,

---

[1]) „Ратклифъ", въ переводѣ г. Каткова, помѣщенъ былъ въ одной изъ послѣднихъ книгъ „Отеч. Зап." 1839.

[2]) „Пѣсня „Такъ и рвется душа". Посмотрите на нее: конецъ что-то въ одномъ стихѣ у меня *заломился*... Дума 12-я. Она у меня выскочила въ минуту; если она не изъ чего-нибудь, то пусть будетъ моя. Какъ-то такимъ образомъ у меня не писалось, хоть я и не охотникъ на чужбинку".

очень тяжелыя, и занятія его литературой давали только лишній поводъ къ привязкамъ и попрекамъ [1]). „Мнѣ отъ него и такъ достается довольно, — говоритъ Кольцовъ.—Чуть маломальски что́ не такъ, такъ ворчитъ и сердится. Вы—говоритъ—все по книжному, да по печатному, народъ грамотный, ума палата... Вы боитесь за меня,— продолжаетъ далѣе Кольцовъ,—чтобы я скоро не потерялся [2]); это правда, и такая правда, какою она лишь можетъ быть. Не только черезъ пять лѣтъ, даже скорѣе, живя такъ—и въ Воронежѣ. Но что-жъ дѣлать? буду жить, пока живется"... „А что въ 1838 году я въ Москвѣ написалъ такъ много и хорошо,—это потому, во-первыхъ, что я былъ съ вами и съ людьми, которые собою меня каждый день настраивали; во-вторыхъ, я почти не дѣлалъ ничего и былъ празденъ, тяготило до смерти одно дѣло, но одно дѣло, не больше... А живя въ Воронежѣ, кругомъ меня другой народъ, татаринъ на татаринѣ... а дѣлъ беремя... и я какъ еще пишу, и для чего пишу? Только для васъ для однихъ. А здѣсь я за писаніе терплю больше оскорбленій, чѣмъ снисхожденій; всякій подлецъ такъ на меня и лѣзетъ: дескать, писакѣ-то и крылья ошибить... А что я пишу не все хорошо, вы объ этомъ сказали правду тоже. Почему же у меня идутъ пьесы не всѣ хороши? Онѣ всегда шли такъ, но прежде былъ Серебрянскій: онъ дурныя рвалъ, а теперь онѣ всѣ идутъ къ вамъ". Кольцовъ находилъ, что ему въ особенности недостаетъ впечатлѣній искусства; ему хотѣлось бы послушать музыки, повидать живописи и скульптуры; Петербургъ и Москва (т.-е. единственные города, гдѣ можно найти умственную жизнь и общество), какъ ему казалось, „своимъ величествомъ способствуютъ силамъ человѣка"; наконецъ, театръ... Онъ съ нетерпѣніемъ ждетъ свиданія съ Бѣлинскимъ: „ахъ, дай-то Богъ, чтобъ оно скоро исполнилось; рвется моя душа видѣть васъ и слушать васъ"... „Въ Москвѣ не засижусь",—прибавляетъ онъ въ концѣ письма; тамъ онъ думалъ видѣть только Боткина, Мочалова и Щепкина:—„да еслибъ Богъ далъ увидѣть Гоголя: застану въ Москвѣ—и не знакомъ, а ужъ пойду къ нему"...

[1]) Ср. далѣе выписку у Бѣлинскаго, XII, стр. 110—111.

[2]) Т.-е., что жизнь въ Воронежѣ окончательно надломитъ его.

Къ этому письму приложена извѣстная прекрасная пѣсня: „Въ непогоду вѣтеръ воетъ, завываетъ". Припомнивъ ее, читатель можетъ увидѣть, какъ близко она передавала его собственное страданіе и тяжкую борьбу „съ горемычной долей".

Бѣлинскій также съ нетерпѣніемъ ждалъ своего поэта.

«Бѣдный Кольцовъ, какъ глубоко страдаетъ онъ,—пишетъ Бѣлинскій къ Боткину, отъ 5 сентября.—Его письмо потрясло мою душу. Все благородное страждетъ—одни скоты блаженствуютъ, но тѣ и другіе равно умрутъ: таковъ вѣчный законъ Разума. Ай да разумъ! Какъ пріѣдетъ въ Москву Кольцовъ, скажи, чтобы тотчасъ же увѣдомилъ меня; а если поѣдетъ въ Питеръ, чтобы прямо ко мнѣ и искалъ бы меня на Васильевскомъ острову (слѣдуетъ адресъ)... У меня теперь большая квартира, и намъ съ нимъ будетъ просторно»...

Къ началу октября Кольцовъ, кажется, былъ уже въ Москвѣ. Бѣлинскій пишетъ къ Боткину, отъ 4 октября:

«Кольцова разцѣлуй и скажи ему, что жду не дождусь его пріѣзда, словно свѣтлаго праздника. К-въ умираетъ отъ желанія хоть два дни провести съ нимъ вмѣстѣ. Скажи, чтобъ пріѣзжалъ прямо ко мнѣ, нигдѣ не останавливаясь ни на минуту, если не хочетъ меня разобидѣть». (Слѣдуетъ опять подробный адресъ).

Кольцовъ пріѣхалъ въ Петербургъ въ октябрѣ и пробылъ, кажется, до конца ноября: онъ прожилъ это время у Бѣлинскаго [1]). Въ письмѣ къ Боткину, отъ 25 окт., Бѣлинскій замѣчаетъ: „Кольцовъ живетъ у меня — мои отношенія къ нему легки, я ожилъ немножко отъ его присутствія. Экая богатая и благородная натура!"

По возвращеніи въ Москву, на обратномъ пути домой, Кольцовъ писалъ Бѣлинскому, отъ 15 декабря:—„Вамъ до послѣдней степени кажется невѣроятнымъ мое долгое молчанье. 18 дней я живу въ Москвѣ и къ вамъ еще ни слова. Да, мнѣ самому это ужъ показалось очень страннымъ. Но или такъ у меня въ натурѣ, или поѣхавши изъ Питера мнѣ было очень горько: разстаться съ вами прежде было дѣломъ обыкновеннымъ, теперь не такъ. Я какъ долго не могъ привыкнуть, что уѣхалъ, ѣду, въ Москвѣ—и васъ со мною нѣту". Петербургъ на этотъ

---

[1]) Въ біографіи Кольцова, Бѣлинскій считаетъ три мѣсяца, но по письмамъ этого не выходитъ. Соч. XII, стр. 111.

разъ мало его занималъ, и ничего въ немъ не оставилъ; проигрышъ дѣла сильно отяготилъ его; но въ Москвѣ посѣтила „полная жизнь", онъ сталъ писать, и написанное посылалъ съ письмами... Онъ разсказываетъ Бѣлинскому московскія новости, о Боткинѣ, Красовѣ, Аксаковыхъ, М. С. Щепкинѣ, родныхъ Бѣлинскаго. Въ Боткинѣ онъ замѣтилъ нѣкоторую перемѣну — онъ сталъ мягче и ближе къ Кольцову; послѣдній думалъ, что вѣроятно это происходило отъ писемъ Бѣлинскаго, и жалѣлъ, что Бѣлинскій это сдѣлалъ, т.-е. писалъ къ Боткину о немъ: онъ не хотѣлъ никакого натянутаго чувства. „И я сначала бывалъ у него не очень часто, несмотря на то, что онъ былъ ко мнѣ всегда хорошъ; но потомъ увидѣлъ, что... есть у него свое для меня мѣстечко особенное, тутъ мнѣ стало легче, и я бывать началъ чаще". Боткину очень понравилась статья Бѣлинскаго о театрѣ [1]): „онъ ее прочелъ пожирая". „За критику о Ломоносовѣ въ Москвѣ люди стараго времени васъ бранятъ на чемъ свѣтъ стоитъ" [2])... Наконецъ, Кольцовъ опять обращается къ Бѣлинскому, разспрашиваетъ объ его дѣлахъ. „У васъ теперь, я думаю, самая головоломная работа и много непріятностей, это я особенно представляю. И дай Богъ, чтобъ обманулся. Какъ ни вспомню я о васъ, все мнѣ что-то дѣлается грустно, и на что ни смотрю, все темно, кромѣ—если сладили съ Плетневымъ"... Повидимому, Бѣлинскій думалъ оставить „Отеч. Записки" и работать въ журналѣ Плетнева. „Мнѣ какъ-то теперь вы все сдѣлались ближе, и каждая ваша боль больна и мнѣ. Когда же прояснится вашъ горизонтъ? Или онъ чистъ и теперь? Напишите, вы меня обрадуете. А мое долгое молчаніе простите... Ахъ, еслибъ къ вамъ скорѣе! Еслибъ знали, какъ не хочется мнѣ ѣхать домой,—такъ холодомъ и обдаетъ при мысли ѣхать туда".

Другое письмо Кольцовъ писалъ Бѣлинскому, отъ 10 января 1841. Кольцовъ встрѣтилъ новый годъ у Боткина, въ кругу его московскихъ друзей, гдѣ былъ и Грановскій, Щепкинъ,

---

[1]) Соч. IV, стр. 151 и слѣд. „От. Зап.", 1840, № 10 и 11.

[2]) Это была небольшая библіографическая статья по поводу изданія сочиненій Ломоносова, — гдѣ Бѣлинскій рѣшился сказать, что „Ломоносовъ не поэтъ" (Сочин. IV, стр. 46 и слѣд. „Отеч. Зап." 1840, кн. 11).

К-ръ, Красовъ, Клюшниковъ, Лангеръ, Крюковъ, Сатинъ и др. Встрѣча была шумная и веселая. Но это не развлекло тоски Кольцова, и онъ снова обращается къ Бѣлинскому съ выраженіями своего сочувствія, которое все сосредоточилъ на немъ. „Да, милый В. Г., гдѣ вы, тамъ для меня жизнь всегда теплѣе, а гдѣ васъ нѣтъ—другое дѣло. Чѣмъ больше проходитъ время, тѣмъ больше эта истина доказывается опытомъ. Я теперь яснѣй началъ чувствовать, какъ цѣлый міръ иногда можетъ сосредоточиваться въ одномъ человѣкѣ. Кажется, скоро придетъ пора, что вы для меня замѣните всѣхъ и все. Моя душа часто начала говорить про это и никуда не просится жить, какъ къ вамъ. Когда-то придетъ это время, когда можно будетъ мнѣ это сдѣлать не словами, а дѣломъ! Боже сохрани, если Воронежъ почему-нибудь меня удержитъ у себя еще надолго—я тогда пропалъ". Нѣкоторыя изъ его новыхъ стихотвореній Бѣлинскому понравились, и онъ въ восторгѣ: „получилъ ваше письмо, прочелъ, и подо мной земля загорѣлась".

Еще одно длинное письмо изъ Москвы Кольцовъ писалъ 27 января. Въ его біографіи приведена выписка изъ этого письма, гдѣ Кольцовъ говоритъ о своемъ безвыходномъ положеніи и страшной необходимости ѣхать домой [1]). Прибавимъ къ этому еще два-три отрывка. Письмо это любопытно, между прочимъ, одной чертой привязанности Кольцова къ Бѣлинскому. Проживъ у него въ Петербургѣ довольно долго, Кольцовъ видѣлъ всѣ подробности его образа жизни, его домашняго холостого быта. Теперь Бѣлинскій упомянулъ въ письмѣ, что ему въ послѣднее время нездоровилось. Кольцовъ принялъ извѣстіе съ большой заботой, и, гораздо болѣе Бѣлинскаго привычный къ практическимъ сторонамъ жизни, онъ большую долю письма посвящаетъ домашнимъ интересамъ Бѣлинскаго, даетъ ему практическіе совѣты о хозяйствѣ, о нужной ему гигіенѣ, собирался даже лечить его, и т. д., все это самымъ серьезнымъ образомъ, какъ заботливый дядька. Это — почти трогательно, и иногда немного забавно. Относительно своихъ дѣлъ, онъ по

---

[1]) Сочин. XII, стр. 112—113.

прежнему думалъ, что ему нельзя сдѣлаться книгопродавцемъ, какъ предлагали его петербургскіе друзья [1]).

Боткинъ въ это время уѣхалъ въ Харьковъ. Кольцовъ безъ него скучалъ еще больше. Въ письмѣ онъ высказываетъ слѣдующее сужденіе о Боткинѣ:—„Москва въ литературной жизни совсѣмъ устарѣла, выжилась. Можетъ, и есть кружки молодыхъ людей, но я ихъ не знаю. Въ ней остается одинъ Василій Петровичъ (Боткинъ). Заброс ь онъ, и послѣдніе обломки,—стараго, талантливаго, горячаго, вдохновеннаго кружка какъ не бывало. Все разсыпится врозь и едва-ли когда опять соберется. Кажется, никогда". Другими словами, Кольцовъ думалъ, что Боткинъ остался въ Москвѣ единственнымъ человѣкомъ, около котораго могъ собираться старый кружокъ и тѣмъ поддерживать нравственную солидарность и единство дѣятельности. Это было до извѣстной степени справедливо. Любопытны и другія его мнѣнія. „До смерти радъ, — пишетъ онъ,—что „От. Записки" идутъ хорошо. Первый нумеръ хорошъ, и здѣсь его читаютъ, и даже кой-кто не говорятъ, что́ читаютъ:—мы еще не видали, а дальше, смотришь, и проговорятся, что это въ немъ ни на что не похоже... О вашей статьѣ [2]) ходятъ сужденія разныя. Одни, и весьма немногіе, говорятъ, что первая половина хороша, а вторая ужъ очень нахальна; другіе удивляются, какъ ее напечатали, и видятъ въ ней вещи небывалыя; ну, а все,—критику, библіографію и смѣсь читаютъ исключительно"... Въ Москвѣ былъ тогда слухъ, что Бѣлинскій отказывается отъ „Отеч. Записокъ"; многимъ этотъ слухъ былъ очень пріятенъ. Какъ видно, что-то подобное такому намѣренію дѣйствительно было, и Кольцовъ, узнавши источникъ слуха, жалѣетъ, что Бѣ-

[1]) Говоря, что ему рѣшительно нельзя жить дома, въ своемъ кругу, онъ замѣчаетъ: „...Даже жить въ Петербургѣ, быть книгопродавцемъ, значитъ, быть Поляковымъ, а иначе нельзя. Каковы люди, таковъ и купецъ. Онъ не самъ по себѣ гадокъ и плутъ, а такимъ его выработываютъ люди, съ которыми онъ имѣетъ сдѣлки. Кто въ Петербургѣ честенъ? Кто въ Москвѣ честенъ изъ нихъ?—Никто"... и проч. Поляковъ — тотъ самый книгопродавецъ, который держалъ тогда контору „Отеч. Записокъ" и живо изображенъ въ „Воспоминаніяхъ" Панаева. „Соврем." 1861, кн. 11, стр. 47—48.

[2]) „Русская литература къ 1840 году", „Отеч. Зап." 1841, кн. 1; Сочин. т. IV, стр. 195 и слѣд.

линскій подалъ къ нему поводъ. „Напрасно вы Савельеву говорили, что вы отъ „От. Записокъ“ отказались; это вездѣ разнеслось; вы человѣкъ сдѣлались теперь такой, котораго втайнѣ всѣ любятъ и боятся. Ваши мнѣнія всѣ читаютъ, и они стали приговоромъ; противъ нихъ скоро никто выйтить не захочетъ, да и не сможетъ. Ну, а въ случаѣ, если вы себѣ сломите шею, то многіе будутъ очень рады, и въ ихъ сожалѣніи будетъ выражаться душевная радость. На васъ глаза всѣхъ обращены, и ваше мѣсто торжественно и шатко. Одно мнѣ больше всего у васъ нравится, особенно теперь, — что вы можете безпощадно мстить людямъ за ихъ эгоизмъ. Особенно—гнили стараго вѣка. Они всѣ стоятъ на важныхъ ступеняхъ, а пользы отъ нихъ ни на алтынъ. Они чужое право присвоили себѣ. Если человѣкъ завладѣлъ общимъ интересомъ, то и выполняй дѣло, какъ оно требуетъ, или откажись, или передай его другимъ, когда нѣтъ силъ дѣлать пользу“...

Затѣмъ новыя письма Кольцова были писаны уже изъ Воронежа. Съ Бѣлинскимъ онъ уже больше не видался.

Съ декабря 1840 до января 1841, идетъ рядъ длинныхъ писемъ, которыми завершается переломъ въ понятіяхъ Бѣлинскага, и съ которыхъ можно считать новый періодъ его литературной жизни. Всѣ старые вопросы, занимавшіе его мысль, являются предъ нимъ совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ; онъ остается идеалистомъ,—потому что былъ имъ по природѣ,—но его идеализмъ перестаетъ быть отвлеченнымъ и, покидая область полуфантастическихъ мечтаній о полнотѣ „абсолютной жизни“, находитъ болѣе серьёзныя задачи въ дѣйствительномъ мірѣ, въ обществѣ. Первые шаги въ этомъ направленіи были до послѣдней степени тяжелы для Бѣлинскаго. „Дѣйствительность“, при ближайшемъ знакомствѣ, ужаснула его, и весь запасъ нравственныхъ стремленій къ высокому, пламенной любви къ правдѣ, направлявшійся прежде на идеализмъ личной жизни и на искусство, обратился теперь на скорбь объ этой дѣйствительности, на борьбу съ ея зломъ, на защиту достоинства человѣческой личности, безпощадно попираемаго этой дѣйствительностью.

Новая задача, которую ему нужно было одолѣть, была нелегка: Бѣлинскому былъ неясенъ самый путь, какимъ слѣдовало идти къ ея опредѣленію,—отсюда рядъ колебаній, постоянной работы мысли, порывовъ чувства, увлеченій, ошибокъ,—но онъ не пугался трудностей, не устрашался никакими послѣдствіями мысли, и—увлекалъ за собой современное ему поколѣніе. Въ ряду дѣятелей того времени, собравшихся въ новомъ дружескомъ кружкѣ, были люди и болѣе высокаго таланта, — но руководящей силой сталъ именно Бѣлинскій. Его внутренняя исторія этого времени есть психологическая исторія цѣлаго поколѣнія. Страсть, съ которой онъ воспринималъ идею, и буквально „болѣлъ" ею, дѣлала его самымъ энергическимъ ея представителемъ, и доставила ему глубокое нравственное вліяніе.

Этотъ періодъ борьбы и перелома естественно былъ исполненъ особеннаго нравственнаго возбужденія, и потому опять особенно обиленъ письмами. Чѣмъ сильнѣе была внутренняя работа, тѣмъ больше была потребность высказаться; можно сказать, что этимъ Бѣлинскій уяснялъ самому себѣ процессы своей мысли: излагая мысль, онъ долженъ былъ давать ей опредѣленность и, завершивъ ее, шелъ далѣе, къ новымъ ея послѣдствіямъ; при постоянной работѣ надъ опредѣленіями, случалось, что доканчивая письмо, онъ уже не былъ доволенъ началомъ,—мысль его уже успѣвала измѣниться.

Приводимъ опять лишь существенныя мысли, по необходимости оставляя много частныхъ и личныхъ подробностей.

Въ письмѣ 10 декабря Бѣлинскій начинаетъ изъявленіемъ своей радости „скорому свиданію", о которомъ писалъ ему Боткинъ: „у меня всѣ жилки задрожали отъ этой мысли". Но онъ не знаетъ, говоритъ ли Боткинъ о Рождествѣ или о Пасхѣ, когда долженъ былъ онъ пріѣхать въ Петербургъ: „если ты разумѣешь Пасху,—то, Боткинъ, ради всѣхъ святыхъ, не напоминай мнѣ объ этомъ *скоромъ* свиданіи, до котораго мы успѣемъ съ тобою сто разъ умереть. Вѣдь это передъ окончаніемъ зимы въ Питерѣ—да это цѣлая вѣчность!"

Бѣлинскій поздравляетъ своего друга съ „воскресеніемъ". Боткинъ писалъ ему, что преодолѣлъ упадокъ духа, навлеченный неблагопріятнымъ концомъ своей сердечной исторіи, чув-

ствуетъ въ себѣ свѣжесть; потребность дѣятельности; Бѣлинскій въ восторгѣ, что другъ его вышелъ изъ царства фантазіи и призраковъ, и совѣтуетъ ему окончательно разорвать всѣ нити, связывающія его съ этимъ прошлымъ. Ихъ нравственная связь дѣлала то, что личная жизнь каждаго была общимъ опытомъ, и исторія Боткина давала свой результатъ и Бѣлинскому:

«Твоя исторія довершила давно уже начавшійся во мнѣ переворотъ. Я наконецъ сбросилъ съ себя всѣ идиллическія и буколическія пошлости... я уже потерялъ всякую охоту толковать (и даже мечтать) о любви и женщинѣ... Я понимаю теперь любовь очень просто. Ея основа—разность половъ, а причина выбора — гармонія натуръ и капризъ субъективности. Черезъ это я нисколько не исключаю ни мистики сердечной, ни лиризма чувства, ни сладкаго и таинственнаго волненія надеждъ, сомнѣній, предчувствій и т. п.»...

Но женщина — не есть только женщина, и мужчина — не только мужчина; каждый изъ нихъ при этомъ человѣкъ, существо духовное, и потому соединеніе ихъ есть „тайна, но тайна свѣтлая, какъ лучъ солнечный, здоровая и не расплывающаяся въ пустотѣ мистическихъ призраковъ и Аксаковскаго идеализма". Онъ уже не вѣритъ предопредѣленію въ любви...

«Некогда много толковать объ этомъ, да въ письмѣ не выскажешь и вполовину того, что хочешь, но только я понимаю это дѣло *очень просто* и вмѣстѣ съ тѣмъ очень *человѣчески*. Я уже не поклоняюсь женщинѣ, какъ рабъ деспоту, какъ дикарь божеству своему. Если я возьму отъ нея любовь ея, то не какъ милость божества недостойной его твари, а какъ слѣдующее мнѣ по праву, и за что я могу заплатить еще съ лихвою, дать гораздо больше. Мужчина, когда женится, теряетъ много—свою свободу, энергію своей борьбы съ дѣйствительностію, которой тогда принужденъ бываетъ уступать иногда, приростаетъ, какъ улитка, къ одному мѣсту... Женщина, выходя за-мужъ, ничего не теряетъ, но все выигрываетъ: изъ семейства, гдѣ съ каждымъ годомъ становится болѣе и болѣе чужою... тягостнымъ бременемъ, переходитъ она въ свой домъ, госпожою, свободно и законно предается влеченію сердца и требованіямъ натуры... Далѣе: женщина—слабѣйшій организмъ, низшее существо, чѣмъ мужчина. Лучшая изъ женщинъ хуже лучшаго изъ мужчинъ. Въ женщинѣ какъ-то нѣтъ середины—или глубока, или совсѣмъ мелка и ничтожна. Въ самыхъ лучшихъ изъ нихъ много чего-то ничтожнаго»...

Онъ приводитъ въ примѣръ одну женщину—„чудное созданіе, брилльянтъ своего пола", — которая однако, не принявъ любви человѣка достойнаго, предпочла человѣка ничтожнаго,

съ которымъ и была несчастна. Свой идеалъ Бѣлинскій указываетъ въ дѣвушкѣ, видѣнной имъ въ прежнія времена [1]).

«...Лучшей я не встрѣчалъ. Красота, грація, женственность, гуманизмъ, доступность изящному и всему человѣческому въ жизни и въ искусствѣ, стыдливость, готовность скорѣе умереть, чѣмъ перенести безчестіе, способность къ простой, дѣтской, но безконечной преданности къ избранному—вотъ стихіи, изъ которыхъ она была составлена и лучше этого ничего нельзя вообразить.

«...Да, я наконецъ созналъ, что быть мужчиною чего-нибудь да стоитъ. Каковъ бы я ни былъ, но я борюсь съ дѣйствительностію, вношу въ нее мой идеалъ жизни... Ей-Богу не лгу—меня теперь больше мучитъ одиночество, чѣмъ мечта о любви и женщинѣ. Борьба съ дѣйствительностію снова охватываетъ меня и поглощаетъ все существо мое.

«Чтобы дополнить тебѣ мой теперешній взглядъ на любовь и женщину, скажу тебѣ, что абсолютное осуществленіе того и другого вижу въ «Патфайндерѣ». Мабель—вотъ истинная женщина, чуждая всякой мелочности, нормальная и простая въ глубокости своей. Колоссальное величіе Патфайндера и его глубокая любовь къ ней не заслонили отъ нея добраго, простого и возвышеннаго Джаспера; понявъ перваго, оцѣнивъ его чувство и отдавъ ему полную дань женскаго состраданія, она отдалась Джасперу безъ всякаго сценизма и эффектовъ. Въ ней нѣтъ мечтательности, магнетизма и мистицизма,—она почти ничего не говоритъ во всемъ романѣ,—но, Боже мой, что́ же это за созданіе! Оно такъ божественно, что не смѣю вѣрить, чтобы могло существовать и въ дѣйствительности, а не быть только мечтою великаго художника. Что передъ нею всѣ нѣмки и всѣ обожательницы Жанъ-Поля, Гофмана и Шиллера?»

Письмо продолжается на слѣдующій день въ шутливомъ тонѣ, въ которомъ Бѣлинскій очень часто говорилъ съ своимъ другомъ.

«Вотъ тебѣ, Б., цѣлая диссертація о любви и женщинѣ. Желаю, чтобы ты прочелъ ее съ такимъ же удовольствіемъ, съ какимъ я писалъ ее. Повѣришь ли: вчера былъ прекрасный вечеръ для меня—я забылъ все, и видѣлъ только тебя, читающаго эти строки и помавающаго лысою главою во знаменіе того, какъ твой неистовый другъ перепрыгиваетъ изъ одной крайности въ другую. Но диссертація еще не кончилась, она должна быть длинна, потому что она послѣдняя объ этомъ предметѣ,—и крайность еще только начинается. Смѣйся надо мною, лукаво

---

[1]) Это—та же дѣвушка, о смерти которой онъ упоминаетъ въ письмѣ къ Ефремову, отъ 23 августа 1840.

ь своего раз-
ю женщину.
ого, мелкаго
ть тѣхъ, кто
какъ предъ
и въ то же
юбимъ, тѣмъ
а, почему съ
Часто, чтобы
любишь дру-
предасть ее
греки лучше
о упиться въ
легіи Гёте—
больше, чѣмъ

это, и впе-
на то: онъ
которое не
послѣ пере-
ь тонѣ раз-
ь рѣшается
пимъ и но-

не страшить
е расхожусь,
ти умереть и
ъ двѣ мысли:
и я упускалъ
стера; вторая:
мой, сколько
искренностію,

со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія! Болѣе всего печалитъ меня теперь выходка противъ Мицкевича, въ гадкой статьѣ о Менцелѣ [1]): какъ! отнимать у великаго поэта священное право оплакивать паденіе того, что́ дороже ему всего въ мірѣ и въ вѣчности—его родины... И этого-то благороднаго и великаго поэта назвалъ я печатно крикуномъ, поэтомъ риѳмованныхъ памфлетовъ! Послѣ этого всего тяжелѣе мнѣ вспомнить о «Горѣ отъ ума», которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія [2]) и

[1]) Сочин., ч. III, стр. 315—316. „От. Записки", 1840, № 1, Науки.

[2]) Сочин., III, стр. 341—438. „От. Зап." 1840, № 1, Критика.

о которомъ говорилъ свысока, съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это—благороднѣйшее, гуманическое произведеніе, энергическій (и при томъ еще первый) протестъ противъ гнусной расейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ... свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства *и пр. и пр. и пр.*»

Онъ вспоминаетъ другія подобныя идеи, которымъ еще такъ недавно придавалъ абсолютное значеніе, и восклицаетъ: „неужели *я* говорилъ *это?*"

«Конечно, идея, которую я силился развить въ ст. по случаю книги Глинки «О Брд. Ср.», вѣрна въ своихъ основаніяхъ, но должно было бы развить и идею отрицанія, какъ историческаго права, не менѣе перваго священнаго, и безъ котораго исторія человѣчества превратилась бы въ стоячее и вонючее болото,—а если этого нельзя было писать, то долгъ *чести* требовалъ, чтобы ужъ и ничего не писать. Тяжело и больно вспомнить! А дичь, которую изрыгалъ я въ неистовствѣ... противъ французовъ—этого энергическаго, благороднаго народа, льющаго кровь свою за священнѣйшія права человѣчества...? Проснулся я—и страшно вспомнить мнѣ о моемъ снѣ... А это насильственное примиреніе съ гнусною расейскою дѣйствительностію»...

Опускаемъ еще страстную тираду, гдѣ обличеніе дѣйствительности высказано съ такимъ жаромъ, съ какимъ Бѣлинскій говорилъ объ этихъ предметахъ позднѣе, когда его мнѣнія уже вполнѣ установились. Теперь онъ совершенно иначе думаетъ о либерализмѣ, который считалъ прежде только крикливымъ легкомысліемъ...

«Идея либерализма въ высшей степени разумная и христіанская, ибо его задача—возвращеніе правъ личнаго человѣка, возстановленіе человѣческаго достоинства, и самъ Спаситель сходилъ на землю и страдалъ на крестѣ за *личнаго человѣка*. Конечно, французы не понимаютъ абс. (абсолютнаго) ни въ искусствѣ, ни въ религіи, ни въ знаніи,—да не это ихъ назначеніе; Германія—нація абсолютная, но государство позорное... Конечно, во Франціи много крикуновъ и фразеровъ, но въ Германіи много гофратовъ, филистеровъ, колбасниковъ и другихъ гадовъ. Если французы уважаютъ нѣмцевъ за науку и учатся у нихъ, за то и нѣмцы догадались наконецъ, что́ такое французы,—и у нихъ явилась эта благородная дружина энтузіастовъ свободы, извѣстная подъ именемъ «юной Германіи», во главѣ которой стоитъ такая чудная, такая прекрасная личность, какъ Гейне, на котораго мы нѣкогда взирали съ презрѣніемъ, увлекаемые своими дѣтскими, односторонними убѣжденіями. Чортъ знаетъ, какъ подумаешь, какими зигзагами совершалось мое развитіе, цѣною ка-

кихъ ужасныхъ заблужденій купилъ я истину, и какую горькую истину,— что все на свѣтѣ гнусно, а особенно вокругъ насъ... Ты помнишь мои первыя письма изъ Питера—ты писалъ ко мнѣ, что онѣ производили на тебя тяжелое впечатлѣніе, ибо въ нихъ слышался скрежетъ зубовъ и вопли нестерпимаго страданія: отъ чего же я такъ ужасно страдалъ?— отъ дѣйствительности, которую называлъ разумною и за которую ратовалъ... Странное противорѣчіе! Къ пріѣзду К-ва я былъ уже приготовленъ,—и, при первой стычкѣ съ нимъ, отдался ему въ плѣнъ безъ противорѣчія. Смѣшно было: хотѣлъ спорить, и вдругъ вижу, что ужъ нѣтъ ни силъ, ни жару, а черезъ 1/4 часа, вмѣстѣ съ нимъ, началъ ратовать противъ всѣхъ, сбитыхъ съ толку мною же»...

Эти слова любопытны между прочимъ, какъ прямое свидѣтельство, что Бѣлинскій приходилъ къ своему новому образу мыслей совершенно самостоятельно, безъ постороннихъ вліяній. К-въ, если не ошибаемся, пріѣхалъ въ Петербургъ лѣтомъ 1840. Но въ чемъ именно Бѣлинскій былъ „приготовленъ" къ его пріѣзду, и какой былъ предметъ ихъ „стычки", не совсѣмъ ясно.

Конецъ письма занятъ литературными предметами, и здѣсь упоминается опять о Г-нѣ, встрѣчу съ которымъ мы упоминали выше [1]) (въ 1840 году онъ поселился въ Петербургѣ), и бесѣдахъ съ нимъ, такъ что повидимому между ними уже произошло объясненіе и примиреніе.

Бѣлинскій заинтересованъ былъ въ это время сочиненіемъ г-жи Джемсонъ, заключавшимъ характеристики и портреты Шекспировскихъ героинь, которое Боткинъ думалъ изложить для „Отеч. Записокъ" [2]). Его интересуютъ также, хотя меньше, нежели Джемсонъ, статьи извѣстнаго въ свое время нѣмецкаго критика Рётшера о Шекспирѣ, и объ извѣстномъ романѣ Гёте, „Wahlverwandschaften", который былъ тогда у нашихъ друзей предметомъ большихъ толковъ. „Г. кричитъ противъ статьи Рётшера о „Wahlverwandschaften" и—знаешь ли что?—мнѣ хочется съ нимъ согласиться". Бѣлинскому не нравится въ Рётшерѣ его уваженіе къ „субстанціальнымъ элементамъ жизни"— „можетъ быть потому, прибавляетъ онъ, что я теперь въ другой крайности". Въ одной статьѣ Рётшера о Шекспирѣ Бѣ-

---

[1]) См. письма 30 дек. 1839, 16 и 24 апрѣля 1840.

[2]) Статья Боткина явилась въ „Отеч. Зап." 1841, № 2: „Женщины, созданныя Шекспиромъ".

линскаго даже оскорбилъ взглядъ Рётшера на Люцію, которая, не любя Флоуэрдаля, гоняется за нимъ въ качествѣ вѣрной жены [1]). „Для меня,—говоритъ Бѣлинскій,—баядерка и гетера лучше вѣрной жены безъ любви", и взглядъ сенъ-симонистовъ на бракъ кажется ему лучше взгляда гегелевскаго, или того, который онъ принималъ за гегелевскій.

Онъ даже готовъ согласиться съ Г-номъ, что Рётшеръ не понялъ романа Гёте, что этотъ романъ—не апологія, а скорѣе протестъ противъ брака; и припоминаетъ возраженіе Баумана Рётшеру, что коллизія, здѣсь изображенная, произошла именно потому, что бракъ былъ не дѣйствителенъ въ смыслѣ разумности... Такъ завершался для Бѣлинскаго давнишній вопросъ о Рётшерѣ и романѣ Гёте.

Онъ пишетъ Боткину, чтобы тотъ убѣдилъ Кронеберга перевесть „Лира", который былъ „опозоренъ" у насъ переводомъ Якимова и передѣлкою Каратыгина. На извѣстіе Боткина, что онъ „погрузился въ греческій міръ", Бѣлинскій отвѣчаетъ, что онъ самъ блаженствовалъ цѣлый вечеръ за греческой поэзіей, и выписываетъ длинный отрывокъ изъ гимна Гезіода къ музамъ [2]), изъ разсужденія Платона о красотѣ, которые привели его въ восторгъ. Онъ завидуетъ „счастливцу Кудрявцеву", которому далась греческая грамота. Далѣе, снова любопытный отзывъ объ его прежнемъ противникѣ.

«Бога ради, Б., пиши скорѣе о Прометеѣ—это у насъ и ново, и полезно, а я просто съ ума сойду отъ твоей статьи — даю тебѣ впередъ честное слово... Не можешь представить, какъ я радъ, что ты согласился съ моими понятіями о журналѣ... [3]) На счетъ историческихъ статей взяты мѣры,—и Г-нъ уже переводитъ изъ кн. Тьерри о Меровингахъ, и будетъ обработывать другія вещи въ этомъ родѣ. Его живая, дѣятельная и практическая натура въ высшей степени способна на это. Кстати: этотъ человѣкъ мнѣ все больше и больше нравится. Право, онъ лучше ихъ всѣхъ [4]):

---

[1]) Бѣлинскій разумѣетъ статью Рётшера, взятую, кажется, изъ Hallische Jahrbücher: „Четыре новыя драмы, приписываемыя Шекспиру", перев. въ „От. Зап." 1840, кн. 11. Здѣсь рѣчь идетъ о драмѣ: „Лондонскій Блудный Сынъ".

[2]) Переведеннаго въ книгѣ Шевырева, Ист. поэзіи, стр. 17—19.

[3]) О чемъ былъ прежде споръ между ними; см. письмо 31 окт. 1840.

[4]) Кого? Петербургскихъ пріятелей Бѣлинскаго, или друзей Г-на, или тѣхъ и другихъ.

какая воспріимчивая, движимая, полная интересовъ и благородная натура. Объ искусствѣ я съ нимъ говорю слегка, потому что оно и доступно ему только слегка, но о жизни не наговорюсь съ нимъ. Онъ видимо измѣняется къ лучшему въ своихъ понятіяхъ. Мнѣ съ нимъ легко и свободно. Что онъ ругалъ меня въ Москвѣ за мои *абсолютныя* статьи —это новое право съ его стороны на мое уваженіе и расположеніе къ нему. Въ XII № «От. Зап.» прочтешь ты отрывокъ изъ его записокъ — какъ все живо, интересно, хотя и легко!»... [1]).

Къ ноябрю или декабрю 1840 года относится отрывокъ (быть можетъ, принадлежащій къ предыдущему письму), гдѣ есть также любопытныя подробности тогдашнихъ отношеній и и взглядовъ Бѣлинскаго. Въ началѣ отрывка идетъ рѣчь о петербургскихъ его друзьяхъ. Они — прекрасные люди, онъ ихъ очень любитъ, но въ это первое время все еще къ нимъ не привыкъ: въ нихъ есть что-то чуждое, даже непріятное ему, что́ называетъ онъ ихъ „петербуржествомъ". Ихъ раздѣляла, прежде всего, разница въ ихъ развитіи. „Всѣ эти люди,—замѣчаетъ Бѣлинскій,—не истекали кровью при видѣ гнусной дѣйствительности, или созерцая свое ничтожество". Бѣлинскій былъ уже очень далекъ отъ идей своего стараго московскаго кружка̀, но кружокъ вспоминается ему, какъ свѣтлая черта его жизни, — по тому нравственному единству, по глубокой преданности идеѣ, какими онъ отличался и какихъ еще не образовалось въ средѣ его петербургскихъ друзей. Въ Бѣлинскомъ пробуждается, едвали не въ послѣдній разъ, мысль о московской старинѣ, но рядомъ съ этимъ, очевидно, уже завязанъ новый узелъ, который скрѣпитъ новыя отношенія въ не менѣе тѣсную связь...

«Да, Б., только въ Питерѣ... созналъ я, что я человѣкъ, и чего-нибудь да стóю; только въ Питерѣ узналъ я цѣну нашему человѣческому святому кружку. Мнѣ милы теперь и самыя ссоры наши: онѣ выходили изъ того, что мы возмущались гадкими сторонами одинъ другого. Нѣтъ, я еще не встрѣчалъ людей, передъ которыми мы могли бы скромно сознаться въ своей незначительности. Многихъ людей я отъ души люблю

---

[1]) Конца письма недостаетъ. Статья, о которой говорится въ послѣднихъ строкахъ, есть: „Записки одного молодого человѣка", Отеч. Зап. 1840, № 12, стр. 267—288. Это была первая статья, помѣщенная Г-номъ въ этомъ журналѣ.

въ П., многіе люди и меня любятъ тамъ больше, чѣмъ я того стою; но, мой Б., я одинъ, одинъ, одинъ! Никого возлѣ меня! Я начинаю замѣчать, что общество Г. доставляетъ мнѣ больше наслажденія, чѣмъ ихъ: съ тѣми я или говорю о вздорѣ, или тщетно стараюсь завести общій интересный разговоръ, или проповѣдую, не встрѣчая противорѣчія, и умолкаю, не докончивши; а эта живая натура вызываетъ наружу всѣ мои убѣжденія, я съ нимъ спорю, и, даже когда онъ явно вретъ, вижу все-таки самостоятельный образъ мыслей»...

Отзывъ о Г-нѣ показываетъ, что, несмотря на примиреніе, въ Бѣлинскомъ еще оставался слѣдъ прежняго недовѣрія, и во всякомъ случаѣ отношеніе къ нему было независимое. Бѣлинскаго больше привлекала теперь живая натура, самостоятельность мысли, чѣмъ самый взглядъ на вещи. Затѣмъ, начнется и согласіе съ этимъ взглядомъ...То, что „вѣетъ Москвою", радуетъ Бѣлинскаго, напоминая ему прежнее. Но онъ мало встрѣчаетъ такихъ людей, и только пріѣздъ Кольцова доставилъ ему наслажденіе, какого онъ давно не испытывалъ.

«Когда пріѣхалъ Кольцовъ, я *всѣхъ тѣхъ* забылъ, какъ будто ихъ и не было на свѣтѣ. Я точно очутился въ обществѣ нѣсколькихъ чудеснѣйшихъ людей. Кудрявцевъ промелькнулъ тѣнью, ибо видѣлся со мною урывками..., съ К-вымъ мнѣ было какъ-то не свободно..., но и съ нимъ у меня были чудныя минуты. И вотъ опять никого со мною, опять я одинъ—и пуста та комната, гдѣ еще такъ недавно мой милый Алексѣй Васильевичъ съ утра до ночи упоевался чаемъ и меня поилъ!

Увы! нашъ кругъ часъ отъ часу рѣдѣетъ:
Кто въ гробѣ спитъ, кто дальній сиротѣетъ.

«Спѣши свиданіемъ, а то, можетъ быть, и увидимся, да не узнаемъ другъ друга...

«Да, если таковы у насъ лучшіе люди, объ остальныхъ нечего и говорить. Чтожъ дѣлать при видѣ этой ужасной дѣйствительности? Не любоваться же на нее, сложа руки, а дѣйствовать елико возможно, чтобы другіе потомъ лучше могли жить, если намъ никакъ нельзя было жить. Какъ же дѣйствовать? Только два средства: каѳедра и журналъ — все остальное вздоръ. О, еслибы у «О. З.» нынѣшній годъ зашло тысячи за три (подписчиковъ): тогда было бы изъ чего забыть даже и Моросейку [1]), и женщину, и свою краткую безотрадную жизнь, и поратовать, и костьми лечь, если нужно будетъ. О, еслибы, при этомъ, можно было печатать хоть то, что печаталось назадъ тому десять лѣтъ въ Москвѣ!.. Кстати,

[1]) Въ Москвѣ, гдѣ жилъ Боткинъ и гдѣ было центральное мѣсто ихъ дружескаго круга.

о писаніи. Я бросаю абстрактныя общности, хочу говорить о жизни *по факту*, о которомъ идетъ дѣло. Но это такъ трудно: мысль не находитъ слова,—и мнѣ часто представляется, что я... дюжинная посредственность. Особенно лѣтомъ преслѣдовала меня эта мысль. Эхъ, если бы мнѣ занять у К-ва его слогъ: я бы лучше его воспользовался имъ. Кстати: скажи откровенно: какъ тебѣ понравилась его ст. о Саррѣ Толстой?»...

Конецъ отрывка занятъ отдѣльными литературными замѣчаніями, мыслями, вопросами. Боткинъ, вѣроятно въ отвѣтъ на убѣжденія Бѣлинскаго, писалъ ему, что можетъ взять на себя составленіе небольшихъ статей, извлеченій и т. п. Бѣлинскій, возразивши, что Боткинъ слишкомъ скромничаетъ, высказываетъ слѣдующую свою оцѣнку его работъ:

«Я такъ дорого цѣню твои статьи, и особенно вотъ за что: за отсутствіе амфаза, кротость тона, простоту, и еще за то, что ты въ нихъ высказываешь именно то, что хотѣлъ высказать, тогда какъ (я) или ничего не выскажу (хоть иногда и удается) или ударюсь въ общности... Напр., съ какимъ живымъ наслажденіемъ я прочелъ твою статейку о выставкѣ [1]); все такъ просто, не натянуто, и все сказано, что слѣдовало сказать — трудъ читателя не потерянъ...

«Аксаковъ сказывалъ [2]), что Гоголь пишетъ къ нему, что онъ убѣдился, что у него чахотка, что онъ ничего не можетъ дѣлать. Но это, можетъ быть, и пройдетъ, какъ вздоръ. Важно вотъ что: его начинаетъ занимать Россія, ея участь, онъ грустить о ней; ибо въ послѣдній разъ онъ увидѣлъ, что въ ней есть люди! А я торжествую: субстанція общества взяла свое — космополитъ-поэтъ кончился и уступаетъ свое мѣсто русскому поэту».

Бѣлинскій не ожидалъ, разумѣется, что интересъ къ Россіи и ея „участи“ приметъ у Гоголя то морализирующее направленіе, противъ котораго Бѣлинскій вскорѣ самъ возсталъ, замѣтивъ его въ нѣкоторыхъ лирическихъ эпизодахъ „Мертвыхъ Душъ“, и которое наконецъ подорвало самый талантъ: теперь Бѣлинскій радовался, ожидая отъ Гоголя сознательныхъ изображеній русской жизни...

Когда Бѣлинскій убѣдился наконецъ въ ложности своихъ представленій о „дѣйствительности“, это отразилось тотчасъ и

---

[1]) Рѣчь идетъ вѣроятно о небольшой статейкѣ: „Выставка картинъ въ Моск. архитектурномъ училищѣ“, „От. Зап.“ 1840, № 11, Смѣсь, стр. 23—27.

[2]) Онъ былъ тогда въ Петербургѣ, кажется, на возвратномъ пути изъ-за границы.

на его эстетическихъ понятіяхъ. Онъ увидѣлъ, что субъективное, личное отношеніе поэта къ дѣйствительности, его пониманіе общественной жизни и отрицаніе ея недостатковъ имѣютъ полное право участвовать, проявляться въ его дѣятельности художественной; что, вслѣдствіе того, элементъ „рефлексіи" не есть нѣчто, разрушающее поэзію, какъ онъ думалъ прежде; что поэзія вовсе не должна быть непремѣнно безстрастно объективна, и что напротивъ присутствіе общественной мысли придаетъ ей особую нравственную цѣну. Пробнымъ камнемъ эстетическихъ теорій Бѣлинскаго былъ въ особенности Шиллеръ. Въ предыдущихъ письмахъ уже встрѣчались замѣчанія, гдѣ отражалась возникавшая у Бѣлинскаго новая точка зрѣнія. Въ настоящемъ отрывкѣ есть и выводъ, къ которому онъ приходилъ теперь по этому вопросу.

«Я рѣшилъ для себя важный вопросъ — пишетъ Бѣлинскій. — Есть поэзія художественная (высшая—Гомеръ, Шекспиръ, В. С., К., Б., Ш., Гёт., П., Г.) [1]); есть поэзія религіозная (Шиллеръ, Ж. П. Рихтеръ, Гофманъ, самъ Гёте) [2]); есть поэзія философская («Фаустъ», «Прометей», отчасти «Манфредъ» и пр.). Между ними нельзя положить опредѣленныхъ границъ, потому что онѣ не пребываютъ одна къ другой въ неподвижномъ равнодушіи, но, какъ элементъ, входятъ одна въ другую, взаимно модифицируя другъ друга. Слава Богу, наконецъ *всѣмъ нашлось мѣсто*. Вотъ отчего въ «Фаустѣ» есть дивныя вещи (т.-е. даже во 2-ой части), какъ, напр., «Матери» (въ выноскѣ къ пер. К. ст. Рётшера въ «Набл.»)—не могу безъ священнаго трепета читать этого мѣста [3]). Даже есть поэзія общественная, житейская—французская,—и такой человѣкъ, какъ Гюго, несмотря на всѣ его дикости, есть большой талантъ, и заслуживаетъ великаго уваженія, даже и прочіе очень и очень примѣчательны, кромѣ Ламартина—сей ..... рыбы, сей водяной элегіи».

Такъ, въ этомъ новомъ состояніи мысли, Бѣлинскому приходилось передѣлывать свои понятія: отказываясь отъ старыхъ представленій, надо было выработать новыя. Въ этомъ трудѣ онъ оставался одинокимъ, потому что одни изъ его петербургскихъ

---

[1]) Буквы означаютъ: Вальтеръ-Скоттъ, Куперъ, Байронъ, Шиллеръ, Гёте, Пушкинъ, Гоголь.

[2]) Религіозная—въ широкомъ смыслѣ этого слова.

[3]) Эпизодъ „Матери", изъ 2-й части „Фауста", переданъ въ примѣчаніи къ переводу статьи Рётшера, о философской критикѣ худож. произведенія (М. Каткова); „Моск. Набл." 1838, т. XVII, стр. 187—188.

друзей были вовсе не такого ума и характера, чтобы раздѣлить съ нимъ это неустанное броженіе мысли и сердца; другіе, приглядѣвшіеся къ жизни въ Петербургѣ, и вообще не питали никакихъ преувеличеній о разумной дѣйствительности; съ иными (и именно съ тѣми, кто могъ ему помочь) онъ не успѣлъ, или какъ-будто нѣсколько опасался сблизиться (какъ напр. довольно долго не сближался съ Г-номъ), боясь еще разъ болѣзненнаго толчка. Какъ въ началѣ петербургской жизни, такъ и теперь, онъ переселялся мыслью къ своему другу, и потребность высказаться, провѣрить свои новыя мысли, производила массу посланій, на десяткахъ страницъ... Онъ кончаетъ письмо подъ впечатлѣніями московскихъ воспоминаній: ему захотѣлось музыки,—той музыки, которую онъ такъ мало понималъ:

«Посмѣйся надо мною, — говоритъ онъ въ самомъ концѣ письма: — иногда умираю отъ жажды слышать музыку — иногда слышу около себя запахъ такихъ №№ изъ «Роберта», на которые не обращалъ никакого вниманія. О Фрейш. нечего и говорить — иной разъ хоть умереть, а услышать... Хочу зарядить ходить въ оперу. Одно воспоминаніе о Лейерманѣ исторгаетъ слезы. Услышу ли когда? О, меломанъ!»

Къ концу декабря 1840, идетъ новый рядъ писемъ. Вотъ отрывки изъ письма 26-го декабря, гдѣ продолжается тоже настроеніе:

«Боткинъ, да что-жъ ты ничего не пишешь ко мнѣ—мнѣ становится досадно и больно. Я писалъ къ тебѣ мое послѣднее большое письмо окостенѣлою отъ пера рукою — сто разъ бросалъ и сто разъ принимался вновь и съ бо́льшимъ жаромъ, воображая, какъ обрадуешься ты толстому письму и съ какой веселой улыбкой будешь его перечитывать. Получа твое письмо, я всегда бываю полонъ дня два,—а полнота для меня рѣдкій гость. Ахъ, Боткинъ, Боткинъ! какъ жить-то становится мнѣ все гаже и гаже!

И съ міра, и съ время
Покровы сняты,
Загадочной жизни
Прожиты мечты!

Осталось чортъ знаетъ что́, и приходится вопить:

Давайте веселья!
Давайте печаль!

Давно насъ не манитъ
Волшебница даль! [1]).

Жизнь страшно надула меня—безсовѣстно и предательски: назади фантазіи, въ настоящемъ медленная смерть, — впереди — гніеніе и смрадъ. Гадко! Зачѣмъ не умеръ я хоть за полгода передъ этимъ, когда еще могъ мечтать — и о чемъ же? — о дѣйствительности!»

Боткинъ писалъ ему о переводахъ „Ромео и Юліи" и „Бури" Шекспира (Каткова и Сатина); первый, по его словамъ, не былъ вѣренъ; второй ему не нравился. Бѣлинскій возражаетъ, что къ переводчикамъ Шекспира можно быть и поснисходительнѣе—благо переводятъ. Онъ жалѣетъ, что Кудрявцевъ отказывается писать рецензіи для „Отеч. Записокъ": онѣ вообще очень нравились Бѣлинскому, и здѣсь Бѣлинскій очень хвалитъ статью Кудрявцева о „Лирическомъ Пантеонѣ" [2]),—если не ошибаемся, первомъ изданіи, съ какимъ г. Фетъ вступилъ на литературное поприще. „А г. Ф. много обѣщаетъ".

«Ну, что́ у васъ дѣется въ Москвѣ? — спрашиваетъ Бѣлинскій. — А какова статья И-ра? [3]). Вѣдь живой человѣкъ-то! Въ 1 № выкинули преинтересную статью о Пугачевѣ — не знаемъ, что́ и дѣлать съ цензурою — самая кнутобойная и калмыцкая.

«Каковы послѣднія-то стихотворенія Кольцова — а? Экой чортъ — коли размахнется—такъ посторонись — ушибетъ. А «Ночь?» Да это́ просто — и словъ нѣту [4]).

«Если Красовъ кончилъ своего «Ворона», пришли не для печати, а прочесть мнѣ — жажду».

Послѣднее письмо 1840 года, на которомъ и остановимся въ настоящей главѣ, начато 30-го декабря и окончено уже въ концѣ января 1841. Бо́льшая доля этого письма, опять очень длиннаго, занята разсказомъ и опредѣленіемъ личныхъ отношеній Бѣлинскаго съ различными его друзьями, самимъ Боткинымъ, К-ромъ, К-вымъ; послѣднему посвящено особенно много

[1]) Стихи Кольцова.

[2]) „От. Зап." 1840, № 12, Библ. хрон., стр. 40—42. „Лирич. Пантеонъ" изданъ былъ подъ буквами А. Ф.

[3]) Упомянутыя „Записки одного молодого человѣка".

[4]) Онъ могъ указывать стихотворенія: „Дуютъ вѣтры, вѣтры буйные"; „Лѣсъ" (о чемъ шумитъ сосновый лѣсъ); „Разлука"; „Такъ и рвется душа изъ груди молодой" (въ 11 и 12 кн. „От. Зап." 1840); „Ночь" („От. Зап." 1841, кн. 2).

мѣста. Трудность изложенія подобныхъ вещей заставляетъ насъ ограничиться немногими извлеченіями, болѣе общаго литературнаго характера... Примиреніе съ Шиллеромъ—окончательное и восторженное:

«Спасибо тебѣ, друже, за письмо—я даже испугался, увидѣвъ такое толстое посланіе, которое совсѣмъ не въ духѣ твоей лѣности...

«Все, что написалъ ты о Гёте и Шиллерѣ — прекрасно, и много пояснило мнѣ насчетъ этихъ двухъ чудаковъ. Признаться ли тебѣ въ грѣхѣ...: о Шиллерѣ не могу и думать не задыхаясь, а къ Гёте начинаю чувствовать родъ ненависти, и, ей-Богу, у меня рука не подымется противъ Менцеля, хотя сей мужъ и по прежнему остается въ глазахъ моихъ идіотомъ. Боже мой — какіе прыжки, какіе зигзаги въ развитіи! Страшно подумать!

«Да, я созналъ наконецъ свое родство съ Шиллеромъ, я — кость отъ костей его, плоть отъ плоти его, — и если что должно и можетъ интересовать меня въ жизни и въ исторіи, такъ это — онъ, который созданъ, чтобъ быть моимъ богомъ, моимъ кумиромъ, — ибо онъ есть высшій и благороднѣйшій мой идеалъ человѣка. Но довольно объ этомъ. Отъ Шиллера перехожу къ Полевому...

«Нѣтъ, никогда не раскаюсь я въ моихъ нападкахъ на Полевого, никогда не признаю ихъ ни несправедливыми, ни преувеличенными»...

Его вражда къ Полевому дошла теперь до крайняго ожесточенія. Онъ не можетъ простить Полевому его новой литературной дѣятельности, союза съ Гречемъ, и проч.

Письмо продолжается 15 января. Бѣлинскій получилъ письмо отъ Кольцова, который, между прочимъ, описывалъ, какъ его московскіе друзья встрѣчали новый годъ, собравшись у Боткина, и Бѣлинскій завидуетъ имъ... Самъ онъ былъ подъ новый годъ у кн. Одоевскаго, ужиналъ и за то два дня его била лихорадка... Слѣдуетъ длинное разсужденіе объ одномъ изъ московскихъ друзей, о которомъ Боткинъ высказался гораздо болѣе хладнокровно, чѣмъ Бѣлинскій. „Признаюсь — огорошилъ ты меня!—замѣчаетъ Бѣлинскій:—я странная натура—никогда не смѣю высказать о человѣкѣ, что думаю, и часто натягиваюсь на любовь и дружбу къ нему, чтобы примирить свое чувство къ нему съ понятіемъ о немъ“.

Статья о Сарѣ Толстой, которой сначала Бѣлинскій очень восхищался, теперь возбуждаетъ въ немъ недоумѣніе: „читаю— прекрасно, положу книгу—не помню ничего. Твое письмо до-

вершило". Отдѣльныя мѣста онъ и теперь находитъ прекрасными; но въ цѣломъ статья ему не нравится... »

Далѣе, среди перебора разныхъ случаевъ въ ихъ кружкѣ, заходитъ рѣчь о бракѣ. Мы видѣли, что Бѣлинскій уже отказывался отъ своихъ прежнихъ (гегеліянскихъ) понятій объ этомъ предметѣ; на этотъ разъ онъ съ сочувствіемъ говоритъ о Жоржъ-Зандѣ, которой прежде такъ не любилъ, и дѣлаетъ замѣчаніе, въ которомъ уже намѣчено направленіе его дальнѣйшихъ мнѣній: „Вообще, всѣ общественныя основанія нашего времени требуютъ строжайшаго пересмотра и коренной перестройки, чтó и будетъ рано или поздно. Пора освободиться личности человѣческой, и безъ того несчастной, отъ гнусныхъ оковъ неразумной дѣйствительности — мнѣнія черни и преданія варварскихъ вѣковъ. Ахъ, Боткинъ, чувствую, что при свиданіи мы подеремся: письма мои не могутъ дать тебѣ и слабаго намека на то, какъ ужасно перемѣнился я". Это шутливое замѣчаніе указываетъ, что со стороны Боткина Бѣлинскій не ожидалъ согласія съ своими настоящими мнѣніями. Боткинъ, какъ сейчасъ увидимъ, поздравлялъ его съ „выходомъ на широкое поле дѣйствительности", — но вѣроятно еще не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ значеніи этого выхода.

На другой день, 16 января, Бѣлинскій продолжаетъ о томъ же новомъ фазисѣ своей внутренней жизни:

«Ты поздравляешь меня, что я «вышелъ на широкое поле дѣйствительности, на животрепещущую почву исторической жизни» и что «и груди и душѣ моей будетъ легче». Отчасти это справедливо: искусство задушило-было меня, но при этомъ направленіи я могъ жить въ себѣ и думалъ, что для человѣка только и возможно, что жизнь въ себѣ, а вышелъ изъ себя (гдѣ было тѣсненько, но за то и тепло), я вышелъ только въ новый міръ страданія, ибо для меня дѣйствительность и историческая жизнь не существуютъ только въ прошедшемъ — я хочу ихъ видѣть въ настоящемъ, а этого-то и нѣтъ и не можетъ быть... Я теперь совершенно сознаъ себя, понялъ свою натуру: то и другое можетъ быть вполнѣ выражено словомъ That, которое есть моя стихія. А сознать это, значитъ сознать себя заживо зарытымъ въ гробу, да еще съ связанными назади руками. Я не рожденъ для науки, ни даже для того тихаго кабинетнаго занятія любимыми предметами, которое такъ сродно твоей натурѣ. Да, я уже сказалъ себѣ: умирай—для тебя ничего нѣтъ въ жизни, жизнь во всемъ отказала тебѣ. Чтó до женщины — это тоже грустная исторія»...

Онъ уже не вѣритъ прежнимъ мечтамъ, и той любви, „которая еще такѣ недавно была первымъ догматомъ его катихизиса". Авторитеты Пушкина и другихъ подобныхъ натуръ утвердили въ немъ это невѣріе. „Твоя исторія, Боткинъ, — прибавляетъ онъ,—окончательно добила во мнѣ всякую вѣру въ чувство".

Къ сожалѣнію, въ нашемъ матеріалѣ не было письма Боткина къ Бѣлинскому—съ тѣми литературными разсужденіями, о которыхъ Бѣлинскій упоминаетъ въ слѣдующихъ словахъ своего письма:

«Сейчасъ прочелъ въ письмѣ твоемъ о Гёте и Шиллерѣ—умнѣе и истиннѣе этого ничего не читалъ—просто не могу начитаться. Какъ хочешь, а вклею въ статью, подъ видомъ выписки изъ нѣкоего частнаго письма.

«О «Запискахъ одного молодого человѣка» не хочу съ тобою спорить, ибо не вижу никакой возможности ни согласиться съ тобою, ни тебя согласить со мною. Ты просто несправедливъ къ нему, какъ къ лицу и не любишь его, какъ личность. А для меня это—человѣкъ, одинъ изъ тѣхъ, какихъ у насъ, къ несчастію, мало...

«На счетъ Гейне тоже остаюсь при своемъ мнѣніи. То, что ты называешь въ немъ отсутствіемъ всякихъ убѣжденій, въ немъ есть только отсутствіе системы мнѣній, которой онъ, какъ поэтъ, создать не можетъ, и, не будучи въ состояніи примирить противорѣчій, не можетъ и не хочетъ, по нѣмецкому обычаю, натягиваться на систему. Кто оставилъ родину и живетъ въ чужой землѣ, по мысли, того нельзя подозрѣвать въ отсутствіи убѣжденій. Гейне понимаетъ ничтожность французовъ въ мышленіи и искусствѣ, но онъ весь отдался идеѣ *достоинства личности*, и неудивительно, что видитъ во Франціи цвѣтъ человѣчества. Онъ ругаетъ и позоритъ Германію, но любитъ ее истиннѣе и сильнѣе всевозможныхъ гофратовъ и мыслителей, и ужъ, конечно, побольше защитниковъ и поборниковъ дѣйствительности, какъ она есть... Гейне—это нѣмецкій французъ—именно то, что для Германіи теперь всего нужнѣе».

Приводимъ еще нѣсколько литературныхъ подробностей, которыми занято окончаніе письма:

«О стихахъ Пушкина въ альманахѣ [1]) нельзя и говорить обыкновеннымъ человѣческимъ языкомъ, а другого у меня нѣтъ. Я понялъ ихъ насквозь. Такого глубокаго и граціозно-деликатнаго чувства нельзя вы-

[1]) Рѣчь идетъ вѣроятно объ „Утренней Зарѣ" Владиславлева, на 1841 годъ, гдѣ было помѣщено стихотвореніе Пушкина: „Для береговъ отчизны дальней".

разить, какъ перечтя эти же самые стихи. Но каковы его «Три ключа» въ 1 № «О. З.»? Они убили меня, и я твержу безпрестанно: «Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ»...

Онъ восхищается стихотвореніемъ Лермонтова въ 1 № „Отеч. Записокъ" 1841 („Есть рѣчи"...) и съ видимымъ удовольствіемъ разсказываетъ Боткину, что 2-я книга будетъ еще лучше: тамъ будутъ помѣщены, въ отдѣлѣ наукъ, двѣ статьи,—одна о женскихъ лицахъ Шекспира, изъ книги г-жи Джемсонъ, и другая, изъ исторіи Меровинговъ, Тьерри [1]):—„что глава изъ историческаго романа Вальтера Скотта!" Повѣсть Одоевскаго „Саламандра" [2]) ему не нравится; онъ считаетъ ея фантастику слабой и натянутой.

Наконецъ онъ говоритъ о своихъ работахъ. Онъ писалъ тогда критическую статью о стихотвореніяхъ Лермонтова [3]). Она казалась ему не дурной, „живой, одушевленной, если не хитрой"; но онъ убѣждается, что „нѣтъ никакой возможности писать хорошо для журнала", потому что срочность работы не даетъ обработать статью, какъ слѣдуетъ, въ ней являются повторенія, недостатокъ соотвѣтствія между частями, многое остается необдуманнымъ, слабо выраженнымъ и пр. „Дай мнѣ написать въ годъ три статьи, дай каждую обработать, передѣлать—ручаюсь, что будетъ стóить прочтенія... Хорошо какому-нибудь Рётшеру издать въ годъ брошюрку, много двѣ. А тутъ напишешь 5 полулистовъ, да и шлешь въ типографію"... Это, конечно, было справедливо; такова почти всегда срочная журнальная работа, и труды Бѣлинскаго также надо почти всегда разсматривать какъ импровизацію, быстро произведенную, — но эти импровизаціи тѣмъ не менѣе были несомнѣнно лучшимъ, чтó только представляла наша литературная критика въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ... Бѣлинскій начинаетъ даже сомнѣваться въ своей способности къ работѣ: „Я было недавно пришелъ въ

---

[1]) „Женщины, созданныя Шекспиромъ, изъ сочиненій г-жи Джемсонъ (Shakspear's female Characters, by Mrs. Jameson)" — первая статья Боткина, явившаяся съ его полнымъ именемъ („О. З." 1841 г., № 2); „Разсказы о временахъ Меровингскихъ", изъ Тьерри, съ предисловіемъ И-ра (№ 2, стр. 45—63).

[2]) „Отеч. Зап." 1841 г., кн. 1.

[3]) „Отеч. Зап." 1841, кн. 2; Соч., IV, стр. 252 и д.

отчаяніе отъ своей неспособности писать: вижу—есть мысль, глубоко понимаю, что́ хочу сказать, а сказать не могу—слова не повинуются, нужны образы, ихъ не нахожу"... Онъ думаетъ, что виновата срочная спѣшность работы; но онъ забылъ еще одно обстоятельство, отъ котораго слова и образы не повиновались. Онъ задумалъ теперь большую статью о Петрѣ Великомъ: „она лежитъ у меня на сердцѣ, давитъ его и просится вонъ"... Когда эта статья была написана и пошла въ печать, ему пришлось горько жаловаться на цензуру...

Бѣлинскому все больше разъясняется давнишній вопросъ о „рефлектированной" поэзіи:

«Чѣмъ больше читаю отрывки изъ «Фауста» (Струговщ., Веневитинова и др.), тѣмъ болѣе увѣряюсь, что это—величайшее созданіе міроваго генія. О 2-й ч. не говорю: явно, что она вышла изъ подгнившей рефлексіи, полна аллегоріями, но и въ ней должны быть дивныя частности. Понялъ я наконецъ, что такое *рефлектированная* поэзія—великое дѣло! Мы не греки: греческій міръ существуетъ для насъ, какъ прошедшій (хотя и величайшій) моментъ развитія человѣчества, но онъ не можетъ дать намъ полнаго удовлетворенія. Младенчество прекрасное время, время полноты, но кому 30 лѣтъ, наскучитъ быть съ одними дѣтьми, какъ бы ни любилъ ихъ».

Приводимъ еще замѣтку, въ концѣ этого письма, объ отношеніяхъ съ К-вымъ:

«Чѣмъ больше думаю, тѣмъ яснѣе вижу, что пребываніе въ Питерѣ К-ва дало сильный толчокъ движенію моего сознанія. Личность его проскользнула по мнѣ, не оставивъ слѣда; но его взгляды на многое,—право, мнѣ кажется, что они мнѣ больше дали, чѣмъ ему самому».

Въ томъ же письмѣ, выше, Бѣлинскій говоритъ о К-вѣ: „онъ много разбудилъ во мнѣ, и изъ этого многаго большая часть воскресла и самодѣятельно переработалась во мнѣ уже послѣ его отъѣзда. Ясно, что немного прошло у него черезъ сердце, но живетъ только въ головѣ, и потому отъ него пристаетъ и понимается съ трудомъ". Въ примѣръ Бѣлинскій указывалъ, какъ мы видѣли, статью о Сарѣ Толстой, сначала его восхитившую, потомъ оставившую его совершенно равнодушнымъ... К-въ, при помощи котораго Бѣлинскій въ прежнее время знакомился съ подробностями гегелевской философіи, и теперь оказывалъ Бѣлинскому подобное содѣйствіе. Бѣлинскій, по всей

вѣроятности, принялъ отъ него теперь болѣе точное пониманіе нѣкоторыхъ отвлеченныхъ, между прочимъ эстетическихъ вопросовъ; но, судя по выраженіямъ Бѣлинскаго, нельзя, кажется, думать, чтобы онъ приписывалъ К-ву вліяніе въ томъ измѣненіи своихъ понятій о „дѣйствительности", какое мы теперь старались представить. Наконецъ, для должнаго пониманія этихъ отношеній слѣдуетъ имѣть въ виду замѣчаніе, сдѣланное Бѣлинскимъ въ томъ же письмѣ. „Не забудь,—говоритъ Бѣлинскій полушутя,—что мы съ К. соперники по ремеслу, а я по моей натурѣ способенъ всегда видѣть въ соперникѣ Богъ знаетъ что, а въ себѣ меньше чѣмъ ничего". Сказавъ, что взгляды К-ва дали тогда ему, Бѣлинскому, больше, чѣмъ самому К-ву, Бѣлинскій какъ будто предчувствовалъ, что впослѣдствіи, при новой встрѣчѣ, они разойдутся между прочимъ и изъ-за этихъ взглядовъ...

Такимъ образомъ, къ началу второго года петербургской жизни въ умѣ Бѣлинскаго совершился переворотъ, установившій его дальнѣйшее развитіе. Путемъ долгихъ колебаній, онъ приходилъ наконецъ къ точкѣ зрѣнія, которая мало давала ему утѣшенія—уничтоженіемъ любимыхъ мечтаній старой романтики и разрывомъ съ внѣшней дѣйствительностью, но мирила его съ самимъ собой—указывая для его идеализма болѣе серьёзное содержаніе, и для его дѣятельности цѣль, которой онъ могъ служить достойнымъ образомъ какъ писатель, и какъ членъ общества. Въ общихъ чертахъ эта цѣль была опредѣлена вѣрно имъ самимъ, въ одномъ изъ его писемъ—гуманическое образованіе общества; средствомъ было истолкованіе нравственнаго достоинства человѣческой личности, путемъ объясненія произведеній искусства въ связи съ ихъ общественнымъ смысломъ.

Въ приведенныхъ письмахъ наглядно отражается это постепенное измѣненіе взглядовъ Бѣлинскаго. Оно было его *самостоятельнымъ* дѣломъ. Встрѣча съ людьми противоположнаго образа мыслей (именно съ Г-номъ), въ которой многіе видятъ одну изъ главныхъ, почти единственную причину этого поворота, на первый разъ нисколько не подѣйствовала на Бѣлинскаго,

и напротивъ, только усилила его тогдашніе взгляды: подъ впечатлѣніемъ этой встрѣчи написаны самыя рѣзкія статьи Бѣлинскаго въ идеально-консервативномъ направленіи. Правда, эта встрѣча дала лишній поводъ Бѣлинскому пересмотрѣть свои теоріи искусства и общества; но нѣтъ сомнѣнія, что и безъ этого повода Бѣлинскій пришелъ бы къ тому же результату. Мнѣнія противниковъ вспоминались ему, но онъ призналъ ихъ справедливость только тогда, когда самъ пришелъ къ тому же взгляду: даже сблизившись потомъ съ Г-номъ, онъ въ первое время очень умѣрялъ свою солидарность съ его мнѣніями. Главнымъ источникомъ новаго направленія Бѣлинскаго была сама жизнь, „россійская дѣйствительность". Переселеніе въ Петербургъ имѣло при этомъ наиболѣе важное вліяніе. Во-первыхъ, разставшись съ московскимъ кружкомъ, онъ вышелъ изъ заколдованнаго круга искусственнаго идеализма. Во-вторыхъ, въ новой обстановкѣ, встрѣча съ практическою жизнью подѣйствовала прямо въ противоположномъ смыслѣ, охладила фантазію и поразила его рѣзкими наглядными опроверженіями теоріи „разумности". Этимъ было сдѣлано все: онъ былъ болѣзненно потрясенъ тягостными впечатлѣніями, которыя наконецъ произвели полный разрывъ съ прошедшимъ. Этотъ процессъ былъ для него временемъ крайне тяжелымъ, потому именно, что эту борьбу съ самимъ собой, и съ прошедшимъ, ему приходилось вести собственными силами, въ нравственномъ одиночествѣ. Петербургскіе друзья не были въ состояніи раздѣлить его волненій, тогда мало еще имъ понятныхъ; Боткинъ поддерживалъ его теплымъ участіемъ, но очевидно оставался чуждъ самому содержанію процесса; съ Г-номъ Бѣлинскій сошелся только тогда, когда перемѣна въ немъ самомъ уже совершилась...

Понятно, что когда въ Бѣлинскомъ произошла эта перемѣна, его вражда къ Г-ну и его друзьямъ смѣнилась тѣсной солидарностью. О томъ, когда именно произошло сближеніе съ Г-номъ, есть опять различныя показанія [1]). Дѣло было, кажется, такъ.

---

[1]) Такъ, въ воспоминаніяхъ Панаева указывается январь или мартъ 1840 и даже 1842 годъ. Указанія другихъ авторовъ также хронологически не ясны.

Черезъ нѣсколько времени по переѣздѣ въ Петербургъ Бѣлинскаго, пріѣхалъ туда и Г-нъ. Какъ говорили намъ современники, Г-нъ всегда высоко цѣнилъ его и желалъ съ нимъ сблизиться, какъ и весь противный ему кружокъ; но тогдашнія статьи Бѣлинскаго приводили Г-на въ негодованіе и сближеніе было не легко. Первая встрѣча оставила ихъ врагами. Наконецъ, Г-нъ увидѣлся съ нимъ еще разъ, по убѣжденіямъ одного изъ общихъ друзей, который относился къ Бѣлинскому мягче, понимая, что его крайности—переходная болѣзнь. Когда слуга доложилъ Бѣлинскому о приходѣ Г-на [1]), онъ вспыхнулъ.— „Вотъ вы увидите наконецъ его, — говорилъ онъ Панаеву,—это человѣкъ замѣчательный и блестящій"... Встрѣча была холодна и натянута, разговоръ долго не вязался, но не могъ наконецъ не попасть на предметы, которые заставили высказаться обоихъ. Когда разговоръ попалъ на „Бородинскую Годовщину", Бѣлинскій былъ взволнованъ и разсказалъ извѣстный случай, какъ одинъ господинъ отказался отъ знакомства съ нимъ потому именно, что онъ авторъ этой статьи (это было на обѣдѣ или вечерѣ у одного знакомаго); Бѣлинскій слышалъ отказъ и горячо пожалъ руку этому господину... Словомъ, въ разговорѣ противники увидѣли, что между ними нѣтъ прежняго противорѣчія. „У меня какъ гора съ плечъ свалилась", говорилъ потомъ Бѣлинскій Панаеву [2]): такъ ему хотѣлось отказаться наконецъ отъ этихъ тяготившихъ его статей. Это и была вѣроятно вторая встрѣча.

По словамъ Панаева, при (первомъ) свиданіи противниковъ, объясненіе между ними послѣдовало тотчасъ: по характеру обоихъ, иначе и быть не могло. Бѣлинскому было прямо высказано, что онъ идетъ по ложной и опасной дорогѣ, и Богъ знаетъ до чего можетъ по ней дойти. Было даже сказано—до чего... Бѣлинскій былъ глубоко уязвленъ, почувствовалъ, что въ словахъ противника было много правды, хотя все еще упорно отстаи-

---

[1]) Бѣлинскій жилъ въ то время у Панаева, и свиданіе произошло здѣсь.

[2]) См. „Воспом." Панаева, „Совр." 1860, № 1, стр. 351—352, и 1861, № 10, стр. 455.

валъ свой образъ мыслей, успокоивая себя тѣмъ, что взгляды его противника узки и проч.

По разсказу Панаева, первая встрѣча сильно подѣйствовала на Бѣлинскаго: онъ впадаетъ въ тоску и апатію — предвѣстницу внутренняго переворота, и только при второмъ свиданіи, онъ окончательно и тѣсно сблизился съ своимъ противникомъ. Это пріуроченіе не совсѣмъ точно: тоска и апатія въ Бѣлинскомъ начались ранѣе этой встрѣчи,—именно съ первыхъ дней петербургской жизни, и имѣли свои болѣе широкія причины; но и изъ приведенныхъ выше писемъ видно, что примиреніе послѣдовало не скоро. Во всякомъ случаѣ, только къ началу 1841 года между прежними противниками завязалась прочная дружеская связь...

О своихъ статьяхъ конца 1839 и начала 1840 года Бѣлинскій впослѣдствіи не могъ слышать равнодушно. Еще въ томъ же 1840 году онъ отрекается отъ нихъ въ письмахъ къ Боткину. Панаевъ разсказываетъ, что однажды Бѣлинскій пришелъ къ нему въ очень хорошемъ расположеніи духа, но, подойдя къ столу и увидѣвъ старую книжку „Отеч. Записокъ", случайно развернутую на статьѣ о Менцелѣ, Бѣлинскій измѣнился въ лицѣ, схватилъ книжку и бросилъ ее на полъ.

— Что, вы это нарочно хотите поддразнивать меня, подсовывая мнѣ на глаза эту статью?—сказалъ онъ.—Вы знаете, что я не могу безъ негодованія вспоминать о моихъ статьяхъ этого времени. Сдѣлайте одолженіе, я прошу васъ не дѣлать со мною такихъ вещей...

Онъ задыхался и почти упалъ на диванъ. Панаеву стоило большого труда нѣсколько его успокоить.

Итакъ, къ концу 1840 или началу 1841 Бѣлинскій окончательно отрѣшился отъ идеалистическихъ воззрѣній стараго московскаго кружка. Философская отвлеченность уступила мѣсто живому взгляду на жизнь и искусство; вмѣстѣ съ тѣмъ, и дѣятельность его получаетъ общественное значеніе.

ГЛАВА VII.

„Западный“ кружокъ. — Журнальная дѣятельность Бѣлинскаго. — Внутренняя жизнь.—Эстетическіе и общественные взгляды.—Вражда съ славянофильствомъ.— Отношенія къ Гоголю. — Послѣдніе годы и смерть Кольцова. — Новые философскіе интересы.—Личное настроеніе.

1841—1842.

Съ того перелома, о которомъ говорено въ предыдущей главѣ, открывается тотъ новый періодъ жизни Бѣлинскаго, въ которомъ окончательно опредѣлился его характеръ, какъ писателя, и общественное значеніе его дѣятельности. Онъ продолжаетъ волноваться, но для него уже выяснилась „дѣйствительность“, выяснилась цѣль, къ которой должна стремиться литература, и наконецъ, положеніе ихъ дружескаго кружка въ средѣ русскаго общества.

Для нынѣшнихъ читателей иногда странной, почти невразумительной кажется та тягостная внутренняя борьба, которую мы старались изобразить, и цѣною которой Бѣлинскій приходилъ къ своимъ послѣднимъ выводамъ. Дѣло было повидимому такъ просто, и Бѣлинскій, казалось, былъ очень наивенъ, когда увлекался такъ далеко въ сторону отъ идей, принятыхъ имъ впослѣдствіи. Но дѣло было просто — только повидимому. Бѣлинскій начиналъ съ того содержанія, какое представляла наша общественная образованность къ началу тридцатыхъ годовъ; въ то время были только слабые зародыши понятій, какія стали высказываться въ сороковыхъ годахъ, и путь, пройден-

ный Бѣлинскимъ, является необходимымъ логическимъ путемъ литературнаго движенія.

Длинный (по разнообразію смѣнявшихся взглядовъ, но не длинный по времени) процессъ, которымъ переходили мнѣнія Бѣлинскаго, любопытенъ и важенъ исторически именно тѣмъ, что въ немъ выразилось развитіе мнѣній въ кругу лучшихъ людей тогдашняго общества. Бѣлинскій оттого и получилъ господствующее положеніе въ литературѣ и обширное нравственное вліяніе, что на самомъ себѣ вынесъ и выстрадалъ (о немъ съ полнымъ правомъ можно употребить такое слово) весь этотъ рядъ идей и всѣ столкновенія враждебныхъ одинъ другому принциповъ. Въ каждомъ „моментѣ" онъ вполнѣ проникался данной мыслью, вѣровалъ въ нее, покорялся ей, отыскивалъ ея примѣненія, распространялъ ее на свою личную жизнь, и дѣйствительно „переживалъ" ее; если потомъ ему приходилось убѣждаться въ ея односторонности и ошибочности, ему всегда стóило большой душевной боли отказаться отъ нея. Надо думать, что его тогдашніе и позднѣйшіе противники, упрекавшіе его за перемѣнчивость мнѣній, не испытывали ничего подобнаго. Бѣлинскій съ справедливой гордостью могъ отвѣтить на подобный упрекъ, сдѣланный ему однажды съ славянофильской стороны [1]). Но, переработавши сомнѣнія, онъ каждый разъ чувствовалъ себя сильнѣе; страсть усиливала его убѣжденіе, и тогда не только никакіе противники не пугали его, но, напротивъ, онъ искалъ ихъ, вызывалъ ихъ на споръ, и въ борьбѣ чувствовалъ себя въ своей сферѣ. Въ слѣдующихъ ниже письмахъ намъ встрѣтятся яркія выраженія этой стороны его личности.

„Отечественныя Записки" поглощали теперь всю дѣятельность Бѣлинскаго. Съ самыхъ первыхъ годовъ этотъ журналъ успѣлъ занять видное мѣсто въ тогдашней литературѣ и вскорѣ пріобрѣлъ большое вліяніе въ литературной и читающей публикѣ. Что это вліяніе было прежде всего дѣломъ Бѣлинскаго, объ этомъ не можетъ быть и спора. „Отечественныя Записки" были журналомъ того самаго типа, какъ „Московскій Наблю-

[1]) Сочин., т. XI, стр. 257—258.

датель" Бѣлинскаго: литературная критика была тѣмъ существеннымъ отдѣломъ, гдѣ высказывался характеръ изданія, и въ „Отечественныхъ Запискахъ" отдѣлъ критики и библіографіи держался на Бѣлинскомъ—наполнялся главнымъ образомъ его трудами, или если трудами другихъ, то подъ вліяніемъ его же критическаго духа и пріемовъ. „Отечественныя Записки" имѣли большое преимущество надъ „Наблюдателемъ" въ одномъ отношеніи,—гдѣ Бѣлинскій совсѣмъ не участвовалъ,—во внѣшнемъ порядкѣ изданія. Редакція еще до участія Бѣлинскаго доставила журналу и другую выгоду—нѣкоторыя (впрочемъ, должно сказать, весьма случайныя) литературныя связи, черезъ которыя въ „Отечественныхъ Запискахъ" явились имена Лермонтова, кн. Одоевскаго, гр. Соллогуба и пр., печатались иногда стихотворенія, оставшіяся послѣ Пушкина. Но этимъ все и кончалось: журналъ при своемъ основаніи не имѣлъ никакого яснаго характера; отдѣлъ критики, до Бѣлинскаго, велся чисто случайнымъ образомъ; спеціальный критикъ, выбранный сначала самой редакціей, была такая посредственность, отъ которой нельзя было ждать никакого содержанія и ни малѣйшаго вліянія въ литературѣ; журналъ унаслѣдовалъ только, отъ Пушкинскаго круга, неясное уваженіе къ „искусству" и вражду къ Булгарину и Гречу; въ „направленіи" была нѣкоторая наклонность къ особаго рода славянофильству, какое представляли тогда Морошкинъ, Савельевъ-Ростиславичъ, Сахаровъ. Самостоятельное значеніе дано было журналу исключительно Бѣлинскимъ и его друзьями; нѣкоторые изъ нихъ начали свое участіе въ „Отеч. Запискахъ" ранѣе Бѣлинскаго, но только съ его вступленіемъ этотъ журналъ вполнѣ сталъ органомъ московскаго кружка: Бѣлинскій представлялъ наиболѣе дѣятельную силу этого кружка, и вслѣдъ за нимъ и ради него стали усердными и часто „безкорыстными" или даровыми сотрудниками „Отеч. Записокъ" его друзья. Онъ придавалъ всему этому кругу нравственную солидарность, которая отразилась на журналѣ рѣдкимъ единствомъ и цѣльностью характера. Редакція только молча приняла внесенный въ журналъ элементъ. Бѣлинскій отдаетъ ей справедливость, что она не вмѣшивалась

въ содержаніе его статей. И послѣ, въ 1841, она точно также приняла новое направленіе Бѣлинскаго.

Со времени разсказаннаго выше примиренія Бѣлинскаго съ его противниками, прежній кружокъ, котораго родоначальникомъ былъ Станкевичъ, сложился въ гораздо болѣе обширный кругъ людей, который, въ противоположность тогда же возникшему славянофильству, стали называть теперь „западнымъ". Въ своемъ новомъ составѣ, „западный" кружокъ представилъ рѣдкое для нашей литературы соединеніе замѣчательныхъ талантовъ и характеровъ, одушевленныхъ однимъ стремленіемъ—служить умственному развитію и нравственному облагороженію общества. Эти, такъ-называемые теперь „люди сороковыхъ годовъ" были наиболѣе передовыми выразителями общественной мысли, непосредственными начинателями того движенія, какое совершалось въ наше время.

Новые критики, — особенно не имѣвшіе никакихъ личныхъ воспоминаній о періодѣ „сороковыхъ годовъ" или не встрѣчавшіеся близко съ его уцѣлѣвшими представителями, — бывали наклонны относиться очень строго къ дѣятельности и характерамъ этого круга. Такія сужденія, внушаемыя обыкновенно нашими нынѣшними взглядами, не совсѣмъ справедливы. Прежде всего должно вспомнить общественную среду, въ которой „людямъ сороковыхъ годовъ" привелось выработывать свои принципы: одинъ трудъ борьбы съ этою средою требовалъ немало нравственной силы и стойкости, и усилія, потраченныя на преодолѣніе внѣшнихъ препятствій, необходимо терялись для самаго дѣла. Притомъ, не точно было бы судить объ этой дѣятельности по тѣмъ однимъ слѣдамъ, какіе остались отъ нея въ литературѣ: слишкомъ извѣстно, что литература передавала ихъ мысли далеко не полно; невольныя умолчанія скрыли для насъ, конечно, наиболѣе пламенныя, сильныя выраженія ихъ мысли, и наиболѣе краснорѣчивыя страницы ихъ писаній. Есть много фактовъ, указывающихъ, что въ ихъ печатанныхъ тогда сочиненіяхъ мы нерѣдко имѣемъ дѣло только съ блѣднымъ остаткомъ ихъ дѣйствительнаго взгляда на вещи. Далѣе, понятно, что не всѣ люди этого круга владѣли серьезностью убѣжденія и характера; многіе не выдержали потомъ, отступили и даже из-

мѣнили, — но было бы невѣрно по нимъ судить о достоинствѣ цѣлаго круга за то время. Къ сожалѣнію, „среда“ слишкомъ могущественна, чтобы легко было выдерживать ея давленіе, но должно сказать, что эти многіе, отступившіе и измѣнившіе, не были лучшіе и сильнѣйшіе изъ людей сороковыхъ годовъ,— лучшіе остались себѣ вѣрны... „Людямъ сороковыхъ годовъ“, дѣйствовавшимъ въ наше время, дѣлали не разъ упрекъ, что они слишкомъ легко мирились съ наличнымъ характеромъ жизни, удовлетворялись тѣмъ, очень умѣреннымъ „прогрессомъ“, который мало удовлетворялъ новыя поколѣнія: имъ ставили въ упрекъ, что они забывали собственное прошедшее. Но это была обыкновенная историческая разница поколѣній: прежнее понесло свою долю труда, могло естественно утомиться имъ и потерять прежнюю воспріимчивость, но вмѣстѣ съ тѣмъ могло удовлетворяться настоящимъ и по той причинѣ, что видѣло въ немъ исполненіе того, что́ было искомымъ въ ихъ пору... Еще и въ наше время есть „люди сороковыхъ годовъ“, которые, не отдѣляясь отъ новыхъ поколѣній, считаютъ ихъ работу продолженіемъ своей, и представляютъ собой возможно полную солидарность развитія... Были изъ ихъ среды и такіе люди, которые до послѣднихъ дней оставались впереди лучшихъ прогрессивныхъ стремленій общества.

Тѣсно сплотившійся кружокъ сороковыхъ годовъ представлялъ однако значительное разнообразіе; общая точка зрѣнія являлась въ немъ съ различными оттѣнками по различію умственныхъ и нравственныхъ характеровъ. Была своего рода школа, повторявшая слова учителя; но главные дѣятели, какъ Г-нъ, Грановскій, Боткинъ, какъ самъ Бѣлинскій, были вполнѣ самостоятельны и встрѣчи ихъ мнѣній служили только къ болѣе многостороннему развитію общаго содержанія. Въ слѣдующемъ изложеніи мы увидимъ, что и теперь, когда главный спорный пунктъ былъ рѣшенъ къ общему согласію, между Бѣлинскимъ и его московскими друзьями не одинъ разъ возникали споры, которые хотя и смягчались дружескими отношеніями, но тѣмъ не менѣе были довольно сильны... Интересы кружка̀ вообще были обращены къ предметамъ гуманической образованности и общественной жизни, и между друзья-

ми была солидарность и взаимодѣйствіе, которыя обобщали ихъ мнѣнія въ цѣлый послѣдовательный взглядъ. Бѣлинскій уступалъ многимъ изъ друзей въ объемѣ и солидности свѣдѣній, и многое заимствовалъ у нихъ въ этомъ отношеніи; но, какъ у другихъ были свои спеціальности, у Грановскаго—исторія, у Г-на—общіе философскіе и общественные вопросы, у Боткина и Анненкова — эстетическія изученія и европейская литература, такъ его спеціальностью было критическое объясненіе русской литературы, и здѣсь его мнѣнія являлись съ своимъ признаннымъ авторитетомъ.

Въ теоретическомъ содержаніи новаго кружка соединились стремленія двухъ прежнихъ, изъ которыхъ онъ составился: одни были прежде гегеліянцы и эстетики, другіе издавна увлекались общественными идеями и соціальной литературой. Теперь, эти разныя изученія слились какъ двѣ стороны одного вопроса. Для Бѣлинскаго соціальная идея (не соціализмъ), достоинство и право личности становится краеугольнымъ камнемъ его взглядовъ на „дѣйствительность"; Г-нъ въ свою очередь съ ревностью изучаетъ Гегеля (въ первыхъ сороковыхъ годахъ), въ свою очередь увлекается его грандіозными построеніями, въ которыхъ часто находитъ геніальную *фантазію*, и не находитъ опроверженія своимъ соціальнымъ идеямъ, — какъ это думали прежде его противники. Прежніе взгляды двухъ сторонъ въ теоретическомъ отношеніи сошлись на сочувствіи къ лѣвой сторонѣ гегеліянства, съ которой Бѣлинскій знакомится теперь черезъ того же Боткина. Въ одномъ письмѣ Боткина (приводимомъ дальше) читатель найдетъ любопытный образчикъ его тогдашнихъ воззрѣній.

Согласные въ общихъ положеніяхъ, дѣятели новаго круга согласно воспринимали руководящія явленія тогдашней европейской литературы,—которыя имѣли немалое вліяніе на развитіе или укрѣпленіе взглядовъ Бѣлинскаго. Къ старымъ предметамъ восторженнаго удивленія, какъ Шекспиръ, Гёте, Шиллеръ, — которые нѣкогда удерживали Бѣлинскаго на высотахъ поэтическаго гуманизма и которые сохраняли и теперь его восторженное удивленіе,—присоединяются новые писатели, увлекавшіе Бѣлинскаго съ иной стороны. Это была въ особенности

Жоржъ-Зандъ, въ романахъ которой Бѣлинскій безгранично восхищался не только поэзіей разсказа, но и общественнымъ смысломъ содержанія. Жоржъ-Зандъ была для всего кружка высокимъ авторитетомъ. Чѣмъ больше друзья посвящали вниманіе новой европейской литературѣ, тѣмъ сильнѣе утверждались въ Бѣлинскомъ тѣ взгляды на жизнь и литературу, первое развитіе которыхъ мы видѣли. Мало по малу подъ вліяніемъ общихъ изученій, споровъ и бесѣдъ, съ новыми явленіями русской литературы, съ новымъ вниманіемъ къ русской дѣйствительности, у друзей кружка образовался тотъ взглядъ на вещи, который остался его исторической заслугой въ развитіи общественныхъ понятій. Этотъ взглядъ далеко расходился съ преданіями и господствующими понятіями; основою его была мысль о необходимости преобразованія.

Съ тѣхъ же поръ, какъ образовался этотъ новый кругъ, онъ сталъ оказывать свое дѣйствіе и въ литературѣ, и личнымъ вліяніемъ его членовъ. Не входя въ подробности о литературномъ вліяніи, орудіемъ котораго были „Отечественныя Записки", довольно сказать, что съ 1841 года мнѣнія этого журнала становятся очевидно болѣе и болѣе господствующими; его эстетическія понятія, историческая оцѣнка литературы, отзывы о современныхъ писателяхъ начинаютъ повторяться и другими, и наконецъ пріобрѣтаютъ неоспоримое преобладаніе. Враждебныя партіи (Гречъ и Булгаринъ, Сенковскій, Полевой), вліянія которыхъ Бѣлинскій опасался еще такъ недавно, падаютъ сами собою, не столько отъ полемики, веденной противъ нихъ, сколько отъ самаго достоинства взглядовъ Бѣлинскаго, отъ того высокаго уровня, на который онъ поставилъ критику и при которомъ само собой обнаруживалось пустое ничтожество этихъ партій. Движеніе самой литературы блистательно оправдывало Бѣлинскаго. Посмертное изданіе Пушкина открывало новыя прекрасныя произведенія его зрѣлой эпохи; по смерти Лермонтова въ „Отечественныхъ Запискахъ" долго появлялись юношескія поэмы и новыя великолѣпныя стихотворенія; Гоголь завершалъ свою знаменательную дѣятельность изданіемъ „Мертвыхъ Душъ"; стихотворенія Кольцова открывали новый путь народно-литературной поэзіи... Лермонтовъ, Гоголь

и Кольцовъ были живыми и могущественными фактами того новаго духа времени, новаго тона литературы, который былъ давно предчувствованъ Бѣлинскимъ и котораго онъ являлся теперь восторженнымъ истолкователемъ. Все это еще болѣе возвышало его увѣренность и энергію. Къ половинѣ 40-хъ годовъ, старая литературная рутина была окончательно подорвана, и единственными противниками, съ которыми Бѣлинскому и друзьямъ его приходилось бороться,—оставались славянофилы. Въ этомъ спорѣ замѣшаны были уже гораздо болѣе крупные вопросы.

Дѣятельность кружка оказала сильное и благотворное дѣйствіе и въ другомъ отношеніи. Она вызывала новыя свѣжія силы, которыя начали группироваться около Бѣлинскаго. Все, что являлось истинно-талантливаго въ поэтической области, въ научныхъ, особенно историческихъ изученіяхъ, примыкало къ этому кругу; тонкое эстетическое чувство, свободное пониманіе науки, живое отношеніе къ общественности привлекали лучшія силы и дарованія новаго литературнаго поколѣнія. Нѣтъ сомнѣнія, что новая поэтическая литература, дѣятелями которой явились Тургеневъ, Некрасовъ, Григоровичъ, нѣсколько позднѣе Гончаровъ, Достоевскій и пр., унаслѣдовала не только отъ Гоголя, но также отъ Бѣлинскаго и его друзей; что вниманіе къ общественнымъ явленіямъ, правдивое изображеніе жизни, гуманное отношеніе къ страдающимъ классамъ, сказавшіяся здѣсь,—были воспитаны одинаково и впечатлѣніями отъ Гоголя, и неутомимой проповѣдью Бѣлинскаго... Новыя изученія русской исторической и экономической жизни, съ какими выступали тогда Соловьевъ, Кавелинъ, Аѳанасьевъ, Влад. Милютинъ и пр. и пр., и которыя въ то же самое время возникали изъ новаго знакомства съ содержаніемъ и пріемами европейской науки, — и въ этомъ отношеніи явились независимо,—тѣмъ не менѣе опять связаны были съ этимъ кругомъ, гдѣ всего скорѣе находили симпатію свободныя научныя стремленія. Весь этотъ новый рядъ дѣятелей, наиболѣе талантливый, наиболѣе замѣчательный по научнымъ средствамъ, умножаетъ собой тотъ избранный кругъ, начало котораго полагали Бѣлинскій и его друзья.

Мы назвали здѣсь нѣкоторыя имена, которыя только позднѣе, во второй половинѣ сороковыхъ годовъ, появляются въ литературѣ, но въ описываемые годы кругъ Бѣлинскаго и его друзей уже начинаетъ пріобрѣтать то дѣйствіе на умы, о какомъ мы говоримъ. Въ Бѣлинскомъ уже теперь, и по праву, является сознаніе, что дѣятельность его была не безплодна, что она составляетъ „фактъ русской жизни".

Обращаемся къ фактамъ. Переписка съ Боткинымъ, которая и теперь послужитъ для насъ главнѣйшимъ источникомъ, становится менѣе богата; въ ней есть большіе перерывы, отчасти потому, что, въ теченіе 1841—1843 годовъ, друзья нѣсколько разъ видались въ Петербургѣ и Москвѣ,—отчасти вѣроятно и потому, что часть писемъ этого времени истреблена или потеряна,—отчасти, наконецъ, Бѣлинскій писалъ меньше прежняго: у него уже проходилъ періодъ „бурныхъ стремленій"; „дѣйствительность" разъяснялась; личная жизнь была и теперь исполнена тревогъ, но когда основная мысль установилась, начинаетъ теряться и прежняя нетерпѣливая потребность высказываться. Его взгляды продолжаютъ развиваться, но рѣзкихъ поворотовъ уже нѣтъ; онъ не покидаетъ добытой имъ „идеи общества"—и только больше выясняетъ ее для себя въ историческомъ, соціальномъ и философскомъ смыслѣ.

Первыя письма, съ марта 1841, еще длины по прежнему.

Боткинъ между прочимъ прислалъ ему (вѣроятно, въ своемъ переводѣ) отрывокъ изъ „Hallische (послѣ Deutsche) Jahrbücher", извѣстнаго журнала лѣвой стороны гегеліянства, который еще ранѣе привлекъ вниманіе друзей-философовъ. Этотъ журналъ, издававшійся (съ 1837) Эхтермейеромъ и Арнольдомъ Руге, не разъ поминается въ ихъ перепискѣ; — тѣ примѣненія гегелевской философіи, какія дѣлались либеральной стороной ея послѣдователей, теперь должны были вполнѣ совпадать съ новыми мнѣніями Бѣлинскаго. „Галльскія лѣтописи" проповѣдывали „автономію духа", въ наукѣ — раціонализмъ, въ общественной и политической жизни—либерализмъ. Для Бѣлинскаго выдержки изъ нѣмецкаго журнала, сообщаемыя друзьями, были только

новыми пріятными подтвержденіями его собственныхъ мыслей. Слѣдующее оригинальное письмо представляетъ начало его полной „раздѣлки“ съ старымъ гегеліянствомъ.

«Отрывокъ изъ «Hallische Jahrbücher», — пишетъ онъ Боткину (отъ 1-го марта 1841), — меня очень порадовалъ и даже какъ будто воскресилъ и укрѣпилъ на минуту — спасибо тебѣ за него, сто разъ спасибо. Я давно уже подозрѣвалъ, что философія Гегеля только моментъ, хотя и великій, но что абсолютность ея результатовъ никуда не годится [1]), что лучше умереть, чѣмъ помириться съ ними. Это я сбирался писать къ тебѣ до полученія твоего этого письма. Глупцы врутъ, говоря, что Г. (Гегель) превратилъ жизнь въ мертвыя схемы; но это правда, что онъ изъ явленій жизни сдѣлалъ тѣни, сцѣпившіяся костяными руками и пляшущія на воздухѣ, надъ кладбищемъ. Субъектъ у него не самъ себѣ цѣль, но средство для мгновеннаго выраженія общаго, а это общее является у него въ отношеніи къ субъекту Молохомъ, ибо, пощеголявъ въ немъ (въ субъектѣ), бросаетъ его какъ старые штаны. Я имѣю особенно важныя причины злиться на Г. (Гегеля), ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему (въ ощущеніи), мирясь съ расейскою дѣйствительностію, хваля Загоскина и подобныя гнусности, и ненавидя Шиллера. Въ отношеніи къ послѣднему, я былъ еще послѣдовательнѣе самого Г. (Гегеля), хотя и глупѣе Менцеля. Всѣ толки Г. (Гегеля) о нравственности — вздоръ сущій, ибо въ объективномъ царствѣ мысли нѣтъ нравственности, какъ и въ объективной религіи (какъ напр. въ индійскомъ пантеизмѣ, гдѣ Брама и Шива — равно боги, т.-е. гдѣ добро и зло имѣютъ равную автономію). Ты—я знаю—будешь надо мною смѣяться... но смѣйся какъ хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности, важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (т.-е. гегелевской Allgemeinheit). Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣствицы развитія, а споткнешься—падай—чортъ съ тобою—таковскій и былъ сукинъ сынъ... Благодарю покорно, Егоръ Ѳедорычъ (Гегель)—кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣствицы развитія, — я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр. и пр.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастія и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и усладительно для мело-

[1]) Замѣняемъ болѣе рѣзкое выраженіе письма.

мановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи. Впрочемъ, если писать объ этомъ все, и конца не будетъ. Выписка изъ Эхтермейера порадовала меня, какъ энергическая стукушка по философскому колпаку Г., какъ фактъ, доказывающій, что и нѣмцамъ предстоитъ возможность сдѣлаться людьми, человѣками, и перестать быть нѣмцами. Но собственно для меня тутъ не все утѣшительно. Я изъ числа людей, которые на всѣхъ вещахъ видятъ хвостъ дьявола, — и это, кажется, мое послѣднее міросозерцаніе, съ которымъ я и умру. Впрочемъ, я отъ этого страдаю, но не стыжусь этого. Человѣкъ самъ по себѣ ничего не знаетъ — все дѣло (зависитъ) отъ очковъ, которые надѣваетъ на него независящее отъ его воли расположеніе его духа, капризъ его натуры. Годъ назадъ я думалъ діаметрально-противоположно тому, какъ думаю теперь, — и право, я не знаю, счастіе или несчастіе для меня то, что для меня думать и чувствовать, понимать и страдать одно и тоже».

Эхтермейеръ, такъ порадовавшій Бѣлинскаго, нѣсколько разъ положительно высказывался и противъ самого Гегеля, и противъ его непосредственныхъ учениковъ (Alt-Hegelianer). Такъ, онъ указывалъ, какъ самъ Гегель иногда не признавалъ практическихъ выводовъ и требованій своего же идеализма, и Эхтермейеръ прямо называлъ это трусостью, измѣной собственному принципу и т. п. [1]).

Скептицизмъ, въ какой теперь видимо впадалъ Бѣлинскій, естественно могъ слѣдовать за потерей убѣжденія, въ которомъ онъ прежде чувствовалъ или хотѣлъ чувствовать себя защищеннымъ отъ сомнѣній и нерѣшимости. Скептицизмъ приводилъ его къ самому мрачному взгляду на вещи и на себя.

«Вотъ гдѣ должно бояться фанатизма, — продолжаетъ онъ. — Знаешь ли, что я теперешній болѣзненно ненавижу себя прошедшаго... Будешь видѣть на всемъ хвостъ дьявола, когда видишь себя живого въ саванѣ и въ гробѣ, съ связанными назади руками. Что̀ мнѣ въ томъ, что я увѣренъ, что разумность восторжествуетъ, что въ будущемъ будетъ хорошо, если судьба велѣла мнѣ быть свидѣтелемъ торжества случайности, неразумія, животной силы? Что̀ мнѣ въ томъ, что моимъ или твоимъ дѣтямъ будетъ хорошо, если мнѣ скверно, и если не моя вина въ томъ, что мнѣ скверно? Не прикажешь ли уйти въ себя? Нѣтъ, лучше умереть, лучше быть живымъ трупомъ! Выздоровленіе! Да въ чемъ же оно? Слова! слова!

---

[1]) Zaghaftigkeit und Abfall von dem eignen Princip. См. Hall. Jahrb. 1840, 1841, разныя статьи Эхтермейера. Въ 1842 г. Эхтермейеръ умеръ, и Руге одинъ остался издателемъ этого журнала, впрочемъ, уже ненадолго.

слова!... филистеры, люди пошлой непосредственной дѣйствительности, смѣются надъ нами, торжествуютъ свою побѣду»... [1]).

По поводу ихъ прежнихъ философствованій, Бѣлинскій съ раздраженіемъ вспоминаетъ, какъ нѣкогда они видѣли (по Гегелю) въ Пруссіи совершеннѣйшее государство: теперь Бѣлинскій думалъ о ней совсѣмъ напротивъ: это — членъ тройственнаго священнаго союза, а союзъ—врагъ всякой свободы... „Вотъ тебѣ и Гегель!" восклицаетъ Бѣлинскій:—„въ этомъ отношеніи (т.-е. въ пониманіи политическаго положенія вещей) Менцель умнѣе Гегеля, а о Гейне нечего и говорить". Лучшее государство, по мнѣнію Бѣлинскаго, Сѣверо-Американскіе Штаты, а потомъ Англія и Франція.

Отвѣчая на письмо Боткина, Бѣлинскій говоритъ о Полевомъ,—противъ котораго онъ теперь вообще крайне враждовалъ: „что́ до Полевого, — согласенъ съ тобою; но откуда же были у него во время о́но энергія характера, сила воли? Въ прошедшемъ я высоко цѣню этого человѣка. Онъ сдѣлалъ великое дѣло—онъ лицо историческое".

Бѣлинскій говоритъ дальше о журналѣ и, во-первыхъ, о своихъ собственныхъ работахъ. Боткинъ, кажется, находилъ недостатки въ его слогѣ; Бѣлинскій замѣчаетъ, что самъ не доволенъ своимъ слогомъ, которому недостаетъ опредѣленности и образности; у него нѣтъ и спокойствія,—котораго, впрочемъ, онъ и не желаетъ:

«Спокойствіе не для меня,—пишетъ онъ.—Мнѣ нужно то, въ чемъ видно состояніе духа человѣка, когда онъ захлебывается волнами трепетнаго восторга и заливаетъ ими читателя, не давая ему опомниться. Понимаешь! А этого-то и нѣтъ,—и вотъ почему у меня много реторики (что́ ты весьма справедливо замѣтилъ, и что́ я давно уже и самъ сознаю). Когда ты наткнешься въ моей статьѣ на рет. мѣста, то возьми карандашъ и подпиши: здѣсь бы долженъ быть паѳосъ, но по бѣдности въ ономъ автора, о, читатель! будь доволенъ и реторическою водою. Но отсутствіе единства и полноты въ моихъ статьяхъ *единственно* отъ того, что второй листъ ихъ пишется, когда перваго уже правится корректура. Разсуди самъ, Боткинъ, какого чорта на это станетъ?..»

---

[1]) Эта тирада между прочимъ могла бы показать, что философія Тургеневскаго Базарова не была особенной новостью, и могла бы не удивлять и не приводить въ священный ужасъ—„людей сороковыхъ годовъ".

Бѣлинскій говоритъ потомъ о своей статьѣ, которая должна была появиться въ 3-й книгѣ „Отеч. Записокъ“ („Раздѣленіе поэзіи на роды и виды“): онъ впередъ подчиняется строгому приговору Боткина, признавая, что для подобной работы нужна голова болѣе логическая и систематическая, — и говоритъ, что въ этой статьѣ воспользовался „тетрадками“, оставленными ему К-вымъ, напримѣръ, особенно въ изложеніи лирической поэзіи. „Впрочемъ, — что же? Если я не дамъ теоріи поэзіи, то убью старыя, убью наповалъ наши реторики, піитики и эстетики, — а это развѣ шутка? И потому, охотно отдаю на поруганіе [1]) честное имя свое“. При этомъ онъ жалуется на цензора, сдѣлавшаго исключенія въ статьѣ, и выписываетъ одно мѣсто, подвергшееся такому исключенію [2]). Другое, зачеркнутое въ статьѣ мѣсто, относилось къ „Горю отъ ума“, о которомъ Бѣлинскій хотѣлъ сказать, что это произведеніе было обличеніемъ гнусной дѣйствительности.

Статья „Раздѣленіе поэзіи на роды и виды“ служила первой попыткой исполненія плана, который съ этихъ поръ и почти до самой смерти занималъ Бѣлинскаго. Въ виду неясныхъ и путаныхъ понятій, господствовавшихъ даже въ лите-

---

[1]) Т.-е. Боткину и (двумъ-тремъ) компетентнымъ людямъ.

[2]) Приводимъ эту выписку, относящуюся къ стр. 56-й „От. Зап.“, 1841, № 3, и къ стр. 349 „Сочин.“, т. XII, вслѣдъ за характеристикой „Ромео и Юліи“:

„Насъ возмущаетъ преступленіе Макбета и демонская натура его жены; но еслибы спросить перваго, какъ онъ совершилъ свой злодѣйскій поступокъ, онъ вѣрно отвѣтилъ бы: „и самъ не знаю“; а еслибы спросить вторую, зачѣмъ она такъ нечеловѣчески-ужасно создана, она вѣрно бы отвѣчала, что знаетъ объ этомъ столько же, сколько и вопрошающіе, и что если слѣдовала своей натурѣ, такъ это потому, что не имѣла другой... Вотъ вопросы, которые рѣшаются только за гробомъ, вотъ царство рока, вотъ сфера трагедіи!.. Ричардъ II возбуждаетъ въ насъ къ себѣ непріязненное чувство своими поступками, унизительными для короля. Но вотъ Болингброкъ похищаетъ у него корону— и недостойный король, пока царствовалъ, является великимъ королемъ, когда лишился царства. Онъ уходитъ въ сознаніе величія своего сана, святости своего помазанія, законности своихъ правъ,—и мудрыя рѣчи, полныя высокихъ мыслей, бурнымъ потокомъ льются изъ его устъ, а дѣйствія обнаруживаютъ великую душу, царственное достоинство. Вы уже не просто уважаете его—вы благоговѣете передъ нимъ“ (далѣе какъ въ печатномъ).

ратурныхъ кругахъ по вопросамъ эстетики, Бѣлинскій задумалъ написать „Теоретическій и критическій курсъ русской литературы", который удовлетворилъ бы настоятельной потребности писателей и публики, и представилъ бы систематическое изложеніе законовъ изящнаго, и затѣмъ основанное на немъ последовательное изложеніе исторіи русской литературы. Въ этой работѣ Бѣлинскій думалъ сдѣлать сводъ того, что онъ говорилъ объ этомъ предметѣ въ своихъ критическихъ статьяхъ: ему казалось, и справедливо, что эти идеи „по крайней мѣрѣ оригинальны и совершенно отличны отъ всѣхъ, доселѣ обращавшихся въ нашей литературѣ". Курсъ долженъ былъ заключать, послѣ общаго введенія, эстетику, теорію русскаго стихосложенія, теорію словесности, критическое разсмотрѣніе народной словесности и ея памятниковъ, историческое обозрѣніе памятниковъ письменности до Петра Великаго, исторію книжной литературы съ Кантемира и до новѣйшаго времени, наконецъ, „надежды въ будущемъ" и заключеніе. Въ исторіи литературы онъ хотѣлъ сдѣлать и критическій обзоръ русскихъ журналовъ, имѣвшихъ то или другое, хорошее или вредное, вліяніе на литературу. Въ „Отеч. Запискахъ" заявлено было даже, что книга должна была выдти въ началѣ 1842 года [1]).

Статья въ 3 № „Отеч. Зап." была отрывкомъ изъ эстетики. Въ № 9—12 того же года былъ помѣщенъ рядъ статей о русской народной поэзіи; наконецъ, въ XII-мъ томѣ „Сочиненій" помѣщено нѣсколько статей, не бывшихъ въ печати („Идея искусства"; „Общее значеніе слова: литература"; „Общій взглядъ на народную поэзію и ея значеніе") и очевидно принадлежавшихъ къ тому же плану,—но цѣлое сочиненіе осталось ненаписаннымъ.

Возвращаемся къ прежнему письму. Бѣлинскій въ величайшемъ восторгѣ отъ характеристикъ Шекспировскихъ женщинъ м-ссъ Джемсонъ, переведенныхъ тогда Боткинымъ. Въ особенности изображеніе Офеліи поразило его: „лучшаго по части критики я не читалъ ни во снѣ, ни на яву съ тѣхъ поръ, какъ

[1]) „Отеч. Зап." 1841 г., № 3, Науки, стр. 13—14, прим., гдѣ подробно сообщался планъ этого сочиненія; короче въ „Сочин.", т. XII, стр. 277—278, прим.

родился". Рётшеръ ничто въ сравненіи съ этимъ очеркомъ Офеліи, писаннымъ женскою рукой, и вообще книга Джемсонъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, была жестокій ударъ „критическимъ колпакамъ нѣмцевъ", даже самому Гёте, который есть самый живой изъ нѣмецкихъ критиковъ... Но переводъ онъ находитъ тяжеловатымъ и думаетъ, что виноваты въ этомъ нѣмцы, которыми Боткинъ слишкомъ много занимается... Бѣлинскій уже не вѣрилъ въ Рётшера, который былъ нѣкогда ихъ критическимъ образцомъ и авторитетомъ:

«И знаешь ли что, — пишетъ Бѣлинскій: — не такъ досадно было бы видѣть еще бо́льшіе и важнѣйшіе недостатки въ переводѣ отъ слабаго знанія обоихъ языковъ, неумѣнія или неспособности переводить, чѣмъ тотъ, о которомъ я говорю. Ты онѣметчилъ и *орётшерилъ* свой слогъ. Всего больше сбиваетъ тебя съ толку Рётшеръ. Ну, чортъ возьми, выскажу же, наконецъ, что́ давно кипитъ въ душѣ моей. Въ этомъ человѣкѣ много духа [1]) — не спорю; но въ немъ тоже много и филистерства. Онъ толкуетъ все одно и тоже»...

Бѣлинскій съ ожесточеніемъ возстаетъ противъ того, что́ онъ называетъ въ Рётшерѣ „уваженіемъ къ субстанціальнымъ элементамъ общества" (родство, бракъ и т. п.): по теперешнему взгляду Бѣлинскаго, эти элементы тогда только имѣютъ свое „субстанціальное" право, когда освящаются чувствомъ, а безъ того они—пустая форма, лицемѣріе или насиліе. Увлекаясь рядомъ мыслей, вызванныхъ этой темой, Бѣлинскій предаетъ осужденію всѣ преданія и пустыя формы, и провозглашаетъ разумъ и отрицаніе. Послѣ нѣсколькихъ энергическихъ словъ въ этомъ смыслѣ, онъ останавливается: „но объ этомъ послѣ—чувствую, что безъ драки не обойдется", т.-е. съ другомъ, отъ котораго онъ не предполагалъ одобренія своей рѣшительности... И вслѣдъ затѣмъ Бѣлинскій, по поводу м-ссъ Джемсонъ, опять вспоминаетъ Офелію — точно знакомое, дорогое ему лицо:

«О Офелія, о, блѣдная красота сѣвера, голубка, погибшая въ вихрѣ грозы!.. Мо́чи нѣтъ, слезы рвутся изъ глазъ. Стыдно—у меня теперь въ комнатѣ сидитъ *чиновникъ*, мой родственникъ, человѣкъ преданія и субстанціальныхъ стихій общества».

---

[1]) Эта и подобныя фразы—послѣдніе остатки старой терминологіи кружка, которую Бѣлинскій теперь все больше и больше бросаетъ.

Бѣлинскій хочетъ шуткою сдержать свое чувство, но достаточно видно, въ какомъ восторженномъ состояніи писаны эти строки.

Письмо оканчивается отдѣльными замѣтками. Онъ съ нетерпѣніемъ ждетъ пріѣзда Боткина на пасху; спрашиваетъ его мнѣнія о новыхъ стихахъ Лермонтова („онъ рѣшительно идетъ въ гору и высоко взойдетъ, если пуля дикаго черкеса не остановитъ его пути"); возстаетъ еще разъ противъ Рётшера; сообщаетъ о письмахъ Анненкова изъ-за границы, напечатанныхъ въ томъ же № „Отеч. Записокъ",—они ему чрезвычайно понравились [1]).

Въ письмѣ 13 марта снова возвращается вопросъ о той интимной исторіи Боткина, которая вызывала въ друзьяхъ столько размышленій о любви и о женщинѣ. Исторія положительно приходила къ концу; Боткинъ былъ въ печальномъ настроеніи, и искалъ у друга утѣшенія или объясненія труднаго вопроса. Бѣлинскій даетъ это объясненіе, въ которомъ высказался его теперешній взглядъ на старую романтику ихъ кружка. Исторія Боткина началась еще въ разгарѣ ихъ романтическаго идеализма; она долго тянулась въ неопредѣленныхъ фантазіяхъ, которыя теперь кончались—ничѣмъ.

«По моему мнѣнію,—пишетъ Бѣлинскій,—вы оба *не* любите другъ друга; но въ васъ лежитъ (или лежала) сильная возможность полюбить другъ друга. Тебя сгубило тоже, что и ее—*фантазмъ*... Ты имѣлъ о любви самыя экстатическія и мистическія понятія. Это лежало въ самой твоей натурѣ... Марбахъ и Беттина (отъ которыхъ ты съ ума сходилъ) развили

[1]) „Въ смѣси 3-го № „Отеч. Зап." напечатаны (почти цѣликомъ) письма А-ва изъ-за границы—прелесть! Я еще больше полюбилъ этого человѣка". Знакомство съ нимъ Бѣлинскаго начинается съ 1840 года (упоминанія въ письмахъ съ іюня этого года).

Рядъ „Писемъ изъ-за границы" П. В. Анненкова, съ марта 1841, печатался нѣсколько лѣтъ въ „Отеч. Запискахъ" (потомъ въ „Современникѣ" съ 1847). Они вообще возбуждали тогда большой интересъ. Главнымъ предметомъ ихъ служила общественная жизнь, интересы образованія и искусства, бытовая жизнь и нравы, и, наконецъ политическая жизнь, насколько можно было говорить о ней въ то время, когда политическіе вопросы, даже чужихъ странъ, были почти закрыты для литературы. Эти письма, написанныя легко и занимательно, прямо подъ свѣжими впечатлѣніями, съ живыми и мѣткими характеристиками нравовъ, были дѣйствительной новостью въ литературѣ.

это направленіе до чудовищности. И ты не совсѣмъ былъ не правъ: такая любовь возможна и дѣйствительна... но возможна и дѣйствительна какъ моментъ, какъ вспышка, какъ утро, какъ весна жизни... Понимаешь ли ты теперь, что твоя *любовь* нисколько не риемовала съ *бракомъ* и вообще съ дѣйствительностію жизни, состоящею изъ поэзіи и прозы, изъ которыхъ каждая имѣетъ на насъ равно законныя требованія? Вотъ на чемъ срѣзался Станкевичъ, и вотъ на чемъ суждено было срѣзаться и тебѣ. Отсюда выходили твои экзажерованныя понятія о брачныхъ отношеніяхъ, гдѣ каждый поцѣлуй долженъ былъ выходить изъ полноты жизни, а не изъ рефлексіи и пр. Признаюсь, это мнѣ всегда казалось страшною дичью, и я потому казался тебѣ и М. страшною дичью. Но я былъ правъ. Я понималъ, что въ жизни не разъ придется спросить жену, принимала ли она слабительное и... Эта противоположность поэзіи и прозы жизни ужасала меня, но я не могъ закрыть на нее глаза, не могъ не видѣть, что она есть. Тебя это часто оскорбляло, и я внутренно презиралъ себя, видя, что ты, по крайней мѣрѣ, не уважаешь меня. Что̀ дѣлать — тогда ни одинъ изъ насъ не хотѣлъ быть собою, ибо каждый хотѣлъ быть абсолютнымъ (т.-е. безцвѣтнымъ и абстрактнымъ) совершенствомъ. Теперь мы умны; но дорого достался намъ этотъ умъ»...

Но хотя Бѣлинскій и видѣлъ фантастичность прежняго, онъ все-таки считаетъ Боткина правымъ въ его идеальной любви, которая была его „лучшимъ сокровищемъ", „драгоцѣннымъ перломъ его жизни". Любовь все еще представляется ему въ поэтической окраскѣ, какъ что-то несоединимое съ прозой жизни, погибающее отъ ея прикосновенія; она чуть не противоположна браку.

«Я теперь понимаю основную мысль «Ромео и Юліи», т.-е. необходимость трагической коллизіи катастрофы. Ихъ любовь была не для земли, не для брака, и не для годовъ, а для неба, для любви, для полнаго и дивнаго мгновенія... Я понимаю возможность, что они опротивѣли бы со временемъ другъ другу. Не знаю, что̀ собственно разумѣлъ Гегель подъ «разумнымъ бракомъ», но если я такъ понимаю его идею,—то онъ—мужикъ умный. Любовь для брака дѣло не только не лишнее, но даже необходимое; но она имѣетъ тутъ другой характеръ—тихій, спокойный: удалось—хорошо; не удалось—такъ и быть, не умираютъ, не дѣлаются несчастны... Разсудокъ тутъ играетъ роль не меньшую чувства, если еще не бо̀льшую... Жена—не любовница, но другъ и спутникъ нашей жизни»...

Разсужденія Бѣлинскаго очевидно сходятъ съ прежней точки зрѣнія. Въ его письмахъ и раньше говорилось о томъ впечатлѣніи, какое производили на него идеи о женщинѣ у нѣкоторыхъ французскихъ писателей. Его прежнее романтическое

пониманіе любви переходитъ теперь въ другое идеалистическое представленіе — о полномъ правѣ и свободѣ чувства, въ смыслѣ Жоржа-Занда, и въ противоположность „субстанціальнымъ элементамъ", обычаю и преданію. Съ этой же точки зрѣнія онъ говоритъ опять объ Entsagung, какое нѣкогда рекомендовалъ ему Боткинъ:

«Нѣкогда ты писалъ мнѣ, что во мнѣ нѣтъ Entsagung, и я чуть было не пришелъ въ отчаяніе, что у меня нѣтъ этой прекрасной вещи—даже думалъ, гдѣ бы прикупить оной, или (къ чему я болѣе привыкъ) призанять. У меня и теперь нѣтъ ни Entsagung, ни Resignation,—и я не хочу ни того, ни другого, не видя въ нихъ нужды. То и другое есть отрицаніе себя для общаго, а я ненавижу общее, какъ надувателя и палача бѣдной человѣческой личности. Но я думаю, что человѣку надо быть *себѣ на умѣ* на счетъ жизни, и больше всего опасаться придавать ей много важности. Ты тонешь въ рѣкѣ: удалось выплыть—хорошо, можно позаняться тѣмъ или другимъ, хоть пообѣдать лишній разъ; тонешь — утѣшай себя мыслію, что все равно, что равно глупо остаться жить, какъ и умереть. Чтобы наслаждаться жизнію, надо имѣть въ запасѣ нѣсколько холодности и презрѣнія къ ней, и спѣшить на ея призывы и обольщенія, какъ ѣхать съ визитомъ къ человѣку, который очень нуженъ»...

Собственное настроеніе Бѣлинскаго высказываетея еще слѣдующими словами, въ концѣ этого разсужденія:

«Чортъ возьми, твое положеніе,—мнѣ страшно; и въ фантазіи увидѣть себя въ немъ, а между тѣмъ я немного и завидую тебѣ: мнѣ кажется, что все это лучше, чѣмъ моё протяжное и меланхолическое зѣваніе».

Въ заключеніе, онъ не можетъ обойтись безъ своихъ любимыхъ литературныхъ новостей:

«Лермонтовъ еще въ Питерѣ. Если будетъ напечатана его «Родина» —то аллахъ-керимъ—что́ за вещь!—пушкинская, т.-е. одна изъ лучшихъ пушкинскихъ».

Письмо не застало Боткина въ Москвѣ; онъ отправился въ Петербургъ. Бѣлинскій наконецъ увидѣлся съ своимъ другомъ, впрочемъ ненадолго: Боткинъ пріѣхалъ въ Петербургъ на шестой недѣлѣ поста въ понедѣльникъ, по судебно-коммерческому дѣлу, и думалъ пробыть до половины апрѣля; но онъ получилъ неожиданное извѣстіе о смерти матери, и въ среду на страстной

недѣлѣ уѣхалъ въ Москву. „Я какъ будто и не видѣлся съ нимъ“—пишетъ Бѣлинскій къ другому пріятелю.

31 марта, Боткинъ писалъ Бѣлинскому изъ Москвы о своей домашней потерѣ. Онъ прочелъ и письмо Бѣлинскаго отъ 13 марта: „какое умное, спасибо тебѣ“, пишетъ онъ.

Свиданіе, какъ ни было коротко, на Бѣлинскаго подѣйствовало оживляющимъ образомъ. Онъ говоритъ объ этомъ въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 9 апрѣля:

«Твой пріѣздъ былъ для меня такимъ толчкомъ, что и теперь не могу опомниться. Мнѣ легко стало смотрѣть на Питеръ — даже улицы начинаютъ нравиться. Странная натура: я до такой степени во власти моихъ религіозныхъ убѣжденій и заблужденій, что смотрю на вещи сквозь цвѣтъ ихъ стекла и, подъ ихъ вліяніемъ, зимній морозъ готовъ принять за лѣтній жаръ и наоборотъ...

«Лѣтомъ постараюсь побывать въ Москвѣ—употреблю всѣ силы...

«Хорошъ Шевыревъ: Лермонтовъ подражаетъ Бенедиктову [1]) и пр. Святители! Изъ моей несчастной статьи вырѣзанъ весь смыслъ, ибо выкинуто ровно половина».

Бѣлинскій разумѣетъ, конечно, свою статью о Петрѣ Великомъ [2]), которую онъ писалъ съ большимъ интересомъ и которой, какъ увидимъ, не суждено было быть оконченной...

Письмо Бѣлинскаго отъ 27 іюня опять любопытно, какъ рядъ размышленій, фактовъ внутренней жизни и воспоминаній о прошломъ. Боткинъ какъ-то разъ писалъ ему, что дружба ихъ даетъ имъ то, чего никогда бы не могло дать общество. Бѣлинскій рѣшительно возстаетъ противъ этого: „мысль глубоко несправедливая, ложь вопіющая!“—восклицаетъ онъ, и говоритъ затѣмъ о связи личности съ обществомъ, и въ частности, объ ихъ собственномъ положеніи среди русскаго общества, — положеніи, въ которомъ было столько страннаго вслѣдствіе ихъ исключительнаго развитія, и — вслѣдствіе дикаго состоянія самого общества:

«Увы, другъ мой,—говоритъ онъ,—безъ общества нѣтъ ни дружбы, ни любви, ни духовныхъ интересовъ, а есть только порыванія ко всему

---

[1]) Бѣлинскій говоритъ о критической статьѣ Шевырева въ „Москвитянинѣ“ 1841, кн. 4, стр. 525 и слѣд.

[2]) Статья первая: „Россія до Петра Великаго“ въ „От. Зап.“ 1841, № 4; вторая статья въ № 6 (Сочин., т. IV, стр. 335—403).

этому, порыванія неровныя, безсильныя, безъ достиженія, болѣзненныя, недѣйствительныя. Вся наша жизнь, наши отношенія служатъ лучшимъ доказательствомъ этой горькой истины. Общество живетъ извѣстною суммой извѣстныхъ принциповъ... [въ его средѣ развивается конкретная жизнь его членовъ]... Человѣчество есть абстрактная почва для развитія души индивидуума, а мы всѣ выросли изъ этой абстрактной почвы, мы — несчастные Анахарсисы новой Скиѳіи. Оттого мы зѣваемъ, толчемся, суетимся, всѣмъ интересуемся, ни къ чему не прилѣпляясь, всѣ пожираемъ, ничѣмъ не насыщаясь... Мы любили другъ друга, любили горячо и глубоко... но какъ же проявлялась и проявляется наша дружба? Мы приходили другъ отъ друга въ восторгъ и экстазъ,—мы ненавидѣли другъ друга, мы удивлялись другъ другу, мы презирали другъ друга...; во время долгой разлуки, мы рыдали и молились при одной мысли о свиданіи, истаевали и исходили любовію другъ къ другу, а сходились и видѣлись холодно, тяжело чувствовали взаимное присутствіе и разставались безъ сожалѣнія. Какъ хочешь, а это такъ. Пора намъ перестать обманывать самихъ себя, пора смотрѣть на дѣйствительность прямо, въ оба глаза, не щурясь и не кривя душою... Теперь посмотри на нашу любовь: что это такое? Для всѣхъ это—радость, блаженство, пышный цвѣтъ жизни для насъ это—трудъ, работа, тяжкая скорбь. Вездѣ богатство и роскошь фантазіи, но во всемъ скудость и нищета дѣйствительности»...

Въ жизни общества, въ средѣ котораго они воспитались и должны были дѣйствовать, Бѣлинскій находитъ такія же странныя и фальшивыя явленія — отъ отсутствія правильныхъ условій общественности:

«Ученые профессоры наши—педанты, гниль общества; полуграмотный купецъ Полевой даетъ толчокъ обществу, дѣлаетъ эпоху въ его литературѣ и жизни, а потомъ вдругъ... отступаетъ [1])... Не знаю, имѣю ли я право упомянуть тутъ и о себѣ, но вѣдь и обо мнѣ говорятъ же, меня знаютъ многіе, кого я не знаю, я, какъ ты мнѣ самъ говорилъ въ послѣднее свиданіе, *фактъ русской жизни*. Но посмотри, что же это за уродливый... фактъ! Я понимаю Гёте и Шиллера лучше тѣхъ, которые знаютъ ихъ наизусть, а не знаю по-нѣмецки... Такъ повинить ли мнѣ себя? О, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ. Мнѣ кажется, дай мнѣ свободу дѣйствовать для общества хоть на десять лѣтъ... и я, можетъ быть, въ три года возвратилъ бы мою потерянную молодость,... полюбилъ бы трудъ, нашелъ бы силу воли. Да, въ иныя минуты я глубоко чувствую, что это—свѣтлое сознаніе своего призванія, а не голосъ мелкаго самолюбія, которое силится оправдать свою лѣность, апатію, слабость воли, безсиліе и ничтожность натуры. Обращусь къ тебѣ. Ты часто говорилъ, что не мо-

[1]) Въ подлинникѣ болѣе рѣзкое выраженіе.

жешь, ибо не призванъ, писать. Но почему же ты пишешь и притомъ такъ, какъ не многіе пишутъ? Нѣтъ, въ тебѣ есть все для этого, все, кромѣ силы и упорства, которыхъ нѣтъ потому, что нѣтъ того, для кого должно писать: ты не ощущаешь себя въ обществѣ, ибо его нѣтъ»...

Конечно, и самъ Бѣлинскій не ощущалъ себя въ обществѣ, и, предвидя вопросъ, — почему же онъ однако пишетъ, — онъ объясняетъ это обстоятельствами: ему казалось, что для его самолюбія, котораго у него много, нуженъ былъ выходъ, а ко всякой другой дѣятельности, кромѣ литературной, онъ чувствовалъ себя совершенно неспособнымъ. Обстоятельства заставили его войти въ „вонючую тину расейской словесности", бѣдность принудила много писать... Понятно, что это объясненіе своей дѣятельности было только порывъ недовѣрія и вражды къ условіямъ жизни: оно противорѣчило и его только-что сказаннымъ словамъ. Общее заключеніе таково:

«Все это я веду отъ одного къ одному — мы сироты, дурно воспитанные, мы — люди безъ отечества, и оттого мы хоть и хорошіе люди, а все-таки ни Богу свѣча, ни чорту кочерга, и оттого рѣдко пишемъ другъ къ другу. Да и о чемъ писать? О выборахъ? Но у насъ есть только дворянскіе выборы, а это предметъ (слѣдуетъ рѣзкій отзывъ)... О министерствѣ? но ни ему до насъ, ни намъ до него нѣтъ дѣла, притомъ же... О движеніи промышленности, администраціи, общественности, о литературѣ, наукѣ? — но у насъ ихъ нѣтъ. О себѣ самихъ? Но мы выучили уже наизусть свои страданія, и страшно надоѣли ими другъ другу... Прощай пока".

Письмо продолжается на другой день, и нельзя безъ теплаго интереса слѣдить за волнованіемъ этой страстной души, которая такъ серьёзно ставила задачи жизни и стремилась выполнять ихъ. Скептицизмъ Бѣлинскаго не бывалъ продолжителенъ: онъ бывалъ только утомленіемъ отъ нравственной борьбы, минутнымъ невѣріемъ въ жизнь и въ свои силы, — но новое обращеніе къ искусству, къ исторіи, и идеалы возникали вновь, страстное чувство опять вырывалось наружу. Вотъ страницы, написанныя на другой день въ томъ же самомъ письмѣ, послѣ чтенія Плутарха:

«По совѣту твоему, купилъ «Плутарха» Дестуниса и прочелъ. Книга эта свела меня съ ума. Боже мой, сколько еще кроется во мнѣ жизни, которая должна пропасть даромъ! Изъ всѣхъ героевъ древности трое

привлекли всю мою любовь, обожаніе, энтузіазмъ—Тимолеонъ и Гракхи. Біографія Катона (Утическаго, а не скотины Старшаго) пахнула на меня мрачнымъ величіемъ трагедіи,—какая благороднѣйшая личность! Периклъ и Алкивіадъ взяли съ меня полную и обильную дань удивленія и восторговъ. А что же Цезарь,—спросишь ты. Увы, другъ мой, я теперь забился въ одну идею, которая поглотила и пожрала меня всего. Ты знаешь, что мнѣ не суждено попадать въ центръ истины, откуда въ равномъ разстояніи видны всѣ крайнія точки ея круга; нѣтъ, я какъ-то всегда очучусь на самомъ краю. Такъ и теперь: я весь въ идеѣ гражданской доблести, весь въ паѳосѣ правды и чести, и мимо ихъ мало замѣчаю какое бы то ни было величіе. Теперь ты поймешь, почему Тимолеонъ, Гракхи и Катонъ Утическій... заслонили собою въ моихъ глазахъ и Цезаря и Македонскаго. Во мнѣ развилась какая-то... фанатическая любовь къ свободѣ и независимости человѣческой личности, которая возможна только при обществѣ, основанномъ на правдѣ и доблести. Принимаясь за «Плутарха», я думалъ, что греки заслонятъ отъ меня римлянъ—вышло не такъ. Я бѣсновался отъ Перикла и Алкивіада, но Тимолеонъ и Фокіонъ (эти греко-римляне) закрыли для меня своей суровою колоссальностію прекрасные и граціозные образы представителей аѳинянъ. Но въ римскихъ біографіяхъ душа моя плавала въ океанѣ. Я понялъ черезъ «Плутарха» многое, чего не понималъ. На почвѣ Греціи и Рима выросло новѣйшее человѣчество. Безъ нихъ средніе вѣка ничего не сдѣлали бы. Я понялъ и французскую революцію, и ея римскую помпу, надъ которою прежде смѣялся... Обаятеленъ міръ древности. Въ его жизни зерно всего великаго, благороднаго, доблестнаго, потому что основа его жизни—гордость личности, неприкосновенность личнаго достоинства. Да, греч. и лат. языки должны быть краеугольнымъ камнемъ всякаго образованія, фундаментомъ школы».

Воспоминанія древняго міра еще усилили въ Бѣлинскомъ то направленіе мыслей, какое внушали ему теперь наблюденія надъ дѣйствительностью. Сила испытанныхъ впечатлѣній убѣждала его, что апатія, его одолѣвавшая,—вовсе не упадокъ энергіи, не ослабленіе его задушевныхъ стремленій. Напротивъ:

«Я во всемъ разочаровался, ничему не вѣрю, ничего и никого не люблю, и однакожъ интересы прозаической жизни все менѣе и менѣе занимаютъ меня, и я все болѣе и болѣе—гражданинъ вселенной. Безумная жажда любви все болѣе и болѣе пожираетъ мою внутренность, тоска тяжелѣе и упорнѣе. Это мое, и только это мое. Но меня сильно занимаетъ и не мое. Личность человѣческая сдѣлалась пунктомъ, на которомъ я боюсь сойти съ ума. Я начинаю любить человѣчество маратовски: чтобы сдѣлать счастливою малѣйшую часть его, я, кажется, огнемъ и мечемъ истребилъ бы остальную»...

Слѣдуетъ страстная тирада въ защиту достоинства человѣческой личности, обвиненіе противъ ея угнетателей, — гдѣ вспоминается Бѣлинскому его новый идеалъ, Шиллеръ, „Тиберій Гракхъ нашего вѣка", и старый авторитетъ, Гегель, который далеко не удовлетворяетъ его своими политическими теоріями. Бѣлинскій восхищается двумя великими народами древности, успѣвшими достигнуть столь высокаго понятія о достоинствѣ личности, и мирится вполнѣ съ французами, которые „безъ нѣмецкой философіи поняли то, чего нѣмецкая философія еще и теперь не понимаетъ". Онъ думаетъ, что ему надобно познакомиться съ сенъ-симонистами. „Я на женщину смотрю ихъ глазами".

Изложеніе взгляда на женщину есть новая страстная филиппика. По мнѣнію Бѣлинскаго, „женщина есть жертва, раба новѣйшаго общества". Онъ съ крайнимъ и рѣзко выраженнымъ негодованіемъ возстаетъ противъ господствующаго взгляда на женщину, утвержденнаго обычаемъ и другими общественными санкціями, взгляда, унизительнаго для женщины, грубаго, лицемѣрнаго и несправедливаго. За женщиной, по словамъ Бѣлинскаго, не признаютъ равнаго человѣческаго права: мужчина считаетъ себя ея господиномъ, и она не имѣетъ выхода изъ подчиненія, какъ бы оно ни было несправедливо и жестоко; ея „честь" понимается самымъ „киргизъ-кайсацкимъ" образомъ: мужчина, нисколько не вредя своему достоинству, можетъ свободно отдаваться своимъ влеченіямъ, — женщина подвергается суровому осужденію, если уклонилась отъ формальной морали обычая, хотя бы для самаго истиннаго чувства; для нея одной обязательна эта внѣшняя, формальная мораль, и она остается безупречна въ глазахъ общества, если исполняетъ ее, хотя бы это исполненіе было вынужденное или лицемѣрное. Изображая обычныя отношенія брака, отношенія неровныя и стѣснительныя только для женщины, Бѣлинскій спрашиваетъ: — „почему это? Превосходство мужчины? Но оно тогда законное право, когда признается сознаніемъ и любовію жены, выходитъ изъ ея свободной довѣренности..., иначе право (мужа) надъ нею —кулачное право. Нѣтъ, братъ, женщина въ Европѣ столько же раба, сколько въ Турціи и въ Персіи... И мы еще можемъ

фантазировать, что человѣчество стоитъ на высокой степени совершенства". Всѣхъ далѣе ушли въ этомъ отношеніи французы: у нихъ нравы уже предоставляютъ женщинѣ больше свободы, и у нихъ явилась „вдохновенная пророчица, энергическій адвокатъ правъ женщины" — (нѣкогда ненавистная ему) Жоржъ-Зандъ. „Великій народъ", добавляетъ онъ [1]).

Мы не могли передать всей рѣзкой силы, съ какою говорилъ здѣсь Бѣлинскій. Довольно сказать, что онъ не щадитъ лицемѣрія существующихъ обычаевъ и несправедливости, наносимой ими женщинѣ. Взглядъ, выраженный здѣсь, остался его послѣднимъ мнѣніемъ о женщинѣ, бракѣ и пр. Не трудно видѣть, что этотъ взглядъ естественно вытекалъ изъ его общей точки зрѣнія того времени, изъ высокаго понятія о человѣческой личности и ея естественныхъ правахъ. Жоржъ-Зандъ, сама по себѣ, едва ли имѣла здѣсь большое вліяніе: Бѣлинскій зналъ ее и раньше, и относился къ ней равнодушно или враждебно [2]); теперь его мнѣніе о ней перемѣнилось совершенно такъ же, какъ мнѣніе о Шиллерѣ, какъ вообще перемѣнилось мнѣніе о „нѣмцахъ" и „французахъ".

Отъ французовъ Бѣлинскій переходитъ въ письмѣ къ литературнымъ предметамъ:

«Кстати, какую гадость написалъ Лермонтовъ о французахъ и Наполеонѣ [3])—то ли дѣло Пушкина Наполеонъ. И не стыдно ли было твоему любезному Рётшеру (написать) такую гадость о Шекспирѣ и (если это точно шекспировская драма) объективное изображеніе принять за субъективный взглядъ. Это значитъ изъ великаго Шекспира сдѣлать маленькаго Рётшера. Пигмеи всѣ эти гегелята!»

Бѣлинскій, съ свойственнымъ ему жаромъ, возстаетъ противъ „Генриха VI", или собственно противъ изображенія Анны д'Аркъ, которая сдѣлана здѣсь колдуньею и развратною женщиной. Онъ приписываетъ это вліянію англійскаго національнаго характера, и восклицаетъ съ негодованіемъ: „да будетъ

---

[1]) Рядъ переводовъ изъ Ж. Занда начинается въ „Отеч. Зап." съ 1842: „Орасъ", „Мельхіоръ", „Андре", „Домашній секретарь", „Жакъ" и пр.

[2]) Первые переводы изъ Ж. Занда явились еще въ журналахъ тридцатыхъ годовъ.

[3]) Въ „От. Зап." 1841, кн. 5. было напечатано „Послѣднее Новоселье".

проклята всякая народность, исключающая изъ себя человѣчность!" Впослѣдствіи Боткинъ повторилъ это осужденіе шекспировскаго изображенія Анны д'Аркъ [1]).

Печатаніе статьи о Петрѣ Великомъ шло неблагополучно. Выше упомянуто, что́ случилось съ первой статьей. Въ концѣ второй статьи [2]) въ журналѣ замѣчено было, что „предположеннаго продолженія статей о „Дѣяніяхъ Петра Великаго", по независящимъ отъ редакціи причинамъ, не будетъ". Въ письмѣ Бѣлинскій говоритъ объ этомъ:

«Въ «О. З.» напечатана моя вторая статья о Петрѣ Великомъ; въ рукописи это точно о Петрѣ Великомъ, и, не хвалясь, скажу, статейка умная, живая; но въ печати—это рѣчь о проницаемости природы и склонности человѣка къ чувствамъ забвенной меланхоліи. Ее исказилъ весь цензурный синедріонъ соборнѣ. Ея напечатана только треть и смыслъ весь выключенъ, какъ опасная и вредная для Россіи вещь. Вотъ до чего мы дожили: намъ нельзя хвалить Петра Великаго»...

Замѣтимъ, что въ двухъ напечатанныхъ статьяхъ рѣчь идетъ только о Россіи до Петра Великаго, такъ что къ самому предмету авторъ не могъ и приступить: уцѣлѣло только нѣсколько общихъ замѣчаній.

Въ концѣ письма Бѣлинскій проситъ Боткина прочесть „въ его воспоминаніе" пьесу Беранже: „Hâtons-nous". Теперь онъ очень высоко цѣнитъ Беранже, о которомъ онъ и его друзья отзывались съ пренебреженіемъ во времена „Наблюдателя":—это „французскій Шиллеръ", бичъ преданія, защитникъ свободы гражданской и свободы мысли. Въ Петербургѣ появилось тогда новое изданіе его пѣсенъ, и Бѣлинскій рекомендуетъ своему другу прочесть стихотвореніе: „Adieu, chansons!" которое привело его самого въ восторгъ.

Наконецъ, онъ извѣщаетъ Боткина, что на-дняхъ долженъ уѣхать изъ Петербурга (въ Новгородъ) Г-нъ, о которомъ теперь онъ говоритъ съ величайшей привязанностью: „благородная личность—мало такихъ людей на землѣ"...

Въ тотъ же день (28 іюня) Бѣлинскій писалъ Кудрявцеву: часть письма состоитъ въ восторженныхъ похвалахъ повѣсти

---

[1]) „Шекспиръ какъ человѣкъ и лирикъ", „Отеч. Зап." 1842, кн. 9.

[2]) „Отеч. Зап." 1841, № 6, Крит., стр. 18. Сочин., т. IV, стр. 403.

Кудрявцева „Звѣзда", незадолго передъ тѣмъ напечатанной [1]). Бѣлинскій продолжалъ быть самаго высокаго мнѣнія о талантѣ Кудрявцева.

«Какая оригинальность, какой совершенно новый міръ, какой фантастическій флеръ наброшенъ на дѣйствіе, какіе характеры, что за дивное созданіе эта бѣдная, болѣзненная дѣвушка. Ваше фантастическое я ставлю выше гофмановскаго—оно взято изъ дѣйствительнаго міра. Вы открываете новую сторону русской жизни»....

Затѣмъ, повторенъ тотъ же отзывъ о „Послѣднемъ Новосельѣ" Лермонтова:

«Какую дрянь написалъ Лермонтовъ о Наполеонѣ и французахъ—жаль думать, что это Лермонтовъ, а не Хомяковъ. Но сколько роскоши въ «Спорѣ Казбека съ Эльбрусомъ», хотя въ цѣломъ мнѣ и не нравится эта пьеса, и хотя въ ней есть стиха четыре плохихъ».

Письмо отъ 8 сентября, очень длинное, писано послѣ долгаго промежутка молчанія, какъ говоритъ самъ Бѣлинскій въ началѣ его,—такъ что здѣсь, повидимому, нѣтъ перерыва въ нашемъ матеріалѣ. Быть можетъ, вслѣдствіе этого долгаго молчанія или по какому-нибудь другому обстоятельству, но Боткинъ возымѣлъ мысль, что другъ его къ нему охладѣлъ; признакомъ охлажденія ему, еще раньше, показалось то, что Бѣлинскій (въ приведенномъ выше письмѣ) вспоминалъ объ ихъ старыхъ раздорахъ, о „темномъ времени" ихъ жизни. „Боткинъ, перекрестись,—что ты, Христосъ съ тобою", отвѣчаетъ на это Бѣлинскій: „ты боленъ... и тебѣ видятся дурные сны". Не писалъ онъ только потому, что былъ не въ духѣ, или некогда, или лѣнь; если заговорилъ о старыхъ временахъ, — то нимало не думалъ въ чемъ-нибудь упрекать Боткина, потому что столько же можно было бы упрекнуть и его самого; онъ хотѣлъ только указать на ихъ прежнее развитіе, какъ оно представляется ему теперь, и какъ оно отражается своими послѣдствіями на ихъ настоящемъ.

Онъ возвращается опять къ этимъ старымъ воспоминаніямъ, и мы имѣемъ въ его словахъ его собственное историческое суж-

---

[1]) „Отеч. Зап." 1841, № 3.

деніе объ ихъ прежнемъ развитіи. Свое настоящее настроеніе онъ изображаетъ такъ:

«Ты знаешь мою натуру: она вѣчно въ крайностяхъ... Я съ трудомъ и болью разстаюсь съ старою идеею, отрицаю ее до-нельзя, а въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. Итакъ, я теперь въ новой крайности,—это идея *соціализма*, которая стала для меня идеею идей... альфою и омегою вѣры и знанія... Она (для меня) поглотила и исторію, и религію, и философію. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался я на пути жизни»...

Въ прежнія времена,—говоритъ онъ,—они дружились и ссорились, жили, влюблялись—по теоріи, по книгѣ, непосредственно и сознательно. Въ этомъ была ложная сторона ихъ жизни и отношеній. Они и винили себя за это, но лучше не было, да и не будетъ. „Любимая (и разумная) мечта наша постоянно была—возвести до дѣйствительности всю нашу жизнь и наши взаимныя отношенія, и что́ же? мечта была мечтой и останется ею". Но, по мнѣнію Бѣлинскаго, имъ все-таки не въ чемъ винить себя, и онъ объясняетъ ихъ настоящее отношеніе къ дѣйствительности и къ обществу—въ томъ же смыслѣ, какъ въ приведенномъ выше письмѣ 27 іюня:

«Дѣйствительность возникаетъ на почвѣ, а почва всякой дѣйствительности — общество. Общее безъ особеннаго и индивидуальнаго дѣйствительно только въ чистомъ мышленіи, а въ живой, видимой дѣйствительности оно—...мертвая мечта. Человѣкъ—великое слово, великое дѣло, но тогда, когда онъ французъ, нѣмецъ, англичанинъ, русскій. А русскіе ли мы?... Нѣтъ, общество смотритъ на насъ какъ на болѣзненные наросты на своемъ тѣлѣ; а мы на общество смотримъ какъ на... [1]). Общество право, мы еще правѣе»...

Общество живетъ извѣстною суммою общихъ убѣжденій и интересовъ, и общества европейскія, въ бо́льшей или меньшей степени, имѣютъ свои общественные интересы, въ которыхъ всѣ члены ихъ могутъ чувствовать свое родство, свое нравственное, разумное единство. Оглядываясь на отношеніе своего кружка къ русскому обществу, Бѣлинскій не видитъ этого родства и единства, и приходитъ къ печальному выводу:

«Безъ цѣли нѣтъ дѣятельности, безъ интересовъ нѣтъ цѣли, а безъ дѣятельности нѣтъ жизни. Источникъ интересовъ, цѣлей и дѣятельности—

[1]) Опускаемъ рѣзкія обличительныя выраженія.

субстанція общественной жизни. Ясно ли, логически ли, вѣрно ли? Мы люди безъ отечества—нѣтъ, хуже, чѣмъ безъ отечества: мы люди, которыхъ отечество—призракъ, и диво ли, что сами мы—призраки, что наша дружба, наша любовь, наши стремленія, наша дѣятельность—призракъ?..

Это было тяжелое сознаніе, къ которому приводило его знакомство съ настоящей дѣйствительностью. Бѣлинскій открывалъ страшный разладъ между ихъ самыми дорогими стремленіями и средой, гдѣ имъ суждено было жить и дѣйствовать... Оттого не удавалась и ихъ личная жизнь, исполненная идеальныхъ порывовъ и горькихъ разочарованій... „Станкевичъ былъ выше, по натурѣ, обоихъ насъ, и та же исторія", т.-е. и его жизнь была рядомъ несбывшихся мечтаній. „Есть люди,—разсуждаетъ Бѣлинскій,—которыхъ жизнь не можетъ проявиться ни въ какую форму, потому что лишена всякаго содержанія",—у нихъ, напротивъ: для содержанія ихъ жизни нѣтъ готовыхъ формъ ни у общества, ни у времени. Но Бѣлинскій, ясно сознавая разрывъ ихъ съ обществомъ, сознавалъ также, что это содержаніе есть ихъ сила, ихъ нравственное достоинство, что имъ создавалось ихъ возникающее вліяніе въ литературѣ и обществѣ. Онъ съ нѣкоторой гордостью говоритъ (какъ позднѣе сказалъ то же самое другой замѣчательный человѣкъ этого круга—даже въ болѣе сильныхъ выраженіяхъ), что еще не видалъ, въ русской жизни, другихъ людей съ такими нравственно-общественными силами и требованіями:

«Я встрѣчалъ и внѣ нашего кружка людей прекрасныхъ, которые дѣйствительнѣе насъ; но нигдѣ не встрѣчалъ людей съ такою ненасытимою жаждою, съ такими огромными требованіями на жизнь, съ такою способностію самоотреченія въ пользу идеи, какъ мы. Вотъ отчего *все къ намъ льнетъ*, все подлѣ насъ *цѣпенѣется*»... [1]).

Переводя опять на ихъ старый техническій языкъ свое положеніе въ русскомъ обществѣ и роль своихъ идей въ средѣ господствующихъ понятій, Бѣлинскій находитъ, что эта роль и положеніе есть—„призрачность":

«Форма безъ содержанія—пошлость, часто довольно благовидная; содержаніе безъ формы—уродливость, часто поражающая трагическимъ величіемъ, какъ миѳологія древне-германскаго міра. Но эта уродливость—

[1]) Курсивъ не въ подлинникѣ.

какъ бы ни была она величественна,—она—содержаніе безъ формы, слѣд., не дѣйствительность, а призрачность».

Возвращаясь къ исторіи ихъ дружбы, Бѣлинскій напоминаетъ Боткину, какъ, бывало, надоѣдали они другъ другу толками о своихъ чувствахъ и влеченіяхъ (впрочемъ, въ ту минуту очень для нихъ серьезныхъ), и такъ дополняетъ свое объясненіе ихъ прежняго идеализма:

«Видишь ли, въ чемъ дѣло, душа моя: непосредственно поняли мы, что въ жизни для насъ нѣтъ жизни [1]), а такъ какъ, по своимъ натурамъ, безъ жизни мы не могли жить, то и ударили со всѣхъ ногъ въ книгу, и по книгѣ стали жить и любить, изъ жизни и любви сдѣлали для себя занятіе, работу, трудъ и заботу. Между тѣмъ, наши натуры всегда были выше нашего сознанія, и потому намъ слушать другъ отъ друга одно и тоже становилось и скучно, и пошло, и мы другъ другу смертельно надоѣдали. Скука переходила въ досаду, досада во враждебность, враждебность въ раздоръ»...

Раздоръ всегда нѣсколько освѣжалъ ихъ, какъ будто они становились умнѣе, запасались новымъ содержаніемъ; но запасъ опять истощался, они возвращались къ личнымъ вопросамъ, и „какъ манны небесной, алкали *объективныхъ интересовъ*", но ихъ не было, и жизнь ихъ оставалась прекраснымъ содержаніемъ безъ всякаго опредѣленія, т.-е. чистой отвлеченностью. Бѣлинскій успокоиваетъ своего друга, что, объясняя это, онъ вовсе не хотѣлъ бросить тѣнь неудовольствія на ихъ старыя отношенія, а напротивъ, пролить на нихъ примирительный свѣтъ сознанія,—не обвинить его или себя, а оправдать.

«Ища исхода,—продолжаетъ Бѣлинскій,—мы съ жадностію бросились въ обаятельную сферу германской созерцательности и думали, мимо окружающей насъ дѣйствительности, создать себѣ очаровательный, полный тепла и свѣта, міръ внутренней жизни. Мы не понимали, что эта внутренняя, созерцательная субъективность составляетъ объективный интересъ германской національности, есть для нѣмцевъ тоже, что соціальность для французовъ. Дѣйствительность разбудила насъ, и открыла намъ глаза, но для чего... Лучше бы закрыла она намъ ихъ навсегда, чтобы тревожныя стремленія жаднаго жизни сердца утолить сномъ ничтожества...

---

[1]) Т.-е., что въ жизни обыденной для нихъ нѣтъ идеальнаго интереса.

Но третій ключъ—холодный ключъ забвенья—
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ»...

Во второй половинѣ этого длиннаго письма Бѣлинскій останавливается на той „соціальной идеѣ", которая стала для него „идеею идей". Для избѣжанія недоразумѣній надо замѣтить, что Бѣлинскій употребляетъ это слово не въ томъ спеціальномъ смыслѣ, какъ оно часто употребляется, т.-е. не въ смыслѣ „соціализма", котораго настоящимъ приверженцемъ не бывалъ (какъ это нѣкоторые утверждали, особенно, желая тѣмъ сдѣлать ему лишній попрекъ) и, конечно, мало вникалъ въ его теоретическія построенія; а хочетъ только сказать, что вообще его господствующимъ интересомъ сталъ вопросъ объ обществѣ. Изъ тогдашняго соціализма производила на него впечатлѣніе именно та критическая точка зрѣнія, съ которой самъ Бѣлинскій начиналъ наблюдать общественную жизнь и устройство.

Слѣдующая цитата даетъ еще одинъ образчикъ того, какъ дѣйствовали на Бѣлинскаго явленія общественности:

«Соціальность... вотъ девизъ мой,—говоритъ онъ въ томъ же письмѣ.—Чтó мнѣ въ томъ, что живетъ общее, когда страдаетъ личность? Чтó мнѣ въ томъ, что геній на землѣ живетъ въ небѣ, когда толпа валяется въ грязи? Чтó мнѣ въ томъ, что *я* понимаю идею, что мнѣ открытъ міръ идеи въ искусствѣ, въ религіи, въ исторіи, когда я не могу этимъ дѣлиться со всѣми, кто долженъ быть моими братьями по человѣчеству, моими ближними по Христѣ, но кто—мнѣ чужіе и враги по своему невѣжеству? Чтó мнѣ въ томъ, что для избранныхъ есть блаженство, когда большая часть и не подозрѣваетъ его возможностей? Прочь же отъ меня блаженство, если оно—достояніе мнѣ одному изъ тысячъ! Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братіями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрагается при взглядѣ на толпу и ея представителей. Горе, тяжелое горе овладѣваетъ мною при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извощика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ портфелемъ подъ-мышкою чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи. Подавши грошъ солдату, я чуть не плачу, подавши грошъ нищей, я бѣгу отъ нея, какъ будто сдѣлавши худое дѣло, и какъ будто не желая услышать щелеста собственныхъ шаговъ своихъ. И это жизнь: сидѣть на улицахъ въ лохмотьяхъ, съ идіотскимъ выраженіемъ на лицѣ, набирать днемъ нѣсколько грошей, а вечеромъ пропить ихъ въ кабакѣ—и люди это видятъ, и никому до этого нѣтъ дѣла!.. И это об-

щество, на разумныхъ началахъ существующее, явленіе дѣйствительности!.. И послѣ этого имѣетъ ли право *человѣкъ* забываться въ искусствѣ, въ знаніи! [1]). Я ожесточенъ противъ всѣхъ субстанціальныхъ началъ, связывающихъ, въ качествѣ вѣрованія, волю человѣка!»...

Это было общее впечатлѣніе, изъ котораго развивались его взгляды на общество. Выше были указаны примѣры того, какъ измѣнялись и мнѣнія Бѣлинскаго объ искусствѣ подъ вліяніемъ той же мысли о правѣ личности. Вотъ еще примѣръ, относящійся къ его давнему любимцу, Кудрявцеву:

«Что за дивная повѣсть Кудрявцева [2]), — какое мастерство, какая художественность—и все-таки эта повѣсть не понравилась мнѣ. Начинаю бояться за себя—у меня рождается какая-то враждебность противъ *объективныхъ* созданій искусства. Въ другое время поговорю объ этомъ побольше... Поклонись милому Петру Николаевичу—вотъ еще человѣкъ, къ которому любовь моя похожа на страсть»...

Это—послѣднее письмо къ Боткину отъ 1841 г., какія есть въ нашемъ матеріалѣ [3]).

---

[1]) Еще базаровская черта въ сороковыхъ годахъ.

[2]) Бѣлинскій говоритъ, вѣроятно, о новой повѣсти Кудрявцева „Цвѣтокъ", въ „Отеч. Зап." 1841, кн. 9.

[3]) Въ „Вѣстникѣ Европы" (1875, февр., 618) мы сдѣлали предположеніе, что промежутокъ въ перепискѣ за это время можетъ объясняться тѣмъ, что Боткинъ повидимому сдѣлалъ въ это время поѣздку за-границу. Это послѣднее мы думали потому, что въ „Отеч. Зап." 1842, кн. 4, смѣсь, стр. 97—100, помѣщено „Письмо изъ Италіи", съ подписью В. Б-нъ и съ помѣтой изъ Рима, 1841, 29 октября.

Но этой поѣздки не было и помѣта была поставлена произвольно. Объясненіе мы находимъ въ письмѣ Боткина въ редакцію „Отеч. Зап." въ началѣ 1842. Письмо Боткина любопытно для его біографіи.

„Посылаю вамъ старые грѣхи мои. Римъ Гоголя (онъ явился тогда въ „Москвитянинѣ") расшевелилъ меня и мнѣ хотѣлось бы, чтобы и моя дрянь была напечатана. Посмотрите, можетъ быть, она годится въ смѣсь. Когда я пріѣхалъ въ Римъ, мой образъ мыслей находился подъ вліяніемъ сенъ-симонизма; отсюда вамъ понятна будетъ и фатальность моего тогдашняго созерцанія. Искусства я тогда не понималъ—а впервые лишь почувствовалъ его въ Италіи—особенно въ Римѣ. Не отъ этого ли я привязанъ къ нему всѣми силами души моей. То, что посылаю, писано въ 1835. Но я нарочно выставилъ прошлый годъ — а то неловко подчивать такими отсталыми импрессіями. Боюсь, цензура вычеркнетъ о христіанствѣ,—если ужъ сильно исказить, лучше бросить"...

Чтобы закончить исторію этого года, приводимъ еще нѣсколько цитатъ изъ переписки Бѣлинскаго съ другими лицами, гдѣ съ новыхъ сторонъ или съ новыми подробностями освѣщается его внутренняя жизнь.

Таково, напр., письмо отъ 3 августа, писанное къ одному изъ самыхъ давнихъ московскихъ друзей (стоявшему, впрочемъ, въ сторонѣ отъ идеалистическихъ мечтаній кружка, и въ московскія времена болѣе связанному съ другой фракціей „западнаго" направленія), гдѣ Бѣлинскій, между прочимъ, съ желчными шутками разсказываетъ петербургскія литературныя новости и слухи, и спрашиваетъ о московскихъ. Мы можемъ привести лишь нѣкоторые отрывки.

«Вотъ тебѣ нѣсколько новостей. Лермонтовъ убитъ наповалъ — на дуэли. Оно и хорошо: былъ человѣкъ безпокойный, и писалъ хоть хорошо, но безнравственно,—что ясно доказано Шевыревымъ и Бурачкомъ. Въ замѣнъ этой потери Булгаринъ все молодѣетъ и здоровѣетъ... Ѳ. В. ругаетъ Пушкина печатно, доказываетъ, что Пушкинъ былъ подлецъ, а цензура, вѣрная волѣ У., мараетъ въ «О. З.» все, что пишется въ нихъ противъ Булгарина и Греча. Литература наша процвѣтаетъ, ибо явно начинаетъ уклоняться отъ гибельнаго вліянія лукаваго Запада... NN [1]) торжествуетъ и, говорятъ, пишетъ проектъ, чтобы всю литературу и всѣ кабаки отдать на откупъ П—ну... Однимъ словомъ, будущность блеститъ всѣми семью цвѣтами радуги... [Упомянувъ нѣсколько событій въ тогдашней европейской политикѣ, Б. продолжаетъ:] Жалко видѣть это глупое броженіе мірскихъ суетъ и отрадно читать статьи Погодина, Бурачка и Шевырева. Богъ явно за насъ—вѣдь онъ любитъ смиренныхъ и противится гордымъ. Національность малороссійская процвѣтаетъ и укрѣпляется.

«Прочтя «Ластовку» и «Снипъ» [2]) я понялъ все достоинство борща, сала и галушекъ. Жаль, что умеръ Шишковъ—многаго мы лишились Безъ него академія россійская осиротѣла, и съ горя спилась съ кругу [3])...

---

[1]) Названо одно извѣстное имя того времени.

[2]) Малорусскіе альманахи того времени. Разборъ „Ластовки" въ 6 № „От. Зап." 1841 (Сочин., т. V, стр. 306). По всей вѣроятности Бѣлинскимъ написана и рецензія на „Снипъ" въ библіографической хроникѣ 8-й книжки, но не помѣщенная въ изданіи и не упомянутая въ спискѣ (т. V).

[3]) Россійская академія, по смерти Шишкова въ этомъ году, была закрыта и вмѣсто нея, какъ извѣстно, черезъ нѣсколько времени образовано было нынѣшнее II отдѣленіе Академіи наукъ. Репутація Россійской академіи за послѣдніе годы ея существованія довольно извѣстна.

«Статья Г-на — прелесть... Давно уже я не читалъ ничего, что̀ бы такъ восхитило меня... [1]). Пишу диссертацію, въ которой доказываю, что... національность выше образованія, просвѣщенія, истины и свободы...

«Цензура не пропустила въ моей статьѣ о Пушкинѣ (3 т.) заглавіе пушкинской статьи «О мизинцѣ г. Булгарина и о прочемъ...» [2]). Боясь доносовъ... цензоръ не хочетъ пропускать ни слова противъ Москвитянина»...

Дальше мы будемъ имѣть случай говорить объ антипатіи Бѣлинскаго къ возникавшей тогда малорусской литературѣ, антипатіи, которая такъ рѣзко выразилась въ этомъ письмѣ...

Еще два любопытныя письма 1841 г. писаны Бѣлинскимъ къ тому молодому другу, Н. Б., съ которымъ онъ познакомился вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ. Молодой другъ уѣхалъ потомъ изъ Петербурга, и Бѣлинскій только изрѣдка видался съ нимъ. Бѣлинскій возымѣлъ къ нему самую теплую привязанность, о которой свидѣтельствуетъ и небольшая извѣстная намъ переписка съ этимъ лицомъ. Молодой другъ стоялъ совершенно внѣ развитія кружка̀, слѣдовательно, и внѣ его фантастическихъ увлеченій; но, свободный отъ нихъ, молодой другъ имѣлъ свой идеализмъ, идеализмъ юности и характера, и вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстную долю того простого чувства дѣйствительности, которое—въ началѣ петербургской жизни Бѣлинскаго—въ особенности казалось послѣднему великой заслугой; были наконецъ и еще отношенія, которыя сближали Бѣлинскаго съ Н. Б. Въ началѣ 1841, Бѣлинскій пишетъ къ нему и, разсказывая ему о себѣ, изображаетъ ту перемѣну, которая произошла внутри его, и, какъ человѣкъ, испытанный жизнью, хочетъ предупредить молодого друга отъ увлеченій и печальныхъ разочарованій. Оба письма его къ Н. Б., проникнутыя дружескимъ чувствомъ и иногда горькою шуткой, могутъ служить какъ заключительный выводъ этого критическаго періода жизни Бѣлинскаго.

«Увы! какъ много утекло воды съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались

---

[1]) Онъ разумѣетъ статью „Еще изъ записокъ одного молодого человѣка“, „Отеч. Зап.“, 1841, кн. 8, стр. 161—188.

[2]) Рецензія томовъ IX, X, XI Сочиненій Пушкина въ 8-й книгѣ „Отеч. Зап.“ (Соч. т. V, стр. 319—331).

съ вами! — пишетъ онъ, отъ 6 апрѣля. — Вы не узнали бы меня, встрѣтившись со мною. Лицо мое все тоже: апатическое всего чаще, бѣшеное и страстное иногда, и одушевленное тихою грустію очень рѣдко; все также рѣзки его черты, и также некрасиво оно, но я, мой образъ мыслей,—нѣтъ, иной и въ сорокъ лѣтъ не можетъ измѣниться до такой степени! Какъ бы горячо прижалъ я къ сердцу благороднаго З., какъ поняли бы мы теперь другъ друга! Я мучилъ его моими дикими убѣжденіями, занятыми по слухамъ у гегелизма, въ которомъ, и не перевранномъ, такъ много кастратскаго, т.-е. *созерцательнаго* или *философскаго*, противоположнаго и враждебнаго живой дѣйствительности... Да, теперь уже не Гегель, не философскіе колпаки—мои герои; самъ Гёте великъ какъ художникъ, но отвратителенъ какъ личность; теперь снова возникли передо мною во всемъ блескѣ лучезарнаго величія колоссальные образы Фихте и Шиллера, этихъ пророковъ человѣчности (гуманности)... этихъ жрецовъ вѣчной любви и вѣчной правды, не въ одномъ книжномъ сознаніи и браминской созерцательности, а въ живомъ и разумномъ *That*. Художественная точка зрѣнія довела-было меня до послѣдней крайности, нелѣпости, и я не шутя было убѣдился, что французская литература вздоръ, а о самихъ французахъ сталъ думать точь-въ-точь какъ думаютъ о нихъ наши богомольныя старухи. Но это только одна сторона моего измѣненія, и сторона хорошая; есть другая сторона—грустная. Я уже не та экстатическая прекрасная душа, которая, обливаясь кровавыми слезами, избичеванная внутренними и внѣшними бѣдами, оскорбленная въ самыхъ законныхъ и святыхъ стремленіяхъ и желаніяхъ, клялась и увѣряла всѣхъ и каждаго, а вмѣстѣ и себя, что жизнь—блаженство, и что лучше жизни нѣтъ ничего на свѣтѣ. Опытъ сорвалъ покровъ съ жизни—и я увидѣлъ румяна на очаровательныхъ щекахъ этого призрака, увидѣлъ, что объ руку съ нимъ идетъ смерть и тлѣніе,—противорѣчіе. Она хороша для тѣхъ, для кого хороша, и только на то время, когда хороша. Для меня она никогда не была добра, и я безкорыстно курилъ ей ѳиміамъ, какъ Донъ-Кихотъ своей Дульцинеѣ... Было время, когда я не могъ безъ бѣшенства слышать выраженія сомнѣнія о прочности и вѣчности любви на землѣ; мнѣ было досадно встрѣчать у Пушкина веселыя похвалы непостоянству или горькія жалобы на слабость человѣческаго сердца; а теперь эти стихи Лермонтова для меня тоже, что для набожнаго мусульманина стихи изъ алкорана:

Кто устоитъ противъ разлуки,
Соблазна новой красоты,
Противъ усталости и скуки,
И своенравія любви?

«...Было время, когда женщина была для меня божествомъ и мнѣ какъ-то странно было думать, что она можетъ снизойти до любви къ мужчинѣ, хотя бы онъ былъ геній; а теперь—это уже не божество, а просто

женщина, ни больше, ни меньше, существо, на которое я не могу не смотрѣть съ нѣкотораго рода сознаніемъ своего превосходства, которое основывается не на моей личности, а только на моемъ званіи мужчины. Хороши и мы, но *онѣ* еще лучше... (Слѣдуетъ весьма враждебная характеристика женщинъ). Да, какъ попристальнѣе и поглубже всмотришься въ жизнь, то поймешь и монашество, и схиму, и желаніе смерти... Все ложь и обманъ, все — кромѣ наслажденія—и кто уменъ—будучи молодъ и крѣпокъ, тотъ возьметъ полную дань съ жизни, и въ лѣта разочарованія у него будетъ богатый запасъ воспоминаній... Вся тайна - смотрѣть на вещи какъ можно проще и легче... Надоѣло—ищите другихъ... Я говорю по опыту; малаго я не хотѣлъ, а лишился всего, и нечѣмъ помянуть юность. Назади и впереди—пустыня, въ душѣ—холодъ, въ сердцѣ—перегорѣлые уголья, которые и въ самоваръ не годятся... Я очерствѣлъ, огрубѣлъ, чувствую на себѣ ледяную кору... Внутри все оскорблено и ожесточено; въ воспоминаніи, одни промахи, глупости, униженіе, поруганное самолюбіе, безплодные порывы, безумныя желанія. Я никого, впрочемъ, не виню въ этомъ, кромѣ себя самого и еще судьбы. Такова участь всѣхъ людей съ напряженною фантазіею, которые не довольствуются землею и рвутся въ облака. Мой примѣръ долженъ быть для васъ поучителенъ. Спѣшите жить, пока живется»...

Другое письмо къ тому же лицу писано отъ 9 декабря. Мы видѣли, что къ этому времени взгляды Бѣлинскаго окончательно приняли новое направленіе; но въ его душѣ до сихъ поръ оставался болѣзненный слѣдъ разочарованій... Бѣлинскій говоритъ о нѣкоторыхъ прежнихъ привязанностяхъ, еще сохранявшихъ надъ нимъ свою силу,—и замѣчаетъ: „Видите ли, я все тотъ же, что́ и былъ, все та же *прекрасная душа*, безумная и любящая“. Сердце его страдаетъ не отъ недостатка жизни внутренней, а отъ ея избытка, не находящаго себѣ пищи во внѣ. Въ этихъ словахъ онъ разумѣетъ не только свою личную жизнь,—отсутствіе личнаго счастія,—но всю свою дѣятельность:

«Обаятеленъ міръ внутренній,—продолжаетъ онъ,—но, безъ осуществленія во внѣ, онъ есть міръ пустоты, миражей, мечтаній. Я же не принадлежу къ числу чисто-внутреннихъ натуръ... Недостатокъ внѣшней дѣятельности для меня не можетъ вознаграждаться внутреннимъ міромъ, и по этой причинѣ внутренній міръ—для меня источникъ однихъ мученій, холода, апатіи, мрачная и душная тюрьма. Сердце мое еще не отказалось отъ вѣры въ жизнь, ни отъ мечтаній; но сознаніе мое покоряетъ сердце...; для моего же сознанія, жизнь равна смерти, смерть—жизни, счастіе — несчастію, и несчастіе — счастію, потому что все это призраки, создаваемые субъективною настроенностію нашего духа въ ту

или другую минуту, а сами мы—исчезающія волны рѣки, тѣни преходящія. Я не вѣрю моимъ убѣжденіямъ, и не способенъ измѣнить имъ; я смѣшнѣе Донъ-Кихота: тотъ, по крайней мѣрѣ, отъ души вѣрилъ, что онъ рыцарь, что онъ сражается съ великанами, а не мельницами, и что его безобразная и толстая Дульцинея — красавица; а я знаю, что я не рыцарь, а сумасшедшій, — и все-таки рыцарствую; что я сражаюсь съ мельницами—и все-таки сражаюсь; что Дульцинея моя (жизнь) безобразна и гнусна, а все-таки люблю ее, на зло здравому смыслу и очевидности. Но вы не поймете этого... Вы живете въ мірѣ мечтательномъ—и вы счастливы. Но я не завидую вашему счастію, но жалѣю васъ въ немъ. Міръ мечтаній—міръ призраковъ и миражей;—и кто упорно остается въ немъ на всю жизнь, тотъ или дѣлается ограниченнымъ человѣкомъ, или погибаетъ страшно. Для меня нѣтъ ужаснѣе мысли, какъ остаться у жизни въ дуракахъ... пусть бьетъ она меня, но я буду знать, кто и что́ она, и на удары буду отвѣчать проклятіями: это лучше, чѣмъ позволить ей спеленать себя и убаюкивать какъ ребенка. Гёте сравнилъ мужа съ кораблемъ, презирающимъ ярость волнъ и бури — прекрасное сравненіе! Такъ вонъ же изъ мирной и тихой пристани, гдѣ только плѣсень зеленая, тина мягкая, да квакающія лягушки, дальше отъ нихъ туда, гдѣ только волны да небо, предательскія волны, предательское небо! Конечно, разсудокъ говоритъ, что гдѣ бы ни утонуть,—все равно, но я лучше хотѣлъ бы утонуть въ морѣ, чѣмъ въ лужѣ. Море—это дѣйствительность; лужа—это мечты о дѣйствительности»...

Въ концѣ 1841 Бѣлинскій надѣялся побывать не надолго въ Москвѣ, и по дорогѣ заѣхать въ деревню Б-хъ, гдѣ у него сохранились самыя дружескія привязанности. Дѣйствительно, въ серединѣ или концѣ зимы ему удалось быть въ Москвѣ и въ деревнѣ; кромѣ того, кажется, и Боткинъ былъ въ Петербургѣ. Для Бѣлинскаго эти поѣздки были очевидно великимъ удовольствіемъ; онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ ихъ, съ сожалѣніемъ разставался съ друзьями.

Первое письмо 1842 года, слѣдующее за вышеприведеннымъ, послано отъ 14 марта въ отвѣтъ на письмо Боткина, привезенное Кульчицкимъ. Бѣлинскій уже познакомился съ нимъ, когда Кульчицкій, въ 1841, пріѣхалъ въ первый разъ въ Петербургъ. Онъ пришелъ къ Бѣлинскому, какъ знакомый человѣкъ; многія понятія его показались Бѣлинскому провинціально-простодушными, но онъ полюбилъ его за умъ и характеръ. Кульчицкій, какъ увидимъ, вошелъ въ дружескій кругъ Бѣлинскаго; имя

его появилось тогда въ „Отеч. Запискахъ“ подъ нѣсколькими стихотвореніями. Теперь Кульчицкій былъ въ Москвѣ и привезъ разсказы о московскомъ кружкѣ: тамъ теперь очень веселились,— и Бѣлинскій начинаетъ свое письмо:

«Боткинъ — чудовище! старый развратникъ, козелъ грѣхоносецъ! Съ ужасомъ прочелъ я нечестивое письмо твое, съ ужасомъ выслушалъ разсказы Кульч. о вашемъ общемъ непотребствѣ, піанствѣ, плотоугодіи, чревонеистовствѣ и прочихъ седьми смертныхъ грѣхахъ! Покайтеся»...

Онъ было собирался ѣхать къ нимъ и веселиться съ ними, но вспоминаетъ, что „гнусный желудокъ“ не позволитъ ему этого. „Трагическое распутство!“ восклицаетъ онъ, и фантазируетъ опять разгульныя картины на гофмановскую тему: „вѣдь нигдѣ на нашъ вопль нѣтъ отзыва!“ Разгульное веселье, очевидно, понималось обѣими сторонами еще нѣсколько романтическимъ образомъ; Боткинъ писалъ, что хотѣлъ „лучше замереть въ развратѣ, чѣмъ въ пряничной любви“. Бѣлинскому понравились эти слова.

Онъ давно уже сбирался писать къ Боткину, но замѣчаетъ, что „отвращеніе къ перу дѣлается въ немъ какой-то болѣзнію“. Онъ бранитъ своего друга за то, что тотъ не узналъ Бѣлинскаго въ одной статьѣ, напечатанной тогда въ „Отеч. Зап.“, подъ названіемъ „Педантъ, литературный типъ“ [1]) и подъ псевдонимомъ „Петра Бульдогова“. Объ этой небольшой статьѣ, которая вызвана была начавшеюся тогда полемикой съ „Москвитяниномъ“ и явнымъ образомъ относилась къ Шевыреву, Бѣлинскій говоритъ съ шуточной гордостью,—конечно, не по беллетристическому искусству, а по мѣткости полемической. Статья дѣйствительно задѣла за живое противниковъ, для которыхъ имя Бѣлинскаго уже становилось предметомъ ненависти.

«Съ чего ты взялъ, — пишетъ Бѣлинскій отъ 14 марта, прибавляя шуточно-бранный эпитетъ, — смѣшивать мизерную особу И. П. К-ва съ благородною особою Петра Бульдогова? И какъ ты въ величавомъ образѣ сего часто-упоминаемаго Петра Бульдогова могъ не узнать друга твоего Виссаріона Бѣлинскаго, вѣчно-неистоваго, всегда съ пѣною у рта и поднятымъ вверхъ кулакомъ (для выраженія сильныхъ ощущеній, волнующихъ сего достойнаго человѣка)?... О Б.! Б.! ты обидѣлъ меня, ей-

[1]) „От. Зап.“ 1842, кн. 3, смѣсь, стр. 39—45; Сочин. VI, стр. 485—496.

Богу, обидѣлъ!... (Онъ не сердился бы, еслибы Боткинъ разбранилъ самую лучшую его статью,—) но *типъ*, сей первый и робкій опытъ юнаго таланта на совершенно новомъ для него поприщѣ... опытъ, столь удачный, столь блестящій — о Б.! Б.! гдѣ-жъ дружба, гдѣ любовь? Мрачное мщеніе, выходи изъ утробы моей, выставляй змѣиныя жала свои [1].. Нѣтъ, Б., не шутя, я способенъ ко многимъ родамъ сочиненій, когда вдохновляетъ меня злоба. Идея *Педанта* мгновенно блеснула у меня въ головѣ еще въ Москвѣ, въ домѣ М. С. Щепкина, когда К-ръ прочелъ тамъ вслухъ статью Ш. Еще не зная, какъ и что отвѣчу я,—я, по впечатлѣнію, произведенному на меня доносомъ Ш., тотчасъ же понялъ, что напишу что-то хорошее... Въ Питерѣ, эта штука прошла незамѣченной, «Москвитянина» у насъ никто не читаетъ, Ш. извѣстенъ какъ миѳъ... А статейка была не дурна, да цензурный комитетъ выкинулъ все объ Италіи и стихи Полевого—злую пародію на стихи Ш.

„Педантъ" открываетъ собой ту продолжительную и ожесточенную полемику, которую „западный" кружокъ, и Бѣлинскій въ особенности, вели тогда противъ славянофильства. Здѣсь не мѣсто излагать всю эту полемику, общій смыслъ которой довольно извѣстенъ [2]), и мы только будемъ указывать ея факты въ послѣдовательности біографіи.

Съ 1841 началось изданіе „Москвитянина". Главными руководителями его были Погодинъ и Шевыревъ. Бѣлинскій издавна не любилъ ихъ; говорятъ, онъ и лично имѣлъ причины относиться къ нимъ враждебно,—но главной причиной вражды былъ, конечно, ихъ литературный характеръ. Выше было упомянуто, что Бѣлинскій уже съ „Литературныхъ Мечтаній" (когда отзывался о Шевыревѣ еще весьма осторожно) возбудилъ противъ себя раздражительное негодованіе Шевырева. Дѣятельность послѣдняго въ „Моск. Наблюдателѣ" (первой редакціи), поэтическая и критическая, не внушила Бѣлинскому выгоднаго понятія ни о поэзіи, ни о критикѣ Шевырева. Бѣлинскій былъ въ тѣ времена совсѣмъ не тотъ, какимъ былъ теперь; его тогдашній консервативный идеализмъ могъ бы помириться съ образомъ мыслей будущихъ издателей „Москвитянина"; но здравый смыслъ и вкусъ Бѣлинскаго уже тогда не могли помириться съ стран-

---

[1]) Фраза изъ какого-нибудь романтическаго романа или драмы.

[2]) См. напр. „Очерки Гоголевскаго періода русской литературы", въ „Современникѣ" 1855—56.

ными стихами и не менѣе странными критическими рѣшеніями Шевырева, въ особенности, когда эти рѣшенія высказывались въ тонѣ крайне высокомѣрномъ и самодовольномъ.

Теперь, когда Бѣлинскій достигъ своего новаго образа мыслей, враждебное противорѣчіе возрасло до послѣдняго предѣла: „Москвитянинъ" явился представителемъ цѣлаго взгляда; смыслъ этого взгляда состоялъ въ превознесеніи той „дѣйствительности", которую съ такимъ негодованіемъ отвергалъ Бѣлинскій, въ возвеличеніи порядковъ, въ которыхъ онъ видѣлъ чистое зло, въ поклоненіи преданіямъ, за которыми Бѣлинскій оставлялъ только ихъ историческое мѣсто. Взглядъ „Москвитянина" былъ тогда сочтенъ и названъ славянофильскимъ, и журналъ Погодина и Шевырева считался органомъ славянофильства [1]). Съ перваго раза „Москвитянинъ" заявилъ свою тенденцію самымъ рѣшительнымъ образомъ, провозгласивъ противоположность Востока и Запада: Востокъ надѣленъ былъ всѣмъ величіемъ исторіи и настоящаго, Западъ обреченъ гніенію [2]). Невозможно было поставить вопроса русской жизни и образованности болѣе враждебно всему, что́ было убѣжденіемъ и упованіемъ Бѣлинскаго и его друзей.

Говорить подробно о тенденціяхъ „Москвитянина" было бы здѣсь излишнимъ; довольно сказать, что это былъ одинъ изъ самыхъ близкихъ выразителей того, что́ мы назвали въ другомъ мѣстѣ оффиціальной народностью. „Москвитянинъ" съ самаго начала выступилъ съ явной тенденціозностью въ этомъ смыслѣ, но общая тема украсилась собственными мыслями о „заразительномъ недугѣ" и „опасномъ дыханіи" Запада, съ которымъ мы дѣлимъ „трапезу", и т. п. Къ этому присоединились и бросавшіеся въ глаза литературные недостатки: эстетическое безвкусіе, критическія странности Шевырева, наконецъ, нападки

---

[1]) Впослѣдствіи, собственные славянофилы выдѣлялись изъ солидарности съ „Москвитяниномъ"; но за это время многіе изъ нихъ участвовали въ этомъ журналѣ, и вмѣстѣ съ нимъ ратовали противъ „западнаго" кружка и Бѣлинскаго.

[2]) Гніеніе Запада было торжественно объявлено Шевыревымъ въ его статьѣ „Взглядъ русскаго на современное образованіе Европы" („Москвит." 1841, № 1, стр. 219—296), представлявшей profession de foi журнала.

на направленіе „Отеч. Записокъ“, нападки, которыя высказывались иногда въ той неблагополучной формѣ, какую стали тогда обозначать названіемъ „юридическихъ бумагъ“, и т. д.

Столкновенія съ „Москвитяниномъ“ начались съ перваго же года [1]), и грубый вызовъ сдѣланъ былъ не „Отеч. Записками“ и не Бѣлинскимъ. За первымъ озлобленнымъ нападеніемъ послѣдовали другія, отчасти косвенныя, отчасти прямо мѣтившія на Бѣлинскаго, какъ, напр., стихотвореніе „Безыменному Критику“, знаменитое въ свое время стихами:

Нѣтъ! твой подвигъ не похваленъ!
Онъ Россіи не привѣтъ!
Карамзинъ тобой ужаленъ,
Ломоносовъ—не поэтъ...

и такъ далѣе, въ подобномъ родѣ [2]).

Бѣлинскій, въ это время особенно находившій жизнь и удовольствіе въ полемикѣ, не оставался въ долгу. Онъ нѣсколько разъ самъ обращался къ „Москвитянину“ въ статьяхъ или спеціальныхъ замѣткахъ; друзья его, какъ Г-нъ, съ своей стороны приняли участіе въ полемикѣ. И можно сказать положительно, что Бѣлинскаго раздражала не только общая тенденція журнала, не самое содержаніе нападеній, иногда по истинѣ нелѣпое, но и уродливая форма, эстетическое безвкусіе, какъ въ названномъ стихотвореніи, въ критическихъ статьяхъ Шевырева и пр.

Когда Бѣлинскій былъ въ Москвѣ, зимой въ началѣ 1842 года, вышла 1-я книжка „Москвитянина“, и въ ней, въ статьѣ Шевырева, выдѣленной, какъ программа или манифестъ редакціи, отъ книжки особою нумераціей, явилось между прочимъ и нападеніе на Бѣлинскаго [3]). Шевыревъ, изображая „черную

---

[1]) См. „Москвит.“ 1841, кн. 6, стр. 509—510: Къ „Отеч. Запискамъ“, N. N., со ссылкой на „От. Зап.“, № 4, библіогр., стр. 39—40, о Ѳ. Глинкѣ;—„От. Зап.“ 1841, № 7 (Сочин. Бѣл., V, стр. 389—396).

[2]) Отвѣтъ на эти стихи см. въ „Отеч. Зап.“ 1842, кн. 12, журн. замѣтки; Сочин. Бѣл., VI, стр. 608—612.

[3]) „Москвит.“ 1842, кн. 1, „Взглядъ на современное направленіе русской литературы. Сторона черная“, стр. XXVIII—XXX. Подробный разборъ этой статьи читатель найдетъ въ „Очеркахъ Гогол. періода“, „Соврем.“ 1856, кн. 2,

сторону" литературы, старался самыми темными красками нарисовать портреты тогдашнихъ петербургскихъ журналистовъ, и въ одномъ изъ нихъ—„рыцарѣ безъ имени", одѣтомъ въ „броню наглости", „литературномъ бобылѣ" и проч.—явно желалъ изобразить Бѣлинскаго. Изображеніе было путано, вяло, неумѣло, но цѣль автора и ненависть къ оригиналу были очевидны.

Въ письмѣ Бѣлинскаго указано, какъ онъ узналъ о статьѣ Шевырева и какъ рѣшился отвѣчать. Онъ отвѣчалъ въ томъ же тонѣ, съ тѣми же личными намеками,—но съ несравненно бо́льшимъ успѣхомъ. Его раздраженіе было совершенно справедливо: не говоря о томъ, что личныя нападенія „Москвитянина" на „безыменнаго критика" и „литературнаго бобыля", „недоучившагося студента" и т. п. были вообще мало приличны, Бѣлинскій уже теперь не пользовался благосклонностью цензуры, а его противники были обставлены оффиціальными связями, при которыхъ нападенія ихъ могли быть не безопасны—не въ литературномъ смыслѣ.

Бѣлинскій уже вскорѣ имѣлъ извѣстія объ эффектѣ „Педанта" въ противномъ лагерѣ. Впечатлѣніе было сильное; партія „Москвитянина" была раздражена до послѣдней степени. Объ этомъ писалъ изъ Москвы Боткинъ [1]).

стр. 83—92, гдѣ вообще очень вѣрно и остроумно характеризована тогдашняя журнальная роль Шевырева.

[1]) Боткинъ писалъ объ этомъ въ редакцію „Отеч. Зап." отъ 14 марта, а къ Бѣлинскому отъ 22 (и можетъ быть, еще въ другомъ письмѣ раньше): сначала онъ счелъ авторомъ „Педанта" ихъ стараго пріятеля Клюшникова.—По словамъ Боткина, „Педантъ" произвелъ чрезвычайное впечатлѣніе въ московскомъ литературномъ кругѣ. „Ударъ произвелъ дѣйствіе, превзошедшее ожиданія. Ш... не показывался эту недѣлю въ обществахъ. Въ синклитѣ Хом., Кир-хъ, Павлова, если заводятъ объ этомъ рѣчь, то съ пѣною у рта и ругательствами. Всѣхъ больше ругался.... Н. Ф. Павловъ; онъ предложилъ написать письмо къ кн. Одоевск. [акціонеру „Отеч. Записокъ"] отъ лица всѣхъ московскихъ литераторовъ, въ которой просятъ князя, чтобъ онъ съ вами не зналсл; письмо это будетъ пересыпано разными любезностями на счетъ вашъ и Бѣлинскаго.... П. уменъ... проглотилъ пилюлю, но ходитъ съ веселымъ лицомъ... Но это все хорошо,—а можетъ быть худо то, что Ш. (какъ я слышалъ) хочетъ жаловаться и въ его жалобѣ будто приметъ участіе кн. Д. В. [Голицынъ, московскій генералъ-губернаторъ], который на-дняхъ ѣдетъ въ Петербургъ. Смо-

Изъ разсказа Боткина о дѣйствіи „Педанта“ можно видѣть, что вражда становилась непримирима, что она охватила и руководителей „Москвитянина“ и весь славянофильскій кружокъ, бывшій на лицо.

Возвращаемся къ письмамъ Бѣлинскаго.

Вѣроятно, къ тому же письму, гдѣ говорится о „Педантѣ“, принадлежатъ разрозненные листки, гдѣ рѣчь идетъ о литературныхъ новостяхъ того же времени:

«Статьею о Майковѣ я самъ доволенъ [1]),—пишетъ Бѣлинскій,—хоть она и никому здѣсь особенно не нравится, а доволенъ ею я потому, что въ ней сказано (и притомъ очень просто) все, чтó надо, и въ томъ именно тонѣ, въ какомъ надо было сказать. Статья о Мирошевѣ [2]) не подгуляла бы, еслибъ цензура не вырѣзала изъ нея смысла, и не оставила одной галиматьи. Послѣ статьи о Петрѣ Великомъ ни одна еще статья моя не была такъ позорно ошельмована, какъ статья о Мирошевѣ».

Бѣлинскому очень нравятся стихотворенія Огарева: „Характеръ“, „Была пора“ „Кабакъ“ (послѣднее, кромѣ конца), и первая половина повѣсти г-жи Ганъ, писавшей подъ всевдодимомъ Зенаиды Р-вой, „Напрасный Даръ“, которая была тогда напечатана въ „Отеч. Запискахъ“ (кн. 3), какъ посмертный трудъ этой писательницы; „убійственно-хороша“, замѣчаетъ онъ, но нѣсколько позднѣе, когда впечатлѣнія выяснились, Бѣ-

---

трите, чтобъ не было вамъ какой бѣды.... Святители! какое движеніе эта штука сдѣлала въ университетѣ — Давыдовъ расцвѣлъ, помолодѣлъ и видимо блаженствуетъ, спрашиваетъ всякаго встрѣчнаго: читали ли вы 3 № „О. Зап.“.. Но, Боже мой, какъ „москвитяне“ поносятъ бѣднаго, невиннаго Виссаріона—и чѣмъ не называютъ его!!!... Кстати, статья Бѣл. въ 1 № привела Ш-ва въ негодованіе до того, что онъ посвятилъ одну цѣлую лекцію на опроверженіе ея—и въ 3 № „Москвит.“ это является въ печати [статья Бѣлинскаго было обозрѣніе русской литературы за 1841 годъ]... Гр. (Грановскаго) рѣчи по поводу „Педанта“ до того привели въ негодованіе, что онъ жалѣетъ, что нѣтъ у него готовой статьи, онъ тотчасъ бы послалъ вамъ, хоть для того, чтобъ имя его стояло на журналѣ. Кир-ій ругаетъ Бѣлин. словами, приводящими въ трепетъ всякаго православнаго, и спрашиваетъ Гр-го: „неужели вы не постыдитесь подать Бѣл-му руку?“ А Гр-й имѣлъ безстыдство отвѣчать: „не только не постыжусь подать руки, а хоть даже на площади передъ всѣми обниму его!“ Да всѣхъ разговоровъ не упомнишь и не передашь“.

[1]) „От. Зап.“ 1842, № 3, критика; Сочин. VII, стр. 102 и слѣд.

[2]) „От. Зап.“, тамъ же; Сочин. VI, стр. 134 и слѣд.

линскій хвалилъ эту повѣсть уже съ большими оговорками. Затѣмъ надежды быть опять въ Москвѣ:

«Лѣтомъ я опять въ Москвѣ, во что бы то ни стало, и притомъ не меньше какъ отъ одного до двухъ мѣсяцевъ. Зимняя поѣздка меня переродила — я поздоровѣлъ и помолодѣлъ. Вообрази себѣ, что теперь я сплю по твоему: въ какое бы время ночи ни легъ—сію же минуту какъ убитый. О моемъ духовномъ здравіи и состояніи писать къ тебѣ нечего: объ этомъ ты вѣдай по себѣ. Мучительный зензухтъ [1]) ощущаю къ жизни беззаботной, пустой, праздной, бродяжнической. Дома быть не могу ни минуты—страшно, мучительно, холодно, словно въ гробу».

Наконецъ, свѣдѣніе объ его финансовыхъ дѣлахъ. Въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ этого года онъ забралъ въ редакціи журнала 3,500 руб. ассигнаціями:

«Увы! страшно подумать—3,500 р.! Гдѣ-жъ они?—спросишь ты.

...Все исчезло безъ слѣдовъ
Какъ легкій паръ вечернихъ облаковъ:
Едва блеснутъ, ихъ вѣтеръ вновь уноситъ—
Куда они? зачѣмъ? откуда?—Кто ихъ спроситъ»...

Стихи любимаго поэта нашли примѣненіе и въ этомъ прискорбномъ обстоятельствѣ.

Черезъ нѣсколько дней, 17 марта, Бѣлинскій снова пишетъ къ своему другу. Уже въ прежнемъ письмѣ онъ замѣчаетъ въ себѣ отвращеніе къ перу вслѣдствіе нескончаемой работы, и отказывается писать длинныя письма. Дѣйствительно, письма становятся короче (хотя съ исключеніями). Но была и другая причина, почему онъ пишетъ теперь меньше: убѣжденія его установлялись окончательно, основные пункты ихъ не возбуждали сомнѣній и недоумѣній какъ прежде, не встрѣчали противорѣчій. Старый другъ, видимо, проходилъ ту же школу — подъ общимъ вліяніемъ и Бѣлинскаго и московскихъ друзей, Грановскаго и потомъ Г-на, по его переселеніи въ Москву изъ Новгорода (въ іюлѣ 1842), а также подъ вліяніемъ собственныхъ размышленій, чтенія и опыта. Боткинъ, хотя и „сенъ-симонистъ“ въ 1835 году, не былъ такимъ рьянымъ прозелитомъ „идеи общества“, какъ Бѣлинскій: его литературные ин-

---

[1]) Sehnsucht—одинъ изъ терминовъ ихъ прежняго романтизма.

тересы по прежнему обращены всего больше къ вопросамъ эстетики, — но разногласія между ними, относительно этой „идеи", теперь во всякомъ случаѣ не было, и Боткинъ, владѣвшій иностранными языками, гораздо болѣе начитанный, даже помогалъ Бѣлинскому идти въ этомъ направленіи, сообщая ему фактическія указанія изъ исторіи и литературы.

Письмо 17 марта не похоже на длинные трактаты, какіе Бѣлинскій посылалъ прежде своему другу; это — сборъ отрывковъ о разныхъ предметахъ, о которыхъ ему хотѣлось помѣняться мнѣніями съ другомъ. Рѣчь заходитъ сначала о Лермонтовѣ.

«Стих. Лерм. «Договоръ» [1])—чудо какъ хорошо, и ты правъ, говоря, что это—глубочайшее стихотвореніе, до пониманія котораго не всякій дойдетъ; но не такова ли же и бо́льшая часть стихотвореній Лермонтова? Лерм. далеко уступитъ Пушкину въ художественности и виртуозности, въ стихѣ музыкальномъ и упруго-гибкомъ; во всемъ этомъ онъ уступитъ даже Майкову (въ его антолог. стих.); но содержаніе, добытое со дна глубочайшей и могущественной натуры, исполинскій взмахъ, демонскій полетъ—*съ небомъ гордая вражда*—все это заставляетъ думать, что мы лишились въ Лерм. поэта, который, по содержанію, шагнулъ бы дальше Пушкина. Надо удивляться дѣтскимъ произведеніямъ Лермонтова—его драмѣ, «Боярину Оршѣ», и т. п. (не говорю уже о «Демонѣ»): это не «Русланъ и Людмила», тутъ нѣтъ ни легкокрылаго похмѣлья, ни сладкаго бездѣлья, ни лѣни золотой, ни вина и шалостей амура: нѣтъ, это—сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческія еще уста, это «съ небомъ гордая вражда», это—презрѣніе рока и предчувствіе его неизбѣжности. Все это дѣтски, но страшно-сильно и *взмашисто*. Львиная натура! Страшный и могучій духъ! Знаешь ли, съ чего мнѣ вздумалось разглагольствовать о Лермонтовѣ? Я только вчера кончилъ переписывать его «Демона», съ двухъ списковъ, съ большими разницами [2])—и еще болѣе вникъ въ это дѣтское, незрѣлое и колоссальное созданіе. Трудно найти въ немъ и четыре стиха сряду, которыхъ нельзя было бы окритиковать за неточность въ словахъ и выраженіяхъ, за натянутость въ образахъ; съ этой стороны «Демонъ» долженъ уступить даже «Эдѣ» Баратынскаго; но — Боже мой!—что же передъ нимъ всѣ антологическія стихотворенія Майкова, или и самого Анакреона, да еще въ подлинникѣ? Да, Боткинъ, глупъ я былъ съ моею художественностію,

---

[1]) Оно было помѣщено въ той же 3-й книгѣ „От. Зап".

[2]) „Демонъ" извѣстенъ теперь въ четырехъ или пяти редакціяхъ.

изъ-за которой не понималъ, что́ такое содержаніе. Но объ этомъ никогда довольно не наговоришься» [1])...

Далѣе, замѣчанія объ его собственномъ настроеніи нравственномъ и физическомъ:

«Со мной сдѣлалась новая болѣзнь—не шутя. *Ноетъ грудь*, но такъ сладко, такъ сладострастно... Словно волны пламени то нахлынутъ на сердце, то отхлынутъ внутрь груди; но эти волны такъ влажны, такъ освѣжительны... Ощущеніе это давно мнѣ знакомо, но никогда оно не бывало у меня такъ глубоко, такъ *чувственно*, такъ похоже на болѣзнь. Особенно овладѣло оно мною, пока я писалъ *«Демона»*. Странный я человѣкъ: иное по мнѣ скользнетъ, а иное такъ зацѣпитъ, что я имъ только и живу: *«Демонъ»* сдѣлался фактомъ моей жизни, я твержу его другимъ, твержу себѣ, въ немъ для меня міры истинъ, чувствъ, красотъ»...

Затѣмъ, въ первый разъ является новая тема, которая съ начала этого года больше и больше овладѣваетъ его мыслями:

«А знаешь-ли что́?—пишетъ онъ.—Да что и говорить—знаешь... Отъ того-то я такъ и люблю говорить съ тобою, что не успѣешь сказать перваго слова, какъ ты ужъ выговариваешь второе...

«Знаешь-ли, когда пора человѣку жениться?—Когда онъ дѣлается неспособнымъ влюбляться, перестаетъ видѣть въ женщинѣ «ее», а видитъ въ ней просто (имя рекъ)», и т. д.

Т.-е. когда кончается юношескій романтизмъ. Такая пора, по его словамъ, наступала и для него.

На послѣднія письма Бѣлинскаго Боткинъ отвѣчалъ длиннымъ посланіемъ отъ 20 и 23 марта, извлеченіе изъ котораго приводимъ ниже. Это—любопытнѣйшій образчикъ тогдашнихъ мнѣній Боткина и бесѣдъ его съ Бѣлинскимъ. Сквозь способъ вы-

---

[1]) „Договоръ“ напечатанъ былъ въ „От. Зап.“ въ томъ текстѣ, который повторенъ и послѣднимъ изданіемъ Лермонтова (т. I, стр. 128). Но Бѣлинскій дальше замѣчаетъ, что пьеса напечатана въ журналѣ не вполнѣ, и приводитъ ея „конецъ“. Это—извѣстные стихи изъ посланія гр. Ростопчиной:

Такъ двѣ волны несутся дружно
Случайной, вольною четой, и пр.

Точно такъ, какъ въ Соч. Лерм., I, стр. 118 (съ однимъ варіантомъ: вмѣсто—„ихъ *разгонитъ* гдѣ нибудь“, у Бѣлинскаго вѣрнѣе: „*разрознитъ*“).

Бѣлинскій, конечно, былъ введенъ въ заблужденіе какимъ-нибудь спискомъ, смѣшавшимъ эти два стихотворенія,—но въ концѣ однако замѣчаетъ: „сравненіе какъ будто натянутое (оно и дѣйствительно не совсѣмъ идетъ къ „Договору“); но въ немъ есть что-то лермонтовское“.

раженія, еще по старому полный философскими терминами, виденъ новый образъ мыслей, далеко не похожій на прежній консервативно-романтическій идеализмъ, и указывающій на знакомство съ молодымъ гегеліянствомъ. Боткинъ былъ усерднымъ читателемъ Deutsche Jahrbücher, составлявшихъ органъ этой гегеліянской партіи... Окончаніе той сердечной исторіи, которая такъ долго занимала обоихъ друзей и была порожденіемъ прежняго романтизма, имѣло свою долю участія въ этомъ измѣненіи взглядовъ Боткина. Намекая на прежнее, онъ говоритъ о своей теперешней жизни: „—она есть не что другое, какъ отрицаніе мистики и романтики, къ которымъ особенно была склонна моя натура, но въ которыхъ я совершенно потонулъ въ продолженіи отношеній моихъ къ N. N. [1]). Все, на чемъ лежитъ печать мистики... и романтики, пробуждаетъ во мнѣ теперь враждебное чувство"... Затѣмъ начинается длинное разсужденіе, вызванное приведенными выше словами Бѣлинскаго о стихотвореніи Лермонтова „Договоръ". Боткинъ говоритъ о поэзіи Пушкина и Лермонтова, и по ихъ поводу о современномъ направленіи европейской литературы и цѣлаго европейскаго развитія:

...«Я зналъ, что тебѣ понравится «Договоръ»,—пишетъ Боткинъ.—Въ меня онъ особенно вошелъ, потому что въ этомъ стихотвореніи жизнь разоблачена отъ патріархальности, мистики и авторитетовъ. Страшная глубина субъективнаго *я*, свергшаго съ себя всѣ субстанціальныя вериги. По моему мнѣнію, Лермонтовъ нигдѣ такъ не выражался весь, во всей своей духовной личности, какъ въ этомъ «Договорѣ». Какое хладнокровное, спокойное презрѣніе всяческой патріархальности, авторитетныхъ *привычныхъ* условій, обратившихся въ рутину. Титаническія силы были въ душѣ этого человѣка! Мнѣ сейчасъ представилось то, въ чемъ состоитъ его разительное отличіе отъ Пушкина. Попробую какъ-нибудь намекнуть объ этомъ различіи, хотя чувствую, что сознаніе его во мнѣ самомъ еще не ясно. Пушкинъ всегда пребывалъ въ субстанціальныхъ сферахъ. Паѳосъ его состоитъ, главное, въ разрѣшеніи (Auflösung) опирающейся на самой себѣ и на произволѣ своемъ субъективности — въ томъ, что мы прежде называли субстанціальными силами. Общій колоритъ его—внутренняя красота человѣка и лелѣющая душу гуманность. Герои его предстоятъ намъ сначала отвлеченными, напряженными—впослѣдствіи трагическая коллизія совершенно перерождаетъ ихъ, разоблачая ихъ отъ

[1]) Имя особы, къ которой онъ питалъ романтическое чувство.

напряженности и отвлеченности, наполняя ихъ эгоистическій умъ, «кипѣвшій въ дѣйствіи пустомъ»—общечеловѣческимъ содержаніемъ, дѣлая изъ героевъ—просто людей, но людей, которые сосредоточиваютъ въ себѣ всѣ наши сердечныя симпатіи; такъ что внимательное чтеніе Пушкина можетъ быть превосходнымъ воспитаніемъ въ себѣ *человѣка*, болѣе нежели чтеніе Гёте. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ глубже Шиллера схватываетъ жизнь. Шиллеръ лишь въ идеальномъ отраженіи схватывалъ ее; отвлекалъ своихъ героевъ отъ ежедневности, сосредоточивая ихъ въ праздничныхъ ихъ минутахъ. Шиллеръ не любитъ жизни такъ, какъ она есть—съ ея грязью и солнцемъ... Пушкинъ для того, чтобы разрѣшить трагическія явленія жизни, не улетучиваетъ ихъ въ идеальный міръ, не отвлекаетъ отъ дѣйствительной жизни въ міръ духовности, не ласкаетъ сліяніемъ душъ въ небесныхъ сферахъ, у него страданіе не спекулируетъ на награду: онъ всегда *здѣсь*, всегда на почвѣ простой, общечеловѣческой ежедневности—всегда съ разительнымъ, глубочайшимъ чувствомъ дѣйствительности. Онѣгинъ — сначала отчасти неопредѣленный, туманный и напряженный образъ—постепенно воплощается въ личность *человѣка*... Одна лишь ограниченность и незнаніе могли называть Пушкина подражателемъ Байрона. Нѣтъ двухъ поэтовъ, болѣе противоположныхъ въ своемъ паѳосѣ. Но о семъ слѣдуетъ объясниться обстоятельно.

«Въ настоящее время начинается въ Европѣ новая эпоха. Міръ среднихъ вѣковъ,—міръ непосредственности, патріархальности, туманной мистики, авторитетовъ, вѣрованій, вступаетъ въ борьбу съ мыслію, анализомъ, правомъ, вытекающимъ изъ сущности предмета, идеи, а не привязаннымъ къ нимъ со внѣ или по преданію и предположенію,—и вступаетъ въ борьбу не въ одинокихъ, разбросанныхъ явленіяхъ,—что́ было и въ средніе вѣка,—а цѣлыми массами. Не даромъ кричатъ Шевыревъ и «Маякъ», что Европа находится въ гніеніи, что связи семейства, общества, государства въ ней потрясены. Это такъ дѣйствительно: старые институты семейственности и общественности со всѣхъ сторонъ получаютъ страшные удары. Конецъ среднихъ вѣковъ и начало новаго времени есть собственно 18-й вѣкъ. Во Франціи совершилось отрицаніе среднихъ вѣковъ въ сферѣ общественности; въ Байронѣ явилось оно въ поэзіи,—и теперь является въ сферѣ религіи, въ лицѣ Штрауса, Фейербаха и Бруно Бауэра. Человѣчество сбрасываетъ съ себя одежду, которую носило слишкомъ тысячу лѣтъ,—и облекается въ новую... Духъ новаго времени вступилъ въ рѣшительную борьбу съ догмами и организмомъ средн. вѣковъ. И внимательное созерцаніе современнаго положенія Европы дѣйствительно представляетъ гніеніе и распаденіе всего стараго порядка вещей. Новые люди съ новыми идеями о бракѣ, религіи, государствѣ,—фундаментальныхъ основахъ человѣческаго общества,—прибываютъ съ каждымъ днемъ: новый духъ, какъ кротъ, невидимо бѣгаетъ подъ землею—и копаетъ ее—чудный рудокопъ. Das alte stürzt,—es ändert sich die Zeit,—und neues Leben steigt aus den Ruinen.

«Байронъ (мнѣ бы слѣдовало говорить прежде о Руссо — но этакъ письму моему и конца не будетъ — главное дѣло въ томъ, что Байронъ насквозь пропитанъ сочиненіями Руссо), Байронъ первый явилъ поэтически отрицаніе общественнаго устройства, выработаннаго средними вѣками (ты уже понимаешь, что̀ разумѣю я подъ средн. вѣк.)—или, говоря не вполнѣ мою мысль выражающими словами — отрицаніе стараго времени. Весь существенный паѳосъ его состоитъ въ этомъ. Субъективное *я*, столь долгое время скованное веригами патріархальности, всяческихъ авторитетовъ и феодальной общественности—впервые вырвалось на свободу, упоенное ощущеніемъ ея, отбросило отъ себя свои вериги и возстало на давнихъ враговъ своихъ. Да, паѳосъ Байрона есть паѳосъ отрицанія и борьбы; основа его—историческая, общественная. Его не занимаетъ (какъ Гёте) поэтическое разрѣшеніе внутреннихъ мистерій души человѣческой; трагическое его состоитъ въ борьбѣ индивидуума съ обществомъ. Ни одинъ поэтъ въ мірѣ не исполненъ такъ движенія и соціальныхъ интересовъ, какъ Байронъ,--и потому ни одинъ поэтъ не напечатлѣлъ такъ своего генія на своемъ вѣкѣ, какъ Байронъ (и Руссо). Онъ есть поэтъ отрицанія и борьбы,— сказалъ я,—и отсюда его страшная, неотразимая иронія и міровой юморъ. Въ поэзіи Байрона міръ является сорвавшимся съ давней, привычной колеи своей. Паѳосъ Пушкина—чисто внутренній; онъ углубленъ въ представленіе явленій внутренняго міра. Сфера историческая, общественная—не его сфера... Онъ человѣкъ преданія и авторитета. Здѣсь, благо пришлось къ слову, не могу умолчать, что какъ я высоко ни ставлю Онѣгина, и какъ мнѣ истинною и глубокомысленно-дѣйствительною ни кажется развязка его,— все однакожъ не могу я примириться съ положеніемъ Татьяны, добровольно осуждающей себя на проституцію съ своимъ старымъ генераломъ. Конечно, всякое художественное созданіе есть отдѣльный міръ, входя въ который мы обязуемся жить его законами, дышать его воздухомъ, но какъ тутъ быть, когда мы застигнуты другими понятіями и принципами, когда то, что̀ прежде считалось нравственнымъ, высокою жертвою, доблестью—кажется теперь безнравственнымъ прекраснодушіемъ, слабостью. Поэтическія созданія, являющіяся на такихъ всемірно-историческихъ рубежахъ враждующихъ міросозерцаній, становятся сами въ трагическое положеніе.

«Лермонтовъ весь проникнутъ духомъ Байрона. Какъ геній Байрона воспитался подъ вліяніемъ Руссо,—такъ Лермонтовъ подъ вліяніемъ Байрона... Внутренній, существенный паѳосъ его есть отрицаніе всяческой патріархальности, авторитета, преданія, существующихъ общественныхъ условій и связей. Онъ самъ, можетъ, еще не сознавалъ этого— да и пора дѣйствительнаго творчества еще не наступала для него. Дѣло въ томъ, что главное орудіе всякаго анализа и отрицанія есть мысль,— и посмотри, какое у Лермонтова повсюдное присутствіе твердой, опредѣленной, рѣзкой мысли—во всемъ, что̀ ни писалъ онъ; замѣть—мысли,

а не чувствъ и созерцаній. Не отсюда-ли происходитъ то, что онъ далеко уступаетъ, какъ ты замѣчаешь, Пушкину—«въ художественности, виртуозности, въ стихѣ музыкальномъ и упруго-мягкомъ». Въ каждомъ стихотвореніи Лермонтова замѣтно, что онъ не обращаетъ большого вниманія на то, чтобы мысль его была высказана изящно—его занимаетъ одна мысль—и отъ этого у него часто такая стальная, острая прозаичность выраженія. Да, паѳосъ его, какъ ты совершенно справедливо говоришь, есть «съ небомъ гордая вражда». Другими словами, отрицаніе духа и міросозерцанія, выработаннаго средними вѣками, или, еще другими словами—пребывающаго общественнаго устройства. Духъ анализа, сомнѣнія и отрицанія, составляющій теперь характеръ современнаго движенія—есть не что иное, какъ тотъ діаволъ, демонъ—образъ, въ которомъ религіозное чувство воплотило различныхъ враговъ своей непосредственности. Не правда-ли, что особенно важно, что фантазія Лермонтова съ любовію лелѣяла этотъ «могучій образъ»; для него—

Какъ царь нѣмой и гордый онъ сіялъ
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно...

«Въ молодости онъ тоже на мгновеніе являлся Пушкину, но кроткая, нѣжная, святая душа Пушкина трепетала этого страшнаго духа, и онъ съ тоскою говорилъ о печальныхъ встрѣчахъ съ нимъ. Лермонтовъ смѣло взглянулъ ему прямо въ глаза, сдружился съ нимъ и сдѣлалъ его царемъ своей фантазіи, которая, какъ древній понтійскій царь, питалась ядами; они не имѣли уже силы надъ ней—а служили ей пищею: она жила тѣмъ, что́ было бы смертію для многихъ. (Байрона, *Сонъ*, VIII строфа,—который ты долженъ непремѣнно прочесть)».

Боткинъ продолжаетъ письмо 23 марта:

«Перечитавъ написанное, вижу, что я болѣе запуталъ, нежели уяснилъ то, что́ думалъ сказать, — такъ что хочется разорвать. Впрочемъ, и по сбивчивымъ намекамъ, ты, можетъ быть, догадаешься о томъ, что́ думалъ я сказать: это же самое послужитъ тебѣ фактомъ моего настоящаго взгляда кой-на-что. О такихъ предметахъ невозможно говорить мало,—тотчасъ представляется множество сторонъ, такъ что безпрестанно теряешься. Для уясненія себѣ того, какъ я понимаю выраженіе Лермонтова: «съ небомъ гордая вражда», а равно для уясненія моего взгляда на средніе вѣка вообще — не лишнимъ считаю сказать слѣдующее — не поскучай прочесть:

«Всякая религія основывается на отчужденіи духа, отчужденіи, въ которомъ духъ знаетъ не самого себя, — но другое, ему противостоящее, внѣшнее; — знаетъ его какъ божественное, внѣшнее; какъ сущность и истину себя самого и всѣхъ вещей. Въ религіи человѣкъ чувствуетъ себя *зависящимъ*: онъ внѣ самого себя, не свободенъ, подверженъ авто-

ритету, преданъ власти, которая утвердительно полагаетъ себя—не какъ его собственная власть, но какъ сверхъестественная, сверхъчеловѣческая. Древнія религіи не могли эту противоположность божественнаго и человѣческаго довести до крайности: въ греческой религіи, напримѣръ, духъ ведетъ съ богами веселую игру—heiteres Spiel, по выраженію Гегеля. Онъ никогда почти не теряетъ того сознанія, что собственно самъ онъ—духъ—есть всѣ тѣ божества, что онъ власть ихъ, а не они его. Въ христіанствѣ совершилось отчужденіе и распаденіе духа съ самимъ собою и съ дѣйствительностью. Исторія христіанскихъ вѣковъ слишкомъ хорошо доказываетъ ложность того, будто бы, чрезъ идею христіанства, уничтожилось древнее распаденіе божества и человѣчества, неба и земли. Напротивъ, чрезъ него они были противоположены другъ другу: единство же ихъ положительно признано въ немъ одномъ — и *нигдѣ кромѣ его*. Чрезъ это самое — все царство дѣйствительности,—семейство, государство, искусство, наука—стало лишено божественности, сдѣлалось т.-е. безбожнымъ. А такъ какъ всякая религія имѣетъ основаніемъ своимъ противоположность божественнаго и человѣческаго,—то христіанская религія есть уже по тому самому абсолютная религія, что она довела эту противоположность до абсолютной крайности ея. Чрезъ христіанство, «котораго царство не отъ міра сего»,—дѣйствительность явилась чуждою самой себѣ, такою, которая свою сущность, истину свою, своего Бога—не въ себѣ имѣетъ,—но *тамъ*, внѣ себя. И потому намъ предстоятъ два царства; съ одной стороны дѣйствительный міръ,—*здѣсь*, какъ царство конечности, временнаго, грѣха; съ другой стороны, міръ представляемый, идеальный (въ смыслѣ противоположности дѣйствительному), т.-е. міръ вѣры, *тамъ*, — какъ царство бозконечности, вѣчности, святого: оба—одинъ внѣ другого,—каждый противоположность другому. Посему ничто не существуетъ здѣсь само по себѣ и для себя, ничто не имѣетъ истины и значенія чрезъ себя самого и въ себѣ самомъ; ничто здѣсь не имѣетъ въ немъ самомъ пребывающаго и ему имманентнаго духа, — но существуетъ лишь внѣ себя, въ чуждомъ ему. Отсюда произошло то, что все было поставлено вверхъ ногами; ибо все имѣетъ истину внѣ себя, въ противоположномъ себѣ. Міръ явится извращеннымъ: дѣйствительное — имѣетъ значеніе, какъ несущественное и недѣйствительное, а недѣйствительное — какъ существенное и дѣйствительное,—и сей извращенный міръ есть именно средніе вѣка, которые только съ этой точки могутъ быть ясно поняты и объяснены. Поэтому, въ нихъ, наприм., является намъ: естественное—неестественнымъ, грѣхомъ, а опять грѣхъ же самый ничѣмъ инымъ, какъ наслѣдственнымъ, врожденнымъ состояніемъ человѣка; нравственное—безнравственнымъ, или на языкѣ средн. вѣк. нечистымъ,—«потому, говоритъ св. Августинъ,—лучше было бы, еслибъ браки и дѣторожденіе совсѣмъ прекратились: тогда скоро бы настало царство небесное». Красота есть безобразіе и твореніе діавола; умъ и мудрость есть предъ Богомъ заблуж-

деніе и слѣпота; а слѣпота и простота есть истинная мудрость; жизнь есть смерть, и лишь со смертію начинается собственно жизнь; *здѣсь*— есть чуждое, смердящее, лишенное божества, и только *тамъ* есть истинное *здѣсь*, отчизна и домъ отчій. Да, духъ, такъ сказать, чрезъ отрицаніе самаго себя долженъ былъ познать себя. Если религія, съ другой стороны, есть погруженіе человѣка въ вѣчныя, невыразимыя тайны божества, то въ христіанской религіи духъ раскрылъ самому себѣ такія тайны свои, что замираетъ сердце отъ блаженства, когда думаешь о нихъ. Но какимъ страшнымъ путемъ распаденія долженъ онъ былъ достигнуть до проявленія и сознанія тайнъ сихъ, до примиренія съ самимъ собою, которое является въ новѣйшей философіи и новѣйшей критической теологіи. Въ этомъ-то значеніи Фейербахъ и называетъ теологію—антропологіею—пунктумъ!» [1]).

Выше было говорено о письмахъ, гдѣ Боткинъ сообщалъ извѣстія о впечатлѣніи, какое произвелъ въ Москвѣ „Педантъ“: въ письмѣ своемъ отъ 31 марта Бѣлинскій упоминаетъ объ этой исторіи.

«Вотъ и отъ тебя, любезный Боткинъ, уже другое письмо,—пишетъ онъ,—да еще какое толстое, жирное и сочное, — и теперь все смакую, граціозно и гармонически прищолкивая языкомъ, какъ ты во время своихъ потребительныхъ священнодѣйствій [2]). Вотъ тебѣ сперва отвѣтъ на первое посланіе. Спасибо тебѣ за вѣсти объ эффектѣ «Педанта»: отъ нихъ мнѣ нѣкоторое время стало жить легче. Чувствую теперь вполнѣ и живо, что я рожденъ для печатныхъ битвъ, и что мое призваніе, жизнь, счастіе, воздухъ, пища — *полемика*... [3]). Я не совсѣмъ впопадъ понялъ

---

[1]) Въ одной изъ своихъ статей о германской литературѣ, писанныхъ имъ для „Отеч. Записокъ“, Боткинъ, разбирая одну ученую нѣмецкую книгу, интересовавшую его своимъ содержаніемъ, выражаетъ сожалѣніе, что языкъ автора теменъ, тяжелъ и многословенъ, и прибавляетъ: „Когда-то нѣмецкая наука станетъ обращать вниманіе на литературную сторону своихъ сочиненій, чему уже такой яркій примѣръ подали ей Бруно-Бауэръ, Фейербахъ и другіе!“ („Отеч. Зап.“ 1843, кн. 2, Иностр. литер., стр. 50). Такимъ образомъ, эти писатели были ему хорошо извѣстны.

[2]) Должно замѣтить, что Боткинъ былъ издавна и до конца жизни великій гастрономъ, большой знатокъ произведеній кулинарныхъ, а также—чаю. Бѣлинскій очень остроумно говоритъ объ его „потребительныхъ священнодѣйствіяхъ“.

[3]) Во второмъ письмѣ Боткина (22-го марта) также есть извѣстія объ эффектѣ „Педанта“. Въ Москвѣ говорили, что лица, задѣтыя въ „Педантѣ“ и опасавшіяся слѣдующихъ „типовъ“ (Бѣлинскій намѣревался изобразить еще „Литератора-Циника“), собирались жаловаться министру народнаго просвѣщенія (тогда начальнику цензуры), или даже московскому генералъ-губерна-

твой кутежъ, ибо хотѣлъ состояніе твоего духа объяснить своимъ собственнымъ... Настоящимъ своимъ кутежемъ ты мстишь мистикѣ и романтикѣ, за то, что эти госпожи... заставляли (тебя) становиться на ходули, и наслаждаешься желанною свободою. Сущность и поэтическая сторона того, что́ ты называешь своимъ развратомъ, есть наслажденіе свободою, праздникъ и торжество сверженія татарскаго ига мистическихъ и романтическихъ убѣжденій... Мнѣ во всемъ другой путь въ жизни, чѣмъ тебѣ и всякому другому».

Но Боткинъ, освободившись отъ романтики, сталъ сомнѣваться и въ жизни: за это время онъ „хладнокровно сознавалъ", что жизнь не дастъ ему того, что́ предчувствовала высшая сторона его натуры. Его слова привели Бѣлинскаго въ раздумье:—неужели же жизнь и въ самомъ дѣлѣ ловушка? Неужели она до того противорѣчитъ себѣ, что даетъ требованія, которыхъ выполнить не можетъ? Самъ онъ, однако, еще надѣялся: „право, я въ странномъ положеніи; несчастливъ въ настоящемъ, но съ надеждою на будущее,—съ надеждою, съ которою увидѣлся послѣ долгой разлуки". Затѣмъ онъ опять вспоминаетъ о прошломъ:

«...«Волны духовнаго міра»—вещь хорошая; безъ нихъ человѣкъ—животное. Но все-таки (согласенъ съ тобою) нельзя вспомнить безъ горькаго смѣха, какъ мы изъ грусти дѣлали какое-то занятіе, и вели протоколы нашимъ ощущеніямъ и ощущеньицамъ. Впрочемъ, намъ не потому опротивѣло надоѣдать ими другимъ, чтобы мы перестали жить ими и полагать въ нихъ высшую жизнь, а потому, что поняли ихъ, и они для насъ—не загадка дальше. Боже мой! сколько, бывало, толковъ о *любви!* А почему?—эта вещь была загадкою; теперь она для насъ разгадана,—и я скорѣе буду спорить до слезъ объ онёрахъ и леве, чѣмъ о любви»...

Въ одномъ изъ писемъ, на которыя здѣсь отвѣчаетъ Бѣлинскій,—Боткинъ писалъ ему что-то о Гоголѣ; къ этимъ извѣстіямъ Боткина относятся слѣдующія строки письма Бѣлинскаго, любопытныя по взгляду на Гоголя.

«*Неуваженіе къ Державину*, — пишетъ Бѣлинскій, — возмутило мою душу чувствомъ болѣзненнаго отвращенія къ Г. (Гоголю): ты правъ,—въ этомъ кружкѣ онъ какъ разъ сдѣлается органомъ «Москвитянина».

тору, кн. Д. В. Голицыну. Боткинъ, съ своей стороны, считалъ очень возможнымъ, что будутъ говорить министру о духѣ, направленіи и пр. „Отеч. Записокъ", и что за этимъ послѣдуютъ соотвѣтственныя мѣры.

«Римъ»—много хорошаго; но есть фразы, а взглядъ на Парижъ возмутительно гнусенъ».

Повидимому, Гоголь говорилъ о неуваженіи къ Державину со стороны Бѣлинскаго. Такой отзывъ могъ тѣмъ больше не понравиться Бѣлинскому, что былъ бы въ такомъ случаѣ повтореніемъ того, чтó говорилъ о Бѣлинскомъ Шевыревъ. Бѣлинскій желалъ, конечно, отъ Гоголя бóльшаго пониманія.

Дальше увидимъ, что личныя отношенія съ Гоголемъ начинаютъ производить непріятное впечатлѣніе на Бѣлинскаго, вслѣдствіе той натянутой роли, въ какую Гоголь становится съ этого времени особенно.

Бѣлинскому очень нравится рецензія „Исторіи древней философіи" пастора Зедергольма. Сначала, она было ему не понравилась, показалась даже глупой, но, дочитавши до конца, онъ увидѣлъ, что она очень умна. Оказалось, что она была писана Боткинымъ [1]). Дѣло въ томъ, что предметъ статьи былъ, по тогдашнему, очень трудный для изложенія, и Боткинъ по необходимости не употреблялъ прямыхъ выраженій. Это было опять столкновеніе „западныхъ" мнѣній съ славянофильствомъ, какъ это объясняется изъ письма Боткина въ редакцію „Отеч. Записокъ". Отправляя статью (въ февралѣ 1842), Боткинъ писалъ: „Посылаю рецензію книги Зедергольма, которою я былъ очень стѣсненъ, потому что онъ безпрестанно говоритъ о человѣчествѣ какъ о родѣ падшемъ, — ну и подобныя... штуки. Можетъ быть, вы найдете, что рецензія написана слишкомъ философскимъ языкомъ. Чтó дѣлать, надо было какъ-нибудь изворачиваться; эти же самыя мысли, написанныя литературнымъ языкомъ, цензура не пропуститъ. Введеніе Зедергольма написано Кирѣевскимъ, Хомяковымъ и еще кѣми-то. Это говорилъ онъ самъ. Можно изъ этого видѣть, какъ далеки эти господа въ философіи и чего не принимаютъ они за философію".

На длинное письмо Боткина, приведенное нами выше, Бѣлинскій отвѣчаетъ въ письмѣ отъ 4 апрѣля:

«Письмо твое о Пушкинѣ и Лермонтовѣ усладило меня, — пишетъ Бѣлинскій.—Мало чего читывалъ я умнѣе. Высказано плохо, но я по-

---

[1]) „От. Зап." 1842, № 3, библіографія.

нялъ, что̀ хотѣлъ ты сказать. Совершенно согласенъ съ тобою. Особенно поразили меня страхъ и боязнь Пушкина къ демону: «печальны были наши встрѣчи»: именно отсюда и здѣсь его разница съ Лермонтовымъ. О Татьянѣ тоже согласенъ: съ тѣхъ поръ, какъ она хочетъ вѣкъ быть вѣрною своему генералу...—ея прекрасный образъ затемняется. Глубоко вѣрно твое замѣчаніе: «поэтическія созданія, являющіяся на такихъ всемірно-историческихъ рубежахъ враждующихъ міросозерцаній—становятся сами въ трагическое положеніе». Это очень идетъ къ Онѣгину.

«О Лермонтовѣ согласенъ съ тобою до послѣдней йоты, о Пушкинѣ еще надо потолковать. Мнѣ кажется, ты приписываешь натурѣ Пушкина многое, что̀ должно приписывать его развитію. Онъ не былъ исключительно субъективенъ, какъ Гёте: доказательство — его рѣшительная наклонность и способность къ драмѣ, которая такъ не давалась Гёте, и къ которой не былъ расположенъ Байронъ (ибо лирическая драма—другое дѣло—«Фаустъ» и «Манфредъ»). Отторгло Пушкина отъ исторической почвы его развитіе. Наши геніи всему учились понемножку. Страшно подумать о Гоголѣ: вѣдь во всемъ, что̀ онъ написалъ — одна натура—какъ въ животномъ. Невѣжество абсолютное. Что онъ напуталъ [1]) о Парижѣ-то!

«Но о Пушкинѣ послѣ, когда-нибудь»...

Короткое письмо отъ 8 апрѣля заключаетъ въ себѣ извѣщеніе о смерти А. Я. К-ой, женщины, которая внушала Бѣлинскому самое искреннее уваженіе; черезъ нѣсколько дней, отъ 13 апрѣля, онъ подробно пишетъ Боткину объ этомъ событіи. Эта смерть поразила Бѣлинскаго и опять пробудила безотрадныя мысли. Смерть Станкевича еще разъ вспомнилась ему. Нѣсколько выдержекъ дадутъ понятіе объ его настроеніи:

«...Боже мой! Неужели мнѣ суждена роль какого-то могильщика! Я окруженъ гробами [2])—запахъ тлѣнія и ладона преслѣдуетъ меня и день и ночь! Я понимаю теперь и египетское обожествленіе идеи смерти, и стоицизмъ древнихъ, и асцетизмъ первыхъ вѣковъ христіанства. Жизнь не стóитъ труда жить—желанія, страсти, скорбь и радость—лучше бы, еслибъ ихъ не было. Великъ Брама [3])... онъ порождаетъ, онъ и пожираетъ... Леденѣетъ отъ ужаса бѣдный человѣкъ при видѣ его!.. Лучшее, что есть въ жизни—это *пиръ во время чумы* и *терроръ* [4]), ибо въ нихъ

[1]) Въ подлинникѣ болѣе рѣзкое выраженіе.

[2]) Передъ тѣмъ, на пути въ Москву, въ Новгородѣ, гдѣ онъ видался съ Г-номъ, ему пришлось быть свидѣтелемъ похоронъ ребенка; въ Москвѣ—свидѣтелемъ похоронъ Щепкиной.

[3]) Такъ онъ называетъ судьбу.

[4]) Конечно, здѣсь это принимается въ фантастическомъ смыслѣ, какъ видно изъ послѣдующихъ словъ.

есть упоеніе, и самое отчаяніе, сама скорбь похожа на оргію, гдѣ гробъ и обезглавленный трупъ—не болѣе какъ орнаменты торжественной залы.

«Погибающая собака возбуждаетъ въ насъ жалость—мухи гибнутъ тысячами на нашихъ глазахъ—и мы не жалѣемъ ихъ, ибо привыкли думать, что случайно рождаются и случайно исчезаютъ. А развѣ рожденіе и гибель человѣка не случайность. Развѣ жизнь наша не на волоскѣ ежечасно и не зависитъ отъ пустяковъ? Зачѣмъ же о потерѣ милаго человѣка мы скорбимъ такъ, какъ будто міръ долженъ былъ перевернуться на оси своей, чтобъ лишить насъ его?.. (Развѣ судьба не безжалостна—) какъ эта мертвая и безсознательно разумная природа, которая матерински хранитъ роды и виды, по своимъ политико-экономическимъ разсчетамъ, а съ индивидуумами поступаетъ хуже, чѣмъ злая мачиха? Люди, въ глазахъ природы, тоже, что скотъ въ глазахъ сельскаго хозяина: хладнокровно рѣшаетъ она: этого на племя пустить, а этого зарѣзать...

«И однакожъ, мысль, что ужъ нѣтъ, былъ человѣкъ—и нѣтъ его, и уже не будетъ, что бездна раздѣляетъ трупъ отъ живыхъ—ужасная, сокрушительная мысль. Время-цѣлитель сдѣлаетъ свое, волны жизни на болотѣ ежедневности изгладятъ изъ памяти милый образъ — человѣкъ снова полюбитъ: это утѣшеніе, но утѣшеніе ужасное. Что же такое личность послѣ этого, если не сосудъ съ драгоцѣнною жидкостью: ароматъ вылился—и сосудъ бросаютъ за окно!

«Я странный человѣкъ, Б.; смерть Станкевича поразила меня сухо, мертво, но если бы ты зналъ, какъ это сухое страданіе тяжело! Я какъ будто потерялъ въ немъ не друга, не близкаго къ себѣ человѣка; но скорѣе *необыкновеннаго* человѣка. Можетъ быть, это дѣло долговременной разлуки, а можетъ и потому, что Станкевича я не могъ считать своимъ другомъ, ибо неравенство не допустило возможности этого ни съ его, ни съ моей стороны: онъ слишкомъ сознавалъ свое превосходство, а я слишкомъ самолюбивъ, чтобъ исчезнуть въ человѣкѣ, при которомъ я хоть сколько-нибудь несвободенъ. Какъ бы то ни было — его смерть поразила меня *особеннымъ образомъ* и — повѣришь-ли? — *точно также* поразила меня смерть Пушкина и Лермонтова. Я считаю ихъ *моими* потерями, и внутри меня не умолкаетъ дисгармоническій, сухомучительный звукъ, по которому я не могу не знать, что это *мои* потери, послѣ которыхъ жизнь много утратила для меня. Мягче подѣйствовала на меня смерть Л. Б-ой, но *подѣйствовала*»...

Затѣмъ, къ апрѣлю относится письмо, отъ котораго намъ извѣстно только окончаніе, дописанное 20 апрѣля. Это было очень длинное письмо: „Усталъ — едва пишу, а все хочется — кажется, исписалъ бы десть. Ну, да Богъ дастъ — увидимся, переговоримъ обо всемъ“, говорится въ началѣ этого отрывка:

написана была цѣлая „тетрадь". Изъ того, что̀ уцѣлѣло, видно, что рѣчь шла о новыхъ историческихъ интересахъ, которыми Бѣлинскій былъ въ это время занятъ: это была французская исторія конца прошлаго вѣка. Бѣлинскій, съ обыкновеннымъ увлеченіемъ, читалъ какого-то историка этихъ событій, переселился въ нихъ и дѣлился съ Боткинымъ свѣжими впечатлѣніями.

Къ этому чтенію должно относиться одно изъ писемъ Грановскаго къ Бѣлинскому, находившееся въ нашемъ матеріалѣ. Прежде было упомянуто о дружескихъ, но все-таки нѣсколько далекихъ отношеніяхъ, въ которыхъ Грановскій стоялъ къ Бѣлинскому, вслѣдствіе разногласія ихъ мнѣній при первой встрѣчѣ въ Москвѣ. Теперь это разногласіе совершенно покрывалось поворотомъ, наступившимъ въ понятіяхъ Бѣлинскаго. Они стояли теперь на одной почвѣ, и небольшое письмо Грановскаго даетъ намъ еще одинъ образчикъ солидарности дружескаго кружка̀. Грановскій читалъ письмо Бѣлинскаго къ Боткину: оно нравится ему своимъ задушевнымъ тономъ, но Грановскій оспариваетъ историческія мнѣнія Бѣлинскаго о разныхъ людяхъ временъ революціи. Повидимому, историческій споръ не ограничивался этими двумя письмами, или въ этихъ письмахъ продолжается личная бесѣда друзей, которая велась во время зимней поѣздки Бѣлинскаго въ Москву. У каждаго были свои симпатичныя историческія личности — по ихъ собственнымъ характерамъ, и здѣсь на исторіи велось такое же развитіе взглядовъ, какъ съ Боткинымъ это дѣлалось на вопросахъ литературныхъ. Любопытенъ и конецъ письма Грановскаго:

«Что ты, мой милый Виссаріонъ? Какъ живешь? что читаешь? Смотри, братъ, не поддайся берлинской философіи, которую собирается привезти къ вамъ К-въ [1]). Несмотря на наше разногласіе о Р., почти во всемъ прочемъ я съ тобой согласенъ. До смерти хочется, чтобы ты поболѣе читалъ: это бы освѣжило тебя. Читай франц. историковъ и достань себѣ Encyclopédie Nouvelle; она познакомитъ тебя съ Leroux. Одинъ изъ самыхъ умныхъ и благородныхъ людей въ Европѣ. Читай, Виссаріонъ, а не то черезъ годъ тебѣ трудно будетъ писать. Прощай, другъ, жму тебѣ крѣпко руку».

[1]) Эта берлинская философія была новая философія Шеллинга, о которой будемъ имѣть случай говорить.

Пьеръ Леру становился въ это время большимъ авторитетомъ для всего кружка. Вскорѣ познакомился съ нимъ и Бѣлинскій.

Въ письмѣ 20 апрѣля остался любопытный намекъ на упомянутыя отношенія его съ Гоголемъ. Бѣлинскій никогда не измѣнилъ своего высокаго понятія о значеніи Гоголя для русской литературы и общественности, но личность Гоголя начинаетъ уже теперь возбуждать въ немъ недоумѣніе и даже непріязненное чувство.[1] Онъ видитъ, что въ Гоголѣ „одна натура"; теоретическія мнѣнія Гоголя производятъ въ немъ настоящее негодованіе; онъ опасается, что изъ Гоголя легко можетъ выйти дѣятель во вкусѣ „Москвитянина". Къ этому присоединилось неискреннее отношеніе къ нему самого Гоголя, что̀ также было не лишено значенія. Какъ упоминалось прежде, Бѣлинскій въ высшей степени интересовался Гоголемъ; но послѣ перваго легкаго знакомства (вскорѣ по пріѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ), они снова встрѣтились, кажется, только около 1841—1842, у друга Гоголя, Прокоповича, но близкихъ между ними отношеній не завязалось. Гоголь уже проникался въ это время своимъ мистическимъ высокомѣріемъ и вмѣстѣ— большой опасливостью съ людьми не ближайшаго его круга, опасливостью, имѣвшей, кажется, въ виду сберечь отъ всякихъ шероховатыхъ прикосновеній его щекотливое самолюбіе, и съ другой стороны— удалить возможность отношеній, невыгодныхъ по его разсчетамъ... Повидимому, это самое побудило его отдаляться отъ Бѣлинскаго. Гоголь не могъ не цѣнить въ немъ критика, который—какъ ему, безъ сомнѣнія, было понятно — первый ясно указалъ его значеніе, всегда горячо защищалъ его (и вскорѣ долженъ былъ вновь явиться восторженнымъ партизаномъ „Мертвыхъ Душъ"), но въ то же время, Гоголь опасался сближенія съ писателемъ, къ которому весьма недружелюбно относились его высокопоставленные друзья изъ пушкинскаго круга (кажется, кромѣ Плетнева,—на это время) или друзья изъ „Москвитянина" и изъ славянофильства. Какъ Пушкинъ имѣлъ нѣкоторое малодушіе скрывать отъ „Наблюдателей" свое вниманіе къ Бѣлинскому, такъ еще больше малодушія показалъ въ этомъ случаѣ Гоголь. Онъ желалъ видаться съ Бѣлинскимъ, но

только подъ секретомъ... [1]). Эта неискренность подѣйствовала на Бѣлинскаго непріятнымъ, отталкивающимъ образомъ.

«Я къ Гоголю послалъ письмо, которое думалъ доставить черезъ тебя, но, полагая, что эта тетрадь не будетъ отослана [2]), послалъ сегодня по почтѣ. Прилагаю черновое: изъ него ты увидишь, что я повернулъ круто—оно и лучше: къ чорту ложныя отношенія—знай нашихъ—и люби, уважай; а не любишь, не уважаешь—не знай совсѣмъ. Постарайся черезъ Щ—а узнать объ эффектѣ письма»...

Бѣлинскій, очевидно, рѣзко указывалъ на „ложныя отношенія". Къ сожалѣнію, въ нашемъ матеріалѣ нѣтъ ни черновой, ни отвѣта Гоголя.

Далѣе Бѣлинскій сообщаетъ своему другу рядъ новостей. К-въ писалъ изъ Берлина: онъ явно принадлежитъ къ берлинской философской школѣ (т.-е. школѣ Шеллинга, начавшаго читать въ Берлинѣ съ конца 1841), которая, по словамъ его, глубже всего, что́ только есть на свѣтѣ,—„бѣдный Гегель!" замѣчаетъ Бѣлинскій. Самому Бѣлинскому открывалась перспектива отправиться весной слѣдующаго года за границу, мѣсяца на четыре или на полгода (его приглашалъ съ собой, на свой счетъ, одинъ богатый человѣкъ);—но этотъ планъ вскорѣ разстроился, и Бѣлинскій самъ отказался отъ поѣздки, которая было очень его взманила. Подъ тайной онъ сообщаетъ Боткину, что одинъ изъ его знакомыхъ берется печатать его книгу (исторію русской литературы съ христоматіей), которая была давно имъ задумана: изданіе должно было доставить ему значительную сумму, какъ онъ думалъ,—но и это предпріятіе не состоялось... Затѣмъ упоминаетъ о пьесѣ гр. Соллогуба въ 5-й книгѣ „Отеч. Записокъ" („Ямщикъ, или шалость гусарскаго офицера, драматическая картина въ одномъ дѣйствіи"); пьеса очень не нравится Бѣлинскому: — „въ ней только одно лицо хорошо — ярыги-помѣщика, который — утверждаетъ (авторъ)— потому скотина, что сынъ разбогатѣвшаго взятками подъячаго,

---

[1]) См. воспоминанія о Гоголѣ, г. Анненкова, въ „Библ. для Чт." 1857, и также Воспом. о Бѣл., Панаева, въ „Соврем." 1860, кн. I, стр. 364.

[2]) Онъ думалъ послать ее съ „оказіей". Замѣтимъ, что въ то время друзья вообще часто прибѣгали къ этому первобытному способу сообщеній, — что́, конечно, имѣло свои основанія, устраняя лишнихъ читателей.

а не столбового дворянина"... Бѣлинскій интересуется, какъ напишетъ Фроловъ біографію Станкевича, о чемъ писалъ ему Боткинъ; по его мнѣнію, эту біографію „невозможно написать",—но онъ обѣщалъ собрать и прислать письма Станкевича... [1]).

Личное настроеніе его опять мрачно: „въ общемъ для меня есть еще надежды, и страсти, и жизнь; для себя—ничего. Скучно, холодно, пусто; на какое-либо личное счастіе—никакой надежды. Горе! горе! Жизнь разоблачена".

За апрѣльскими письмами слѣдуетъ перерывъ въ перепискѣ до ноября, который отчасти объясняется пріѣздомъ Боткина въ Петербургъ лѣтомъ 1842. На этотъ разъ Боткинъ, кажется, прожилъ здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, и, еще прежде знакомый съ петербургскимъ кружкомъ Бѣлинскаго, теперь вошелъ въ него окончательно, какъ свой человѣкъ. Лѣтомъ Боткинъ жилъ въ Павловскѣ, гдѣ жили также и нѣкоторые изъ новыхъ пріятелей; Бѣлинскій оставался, кажется, въ городѣ [2]).

---

[1]) Фроловъ, какъ извѣстно, не написалъ біографіи; впослѣдствіи она была исполнена г. Анненковымъ, у котораго были въ рукахъ и письма Станкевича къ Бѣлинскому, хотя не всѣ.

[2]) Отъ этого времени остались два отрывка писемъ, которыми Бѣлинскій мѣнялся съ своимъ пріятелемъ.

„Сейчасъ упился я „Оршею",—пишетъ Бѣлинскій („Бояринъ Орша" напечатанъ былъ тогда въ 7-й кн. „Отеч. Зап."). Есть мѣста убійственно хорошія, а *тонъ* цѣлаго — страшное, дикое наслажденіе. Мочи нѣтъ, я пьянъ и неистовъ. Такіе стихи охмѣляютъ лучше всѣхъ винъ".

Ему очень нравится стихотвореніе „Петръ Великій" въ той же книгѣ подписанное буквами Л. П.:—„читаю и перечитываю ихъ (стихи) съ наслажденіемъ—есть въ нихъ что-то энергическое, восторженное и гражданское, есть много смѣлаго, какъ, напр., 16 куплетъ"...

Смѣлый куплетъ былъ слѣдующій:

. . . . . .
Таковъ былъ умъ его глубокій.
Но что̀ чудеснѣй: умъ въ Петрѣ,
Иль гражданина духъ высокій
Въ самовластительномъ царѣ?

Далѣе, Бѣлинскому крайне не нравятся въ той же книгѣ стихотворенія: „Преданіе" изъ Гёте, и „гнусно кастратское" стихотвореніе „Нетерпѣніе".—Онъ потомъ опять возвращается къ „Петру Великому":—„а вѣдь, несмотря на нѣсколько простодушное униженіе Наполеона передъ Петромъ и возвышеніе

Боткинъ пробылъ въ Петербургѣ (или пріѣзжалъ еще разъ) до ноября. Отъ 7 ноября Бѣлинскій пишетъ ему, досадуя, что ихъ разставанье произошло неудачно (Бѣлинскій пріѣхалъ въ контору дилижансовъ, когда дилижансъ уже отправился).

Письмо отъ 23 ноября начинается словами:

«На дняхъ Кр. получилъ изъ Воронежа чьи-то стихи «На смерть А. В. Кольцова»... Что это и какъ это, Богъ знаетъ.

«Чувствую, что послѣ этихъ строкъ тебѣ не захочется читать далѣе... Мое впечатлѣніе отъ стиховъ неполно—должно быть, нужно подтвержденіе, или должно быть что-нибудь другое—не знаю»...

Въ такой формѣ получено было ими первое извѣстіе о смерти Кольцова. Подтвержденіе вскорѣ явилось.

Въ біографіи, написанной Бѣлинскимъ, читатель найдетъ разсказъ о послѣднихъ годахъ жизни Кольцова, составленный на основаніи его писемъ [1]). Двое друзей, которые упоминаются здѣсь и съ которыми Кольцовъ переписывался (стр. 115), были, разумѣется, Бѣлинскій и Боткинъ. Мы слишкомъ отвлеклись бы отъ предмета, если бы стали передавать всѣ разсказы Кольцова объ его жизни дома, по возвращеніи изъ послѣдней поѣздки въ Москву и Петербургъ. Но въ виду недоумѣній, какія возбуждало описаніе этихъ лѣтъ Бѣлинскимъ [2]), должно замѣтить, что разсказъ Бѣлинскаго, съ точностью заимствованный изъ писемъ Кольцова за это время [3]), далеко однако не исто-

---

нашей борьбы съ первымъ, стихи-то „Петръ Великій“ право хороши. Спросите Кр-го, гдѣ онъ ихъ взялъ? Уже это не (Тургеневъ-ли) г. ли Л. Т., что написалъ „Завѣщаніе“ и „Разбойничью пѣсню“?

Имя Тургенева, поставленное нами въ скобкахъ, въ письмѣ написано и зачеркнуто. Г. Тургеневъ около того времени въ первый разъ явился въ „Отеч. Зап.“ съ стихотвореніями, подъ буквами Т. Л.

[1]) См. Сочин., т. XII, стр. 113—117.

[2]) См. напр. „Воронежскую Бесѣду“, Спб. 1861, ст. де-Пуле, стр. 401 и слѣд.

[3]) Съ марта 1841 г., намъ извѣстно восемь писемъ Кольцова: 1 и 25 марта, 2 іюля, 23 октября, 18 декабря; и одно письмо безъ означенія мѣсяца, вѣроятно апрѣля или мая 1841 г., къ Бѣлинскому и Боткину вмѣстѣ; затѣмъ, 1 января 1842 г. къ Боткину, и послѣднее, отъ 27 февраля, къ Бѣлинскому.— Переписка не была частая; но каждый разъ Кольцовъ писалъ письма очень длинныя и обстоятельныя.

щаетъ всѣхъ подробностей безотраднаго существованія, какое довелось Кольцову вести въ своей семьѣ, и которое безъ всякаго сомнѣнія было главнѣйшей причиной его преждевременной смерти. Домашнее преслѣдованіе, мелкое и постоянное, встрѣтило Кольцова при первомъ появленіи домой въ началѣ 1841 года; его не смягчала даже отчаянная болѣзнь Кольцова; сцена, разсказанная Бѣлинскимъ по письмамъ Кольцова (стр. 115), даетъ образчикъ среды, въ которой онъ долженъ былъ жить, больной и безпомощный.

Друзья, въ особенности Бѣлинскій, настаивали, чтобъ Кольцовъ бросилъ Воронежъ и ѣхалъ въ Петербургъ; Бѣлинскій приглашалъ его жить къ себѣ. Кольцова глубоко трогало это заботливое участіе; въ письмахъ его опять повторяются выраженія безграничной привязанности къ Бѣлинскому, и также Боткину, который съ неменьшимъ сочувствіемъ готовъ былъ о немъ заботиться... Эти друзья оставались для Кольцова всегда свѣтлымъ воспоминаніемъ и нравственной опорой; но приглашенія Бѣлинскаго не привели ни къ чему — тяжкая болѣзнь нѣсколько разъ возвращалась къ Кольцову; нѣсколько разъ онъ былъ на краю гроба; по всей вѣроятности, такимъ же образомъ шелъ у него и 1842 годъ, послѣ того, какъ онъ написалъ Бѣлинскому свое послѣднее письмо отъ 27 февраля.

Бѣлинскій также нѣсколько разъ писалъ къ нему—и письма его всегда бывали для Кольцова великимъ удовольствіемъ. Въ началѣ 1842 года, когда отъ Кольцова долго не было извѣстій, редакторъ „Отечественныхъ Записокъ" дѣлалъ справки въ Воронежѣ черезъ одного изъ своихъ знакомыхъ [1]). Въ письмѣ 27 февраля Кольцовъ писалъ, что начинаетъ чувствовать себя лучше. Бѣлинскій еще разъ зоветъ его въ Петербургъ.

---

[1]) Кольцовъ упоминаетъ объ этомъ въ письмѣ 27 февраля. Кр-му онъ не писалъ и объясняетъ это тѣмъ — что зачѣмъ онъ будетъ (у Кр-го) „отбивать время собой"; а знакомый его ничего написать не можетъ: „Ч-въ хоть мнѣ и знакомъ, но онъ моихъ домашнихъ дѣлъ не знаетъ, какъ и всѣ чужіе. Къ чему я буду о нихъ разсказывать? Помогутъ ли мнѣ они? Вамъ о нихъ говорю—это другое дѣло". Это объясняетъ, почему и мѣстный біографъ (авторъ статьи въ „Воронежской Бесѣдѣ") не могъ получить ясныхъ свѣдѣній о домашней жизни Кольцова.

«О Кольцовѣ нечего и толковать, — пишетъ Бѣлинскій къ Боткину отъ 31 марта 1842 г.—Я писалъ къ нему, чтобы онъ все бросалъ и, *спасая душу*, ѣхалъ въ Питеръ. Я бы не сталъ его приглашать къ себѣ изъ вѣжливости или такъ—такими вещами я теперь не шучу. Богаты не будемъ, сыты будемъ. За счастіе почту дѣлиться съ нимъ всѣмъ... Пиши къ нему, и заклинай ѣхать, ѣхать и ѣхать»...

Но эти приглашенія остались безъ отвѣта. 19 октября 1842 Кольцовъ умеръ; Бѣлинскій узналъ объ этомъ только въ концѣ ноября изъ стихотворенія „На смерть Кольцова", присланнаго какимъ-то мѣстнымъ стихотворцемъ.

Первое впечатлѣніе было то же, какое уже испытывалъ Бѣлинскій, теряя самыхъ дорогихъ людей, — сухое чувство горя, которое въ первое время не находитъ себѣ выраженія и ложится на душу камнемъ. Въ первомъ письмѣ онъ не сказалъ Боткину больше того, что́ было выше приведено. Во второй разъ онъ пишетъ о Кольцовѣ отъ 9 декабря, отвѣчая своему другу; Боткина событіе привело очевидно, кромѣ горя, и въ крайнее негодованіе противъ семьи, роль которой въ судьбѣ Кольцова была ему извѣстна. Бѣлинскій пишетъ:

«Смерть Кольцова тебя поразила. Что́ дѣлать? На меня такія вещи иначе дѣйствуютъ: я похожъ на солдата въ разгарѣ битвы—палъ другъ и братъ—ничего—съ Богомъ—дѣло обыкновенное. Оттого-то, вѣрно, потеря сильнѣе дѣйствуетъ на меня тогда, какъ я привыкну къ ней, нежели въ первую минуту. Объ отцѣ Кольцова думать нечего: такой случай могъ бы вооружить перо энергическимъ, громоноснымъ негодованіемъ гдѣ-нибудь, а не у насъ. Да и чѣмъ виноватъ этотъ отецъ, что онъ—мужикъ? И что онъ сдѣлалъ особеннаго? Воля твоя, а я не могу питать враждебности противъ волка, медвѣдя, или бѣшеной собаки, хотя бы кто изъ нихъ растерзалъ чудо генія или чудо красоты, такъ же, какъ не могу питать враждебности къ паровозу, раздавившему на пути своемъ человѣка. Поэтому-то Христосъ, видно, и молился за палачей своихъ, говоря: не вѣдятъ бо, что́ творятъ. Я не могу молиться ни за волковъ, ни за медвѣдей, ни за бѣшеныхъ собакъ, ни за русскихъ купцовъ и мужиковъ, ни за русскихъ судей и квартальныхъ; но и не могу питать къ тому или другому изъ нихъ личной ненависти. И *что* напишешь объ отцѣ Кольцова и *какъ* напишешь? Во-1-хъ, и написать нельзя, во-2-хъ, и напиши—онъ вѣдь не прочтетъ, а если и прочтетъ — не пойметъ, а если и пойметъ—не убѣдится. Издать сочиненія Кольцова—другое дѣло; но какъ издать, на что́ издать, и проч. и проч. Совокупность всѣхъ такихъ вопросовъ парализуетъ мой духъ и производитъ во мнѣ

апатію. Эта апатія, я начинаю догадываться, есть особенный родъ отчаянія».

Не знаемъ, нужно ли разъяснять сопоставленіе, сдѣланное въ приведенныхъ строкахъ: у насъ много щепетильныхъ народолюбцевъ, которымъ выраженія Бѣлинскаго могутъ показаться грубымъ неуваженіемъ къ „народу" и т. п. Смыслъ его словъ ясенъ, по ихъ примѣненію; но должно отмѣтить, какъ черту времени, что слово и понятіе „народъ" еще не имѣли тогда своего нынѣшняго употребленія, въ какомъ они становятся выраженіемъ цѣлаго направленія (и за которымъ часто желаетъ прятаться даже обскурантное лицемѣріе). Въ кругу Бѣлинскаго и его друзей (за нѣкоторыми исключеніями, о которыхъ упомянемъ) еще не выработалось этого отвлеченнаго представленія (хотя уже являлась его сущность), и напротивъ еще памятно было, изъ недавняго образа мыслей, представленіе о народѣ, какъ неразвитой массѣ, чуждой образованія и враждебной ему. Съ ихъ старой точки зрѣнія, которая еще не во всѣхъ частностяхъ была смѣнена „соціальной идеей", и гдѣ на первомъ планѣ стояли интересы отвлеченной образованности, народъ легко могъ являться громадной, мало проницаемой,—а въ крѣпостныхъ формахъ и совсѣмъ непроницаемой массой, неподвижность которой ставитъ трудно одолимое препятствіе для развитія общественности и образованія. Когда мысль о „народѣ" была выставлена въ извѣстномъ смыслѣ славянофилами, Бѣлинскій отвергъ ее—насколько она отожествляла съ „народомъ" и „преданіе", и принялъ ее — насколько она представляла общественное начало. Только въ этомъ послѣднемъ значеніи онъ отдавалъ, впослѣдствіи, справедливость народолюбивому стремленію славянофильства — въ той степени, въ какой было въ немъ это значеніе; народность какъ „преданіе", какъ инерція, была ему антипатична, и теперь и послѣ, и говоря о Кольцовѣ, онъ высказалъ это своимъ рѣзкимъ способомъ выраженія...

Далѣе, онъ опять говоритъ о Кольцовѣ:

«Кр. получилъ еще стихи на смерть К., но увѣдомленія никакого—когда, какъ и пр. Все еще какъ-то ждется чуда, не воскреснетъ-ли, не ошибка-ли? Страдалецъ былъ этотъ человѣкъ — я теперь только понялъ его. Мнѣ смѣшно, горько смѣшно вспомнить, какъ перезывалъ я его въ

Питеръ, какъ спорилъ противъ его возраженій. К. зналъ дѣйствительность. Торговля въ его глазахъ была синонимъ мошенничества и подлости. Онъ говорилъ, что хорошо быть такимъ купцомъ какъ ты, но не такимъ, какъ (другіе)... Одна мысль о начатіи новаго поприща униженія, пролазничества, плутней, приводила его въ ужасъ,—она-то и усахарила его... Чичиковъ дѣйствительно Ахиллъ русской Иліады... Діогенъ, увидя мальчика, пьющаго воду изъ рѣки рукою, бросилъ свой стаканъ, какъ ненужную вещь: намъ нельзя этого дѣлать, намъ законъ: или хрустальный граненый стаканъ, или смерть, или подлость... Чтó ни говори, а оно такъ».

Около этого времени Бѣлинскій получилъ извѣстія о старинномъ философскомъ другѣ, жившемъ за-границей. Выше было сказано, что еще задолго до отъѣзда они такъ разошлись, что ихъ отношенія были не только холодны, но враждебны. Полученныя теперь извѣстія были однако такого рода, что Бѣлинскій, который было закаялся имѣть съ нимъ сношенія, возобновилъ ихъ въ самомъ дружескомъ смыслѣ. Дѣло объясняется перемѣной, которая произошла въ мнѣніяхъ философскаго друга.

Онъ жилъ эти годы въ Берлинѣ. Берлинъ и послѣ Гегеля продолжалъ оставаться столицей нѣмецкой философіи. Между прочимъ Берлинъ давно привлекалъ своей ученой славой, особенно своимъ философскимъ талисманомъ, и русскую молодежь. Тамъ учились многіе, посланные отъ правительства; туда отправлялись молодые дилеттанты; въ Берлинѣ не переводилась русская колонія молодыхъ ученыхъ и философовъ. Съ конца тридцатыхъ годовъ здѣсь перебывали и подолгу жили многіе изъ ближайшаго круга друзей и знакомыхъ Бѣлинскаго: Станкевичъ, Невѣровъ, Грановскій, Фроловъ, М. Б., К-въ, Сатинъ, г. Тургеневъ и пр.

По смерти Гегеля, многочисленная школа его сохраняла преданія учителя, но уже вскорѣ движеніе раздвоилось: ученіе Гегеля развивалось и истолковывалось съ тѣми необходимыми варіантами, къ которымъ давали основаніе его крайняя отвлеченность съ одной стороны, и съ другой—явныя противорѣчія, которыя обнаруживались нерѣдко между общими основаніями гегелевой системы и ея практическими выводами. Къ концу тридцатыхъ годовъ это разнообразіе истолкованій свелось къ

двумъ главнымъ направленіямъ, и школа раздѣлилась на два противоположные и вскорѣ очень враждебные лагеря,—это было старое и молодое гегеліянство (Alt- и Jung-Hegelianer). Оба высоко ставили Гегеля; но одни видѣли въ его системѣ чуть не конецъ и завершеніе человѣческаго знанія; другіе — только общія основанія и методъ, истинное приложеніе которыхъ еще впереди. Первые думали, что въ точности сохраняютъ истинный смыслъ гегеліянства, держась умѣренныхъ, неопредѣленныхъ и вообще примирительныхъ практическихъ выводовъ учителя. Другіе, извлекая изъ гегеліянства основанія для болѣе смѣлой и рѣшительной критики философскаго и общественнаго содержанія, думали напротивъ, что только подобная критика и можетъ достойнымъ образомъ представлять истинныя идеи Гегеля. Мы называли Hallische (Deutsche) Jahrbücher, которыя стали органомъ этихъ молодыхъ гегеліянцевъ; это изданіе было знакомо и нашимъ друзьямъ въ Москвѣ и Петербургѣ, которые съ своей новой точки зрѣнія должны были находить въ немъ, и въ самомъ дѣлѣ находили, много сочувственнаго; они угадали въ новомъ философскомъ ученіи начало новаго періода науки и общественности.

Между тѣмъ въ концѣ 1841 года, въ Берлинѣ, гдѣ до тѣхъ поръ оффиціально господствовало старое гегеліянство, произошло цѣлое событіе въ области философіи и ожидалась новая эпоха со вступленіемъ въ университетъ Шеллинга, нѣкогда друга и товарища, потомъ врага Гегеля и крайняго противника его системы. Приглашеніе Шеллинга (изъ Мюнхена) послѣдовало не безъ особенныхъ соображеній. Шеллингъ былъ вызванъ прусскимъ министерствомъ не просто какъ знаменитый философъ, который достойно могъ бы смѣнить знаменитаго философа, но именно какъ противникъ Гегеля. Дѣло въ томъ, что министерство начинало иначе смотрѣть на философію Гегеля, которая, благодаря стараніямъ Гегеля въ послѣднее время оставаться въ мирѣ и оправдывать das Bestehende, была нѣкогда настоящей государственной, оффиціальной философіей Пруссіи, считалась наилучшей школой и системой мнѣній для благонамѣреннаго гражданина и для чиновника, но теперь внушала большое недовѣріе вслѣдствіе того либеральнаго поворота, ка-

кой получала она въ толкованіяхъ лѣвой или молодой стороны гегеліянства. Вызывая Шеллинга на каѳедру, въ Берлинѣ надѣялись, что онъ будетъ противодѣйствовать или даже остановитъ распространеніе гегеліянскаго радикализма и будетъ основателемъ христіанской философіи. Знаменитость философа обѣщала ему успѣхъ. Шеллингъ, который никогда не могъ дать законченнаго изложенія своихъ ученій, явился на этотъ разъ съ новой, „второй" философіей (уже читанной имъ въ Мюнхенѣ, но не изданной): это была „философія откровенія". Шеллингъ не отдавалъ въ печать своей системы, но слушатели разнесли и даже напечатали содержаніе его лекцій; молодые гегеліянцы встрѣтили его философію враждебно, какъ отступленіе назадъ и реакцію. Это не помѣшало Шеллингу имѣть ревностныхъ послѣдователей съ другой стороны; его изложеніе, нерѣдко темное, но имѣвшее извѣстную фантастическую поэзію, производило впечатлѣніе. Выше упомянуто, что восторженнымъ его поклонникомъ сталъ К-въ.

Философское событіе, совершившееся въ Берлинѣ, было оповѣщено въ „Отеч. Запискахъ", въ которыхъ была напечатана первая лекція Шеллинга, и затѣмъ упомянуто было объ окончаніи его лекцій, причемъ редакція обѣщала читателямъ обстоятельное изложеніе чтеній Шеллинга о философіи откровенія; это изложеніе ожидалось отъ одного ихъ корреспондента, посѣщавшаго лекціи въ теченіе всего семестра [1]). Въ другихъ журналахъ также заговорили о Шеллингѣ. Но Боткинъ и Бѣлинскій (вѣроятно по свѣдѣніямъ Боткина и Грановскаго) уже вскорѣ увидѣли, что новая философія Шеллинга вовсе не такова, чтобы они могли ей сочувствовать, и увлеченіе ею К-ва не казалось имъ хорошимъ признакомъ. Нѣсколько позднѣе, Боткинъ высказался о тогдашнемъ положеніи нѣмецкой философіи и о роли, принятой Шеллингомъ, съ явнымъ сочувствіемъ къ лѣвому или молодому гегеліянству [2]).

---

[1]) „Отеч. Зап." 1842, кн. 2, смѣсь, стр. 65—70; кн. 5, смѣсь, стр. 38—39.

[2]) „Отеч. Зап.", 1843, кн. 1, ст. „Германская Литература", стр. 1—4. Тотъ же взглядъ на лѣвую сторону гегеліянства изложенъ (нѣсколько неожиданно) въ критической статьѣ по поводу „Исторіи Малороссіи" Маркевича

Но когда одинъ изъ ихъ берлинскихъ пріятелей увлекался „философіей откровенія“, другой бывшій пріятель ихъ, нѣкогда философскій авторитетъ московскаго кружка, — напротивъ, сошелся тѣсно съ молодыми гегеліянцами.

Бѣлинскій получилъ извѣстіе объ этомъ въ концѣ 1842, и пишетъ (отъ 7 ноября) къ одному изъ молодыхъ пріятелей:

«...До меня дошли хорошіе слухи о М., и я — написалъ къ нему письмо!! Не удивляйтесь—отъ меня все можетъ статься [1])... Дѣло очень просто: съ нѣкотораго времени во мнѣ произошелъ сильный переворотъ: я давно уже отрѣшился отъ романтизма, мистицизма и всѣхъ «измовъ»; но это было только отрицаніе, и ничто новое не замѣняло разрушеннаго стараго, а я не могу жить безъ вѣрованій, жаркихъ и фанатическихъ, какъ рыба не можетъ жить безъ воды, дерево рости безъ дождя. Вотъ причина, почему вы видѣли меня прошлаго года такимъ неопредѣленнымъ... Теперь я опять иной. И странно: мы, я и М., искали Бога по разнымъ путямъ—и сошлись въ одномъ храмѣ. Я знаю, что онъ разошелся съ Вердеромъ, знаю, что онъ принадлежитъ къ лѣвой сторонѣ гегеліанизма, знакомъ съ R. [2]), и понимаетъ жалкаго, заживо умершаго романтика Шеллинга. М. во многомъ виноватъ и грѣшенъ; но въ немъ есть нѣчто, что̀ перевѣшиваетъ всѣ его недостатки—это вѣчно движущееся начало, лежащее во глубинѣ его духа. Притомъ же, дорога, на которую онъ вышелъ теперь, должна привести его ко всяческому возрожденію... Для меня, теперь, человѣкъ—ничто; убѣжденіе человѣка—все. Убѣжденіе одно можетъ теперь и раздѣлять и соединять меня съ людьми.

«Мнѣ стало легче жить... Если я страдаю, мое страданіе стало возвышеннѣе и благороднѣе, ибо причины его уже внѣ меня, а не во мнѣ. Въ душѣ моей есть то, безъ чего я не могу жить, есть вѣра, дающая мнѣ отвѣты на всѣ вопросы. Но это уже не вѣра, и не знаніе, а *религіозное знаніе* и *сознательная религія*. Но объ этомъ послѣ, когда увидимся»...

„Хорошіе слухи“, дошедшіе до Бѣлинскаго, относились къ сближенію философскаго друга съ лѣвой стороной гегеліянства и объ успѣхѣ, какой онъ имѣлъ въ этомъ кругу. Дѣло въ томъ, что въ „Deutsche Jahrbücher“ была напечатана статья философскаго друга, подъ французскимъ псевдонимомъ, и съ самымъ

(„Отеч. Зап.“ 1843, № 5), гдѣ авторъ, начавъ по тогдашнему обычаю издалека, между прочимъ опредѣлялъ тогдашнее положеніе Гегелевской философіи.

[1]) Лицо, которому писалъ Бѣлинскій, знало о его прежнемъ, враждебномъ разрывѣ съ философскимъ другомъ.

[2]) Вѣроятно Арнольдомъ Руге.

сочувственнымъ отзывомъ редакціи [1]), отдававшей всю справедливость теоретической силѣ и смѣлой послѣдовательности автора, и обращавшей на статью особенное вниманіе читателей... Этотъ поворотъ соотвѣтствовалъ собственной исторіи Бѣлинскаго, и потому вызвалъ въ немъ опять симпатію къ старому другу.

Въ новомъ, отвѣтномъ письмѣ къ тому же лицу, отъ 28 ноября, Бѣлинскій возвращается къ предметамъ, о которыхъ говорилъ прежде. Упоминая опять о примиреніи съ философскимъ другомъ, онъ объясняетъ, какъ можно любить человѣка за понятія, и какую роль могутъ играть понятія:

«...Любить человѣка за понятія и можно, и не можно. Надо условиться въ значеніи слова «понятіе». Если по вашему *понятію* яблоко вкуснѣе грушъ, и городъ Торжокъ богаче города Ельца, — я за это не могу ни любить, ни ненавидѣть васъ. Вы поймете меня. Есть понятія религіозныя, отсутствіе ихъ въ человѣкѣ можетъ сдѣлать человѣка и презрѣннымъ, и ненавистнымъ. Есть понятія, для которыхъ—и жизнь, и счастіе жизни—возможныя жертвы! Есть понятія, которыя смущаютъ покой ночной, отравляютъ пищу, которыя по волѣ и кипятятъ, и прохлаждаютъ кровь. Читали ли вы когда Ветхій Завѣтъ?.. Знаете ли вы, что такое *ревность по Господѣ, снѣдающая человѣка?* Что человѣкъ безъ Бога?— Трупъ холодный. Его жизнь въ Богѣ, въ немъ онъ и умираетъ, и воскресаетъ, и страдаетъ, и блаженствуетъ. А что такое Богъ, если не понятіе человѣка о Богѣ?.. М. одержалъ надо мною побѣду, которой можетъ порадоваться... Я нисколько не раскаяваюсь и не жалѣю о моихъ размолвкахъ съ М.: все это было необходимо и быть иначе не могло. Гадки и пошлы ссоры личныя, но борьба за «понятія»—дѣло святое, и горе тому, кто не боролся!»

Возвращаемся къ перепискѣ съ Боткинымъ. Въ томъ письмѣ 23 ноября, гдѣ Бѣлинскій въ первый разъ извѣщалъ его о смерти Кольцова, онъ сообщаетъ ему потомъ свои личныя и литературныя новости. Онъ въ отчаяніи, что дѣла связываютъ его и вѣроятно не позволятъ ему отправиться въ деревню къ

[1]) Deutsche Jahrb. für Wissenschaft und Kunst, 1842, въ октябрьскихъ нумерахъ, статья „Die Reaction in Deutschland. Ein Fragment von einem Franzosen" (стр. 985—1002), съ подписью Jules Elysard. Псевдонимъ намъ указанъ однимъ „очевидцемъ" литературныхъ и философскихъ событій той эпохи. На московскихъ друзей статья Элизара произвела большое впечатлѣніе; о псевдонимѣ они узнали только позднѣе.

старинным друзьямъ В-мъ, которые его звали. „А какъ ѣхать?— работы бездна, времени мало, лѣнь и отвращеніе къ занятію непобѣдимы, денегъ нѣтъ, долговъ пропасть".

«Ты поторопился уѣхать въ пятницу утромъ, вмѣсто субботы вечеромъ, чтобъ не мѣшать мнѣ работать,—и ошибся въ разсчетѣ: я вообразилъ, что ты не уѣхалъ, и ничего не дѣлалъ ни въ пятницу, ни въ субботу, а потомъ съ недѣлю посвятилъ на грусть по разлукѣ съ тобою: у меня сердце нѣжное и къ дружбѣ склонное... Но Кр. не таковъ—..... говоритъ, дружба—вздоръ и лѣнь, а надо работать, и я сказалъ себѣ, какъ Кинъ въ глупой трагедіи Дюма: ступай, бѣдная, водовозная лошадь!»

Онъ сообщаетъ, что Гоголь вб-время прислалъ „Сцену послѣ представленія комедіи", отъ которой Бѣлинскій въ восхищеніи: „удивительная вещь—умнѣе я ничего не читывалъ по-русски". Вб-время конечно потому, что тогда была въ полномъ разгарѣ полемика между защитниками и противниками Гоголя, вновь поднятая появленіемъ „Мертвыхъ Душъ". Бѣлинскій въ крайнемъ негодованіи на Полевого, который въ 6 и 7 книгахъ „Русскаго Вѣстника" разбранилъ на чемъ свѣтъ стоитъ „Мертвыя Души", и „изъ статьи вышелъ доносъ почище Сенковскаго" [1]).

Появленіе „Мертвыхъ Душъ" (въ 1842 г.) было, какъ и можно ожидать, великимъ событіемъ въ глазахъ Бѣлинскаго. Это было новое и наибольшее торжество писателя, первое разъясненіе котораго, наперекоръ почти всеобщему непониманію критики, онъ по праву считалъ своей заслугой. Достоинства новаго произведенія были такъ велики, что Бѣлинскій мало останавливался на ихъ прямомъ, спокойномъ разъясненіи. Успѣхъ Гоголя въ его глазахъ былъ явный и несокрушимый; но его до послѣдней степени возмущали тѣ злобныя нападенія, какими встрѣтили новое произведеніе Гоголя старыя партіи — Гоголя винили въ грубости его картинъ, и въ незнаніи русскаго языка, и даже въ неблагонамѣренности, въ желаніи зло-

[1]) Наконецъ, замѣчаніе объ одной статьѣ Боткина: „Говорятъ, твоя статья крѣпко нравится художникамъ. „Вотъ какъ надо писать" — говорятъ они". Здѣсь разумѣется статья Боткина о выставкѣ въ Академіи Художествъ, въ 11-й книгѣ „Отеч. Записокъ" 1842.

словить и позорить русскую жизнь. Наконецъ, приходилось защищать Гоголя и отъ его друзей, Шевырева и К. Аксакова. Бѣлинскій написалъ въ это время по поводу „Мертвыхъ Душъ" нѣсколько статей, крупныхъ и мелкихъ [1]).

Къ этому времени относится окончательный разрывъ Бѣлинскаго съ К. Аксаковымъ. Нѣкогда въ Москвѣ они были очень близки, Бѣлинскій и теперь отдавалъ справедливость благородному личному характеру Аксакова; но тотъ „китайскій элементъ", который очень вѣрно замѣтилъ онъ въ Аксаковѣ еще въ пору своего консервативнаго идеализма, необходимо долженъ былъ раздѣлить ихъ. Аксаковъ еще сохранялъ въ теоріи гегеліянскія преданія, но симпатіи его уныли въ чистое славянофильство, упорное и нетерпимое; еще прежде, чѣмъ оно успѣло высказаться вполнѣ, Бѣлинскій не могъ остаться хладнокровнымъ къ его союзу съ кругомъ „Москвитянина".

По переѣздѣ Бѣлинскаго въ Петербургъ разногласіе стало обнаруживаться, они помѣнялись письмами, которыя и были окончательнымъ разрывомъ [2]). Лѣтомъ 1841, Бѣлинскій послалъ Аксакову письмо черезъ Боткина, который и самъ переставалъ сочувствовать взглядамъ Аксакова [3]). Въ слѣдующемъ году явилось и столкновеніе въ печати. К. Аксаковъ напечаталъ по поводу „Мертвыхъ Душъ" извѣстный восторженный панегирикд, гдѣ приравнивалъ Гоголя къ Гомеру и Шекспиру, и самымъ серьёзнымъ образомъ представлялъ „Мертвыя Души" какъ возрожденіе и продолженіе греческаго эпоса. Разборъ брошюры Аксакова, написанный Бѣлинскимъ [4]), не могъ не указать ея странностей; со стороны Аксакова явилось раздражительное „объ-

---

[1]) См. „Отеч. Зап.", 1842, № 7, библіографія и журнальныя замѣтки; № 8, библ.; № 9, 10, 11, 12, журн. замѣтки. Въ Сочин. т. VI, стр. 394—416; 433—444; 497—558; 562—608, passim.

[2]) Этихъ писемъ мы, къ сожалѣнію, не имѣли въ рукахъ; знаемъ только, что письма были рѣзкія съ обѣихъ сторонъ.

[3]) Боткинъ пишетъ Бѣлинскому отъ 18-го іюля 1841: „Прочелъ твое письмо къ Аксакову. Ну, ну! Вотъ до чего дошло! Но меня это нисколько не удивило. Въ А. лежала всегда возможность того, чѣмъ онъ теперь сталъ, и я благодарю свою натуру, которая никакъ не могла симпатизировать съ нимъ" т.-е. съ его мнѣніями.

[4]) „От. Зап." 1842, кн. 8, библ.; Сочин. VI, 433 и д.

ясненіе" въ „Москвитянинѣ" (кн. 9), на которое Бѣлинскій отвѣчалъ не менѣе раздражительно [1]).

Боткинъ писалъ Бѣлинскому во время этой полемики (отъ 17-го сентября 1842):... „Аксакова рецензія твоя взбѣсила, и онъ пишетъ отвѣтъ, который напечатается въ Москвитянинѣ". Боткинъ не ожидалъ, чтобы отвѣтъ былъ умный (потому, конечно, что изготовляемый въ раздраженіи, онъ хотѣлъ и защищать странныя преувеличенія), и съ своей стороны думалъ, что слѣдуетъ дать урокъ (онъ употребляетъ болѣе сильное выраженіе) „московскимъ философамъ, въ которыхъ выразилась вся темная, асцетическая, душная, сидячая, абстрактная сторона нѣмецкаго философствованія", и которые схватили одно только внѣшнее движеніе категорій Гегеля, а не уловили его духа.

Но если Бѣлинскій изъ-за „понятій" непріязненно разстался съ К. Аксаковымъ, прежде близкимъ другомъ, то другіе члены тогдашняго славянофильства, представляемаго „Москвитяниномъ", внушали ему рѣшительную вражду, которая едвали даже увеличивалась тѣмъ, что нѣкоторые изъ нихъ ненавидѣли его какъ личнаго врага. Въ письмѣ отъ 9-го декабря онъ отвѣчаетъ Боткину, сообщавшему новости о кружкѣ „Москвитянина":

«Спасибо тебѣ за вѣсти о славянофилахъ и за стихи на Дмитріева [2]) —не могу сказать, какъ то и другое порадовало меня. Если не ошибаюсь въ себѣ и въ своемъ чувствѣ, — ненависть этихъ господъ радуетъ меня—я смакую ее, какъ боги амброзію, какъ Боткинъ (мой другъ) всякую сладкую дрянь; я былъ бы радъ ихъ мщенію... Я буду постоянно бѣсить ихъ, выводить изъ терпѣнія, дразнить. Бой мелочной, но все же бой, война съ лягушками, но все же не миръ съ баранами»...

Выше упомянуто было, что съ новымъ направленіемъ понятій у Бѣлинскаго измѣнился взглядъ на французскую литературу; въ частности измѣнилось совершенно его мнѣніе о Жоржъ-Зандѣ. Теперь онъ не можетъ говорить безъ восторга объ этой писательницѣ, и романы ея одинъ за другимъ стали появляться въ „От. Зап.". Жоржъ-Зандъ, „это рѣшительно Іоанна д'Аркъ

[1]) „От. Зап." 1842, кн. 11, журн. замѣтки; Сочин. VI, стр. 523—527.

[2]) Въ отвѣтъ на стихотвореніе „Безыменному Критику".

нашего времени,—говоритъ онъ съ его обыкновеннымъ увлеченіемъ въ одномъ письмѣ конца 1842 г., — звѣзда спасенія и пророчица великаго будущаго".

Въ какой энтузіазмъ приводили его тогда произведенія Жоржъ-Занда, можетъ дать понятіе письмо къ Панаеву, написанное по прочтеніи „Мельхіора".

«Ну, Панаевъ,—пишетъ Бѣлинскій (5 дек. 1842),—вижу, что у васъ есть чутье кое-на-что—сейчасъ я прочелъ Мельхіора... Да, любовь есть таинство,—благо тому, кто постигъ его; и, не найдя его осуществленія для себя, онъ все-таки владѣетъ таинствомъ. Для меня свѣтлою минутою жизни будетъ та минута, когда я вполнѣ удостовѣрюсь, что вы *наконецъ* уже владѣете въ своемъ духѣ этимъ таинствомъ, а не предчувствуете его только. Мы... счастливцы—очи наши узрѣли спасеніе наше и мы отпущены съ миромъ владыкою — мы дождались пророковъ нашихъ — и узнали ихъ, мы дождались знаменій — и поняли, и уразумѣли ихъ. Вамъ странны покажутся эти строки—ни съ того, ни съ сего присланныя къ вамъ; но я въ экстазѣ, въ сумасшествіи, а Жоржъ-Зандъ называетъ сумасшествіемъ именно тѣ минуты благоразумія, когда человѣкъ никого не поразитъ и не оскорбитъ странностью—это она говоритъ о Мельхіорѣ. Какъ часто мы бываемъ благоразумными Мельхіорами, и благо намъ въ рѣдкія минуты нашего безумія. О многомъ хотѣлось бы мнѣ сказать вамъ, но языкъ коснѣетъ. Я люблю васъ, Панаевъ, люблю горячо, — я знаю это по минутамъ неукротимой ненависти къ вамъ. Кто далъ мнѣ право на это—не знаю; не знаю даже, дано ли это право. Мнѣ кажется, вы ошибаетесь, думая, что все придетъ само собою, даромъ, безъ борьбы, и потому не боретесь, истребляя плевелы изъ души своей, вырывая ихъ съ кровью. Это еще не заслуга—встать въ одно прекрасное утро человѣкомъ истиннымъ и увидѣть, что безъ натяжекъ и фразерства можно быть такимъ. Даровое не прочно, да и невозможно, оно обманчиво. Надо положить на себя эпитимью и постъ, и вериги, надо говорить себѣ: этого мнѣ хочется, но это не хорошо, такъ не быть же этому. Пусть васъ тянетъ къ *этому*, а вы все-таки не идите къ нему; пусть будете вы въ апатіи и тоскѣ—все лучше, чѣмъ въ удовлетвореніи своей суетности и пустоты.

«Но я чувствую, что я не шутя безумствую. Можетъ быть, приду къ вамъ обѣдать, а не говорить: говорить надо, когда заговорится само собою, а не назначать часы для этого. Спѣшу къ вамъ послать это маранье, пока охолодѣвшее чувство не заставитъ его изорвать»...

Такъ овладѣвали имъ впечатлѣнія поэзіи, и тотчасъ вызывали въ немъ отвѣтъ, нравственное примѣненіе, возбуждали его

чувство. Черезъ нѣсколько дней (9 декабря) онъ пишетъ другую восторженную тираду:

«Мельхіоръ [1]) — божественное произведеніе. Ж. З. постигла таинство любви получше всѣхъ нѣмцевъ... Ея любовь—не чувственная, хотя и изящная любовь италіанца, не восторженная, безконечная въ чувствѣ и пустая въ содержаніи, романтическая любовь нѣмца, не безсознательно-непосредственная, хотя и глубокая любовь англичанина; ея любовь—дѣйствительность и полнота всякой любви. Мельхіоръ потрясъ меня какъ откровеніе, какъ блескъ молніи, озарившей безконечное пространство—и я пролилъ слезы божественнаго восторга, священнаго безумія... Кстати: ты срѣзался на Consuelo—это великое божественное произведеніе. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ прочесть страницу отъ строки: Tout-à-coup il sembla à Consuelo que le violon d'Albert parlait et qu'il disait par la bouche de Satan, и пр.» [2]).

Далѣе, онъ восхищается драмой „Густавъ Адольфъ" (въ 12-й кн. „Библ. для чтенія" 1842) и замѣчаетъ: „ты поймешь, что́ мнѣ понравилось". О своей статьѣ по поводу Баратынскаго [3]) онъ говоритъ, что она „скомкана, свалена, а кажется, чуть ли не изъ лучшихъ моихъ мараній". Его огорчаетъ паденіе на сценѣ „Женитьбы" Гоголя, вслѣдствіе плохого исполненія: „теперь враги Гоголя пируютъ". Объ его „Игрокахъ" пишетъ, что они запрещены театральной цензурой, — „запрещены произвольно, безъ всякаго основанія". Упоминая о хлопотахъ редакціи „Москвитянина", чтобы оживить этотъ журналъ, Бѣлинскій замѣчаетъ, что объ этомъ „можно сказать одно: хватился монахъ, какъ ужъ смерть въ головахъ"...

Свое личное расположеніе духа онъ изображаетъ въ самомъ мрачномъ видѣ:

«Жить становится все тяжелѣе и тяжелѣе—не скажу, чтобы я боялся умереть съ тоски, а не шутя боюсь или сойти съ ума, или шататься, ничего не дѣлая, подобно тѣни, по знакомымъ. Стѣны моей квартиры мнѣ ненавистны; возвращаясь въ нихъ, иду съ отчаяніемъ и отвращеніемъ въ душѣ, словно узникъ въ тюрьму, изъ которой ему поз-

[1]) Эта небольшая повѣсть напечатана въ „От. Зап." 1842, кн. 12.

[2]) Чтобы дать образчикъ того, какія разстоянія бывали между теперешними мнѣніями Бѣлинскаго и тѣмъ, что думалъ онъ въ прежнія времена, укажемъ его отзывы о женской эмансипаціи и женщинахъ-писательницахъ въ „Молвѣ" 1835 (Соч., I, 404 — 413). Дальше озлобленіе не могло идти.

[3]) Критическая статья въ „От. Зап.", 1842, № 12; Сочин., VI, 280—324.

волено было выйди погулять. Это ты отъ меня уже слышалъ, но сколько бы я ни повторялъ тебѣ этого, никогда не буду въ силахъ выразить всей дѣйствительности этого страшнаго могильнаго ощущенія. Былъ грѣшокъ—любилъ я въ старину преувеличить иное ради поэзіи содержанія и выраженія; но теперь Богъ съ нею, со всякою поэзіею — немножко спокойствія, немножко веселости я предпочелъ бы чести сильно страдать. Теперь настала пора, когда не до поэзіи, когда страшно увѣряться въ прозаической дѣйствительности собственнаго страданія, а увѣряешься противъ воли»...

Онъ вспоминаетъ, какъ спокойно и весело жилось ему въ то время, когда у него гостилъ Боткинъ, когда, бывало, возвращаясь домой одинъ, онъ видѣлъ со двора привѣтный огонекъ въ своихъ окнахъ и находилъ Боткина „священнодѣйствующимъ" за чаемъ или за другимъ смакованьемъ. „Ты счастливѣе меня—съ тобою Г-нъ", замѣчаетъ онъ.

Зимой этого года Бѣлинскому очень хотѣлось съѣздить въ деревню, къ Б-мъ; онъ ждалъ этой поѣздки съ величайшимъ нетерпѣніемъ, надѣясь найти у друзей отдыхъ и освѣженіе; но поѣздка не удалась, и это приводило его въ отчаяніе. Онъ по прежнему работалъ, но работа, которая и раньше начала утомлять его, теперь совершенно опостылѣла ему... Новыя письма къ Боткину, которыя находятся въ нашемъ матеріалѣ, начинаются съ февраля 1843 года. Они писаны все въ томъ же мрачномъ настроеніи.

Это настроеніе было понятно. „Дѣйствительность" раскрывалась для Бѣлинскаго, во всякомъ случаѣ настолько, что иллюзіи или теоретическія примиренія были уже невозможны: то отчужденіе отъ общества, которое давно жило въ немъ, какъ инстинктъ, теперь оправдывалось какъ принципъ, — идеалы его складывались совсѣмъ въ иномъ направленіи, чѣмъ каково было направленіе данной дѣйствительности. Нравственная жизнь опять, оказывалось, была возможна только въ тѣснѣйшемъ дружескомъ кругѣ. Въ литературѣ онъ высказаться не могъ— потому что для самой литературы были закрыты предметы, о которыхъ онъ хотѣлъ бы высказываться, и въ ней не могло быть мѣста его энтузіазму; всѣ попытки его — даже въ самой стѣсненной формѣ затронуть новые предметы, высказать одушевлявшія его чувства, терпѣли цензурныя крушенія. Жур-

нальная работа, особенно въ этихъ условіяхъ, стала тяготить его и, наконецъ, опротивѣла до послѣдней степени—тѣмъ болѣе еще, что и матеріально вознаграждалась, какъ вообще говорятъ, гораздо менѣе, чѣмъ было можно и должно... Очень естественно было, что среди этихъ нравственныхъ страданій онъ сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь, испытываетъ мучительное чувство съ одной стороны — невозможности дѣйствовать, съ другой — своего личнаго одиночества.

ГЛАВА VIII.

Время полнаго развитія характера и дѣятельности Бѣлинскаго. — Сближеніе московскихъ друзей съ славянофильскимъ кружкомъ, и вражда къ нему Бѣлинскаго. — Журнальныя дѣла. — Поѣздка въ Москву, лѣтомъ 1843. — Женитьба. — Кружокъ Бѣлинскаго въ Петербургѣ: разсказы гг. Тургенева, Кавелина; воспоминанія Панаева, кн. Одоевскаго. — Мнѣніе Бѣлинскаго о „народныхъ" литературахъ.

1842 — 1844.

Внутреннее развитіе человѣка трудно дѣлится на опредѣленные періоды; трудно указывать ихъ и въ настоящей біографіи,—потому что хотя она и представляетъ, въ сравнительно короткое время, чрезвычайно непохожія настроенія, но они смѣняются одно другимъ съ постепенностью, съ колебаніями, минутными возвратами прежняго, и можно указывать только болѣе рѣзкіе пункты, какихъ достигало то или другое настроеніе. Въ этомъ общемъ смыслѣ полное развитіе личнаго характера и дѣятельности Бѣлинскаго можно полагать съ той поры (конецъ 1842 и начало 1843 г.), когда онъ окончательно освободился отъ идеалистическаго романтизма, и въ его взглядахъ начинаетъ господствовать критическое отношеніе къ дѣйствительности, историческая и общественная точка зрѣнія. Это была пора мужества,—слишкомъ кратковременная, но богатая результатами.

Съ этого времени начинается и наибольшая сила его вліянія. Имя Бѣлинскаго, почти не упоминавшееся въ журналѣ, было извѣстно далеко за предѣлами литературнаго міра; масса читателей не нуждалась въ подписи имени, чтобы угадывать

автора. Есть анекдоты, которые весьма характеристично указываютъ эту извѣстность Бѣлинскаго [1]). Его дѣятельность была образовательной силой, дѣйствіе которой несомнѣнно отразилось на умственномъ содержаніи его сверстниковъ и возроставшаго поколѣнія.

Мы не станемъ преувеличивать размѣровъ этого вліянія, и, напротивъ, напомнимъ, что, во-первыхъ,—въ значительной степени заслугу его раздѣляютъ другіе люди этого круга, отчасти поддерживавшіе самого Бѣлинскаго или своими знаніями, или своимъ не менѣе горячимъ энтузіазмомъ къ дѣлу общественнаго развитія; во-вторыхъ, что, внѣ круга Бѣлинскаго, и параллельно съ его дѣятельностью, въ литературѣ и обществѣ возникали съ разныхъ сторонъ новыя нравственныя требованія, такъ что дѣятельность Бѣлинскаго уже находила иногда въ нихъ или подготовленную почву, или поддержку. Такъ возникали идеи объ обращеніи къ народу, вниманіе къ его быту—возникали, внѣ этого круга, и въ литературномъ мірѣ, какъ, напр., у славянофиловъ, и даже (конечно въ очень немногихъ примѣрахъ) въ образованнѣйшей части бюрократіи; такъ, внѣ этого круга оказывались сходныя вліянія европейской литературы и т. п. Но все это не изглаживаетъ той особенной яркой полосы, какую провела въ развитіи нашего общества дѣятельность Бѣлинскаго. Обширная популярность его имени въ тѣ годы, ожесточенная ненависть однихъ и горячее уваженіе другихъ, успѣхъ журнала, въ которомъ онъ работалъ и который сталъ при немъ лучшимъ и наиболѣе распространеннымъ изъ тогдашнихъ изданій,—всѣ эти внѣшніе факты достаточно указываютъ на сильное впечатлѣніе, произведенное дѣятельностью Бѣлинскаго. Мы найдемъ подтвержденіе этого и въ фактахъ внутреннихъ: въ прогрессивныхъ взглядахъ людей „сороковыхъ годовъ", нетрудно узнать слѣды вліянія Бѣлинскаго — въ томъ критическомъ отношеніи къ существовавшей дѣйствительности, въ томъ особенномъ вкусѣ къ гуманнымъ вліяніямъ поэтической литературы, въ томъ недовѣріи къ славянофильской идеализаціи народности,—которыя отличали ли-

---

[1]) Воспом. Панаева, „Совр." 1860, кн. 1, стр. 358—359.

тературную проповѣдь Бѣлинскаго. Историческое пониманіе литературы, господствовавшее до недавняго времени, было установлено Бѣлинскимъ. Писатели, какъ Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Кольцовъ, — которыхъ всѣхъ ему приходилось защищать и объяснять, — пріобрѣли въ литературномъ пониманіи общества то самое значеніе, какое онъ указывалъ. Литературная школа, явившаяся послѣ Гоголя и обыкновенно изображаемая какъ его результатъ, несомнѣнно была въ тоже время и результатомъ внушеній и толкованій Бѣлинскаго. Мы не сомнѣваемся, что Тургеневъ, Григоровичъ, Некрасовъ, Гончаровъ, Достоевскій—живые свидѣтели этого — признаютъ, что содержаніе Бѣлинскаго, тѣмъ или другимъ образомъ, прошло черезъ ихъ поэтическое развитіе и было однимъ изъ вдохновеній ихъ литературной дѣятельности, вѣроятно еще не совсѣмъ заслоненнымъ позднѣйшими событіями ихъ личной и общественной исторіи.

Тотъ обильный матеріалъ писемъ, гдѣ до сихъ поръ мы находили главнѣйшій біографическій источникъ въ собственныхъ разсказахъ и признаніяхъ Бѣлинскаго, прерывается на половинѣ 1843 года. За конецъ 1843 и потомъ за два слѣдующіе года мы имѣемъ всего нѣсколько писемъ къ друзьямъ. Новый, очень изобильный рядъ писемъ начинается опять уже съ 1846.

Первыя письма 1843 года проникнуты тѣмъ же мрачнымъ расположеніемъ духа, о которомъ говорено въ концѣ предыдущей главы. Бѣлинскій было надѣялся отдохнуть отъ своей работы и отъ своей скуки въ деревнѣ у старинныхъ друзей, куда его очень радушно приглашали, но надежда, долго питаемая, не осуществилась. Свои печальныя размышленія онъ повѣряетъ Боткину въ письмѣ отъ 6 февраля:

«Я много-много виноватъ передъ тобой [1]), милый мой Боткинъ. Причина этому—страшное, сухое отчаяніе, парализировавшее во мнѣ всякую дѣятельность, кромѣ журнальной, всякое чувство, кромѣ чувства невыносимой пытки. Причинъ этой причины много; но главная — невоз-

[1]) Т. е. молчаніемъ на его письма.

можность ѣхать [1])... Мысль объ этой невозможности... я всячески отгонялъ, словно преступникъ о своемъ преступленіи, и она, въ самомъ дѣлѣ, не преслѣдовала меня безпрестанно, но, когда я забывался, вдругъ прожигала меня насквозь, какъ струя молніи, какъ мученіе совѣсти. Подобнымъ же образомъ, хотя къ стыду моему и не такъ сильно, терзало и терзаетъ еще меня *внезапное воспоминаніе* о смерти Кольцова. Вѣсть о ней я принялъ сначала сухо и холодно, но потомъ она обошлась мнѣ таки очень не дешево. Работа журнальная мнѣ опостылѣла до болѣзненности, и я со страхомъ и ужасомъ начинаю сознавать, что меня не надолго хватитъ»...

Изъ слѣдующихъ строкъ объясняется, почему опостылѣла Бѣлинскому журнальная работа:

«Писать ничего и ни о чемъ со дня на день становится невозможнѣе и невозможнѣе. Объ искусствѣ ври что̀ хочешь, а о дѣлѣ, т.-е. о нравахъ и нравственности—хоть и не трать труда и времени. Изъ статьи моей въ 1 № «О. З». вырѣзанъ цѣлый листъ печатный [2])—все лучшее, а я этою статьею очень дорожилъ, ибо она проста и по идеѣ и по изложенію. Изъ статьи о Державинѣ (№ 2) не вычеркнуто ни одного слова, а я совсѣмъ не дорожилъ ею. Теперь долженъ приниматься за 2-ю ст. о Д. (Державинѣ), подъ вліяніемъ вдохновительной и поощрительной мысли, что ее всю изрѣжутъ и исковеркаютъ. Все это и другія причины огадили мнѣ русскую литературу и вранье о ней сдѣлали пыткою».

А между тѣмъ онъ долженъ былъ говорить и говорить о ней — „ради хлѣба насущнаго". Работа идетъ странно: часто или обыкновенно онъ пропуститъ время, потому что мысли полны другимъ, наконецъ, редакція начинаетъ требовать статьи: — „глядь, ужь и 15-е число на дворѣ, — Кр. рычитъ, у меня въ головѣ ни полъ-мысли, не знаю, ка́къ начну, что̀ скажу; беру перо" — и статья будетъ готова — „ка́къ, я самъ не знаю, но будетъ готова". „Это—привычка и необходимость—два великіе рычага дѣятельности человѣческой", — такъ онъ самъ хочетъ объяснить процессъ и быстроту своей работы. Но должно прибавить и другое объясненіе. По свойству самыхъ работъ, которыя въ это время нисколько не уступали прежнимъ по одушевленію и превышали ихъ серьёзностью, въ которыхъ не видно никакого слѣда чего-нибудь тяжелаго или вынужденнаго,—ясно,

[1]) Въ деревню, къ друзьямъ.

[2]) Это была статья: „Русская литература въ 1842 году", въ Сочин. VII, стр. 5—55.

что не одна привычка и необходимость внушали ихъ, необходимость давала только поводъ, внѣшнее начало, но, какъ скоро эта работа начиналась, Бѣлинскій весь уходилъ въ нее и работалъ быстро, съ увлеченіемъ, забывая все окружающее. Это былъ импровизаторъ, преображавшійся въ минуту вдохновенія,—хотя бы оно вызывалось привычкой и необходимостью.

„Надобно было взглянуть на Бѣлинскаго въ тѣ минуты, когда онъ писалъ что-нибудь, въ чемъ принималъ живое, горячее участіе, — разсказываетъ Панаевъ... — Лицо и глаза его горѣли, перо съ необыкновенною быстротою бѣгало по бумагѣ, онъ тяжело дышалъ и безпрестанно отбрасывалъ въ сторону исписанный полулистъ. Онъ обыкновенно писалъ только на одной сторонѣ полулиста, чтобы не останавливаться въ ожиданіи, покуда просохнутъ чернила...

„Сколько разъ заставалъ я его въ такія минуты и смотрѣлъ на него незамѣчаемый имъ; если же онъ оборачивался и взглядывалъ на меня, прежде нежели я уходилъ, онъ безъ церемоніи говорилъ мнѣ:

„—Извините меня, Панаевъ... Видите, я занятъ.

„Онъ откладывалъ на минуту перо и прикладывалъ руку къ головѣ. Я какъ теперь вижу его въ этомъ положеніи“...

Панаевъ разсказываетъ, какъ утомляли физически Бѣлинскаго эти работы и какъ тяготила его, наконецъ, необходимость писать о пустякахъ и невозможность говорить о томъ, что́ дѣлалось его настоящимъ, глубокимъ интересомъ,—о чемъ мы сейчасъ читали слова самого Бѣлинскаго.

„Одинъ разъ, — говоритъ Панаевъ, — я засталъ Бѣлинскаго ходящимъ по комнатѣ въ волненіи и съ усиліемъ махающимъ правою рукою.

„—Что это съ вами?—спросилъ я его.

„—Рука отекла отъ писанья... Я часовъ восемь сряду писалъ, не вставая. Говорятъ, я самъ виноватъ, потому что откладываю писанье свое до послѣднихъ дней мѣсяца. Можетъ быть, это отчасти и правда, но взгляните, Бога ради, сколько книгъ мнѣ присылаютъ... и какія еще книги — посмотрите: азбуки, грамматики, сонники, гадальныя книжонки! И я долженъ не-

премѣнно хоть по нѣскольку словъ написать объ каждой изъ этихъ книжонокъ!...

„Онъ остановился на минуту, тяжело вздохнулъ и продолжалъ:

„—Да, и еслибы знали вы, какое вообще мученіе повторять зады, твердить одно и то же—все о Лермонтовѣ, Гоголѣ и Пушкинѣ, не смѣть выходить изъ опредѣленныхъ рамъ—все искусство да искусство! Ну, какой я литературный критикъ!—Я рожденъ памфлетистомъ, — и не смѣть пикнуть о томъ, что́ накипѣло въ душѣ, отчего сердце болитъ!“ [1]).

Въ это время Бѣлинскій пристрастился къ картамъ — конечно, не ради картъ: игралъ онъ плохо, всего чаще проигрывался, но карты доставляли ему средство забывать на время обо всемъ, что́ его угнетало. Онъ продолжаетъ разсказъ о своей работѣ и своемъ отдыхѣ:

«...Отработался, и два-три дня у меня болитъ рука—видъ бумаги и пера наводитъ на меня тоску и апатію, дую себѣ въ преферансъ (подлый и филистерскій вистъ я уже презираю — это прогрессъ), ставлю ремизы страшные, ибо и игру знаю плохо и горячусь, какъ сумасшедшій — на мѣлокъ я долженъ рублей около 300, а переплатилъ мѣсяца въ два (какъ началъ играть въ преф.) рублей 150—благородная, братецъ, игра преферансъ! Я готовъ играть утромъ, вечеромъ, ночью, днемъ, не ѣсть и играть, не спать и играть. Страсть моя къ преф. ужасаетъ всѣхъ; но страсти нѣтъ: ты поймешь, что́ есть»...

И онъ опять говоритъ о своихъ душевныхъ тревогахъ, и серьёзно, и съ горькою шуткой. Мысль о деревенскихъ друзьяхъ, къ которымъ ему такъ хотѣлось тогда отправиться, давала ему отраду на мгновеніе, но потомъ снова овладѣла имъ тоска:

«...Надеждъ на жизнь никакихъ, ибо фантазія уже не тѣшитъ, а дѣйствительность глубоко понята. Какъ тутъ — будь безпристрастенъ—прочесть что-нибудь для себя? А, Боже мой, сколько бы надо прочесть-то! Но полно тѣшить себя завтраками—я ничего не прочту. Я—Прометей въ каррикатурѣ: «О. З.»—моя скала, Кр.—мой коршунъ. Мозгъ мой сохнетъ, способности тупѣютъ, и только—

Печаль минувшихъ дней
Въ моей душѣ чѣмъ старѣй, тѣмъ сильнѣй.

---

[1]) Воспом., тамъ же, стр. 362—363.

Мнѣ стыдно вспомнить, что нѣкогда я думалъ видѣть на головѣ моей терновый вѣнокъ страданія, тогда какъ на ней былъ просто шутовской колпакъ съ бубенчиками. Какое страданіе, если стишонки Красова и —ѳ— были фактомъ жизни и занимали меня какъ вопросы о жизни и смерти? Теперь иное: я не читаю стиховъ (и только перечитываю Лерм., все болѣе и болѣе погружаясь въ бездонный океанъ его поэзіи), и когда случится пробѣжать ст. Фета или Огарева, я говорю: «оно хорошо, но какъ же не стыдно тратить времени и чернилъ на такіе вздоры?»

«Къ довершенію всѣхъ этихъ пріятностей, у меня лежитъ на столѣ прекрасное стихотвореніе г. Оже, котораго послѣдняя риѳма есть 830 рублей ассигн.; да другихъ долговъ и должишекъ, не терпящихъ отсрочки, есть сотъ до семи... Это просто оргія отчаянія, и я иногда смѣюсь надъ своимъ положеніемъ»...

Подписка на журналъ шла лучше, чѣмъ въ 1842, но все-таки подписчиковъ было меньше, чѣмъ у „Библ. для Чтенія". „Пиши для россійской публики! Гоголя сочиненія идутъ тихо: честь и слава бараньему стаду, для котораго и Булгаринъ съ братіею все еще высокіе геніи!"—„Многое бы хотѣлось сказать тебѣ, — говоритъ дальше Бѣлинскій, — да что́ — ты и такъ знаешь все".

Кончивъ съ личными вопросами, Бѣлинскій говоритъ въ своемъ длинномъ письмѣ о литературныхъ и другихъ новостяхъ ихъ круга. Онъ получилъ новыя извѣстія или слухи о философскомъ другѣ: „говорятъ, онъ *принужденъ* былъ изъ Д. [1]) переѣхать въ Базель—это глубоко меня огорчило". Послѣдняя переписка между ними оживила въ Бѣлинскомъ прежнюю дружбу и онъ снова очень цѣнитъ философскаго друга [2]).

Обращаясь къ литературнымъ новостямъ, Бѣлинскій восхищается статьей „Дилеттантизмъ въ наукѣ" [3]), но вмѣстѣ съ тѣмъ вооружается противъ ея автора. Для объясненія слѣдующей цитаты, надо припомнить, что этотъ авторъ окончилъ тогда свои переѣзды по Россіи, поселился въ іюлѣ 1842 въ Москвѣ, и тамъ, между прочимъ, встрѣтился съ славянофилами. Г-нъ вовсе не былъ наклоненъ къ славянофильству съ его тогдашними

---

[1]) Дрездена.

[2]) Въ концѣ 1842 или началѣ 1843, запрещены были „Deutsche Jahrbücher", перенесенныя незадолго передъ тѣмъ въ Дрезденъ.

[3]) Статья первая, въ „Отеч. Зап." 1843, кн. 1, Науки, стр. 31—42.

аттрибутами, особенно мистическими, но онъ (а сначала также и Грановскій) сблизился съ нѣкоторыми изъ славянофиловъ потому, что видѣлъ въ нихъ (т.-е. не въ „Москвитянинѣ", а въ собственныхъ славянофилахъ) оригинальное умственное явленіе, которымъ и заинтересовался какъ новымъ фактомъ общественной жизни. Въ славянофильствѣ встрѣтилъ онъ крайнее противорѣчіе своему собственному взгляду, но противорѣчіе было защищаемо съ умомъ и ловкостью, съ упорствомъ, доходившимъ до настоящаго фанатизма, которые возбуждали его самого, давали пищу его собственной мысли и остроумію. Онъ любилъ встрѣчаться и спорить съ братьями Кирѣевскими, съ Хомяковымъ, Самаринымъ, К. Аксаковымъ о тѣхъ существенныхъ вопросахъ, гдѣ славянофилы радикально расходились съ „западнымъ" кружкомъ. Все это были, какъ говорили они, nos ennemis les amis, или наоборотъ. Дружескія встрѣчи всегда были вмѣстѣ съ тѣмъ постояннымъ диспутомъ и препирательствомъ, особенно между Г-номъ съ одной стороны и Хомяковымъ, Кирѣевскими и г. Самаринымъ—съ другой. Мы напомнимъ извѣстные разсказы объ этихъ отношеніяхъ „западнаго" кружка съ славянофилами,—особенно разсказы, оставленные самимъ участникомъ этихъ отношеній [1]), — о томъ, какъ мирно сначала встрѣчались эти партіи. Завязавшіяся между ними отношенія были весьма естественны: обѣ стороны видѣли другъ въ другѣ мыслящихъ людей, а это была такая рѣдкость въ тогдашнемъ обществѣ, что они возымѣли весьма понятное любопытство другъ къ другу; на первое время не представлялось еще такихъ столкновеній, которыя дѣлали бы невозможными личныя отношенія, хотя имя Бѣлинскаго уже было для славянофиловъ предметомъ ненависти; личный характеръ почти всѣхъ противниковъ, напр. Кирѣевскихъ, К. Аксакова и др., былъ внѣ всякаго возраженія и внушалъ уваженіе. Славянофилы, съ своей стороны, пока не увлеклись черезъ мѣру самонадѣянной исключительностью, находили также интересъ въ этомъ личномъ сближеніи.

Но Бѣлинскій не понималъ его. Онъ не былъ такъ подат-

---

[1]) См. также біографію Грановскаго, написанную А. В. Станкевичемъ.

ливъ, какъ его другъ, на мирныя отношенія съ людьми, которые были отъявленными врагами его взгляда. Мнѣнія его противниковъ были ему такъ враждебны, что онъ не считалъ возможнымъ никакое примиреніе: онъ искалъ прямой сущности дѣла, и у него не было бы терпѣнія на остроумную философскую казуистику, какой въ особенности занимались Г-нъ и Хомяковъ; онъ не находилъ удовольствія въ спорѣ для спора... Разсказываютъ, что Хомяковъ, обладавшій и въ самомъ дѣлѣ обширной начитанностью, иногда злоупотреблялъ ею въ спорѣ, дѣлалъ цитаты, которыхъ въ данную минуту невозможно было провѣрить и которыя оказывались фантастическими, — его противникъ не бывалъ на то въ претензіи, принималъ это добродушно, какъ полемическую изворотливость, смѣлость или шутку,—но на другихъ, и на Бѣлинскаго, эти пріемы оказывали совсѣмъ иное впечатлѣніе... Наконецъ, Г-нъ повидимому находилъ въ славянофильствѣ и долю вѣрнаго, чего тогда недоставало взгляду „западному", и что̀ нѣсколько позднѣе вошло въ его собственный образъ мыслей въ видѣ немного соціалистически окрашеннаго представленія объ общинѣ. И во всякомъ случаѣ, славянофильство было интересно Г-ну уже какъ фактъ: ему любопытно было объяснить себѣ его происхожденіе и развитіе; онъ наблюдалъ его какъ психологическое явленіе. Бѣлинскій не имѣлъ всѣхъ этихъ соображеній, и сближеніе Г-на съ славянофилами показалось ему если не шагомъ назадъ, то фальшивымъ шагомъ,— одно время онъ чуть не считалъ своего друга готовымъ перейти въ славянофильство. Должно прибавить еще, что Бѣлинскій, который очень мало способенъ былъ удержаться на отвлеченныхъ діалектическихъ преніяхъ, свелъ бы ихъ тотчасъ на прямые и рѣзкіе факты, гдѣ споръ былъ бы безполезенъ и почти невозможенъ по крайности противорѣчія. Притомъ, Бѣлинскій не думалъ тогда раздѣлять славянофильства отъ „Москвитянина", съ которымъ въ это самое время враждовалъ, и, наконецъ, онъ просто не вѣрилъ въ примиреніе столь противорѣчащихъ мнѣній—и послѣдствія показали, что онъ былъ правъ.

Бѣлинскій уже скоро обратилъ вниманіе на этотъ предметъ, и еще въ ноябрѣ 1842 писалъ Г-ну письмо (намъ неизвѣстное), вѣроятно касавшееся отношеній съ московскими врагами. Г-нъ,

на котораго оно произвело впечатлѣніе крайности и фанатизма, отвѣчалъ письмомъ (также намъ неизвѣстнымъ), которое упоминаетъ Бѣлинскій въ томъ же письмѣ къ Боткину отъ 6 февраля, — и упоминаетъ съ досадой: очевидно, что Г-нъ говорилъ о славянофилахъ, и въ примирительномъ смыслѣ.

Должно впрочемъ сказать, что и въ пору наибольшаго сближенія съ славянофильствомъ московскіе друзья Бѣлинскаго не думали о возможности искренняго примиренія. Еще въ концѣ 1842, они замѣчали, что славянофильство принимаетъ видъ мрачнаго, нетерпимаго фанатизма. Впослѣдствіи они увидѣли наглядные его примѣры.

Возвращаемся къ письму Бѣлинскаго. Слѣдующая цитата не лишена крайне энергическихъ выраженій, которыхъ не считаемъ удобнымъ приводить; но читатель увидитъ однако, какъ далеко шла антипатія Бѣлинскаго.

«Скажи Г.,—пишетъ Бѣлинскій въ томъ же письмѣ 6 февраля,— что его «Дил. въ н.»—статья до нельзя прекрасная — я ею упивался и безпрестанно повторялъ: вотъ какъ надо писать для журнала. Это не порывъ и не преувеличеніе—я уже не увлекаюсь и умѣю давать вѣсъ моимъ хвалебнымъ словамъ. Повторяю, статья его чертовски хороша; но письмо его ко мнѣ меня опечалило [1])—отъ него попахиваетъ умѣренностію и благоразуміемъ житейскимъ, т.-е. началомъ паденія и гніенія (я требую отъ тебя, чтобы ты далъ ему въ руки это мое письмо). Онъ толкуетъ, что г. Х.—удивительный человѣкъ, что онъ, правда, лежитъ по уши въ грязи, но—видишь ты — и страдаетъ отъ этого. А въ чемъ выражается это страданіе? въ болтовнѣ, въ семинарскихъ диспутахъ pro и contra. Я знаю, что Х.—человѣкъ неглупый, много читалъ и вообще образованъ, но онъ не надулъ бы меня своею діалектикою, а заставилъ бы вспомнить эти стихи В. (Barbier), взятые Лерм. эпиграфомъ къ своему стихотв. «Не вѣрь себѣ»:

Que nous font après tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans, qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase,
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?

Х.—это изящный, образованный, умный И. А. Хлестаковъ, человѣкъ безъ убѣжденія—человѣкъ безъ царя въ головѣ»...

Бѣлинскому чрезвычайно понравилась упомянутая нами прежде статья Боткина о нѣмецкой литературѣ въ 1-й кн.

[1]) Это—письмо, о которомъ мы сейчасъ говорили.

„Отеч. Записокъ“ 1843, гдѣ Боткинъ изображалъ положеніе философскихъ партій въ Германіи и высказалъ сочувствіе къ молодому гегеліянству. Бѣлинскому нравилась и статья Боткина о томъ же предметѣ во 2-ой книгѣ „Отеч. Записокъ“, гдѣ между прочимъ изложено было по новымъ изслѣдованіямъ развитіе миѳа о Прометеѣ, который очень интересовалъ Бѣлинскаго. Но онъ совѣтуетъ Боткину „бросить Рётшера“, о которомъ также говорится въ этой статьѣ, по поводу выходившихъ тогда „Abhandlungen zur Philosophie der Kunst“. Бѣлинскій окончательно разочаровался въ Рётшерѣ. „Это, братъ, пѣшка,—говоритъ онъ: — его умъ — пріобрѣтенный изъ книгъ. Вагнеровская натуришка такъ и пробивается сквозь его натянутую ученость. На Руси онъ былъ бы Шевыревымъ“. Боткинъ писалъ ему, что въ немъ развивается антипатія къ нѣмцамъ: Бѣлинскій этимъ до крайности доволенъ — „не могу говорить объ этомъ, ибо это отвращеніе во мнѣ дошло до болѣзненности“.

Такъ переставились теперь прежнія сочувствія и вражда. Какъ прежде высокое понятіе о „нѣмцахъ“ утверждалось на томъ, что нѣмцы считались націей „абсолютной“ и основанная ими философія была абсолютная философія и пр., такъ теперь отвращеніе къ нѣмцамъ было отвращеніемъ къ философскому резонёрству, не знавшему жизни, но заявлявшему высокомѣрное притязаніе рѣшать ея вопросы [1]). Рядомъ съ этимъ выросло увлеченіе ненавистными прежде французами, въ которыхъ было

[1]) Эта вѣра въ „абсолютность“ нѣмецкой философіи не была наивностью однихъ русскихъ гегеліянцевъ: это была вѣра самой нѣмецкой школы Гегеля. Авторъ статей о „Дилеттантизмѣ“ говоритъ о формалистахъ науки, которыхъ такъ много было въ гегелевской школѣ, именно въ ея правой сторонѣ: „Неизлечимо-отчаянное положеніе ихъ состоитъ въ ихъ чрезвычайномъ довольствѣ (тѣмъ, что̀ уже есть въ гегеліянской книгѣ); они со всѣмъ примирились; ихъ взглядъ выражаетъ спокойствіе, немного стеклянное, но невозмущаемое извнутри; имъ осталось почивать и наслаждаться, прочее все сдѣлано или сдѣлается само собою. Имъ удивительно, о чемъ люди хлопочутъ, когда все объяснено, созвано и человѣчество достигло *абсолютной* формы бытія—что̀ доказано ясно тѣмъ, что современная философія есть абсолютная философія, а наука всегда является тождественною эпохѣ—но какъ ея результатъ, т.-е. по совершеніи въ бытіи. Для нихъ такое доказательство неопровержимо, фактами ихъ не смутишь — они пренебрегаютъ ими“ (какъ „случайностью“). Авторъ прибавляетъ: „Это не выдумка, а сказано въ Байергоферовой „Исторіи

столько стремленія къ освобожденію жизни отъ устарѣлыхъ формъ, къ отрицанію этихъ формъ не только теоретическому, но и практическому...

Незадолго передъ тѣмъ вернулся изъ Берлина К-въ, ставшій тамъ ревностнымъ партизаномъ новаго шеллингизма; Бѣлинскій, съ своей тогдашней точки зрѣнія, не могъ этому сочувствовать... Мы видѣли, съ какой страстностью и нетерпимостью Бѣлинскій высказывалъ и защищалъ свои новые взгляды, и понятно, что прежніе друзья не только не могли теперь сойтись, но что встрѣча ихъ могла быть только непріязненная. Такова она дѣйствительно и была: разногласіе мнѣній, столкновеніе характеровъ обнаружилось съ перваго свиданія. Въ письмѣ къ Боткину Бѣлинскій говоритъ о прежнемъ другѣ крайне враждебно...

Опускаемъ еще нѣсколько подробностей того мрачнаго настроенія, какое выражено и въ началѣ этого письма. Въ концѣ письма Бѣлинскій посылаетъ поклоны московскимъ друзьямъ (ихъ было не мало: Грановскій, Кетчеръ, М. С. Щепкинъ, Дмитрій Щепкинъ, Галаховъ, Красовъ, Лангеръ, Кольчугинъ и пр.), и прибавляетъ, между прочимъ: „крѣпко пожми руку Г. и скажи ему, что я хоть и побранился съ нимъ, но люблю его тѣмъ не менѣе“.

Въ нашемъ матеріалѣ было два письма (отъ 23 февраля и 8 марта), писанныхъ Бѣлинскимъ къ деревенскимъ друзьямъ, къ которымъ онъ такъ стремился. Оба письма, полушутливыя, полусерьёзныя, исполнены самой теплой привязанности къ ихъ семейному кругу, гдѣ онъ не разъ видѣлъ къ себѣ много сочувствія. Въ первомъ изъ этихъ писемъ онъ разсказываетъ о своихъ дѣлахъ и своемъ настроеніи съ тѣми подробностями, которыя знакомы намъ изъ предыдущаго письма къ Боткину. Изъ второго письма приводимъ нѣсколько цитатъ. Въ началѣ Бѣлинскій говоритъ о томъ, какъ тяжела была ему невозможность увидѣться съ деревенскими друзьями:

философіи (Die Idee und Geschichte der Philosophie, von Bayerhoffer. Leipzig 1838, послѣдняя глава)“. см. „Отеч. Зап.“ 1843, кн. 12, стран. 68—69.

Бѣлинскій, читая это, долженъ былъ ясно вспоминать свою собственную философію 1839—40 года.

«...Невозможность увидѣться съ вами стбила мнѣ сильной нравственной горячки. Васъ не должно это ни удивлять, ни казаться вамъ загадкою... Страстность составляетъ преобладающій элементъ моей *прекрасной души*. Эта страстность—источникъ мукъ и радостей моихъ; а такъ какъ, притомъ, судьба отказала мнѣ слишкомъ во многомъ, то я и не умѣю отдаваться въ половину тому немногому, въ чемъ не отказала она мнѣ. Для меня и дружба къ мужчинѣ есть страсть, и я бывалъ ревнивъ въ этой страсти... Я самъ недавно только созналъ въ себѣ эту сторону и въ ней увидѣлъ причину многихъ моихъ глупостей, дорого стоившихъ мнѣ. Нѣтъ несчастнѣе людей, подобныхъ мнѣ, пока они не найдутъ, въ религіозныхъ убѣжденіяхъ, прочной точки опоры для своей жизни... Такіе люди — вѣчные мучители самихъ себя и всегда въ тягость особенно тѣмъ, кого они больше другихъ любятъ, и кто бы больше другихъ былъ расположенъ принимать въ нихъ участіе. Во мнѣ всегда была глубокая жажда, мучительный голодъ умственной дѣятельности, и есть способность къ ней, но не было для нея ни пищи, ни почвы, ни сферы. Страстныя души, въ такомъ положеніи, дѣлаются добычею собственной фантазіи и силятся создать для себя дѣйствительность внѣ дѣйствительности. Чувство дѣлается альфою и омегою жизни»... .

Онъ вспоминаетъ о Донъ-Кихотѣ. Это—личность благородная, но которой дѣятельность растетъ на почвѣ фантазіи, а не дѣйствительности. Даже священная потребность любви къ женщинѣ имѣетъ пошлое осуществленіе, если корень ея не вросъ глубоко въ почву дѣйствительности:

«Въ нашей общественности особенно часты примѣры разочарованнаго, охладѣвшаго чувства, которое, перегорѣвъ въ самомъ себѣ, вдругъ потухаетъ безъ причины: этому причастны даже высокія и глубокія натуры—ссылаюсь на Пушкина. Гдѣ, въ чемъ причина этого явленія?—въ общественности, въ которой все человѣческое является безъ всякой связи съ дѣйствительностію, которая дика, грязна, безсмысленна, но на сторонѣ которой еще долго будетъ право силы. Обращаюсь къ себѣ, какъ представителю страстныхъ душъ. Дайте такому человѣку сферу свойственной его способностямъ дѣятельности,—и онъ переродится...; но эта сфера... да, вы понимаете, что ея негдѣ взять. Этой сферы и теперь для меня нѣтъ и никогда, никогда не будетъ ея для меня; но уже и то было великимъ шагомъ для меня, что я созналъ и понялъ это... Сердце человѣка, особенно пожираемаго огненною жаждою разумной дѣятельности безъ удовлетворенія, даже безъ надежды на удовлетвореніе этой мучительной жажды, — сердце такого человѣка всегда болѣе или менѣе подвержено произволу случайности — ибо пустота, вольная или невольная, можетъ родить другую пустоту, — и я меньше, чѣмъ кто другой, могу ручаться въ будущемъ за свою изрѣдка довольно сильную, но чаще

расплывающуюся натуру; но я за одно уже смѣло могу ручаться — это за то, что еслибы Богъ снова излилъ на меня чашу гнѣва своего и, какъ египетскою язвою, вновь поразилъ меня этою тоскою безъ выхода, этимъ стремленіемъ безъ цѣли, этимъ горемъ безъ причины, этимъ страданіемъ, презрительнымъ и унизительнымъ даже въ собственныхъ глазахъ,—я уже не могъ бы выставлять наружу гной душевныхъ ранъ и нашелъ бы силу навсегда бѣжать отъ тѣхъ, кто могъ бы оскорбить или встревожить мой позоръ. Я и прежде не былъ чуждъ гордости, но она была парализирована многими причинами, въ особенности же романтизмомъ и религіознымъ уваженіемъ къ такъ-называемой «внутренней жизни»—этимъ исчадіемъ нѣмецкаго эгоизма и филистерства»...

Быть можетъ, это воспоминаніе навело Бѣлинскаго на тему эгоизма—въ концѣ того же письма. Въ слѣдующемъ разсужденіи любопытно мнѣніе о Гёте, въ которомъ Бѣлинскій восхищался нѣкогда объективнымъ творчествомъ, но который уже съ 1841 казался ему „отвратителенъ какъ личность".

«Я теперь много думаю объ эгоизмѣ. Это интересный предметъ для изслѣдованія. Духъ тьмы и злобы есть никто иной, какъ эгоизмъ. Когда эгоизмъ является въ собственномъ своемъ видѣ—онъ просто гадокъ, или просто страшенъ, какъ враждебная для другихъ сила; но онъ не обольстителенъ, и никого не соблазнитъ, а всѣхъ отвратитъ отъ себя. Опаснѣе бываетъ эгоизмъ, когда онъ добродушно самъ считаетъ себя самоотверженіемъ, внутреннею жизнію. Гёте, по моему мнѣнію, былъ воплощеніемъ такого эгоизма. Вникните въ характеръ Эгмонта, и вы увидите, что это лицо играетъ святыми чувствами, какъ предметомъ возвышеннаго духовнаго наслажденія; но они, эти святыя чувства, внѣ его и не присущны его натурѣ. «Какъ сладостна привычка къ жизни», восклицаетъ онъ, и на это восклицаніе хочется мнѣ воскликнуть ему: «какой же ты пошлякъ, о голландскій герой!» Гофманъ саркастически заставляетъ Кота Мурра цитовать это восклицаніе... Для Эгмонта патріотизмъ не болѣе, какъ вкусное блюдо на пиру жизни, а не религіозное чувство. Святая натура и великая душа Шиллера, закаленная въ огнѣ древней гражданственности, никогда не могла бы породить такого гнилаго идеала... На созерцаніе эгоистической натуры Гёте особенно навела меня статья во 2 № «Отеч. Зап.» — «Гёте и графиня Штольбергъ». Гёте любитъ дѣвушку, любимъ ею—и что́ же? онъ играетъ этою любовью. Для него важны ощущенія, возбужденныя въ немъ предметомъ любви—онъ ихъ анализируетъ, воспѣваетъ въ стихахъ, носится съ ними, какъ курица съ яйцомъ; но личность предмета любви для него — ничто, и онъ борется съ своимъ чувствомъ и побѣждаетъ его изъ угожденія мерзкой сестрѣ своей и «дражайшимъ» родителямъ. Дѣвушка потомъ умираетъ,— и ни одинъ стихъ Гёте, ни одно слово его во всю остальную жизнь его

не напомнило о милой, поэтичной Лили, которая такъ любила этого великаго эгоиста. Вотъ онъ—идеализированный, опоэтизированный, холодный эгоизмъ внутренней жизни, который дорожитъ только собою, своими ощущеніями, не думая о тѣхъ, кто возбудилъ ихъ въ немъ... Итакъ, самый опасный эгоизмъ есть тотъ, который принимаетъ на себя личину любви и добродушно убѣжденъ, что онъ—самая возвышенная, самая эѳирная любовь. Кто любитъ все, тотъ ничего не любитъ, ибо все граничитъ съ ничто. Такъ Гёте любилъ все, отъ ангела въ небѣ до младенца на землѣ и червя въ морѣ, и потому не любилъ ничего.

И въ мірѣ все постигнулъ онъ,
И ничему не покорился!

сказалъ о немъ Жук., не думая, чтобы въ этой похвалѣ заключалось осужденіе Гёте. Переписка его съ «милою Августою» Шт. смѣшна до крайности. Какая сантиментальность — точно сладкій нѣмецкій супъ! «Разинь, душенька, ротикъ—я положу тебѣ конфетку»—такъ и твердитъ онъ Августѣ, а та, на старости лѣтъ сошедши съ ума, вздумала обращать его къ піэтизму. Можетъ быть, я ошибаюсь на этотъ счетъ, но Богъ съ нимъ, съ этимъ Гёте: онъ великій человѣкъ, я благоговѣю передъ его геніемъ, но тѣмъ не менѣе я терпѣть его не могу. Недавно прочелъ я его «Германа и Доротею»—какая отвратительная пошлость!»...

Въ концѣ письма онъ говоритъ, что у него въ сущности и не было еще настоящаго сильнаго чувства; а теперь оно и страшно, хотя онъ и не сказалъ бы, что не желаетъ его. „Что́ бы я съ нимъ сталъ дѣлать, съ моею дряблою душою, съ моимъ дряннымъ здоровьемъ, моею бѣдностью и моею совершенною расторженностію съ обществомъ?“... Затѣмъ онъ продолжаетъ:

«Натура моя не чужда акта отрицанія, и я перешелъ черезъ нѣсколько моментовъ его; но отказаться отъ желанія счастья, котораго невозможность такъ математически ясна для меня, — еще нѣтъ силъ, и сохрани Богъ, если не станетъ ихъ на совершеніе этого послѣдняго и великаго акта. Вы читали Ногасе? Помните Ларавиньера? — вотъ человѣкъ и мужчина. Но какъ трудно сдѣлаться такимъ человѣкомъ, право труднѣе, чѣмъ уподобиться Гёте. Право, простыя добродѣтели человѣка выше и труднѣе блестящихъ достоинствъ генія».

На другой день (9 марта) Бѣлинскій писалъ къ Боткину. Еще прежде онъ настоятельно звалъ Боткина пріѣхать въ Петербургъ, и теперь все ожидалъ его пріѣзда. „И вотъ я жду тебя съ часу на часъ,—пишетъ онъ;—возвращаясь поздно домой, по обыкновенію продувшись въ преферансъ, подымаю голову вверхъ и съ біеніемъ сердца ожидаю, что окна мои освѣ-

щены, и каждый разъ ничего не вижу въ нихъ, кромѣ тьмы кромѣшной. Входя въ комнаты, быстро озираю столы—нѣтъ ли письма, и кромѣ ненавистной литературщины ничего не вижу на нихъ"... Предыдущее письмо показываетъ, почему нуженъ былъ ему его другъ: Бѣлинскій былъ въ томъ возбужденномъ и тревожномъ состояніи, въ которомъ присутствіе друга было ему необходимо, какъ средство успокоиться. Но Боткину теперь нельзя было пріѣхать, — между прочимъ, кажется, и потому, что въ это время заняла его новая „исторія", которая въ томъ же году окончилась для Боткина очень страннымъ и надолго тягостнымъ образомъ... Само собою разумѣется, что Бѣлинскій тотчасъ былъ поставленъ въ извѣстность о новыхъ интересахъ своего друга, которые потомъ нѣсколько разъ и подробно обсуждаются въ ихъ перепискѣ.

Бѣлинскій очень тревожился, получилъ ли Боткинъ большое письмо его, къ которому приложено было письмо заграничнаго друга. „Еслибы ты получилъ его, ты могъ бы, и не видѣвшись со мною, вложить персты свои въ раны мои, впрочемъ и безъ того извѣстныя тебѣ хорошо. Главное скверно то, что письмо это написалось отъ души и притомъ для тебя много интереснаго было бы въ письмѣ Б., и оно теперь погибло для обоихъ насъ"... Впослѣдствіи объяснилось, что письмо это не пропало и было получено Боткинымъ [1]).

Наконецъ, замѣтимъ отзывъ объ одной статьѣ „Отеч. Записокъ". „Статья „Романтики" неудовлетворительна въ цѣломъ—чувствуется, что не все сказано; но выраженіе, языкъ, слогъ—просто... до отчаянія доводитъ — зависть возбуждаетъ и писать охоту отбиваетъ". Бѣлинскій разумѣетъ здѣсь вторую статью о „Дилеттантизмѣ въ наукѣ", имѣвшую частное заглавіе „Дилеттанты-романтики" [2]).

Длинное письмо, начатое 31 марта, наполнено бесѣдой о литературныхъ предметахъ, и новостями изъ дружескаго круга.

«То, что ты забылъ увѣдомить меня о полученіи письма моего, съ приложеннымъ къ нему письмомъ Б., можно простить только сумасшед-

[1]) Здѣсь разумѣется, вѣроятно, письмо Бѣлинскаго отъ 6 февраля; но письма заграничнаго друга въ нашемъ матеріалѣ не было.

[2]) „Отеч. Зап." 1843, кн. 3, Науки, стр. 27—40.

шему или влюбленному; но какъ ты, слава Аллаху, и то и другое вмѣстѣ—то я и не сержусь на тебя»...

Упомянутая новая „исторія“ его друга шла несовсѣмъ удовлетворительно, и Бѣлинскій предвидитъ, что если она будетъ и продолжаться также, то не обѣщаетъ хорошаго конца; но все-таки онъ завидуетъ Боткину, или его чувству,—„ибо питать какое бы то ни было чувство, какой бы то ни былъ интересъ все же лучше, чѣмъ въ тоскѣ, апатіи, съ холоднымъ отчаяніемъ убивать время на преферансъ, ставить ремизы, проигрывать послѣднія деньжонки, бѣситься, дойти до мальчишескаго малодушія, сдѣлаться притчею во языцѣхъ“.

Къ его тяжелому расположенію духа присоединялось теперь еще то, что въ послѣднее время ему начинаетъ больше и больше измѣнять здоровье. Оно и всегда было плохо, но теперь все чаще повторяются жалобы на здоровье; онъ началъ лечиться—„страхъ физическихъ мученій заставляетъ искать средствъ помощи, и я лечусь гидропатіею—прѣю въ паровой ваннѣ, а потомъ леденѣю въ холодной, а тамъ костенѣю подъ дождемъ и душею“. Дальше онъ замѣчаетъ, что его гидропатъ находилъ у него біеніе сердца—предоставляемъ спеціалистамъ судить, насколько при біеніи сердца полезно было „леденѣть и костенѣть“..

Журнальныя дѣла также шли плохо; онъ опять жалуется на цензуру:

«Статья моя о Держ. страшно искажена [1]), но объ этомъ когда-нибудь послѣ. Чортъ возьми всѣ наши статьи, да и всѣхъ насъ съ ними»...

Въ такое отчаяніе приводили Бѣлинскаго цензурныя крушенія его статей.

Ему очень нравится новая статья Боткина о нѣмецкой литературѣ. „Славная статья, она понравилась мнѣ больше всѣхъ прежнихъ твоихъ статей, можетъ быть потому, что ея содержаніе ближе къ сердцу моему“. Это была статья въ 4-й книгѣ „Отеч. Зап.“, посвященная разбору „Парижскихъ писемъ“ Гуцкова. Въ книгѣ этой Гуцковъ хотѣлъ дать изображеніе поли-

---

[1]) Говорится, конечно, о 2-й статьѣ въ 3-й книгѣ „Отеч. Записокъ“. О подобной же судьбѣ первой статьи упоминалось выше.

тической жизни, общественности, нравовъ Парижа, очерки французской литературы. Статья Боткина, написанная дѣйствительно хорошо и съ знаніемъ дѣла, относилась очень строго къ мелочной точкѣ зрѣнія Гуцкова и къ его непониманію французской жизни. Бѣлинскій очень доволенъ разборомъ, высказывавшимъ точку зрѣнія на французскія отношенія, какая вообще принималась теперь кружкомъ; ему хотѣлось, чтобы такимъ же образомъ досталось и ненавистному для него Рётшеру.

«Не было человѣка пишущаго, — говоритъ онъ — который бы такъ глубоко оскорбилъ меня своею пошлостію, какъ этотъ нѣмецкій Шевыревъ... Рётшеръ въ отношеніи къ Гегелю есть тотъ человѣкъ въ «Разъѣздѣ» Гоголя, который, подцѣпивъ у другого словечко «общественныя раны», повторяетъ его, не понимая его значенія. Хорошъ былъ Гуцковъ у G. S. (Гуцковъ между прочимъ описывалъ свое свиданіе съ Ж. Зандъ)— вотъ семинаристъ-то!»...

Онъ потомъ еще разъ возвращается къ статьѣ Боткина:

«Все перечитываю статью твою—прелесть! Будь литература на Руси выраженіемъ общества, а слѣд. и потребностію его, будь хоть сколько-нибудь человѣческая цензура, ты... выучился бы писать скоро и бѣгло, и написалъ бы горы. Безъ этого—голодъ, одинъ голодъ научитъ писать скоро и много. Ты довольно обезпеченъ, чтобъ не бояться голода, и потому считаешь себя неспособнымъ къ скоро- и много-писанію. Къ несчастію, судьба слишкомъ развила во мнѣ эту несчастную способность»...

Французская литература все больше и больше интересуетъ Бѣлинскаго: здѣсь онъ находитъ всего больше сочувственнаго по тѣмъ вопросамъ, которые получили для него господствующее значеніе,—по вопросамъ общественной жизни и нравственности. Мы упоминали объ его энтузіазмѣ къ Ж. Занду; почти равный восторгъ возбуждали въ немъ нѣкоторые писатели соціальной школы.

«Сейчасъ кончилъ 1-ю часть исторіи Louis Blanc [1]), — пишетъ онъ въ томъ же письмѣ.—Превосходное твореніе! Для меня оно было откровеніемъ... Личность Луи-Блана возбудила во мнѣ благоговѣйную любовь. Какое безпристрастіе, благородство, достоинство, сколько поэзіи въ мысляхъ, какой языкъ!..»

Впослѣдствіи, Луи-Бланъ гораздо меньше понравился, даже

---

[1]) Histoire des Dix Ans.

во многомъ очень не понравился Бѣлинскому, когда онъ прочелъ нѣкоторыя мнѣнія Луи-Блана въ его исторіи революціи.

Бѣлинскій посылалъ Боткину появившуюся тогда пародію „Братьевъ разбойниковъ" Пушкина; ему хотѣлось, чтобы эта пародія распространилась въ Москвѣ, по полемическимъ соображеніямъ... Вражда къ „Москвитянину" была неизмѣнна, и на Бѣлинскаго произвелъ непріятное впечатлѣніе слухъ, что Грановскій согласился дать свою статью въ этотъ журналъ.

«Слышалъ я, что Грановскій далъ... (въ «Москвитянинъ») статью: можетъ быть, онъ (Гр.) и хорошо сдѣлалъ, только я этого не понимаю; впрочемъ, у всякаго свой образъ мыслей, и у насъ въ Петербургѣ многіе литераторы не гнушаются печататься въ «Пчелѣ» и «Маякѣ»:—почему же московскимъ гнушаться печататься въ «Москвитянинѣ»: вѣдь «Моск.» немногимъ чѣмъ хуже [1]) «Пчелы» и «Маяка»...

Грановскій дѣйствительно далъ въ „Москвитянинъ" свою статью [2]), которой добивался отъ него Погодинъ; окруженный натянутыми отношеніями въ университетѣ, Грановскій не хотѣлъ своимъ отказомъ давать лишнихъ поводовъ къ дрязгамъ. Но Бѣлинскій судилъ иначе: Грановскому слѣдовало „гнушаться" участія въ этомъ журналѣ. Бѣлинскій долго не забылъ этого случая, который казался ему непростительной неразборчивостью, холодностью къ дѣлу своей стороны.

Въ концѣ 1842 или началѣ 1843, Бѣлинскій познакомился съ г. Тургеневымъ, и вскорѣ очень къ нему привязался: къ кругу его друзей прибавлялось новое лицо, вносившее новыя оригинальныя черты въ его интересы и содержаніе. Приводимъ изъ переписки отзывы Бѣлинскаго объ этомъ первомъ знакомствѣ его съ г. Тургеневымъ.

Въ нашемъ матеріалѣ въ первый разъ упоминается о „недавнемъ" знакомствѣ съ г. Тургеневымъ въ февралѣ 1843. Ихъ познакомилъ нѣкто Зин-въ, котораго Бѣлинскій зналъ раньше и очень цѣнилъ. Вскорѣ это было уже короткое знакомство, и въ письмѣ къ Боткину, отъ 31 марта, Бѣлинскій нѣсколько разъ возвращается къ этому знакомству, очевидно, его заинтересовавшему:

---

[1]) Въ подлинникѣ болѣе сильное выраженіе.

[2]) „Начало прусскаго государства" см. въ Сочин., т. II, стр. 255 и слѣд.

«Т-въ очень хорошій человѣкъ, и я легко сближаюсь съ нимъ. Въ немъ есть злость, и жолчь, и юморъ, онъ глубоко понимаетъ Москву и такъ воспроизводитъ ее, что я пьянѣю отъ удовольствія... Т. немного нѣмецъ, въ томъ смыслѣ, какъ и Б... Что за натура—З.! Мы всѣ—дрянь передъ нимъ»...

„Воспроизведеніе Москвы" должно относиться къ нѣкоторымъ московскимъ литературнымъ кружкамъ, которые г. Тургеневъ уже тогда зналъ. „Нѣмцемъ" онъ былъ вѣроятно потому, что еще не такъ давно вернулся изъ Берлина, гдѣ также былъ адептомъ нѣмецкой философіи. Бѣлинскому пріятно было встрѣтить въ Тургеневѣ самостоятельный взглядъ на вещи и людей, который въ основныхъ предметахъ былъ сходенъ съ его мнѣніями, но иногда и очень противорѣчилъ имъ въ подробностяхъ и особенно въ сужденіяхъ о людяхъ. Бѣлинскій тѣмъ больше интересовался его мнѣніями.

«Я нѣсколько сблизился съ Т-вымъ, — говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ того же письма.—Это человѣкъ необыкновенно умный, да и вообще хорошій человѣкъ. Бесѣда и споры съ нимъ отводили мнѣ душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всемъ соглашаются съ тобою, или если противорѣчатъ, то не доказательствами, а чувствами и инстинктомъ,—и отрадно встрѣтить человѣка, самобытное и характерное мнѣніе котораго, сшибаясь съ твоимъ, извлекаетъ искры. У Т. много юмору. Я, кажется, уже писалъ тебѣ, что разъ, въ спорѣ противъ меня за нѣмцевъ, онъ сказалъ мнѣ: да что вашъ русскій человѣкъ, который не только шапку, да и мозгъ-то свой носитъ на бекрень! Вообще, Русь онъ понимаетъ. Во всѣхъ его сужденіяхъ видѣнъ характеръ и дѣйствительность. Онъ врагъ всего неопредѣленнаго, къ чему я, по слабости характера и неопредѣленности натуры и дурного развитія, довольно падокъ»...

Между прочимъ, Бѣлинскій съ удовольствіемъ услышалъ, что Тургеневъ одинаково съ нимъ думаетъ о Рётшерѣ, котораго онъ теперь такъ возненавидѣлъ. Ему казались очень вѣрными изъ замѣчанія Тургенева о характерахъ нѣкоторыхъ близкихъ ему людей, — замѣчанія, которыя не приходили въ голову ему самому. Вѣроятно, подъ нѣкоторымъ впечатлѣніемъ этихъ бесѣдъ было то, что́ Бѣлинскій разсказываетъ о себѣ:

«Вообще я теперь больше всего думаю о характерахъ и значеніи близкихъ и знакомыхъ мнѣ людей. Эта наука мнѣ не далась: у меня, коли кто, бывало, прослезится отъ пакостныхъ стишонковъ К-ва, тотъ уже

и глубокая натура. Теперь я потерялъ даже смыслъ слова «глубокая натура»—такъ затаскалъ я его. Смѣшно вспомнить, какъ, пріѣхавъ въ Пб., я думалъ въ одномъ NN найти все, что оставилъ въ Москвѣ, и дивился глубокости его натуры. Это просто добрая благородная натура, совершенно невинная въ какой бы то ни было силѣ и глубокости».

Впрочемъ, Бѣлинскій самъ приходилъ къ этимъ болѣе правильнымъ заключеніямъ. Вообще наклонность преувеличивать достоинства друзей была, какъ онъ самъ однажды говоритъ, всегдашней чертой его характера; здѣсь было не одно простодушіе человѣка, не знающаго людей, но и слѣдъ его обычнаго идеализма, желаніе видѣть лучшія стороны человѣческой природы; нерѣдко оно бывало наивно, но свидѣтельствовало объ искренности его собственнаго характера. Въ письмахъ его, особенно съ 1842 года, встрѣчаются замѣчанія о близкихъ ему людяхъ, уже свободныя отъ идеалистическихъ преувеличеній, большею частію очень мѣткія, и въ минуту раздраженія очень злыя; но это не закрывало отъ него лучшія стороны характеровъ и не мѣшало ему продолжать любить бывшія „глубокія натуры".

Письмо отъ 17 апрѣля было отвѣтомъ Боткину, который говорилъ Бѣлинскому о своей „исторіи" и обращался къ нему съ самыми теплыми словами. Бѣлинскаго тронуло это обращеніе.

«Спасибо тебѣ, добрый мой Б.,—пишетъ онъ, — за письмо твое. Оно доставило мнѣ какое-то грустное упоеніе счастія. Оно было такъ неожиданно, и притомъ—быть понятымъ въ своемъ глубочайшемъ страданіи, о которомъ смѣшно было бы и толковать тѣмъ, которые сами не видятъ его,—это лучшее и священнѣйшее, что только можетъ дать дружба. Только ты нѣсколько преувеличилъ дѣло, а потому немного и устыдилъ меня. Къ стыду моему я долженъ сознаться, что чужое счастіе глубоко и страдательно потрясаетъ меня; но это только при первомъ извѣстіи о немъ. Потомъ я уже смотрю на него, какъ на что-то такое, что въ порядкѣ вещей, интересуюсь имъ, люблю его. Теперь мнѣ малѣйшая подробность твоей исторіи интересна, и займетъ меня живо и пріятно. И потому—пиши, пиши и пиши»...

Затѣмъ довольно длинное разсужденіе посвящается „исторіи", въ которой были для Бѣлинскаго, да кажется и для самого Боткина, неясные пункты... Бѣлинскій хочетъ помочь ему разрѣшить ихъ, говоритъ о любви романтической и любви дѣйствительной, ихъ коренномъ различіи, о различіи любви и склонности,

и совѣтуетъ своему другу вглядѣться въ свое чувство, и если оно серьёзно, то понять, что „счастье такъ возможно, такъ близко".

О себѣ самомъ онъ опять сообщаетъ невеселыя извѣстія:

«Журналъ губитъ меня. Здоровье мое съ каждымъ днемъ ремизится, и въ душу вкрадывается грустное предчувствіе, что я скоро останусь безъ шести въ сюрахъ, т.-е. отправлюсь туда, куда страхъ какъ не хочется идти. Жизнь ничего мнѣ не дала, но люблю жизнь... Вода сначала только помогла мнѣ немного, а потомъ сдѣлалось мнѣ хуже. Лучше всѣхъ лекарствъ и водъ на меня подѣйствовалъ бы отдыхъ и удовольствіе. Вотъ почему мнѣ нужно пріѣхать въ Москву, къ тебѣ, мѣсяца на два съ половиною или больше. Я смотрю на эту поѣздку какъ на мѣру спасенія отъ вѣрной смерти, или неизбѣжной жестокой болѣзни, отъ которой надо будетъ медленно исчахнуть. Если зимняя поѣздка въ Москву, продолжавшаяся съ проѣздомъ взадъ и впередъ какихъ-нибудь три недѣли, оживила меня и физически и нравственно, то какъ же долженъ я поправиться, проведя лѣто вдали отъ чухонскихъ болотъ, безъ труда и заботы, съ тобою вмѣстѣ? О, да я воскресъ бы!..

«...Боже мой, неужели и о *такомъ* счастіи я не долженъ смѣть мечтать».

Еще раньше писалъ онъ, что безденежье навело его на мысль—„подняться на аферы", именно издать одну популярную книжку. Ему долженъ былъ помочь Н-въ: „онъ на это золотой человѣкъ". Теперь Бѣлинскій опять надѣялся (хотя плохо), что съ помощью Н-ва достанетъ себѣ денегъ или отъ книгопродавцевъ, на подрядъ работы, или взаймы. Но изъ слѣдующаго письма, отъ 30 апрѣля, оказывалось, что планъ этотъ не удался, денегъ не было.

Оставалась одна надежда—на московскихъ друзей. Они сами это поняли, и въ маѣ шло дѣло о присылкѣ денегъ. Отъ 10—11 мая, Бѣлинскій опять пишетъ длинное письмо, посвященное „исторіи" и предполагаемой поѣздкѣ въ Москву. Боткинъ относительно „исторіи" былъ въ большой нерѣшимости, такъ что и Бѣлинскій боялся высказывать съ своей стороны чего-нибудь положительнаго: ...„ты самъ поймешь, какъ мудрено и страшно рѣшиться мнѣ моимъ мнѣніемъ склонить вѣсы твоего рѣшенія на ту или другую сторону". О себѣ самомъ онъ говоритъ: „Я болѣнъ и крѣпко болѣнъ; душа моя угнетена трудомъ, заботою и тоскою—мнѣ нуженъ отдыхъ, свобода, бездѣйствіе (котораго я не помню съ послѣдней поѣздки моей въ

Москву)". На другой день онъ пишетъ о томъ же: „Мысль, что я ѣду въ Москву (на пути онъ хотѣлъ заѣхать и къ деревенскимъ друзьямъ), носится въ моей головѣ какъ пріятный сонъ. Я только тогда увѣрюсь въ ея дѣйствительности, когда петербургская застава исчезнетъ изъ виду, и, какъ узникъ, почуявшій свободу, глубоко, вольно и радостно дохну́ я свѣжимъ воздухомъ полей".

Письмо отъ 24 мая адресовано къ обоимъ друзьямъ, которые помогли Бѣлинскому осуществить желанную поѣздку.

«Спасибо вамъ, добрые друзья мои, Б. и Г.! Вы сдѣлали по истинѣ доброе дѣло, одолживъ меня. Никогда пріятельская услуга не была такъ кстати. Я нашелъ доктора, который далъ мнѣ большое облегченіе — это извѣстный тебѣ, Б., Завадскій. Онъ посадилъ меня на великую діету— и я теперь дышу свободно, я теперь почти здоровъ, въ сравненіи съ обыкновеннымъ моимъ состояніемъ. Но всего этого недостаточно. Преферансъ, нужда въ деньгахъ, скука и журнальная поденьщина обратили бы въ ничто благодѣтельныя слѣдствія діеты и леченія. Мнѣ нужно воздуха, свободы, отдыха, far niente,—и я буду все это имѣть. Я теперь почти счастливъ. Душа плаваетъ въ эмпиреяхъ [1]). Иду по улицѣ — и каждому встрѣчному, знакомому и незнакомому, такъ и хочется сказать: а я ѣду въ Москву!»...

Но ему нужно было еще устроить разныя дѣла въ Петербургѣ, взять мѣсто въ дилижансѣ, и онъ могъ выѣхать только 2 іюня.

Съ этимъ письмомъ прерывается тотъ біографическій матеріалъ, какой мы имѣли до сихъ поръ въ перепискѣ Бѣлинскаго съ друзьями, особенно съ Боткинымъ. Переписка его года на три почти прервалась. Съ этого времени до начала 1846 года намъ извѣстно всего нѣсколько писемъ къ друзьямъ: только въ сентябрѣ и октябрѣ 1843 велась особая оживленная переписка, предшествовавшая женитьбѣ Бѣлинскаго, и которая не войдетъ въ наше изложеніе.

Выѣхавши въ началѣ іюня изъ Петербурга, Бѣлинскій посѣтилъ на дорогѣ своихъ старинныхъ друзей, и затѣмъ до конца августа прожилъ въ Москвѣ. Здѣсь былъ цѣлый кругъ друзей, свиданіе съ которыми должно было доставить ему много

[1]) Гоголевская фраза.

отрадныхъ и веселыхъ минутъ. Онъ поселился у Боткина, на извѣстной Моросейкѣ; ѣздилъ въ Покровское, къ Г-ну, и мало работалъ. Здѣсь окончательно укрѣпились дружескія отношенія съ Г-номъ, который видѣлъ его рѣзкія односторонности, но высоко цѣнилъ силу его убѣжденій; онъ понималъ самую нетерпимость Бѣлинскаго, которая исходила изъ страстной преданности своимъ идеямъ и которой вовсе не было въ такой степени у него самого. Такое же взаимное пониманіе утвердилось и съ Грановскимъ.

Около 1 сентября Бѣлинскій былъ опять въ Петербургѣ. Нѣсколькими днями раньше пріѣхалъ туда Боткинъ: его послѣдняя „исторія" пришла къ концу—онъ женился, и вслѣдъ затѣмъ, въ началѣ сентября, уѣхалъ на нѣсколько лѣтъ за границу. Съ этихъ поръ сношенія его съ Бѣлинскимъ почти прекратились: Боткинъ на долго былъ связанъ тяжелыми обстоятельствами своей личной жизни (вскорѣ послѣ женитьбы онъ разошелся съ своей женой), потомъ занятъ и развлеченъ путешествіемъ, главнымъ литературнымъ плодомъ котораго были извѣстныя „Письма объ Испаніи". Въ теченіе двухъ-трехъ лѣтъ друзья помѣнялись едва нѣсколькими письмами. Съ другой стороны въ жизни самого Бѣлинскаго произошла существенная перемѣна.

Живя лѣтомъ въ Москвѣ, Бѣлинскій сблизился съ особой, которая вскорѣ стала его женой. Важность этого событія для Бѣлинскаго должна быть ясна читателю изъ того, что̀ мы знаемъ о нравственномъ настроеніи Бѣлинскаго за эти годы. Онъ внесъ въ эти отношенія все увлеченіе, какое отличало его характеръ: онъ былъ исполненъ ожиданій—должно было кончиться одиночество, подавлявшее его среди трудной внѣшней дѣятельности; онъ ждалъ цѣлаго переворота въ своей жизни... Сентябрь и октябрь заняты усиленной перепиской съ Москвою; наконецъ, въ началѣ ноября, Бѣлинскій сталъ семьяниномъ.

У домашняго очага началась для него новая жизнь, съ ея особыми интересами и тревогами, которыя могли быть только его личной заботой... Бѣлинскій продолжалъ много работать, и даже работалъ больше прежняго.

Прежде чѣмъ перейти къ дальнѣйшему разсказу, мы соберемъ нѣсколько воспоминаній его друзей, которыя могутъ освѣтить какъ личный характеръ Бѣлинскаго въ эту пору его жизни, такъ и обстановку его, моральную и внѣшнюю. Воспоминанія идутъ изъ того ближайшаго круга, который сталъ собираться около Бѣлинскаго съ первой поры его жизни въ Петербургѣ, и если не всегда замѣнялъ для него отсутствующихъ друзей, то все-таки здѣсь Бѣлинскій чувствовалъ себя дома, въ любящей его средѣ. Петербургскій кружокъ Бѣлинскаго не былъ многочисленъ. Мы уже называли нѣкоторыхъ изъ его пріятелей, какъ Панаевъ, Я-въ, Кульчицкій, П. В. Анненковъ, впрочемъ на долго уѣзжавшій за границу; въ этомъ кружкѣ бывали прежде М. Б. и К-въ; бывалъ одно время Г-нъ; нѣсколько позднѣе, Бѣлинскій сблизился съ г. Тургеневымъ, Некрасовымъ,—возобновилось старое знакомство съ г. Кавелинымъ. Еще позднѣе къ дружескому кругу Бѣлинскаго присоединились г. Достоевскій, Гончаровъ, Григоровичъ. Въ этомъ кружкѣ завязали дружескія отношенія Боткинъ, въ свои нерѣдкіе пріѣзды въ Петербургъ, и одинъ изъ старѣйшихъ московскихъ друзей, К-ръ, проживший тогда года два въ Петербургѣ (1843—1845), и наконецъ остальные московскіе друзья, когда имъ случалось заѣзжать въ Петербургъ.

Мы имѣли уже случай замѣтить, что при всѣхъ дружескихъ отношеніяхъ къ Бѣлинскому, почти безъ исключенія глубоко-искреннихъ и очень теплыхъ, не всѣ люди этого круга могли дѣлить тѣ запросы, какіе волновали Бѣлинскаго, особенно въ первую пору; мы видѣли, какъ Бѣлинскій тяготился иногда тѣмъ, что въ ближайшемъ кружкѣ не встрѣчалъ самостоятельныхъ мнѣній, равносильнаго отвѣта или отпора; какъ онъ разочаровывался въ людяхъ, которыхъ, впрочемъ, самъ же производилъ въ глубокія натуры и которыя оказывались только добрыми малыми; какъ тянуло его тогда къ Боткину, хотѣлось говорить съ Г-номъ или Грановскимъ.

Около 1843 года и позднѣе кружокъ умножился, и между прочимъ людьми, которые представили Бѣлинскому и этотъ искомый интересъ. Такъ онъ съ удовольствіемъ встрѣтилъ г. Тургенева, который пріятно поразилъ его оригинальностью и не-

зависимостью своихъ взглядовъ; такъ самостоятельный складъ мысли и таланта нашелъ онъ у гг. Некрасова, Гончарова, Кавелина и др.

Въ письмахъ Бѣлинскаго мы видѣли непосредственныя выраженія его личности; проводимыя ниже воспоминанія дополнятъ ихъ впечатлѣніями его друзей, ближайшихъ свидѣтелей его дѣятельности, и познакомятъ съ характеромъ самаго кружка. Къ тому, что́ было извѣстно въ печати, мы могли прибавить воспоминанія, написанныя г. Кавелинымъ, и воспользоваться нѣкоторыми фактами изъ воспоминаній Н. Н. Т-ва; тѣ и другія были написаны для нашего труда. Остановимся, во-первыхъ, на воспоминаніяхъ г. Тургенева [1]).

Г. Тургеневъ узналъ имя Бѣлинскаго еще во времена „Телескопа"; самъ онъ былъ тогда большой романтикъ, и на первый разъ Бѣлинскій произвелъ на него крайне непріятное впечатлѣніе извѣстнымъ разборомъ стихотвореній Бенедиктова (которыхъ Бѣлинскій никогда не могъ выносить) — г. Тургеневъ былъ возмущенъ этимъ разборомъ, потому что восхищался Бенедиктовымъ; но прошло нѣсколько времени, и онъ уже пересталъ читать Бенедиктова. Съ тѣхъ поръ Бѣлинскій заинтересовалъ его; онъ много слышалъ о Бѣлинскомъ (между прочимъ еще отъ Станкевича, котораго зналъ за-границей въ послѣдній годъ его жизни), и очень желалъ съ нимъ познакомиться, хотя его и приводили въ недоумѣніе нѣкоторыя статьи, писанныя Бѣлинскимъ около 1840 года, т.-е. извѣстныя статьи консервативно-идеалистическаго направленія. Знакомство произошло, какъ мы видѣли, въ зиму 1842—1843.

„Я увидѣлъ, — разсказываетъ г. Тургеневъ, — человѣка небольшого роста, сутуловаго, съ неправильнымъ, но замѣчательнымъ и оригинальнымъ лицомъ, съ нависшими на лобъ бѣло-

---

[1]) „Встрѣча моя съ Бѣлинскимъ", въ „Моск. Вѣстникѣ" 1860, № 3; „Воспоминанія о Бѣлинскомъ", „Вѣстн. Евр." 1869, апрѣль. Послѣднія перепечатаны въ „Сочиненіяхъ", изд. 1869, т. I; но статья „Моск. Вѣстника" забыта въ этомъ изданіи. Читатель увидитъ, что многія подробности разсказа вполнѣ совпадаютъ съ тѣмъ, что мы находимъ въ письмахъ Бѣлинскаго; но слѣдуетъ исправить нѣкоторыя хронологическія неточности, напр. о началѣ знакомства, о женитьбѣ Бѣлинскаго.

журыми волосами и съ тѣмъ суровымъ и безпокойнымъ выраженіемъ, которое такъ часто встрѣчается у застѣнчивыхъ и одинокихъ людей; онъ заговорилъ и закашлялъ въ одно и тоже время, попросилъ насъ сѣсть и самъ торопливо сѣлъ на диванѣ, бѣгая глазами по полу и перебирая табакерку въ маленькихъ и красивыхъ ручкахъ. Одѣтъ онъ былъ въ старый, но опрятный байковый сюртукъ, и въ комнатѣ его замѣчались слѣды любви къ чистотѣ и порядку".

Разговоръ начался. Бѣлинскій говорилъ много, но безучастно и о вещахъ индифферентныхъ, но мало по малу онъ оживился, поднялъ глаза и все лицо его преобразилось. „Прежнее суровое, почти болѣзненное выраженіе замѣнилось другимъ: открытымъ, оживленнымъ и свѣтлымъ; привлекательная улыбка заиграла на его губахъ и засвѣтилась золотыми искорками въ его голубыхъ глазахъ, красоту которыхъ я только тогда и замѣтилъ". Бѣлинскій самъ навелъ разговоръ на упомянутыя выше статьи своего прежняго направленія и съ безжалостной,—г. Тургеневу казалось, даже преувеличенной,—рѣзкостью осудилъ ихъ, черта, съ которой мы уже встрѣчались. Бѣлинскій тяготился воспоминаніемъ объ этихъ статьяхъ; онъ считалъ ихъ не только заблужденіемъ, но вреднымъ заблужденіемъ, и спѣшилъ устранить память о нихъ при встрѣчѣ съ новыми людьми, которые могли не знать всей перемѣны, происшедшей съ тѣхъ поръ въ его взглядахъ. По поводу этого „безжалостнаго" осужденія прежней ошибки, г. Тургеневъ указываетъ, по личнымъ впечатлѣніямъ, то свойство Бѣлинскаго, которое мы постоянно видѣли во всей его біографіи. „Бѣлинскій не вѣдалъ той ложной и мелкой щепетильности эгоистическихъ натуръ, которыя не въ силахъ сознаться въ томъ, что онѣ ошиблись, потому что имъ собственная непогрѣшимость и строгая послѣдовательность поступковъ, часто основанныя на отсутствіи или бѣдности убѣжденій, дороже самой истины. Бѣлинскій былъ самолюбивъ, но себялюбія, но эгоизма въ немъ и слѣда не было; собственно себя онъ ставилъ ни во что: онъ, можно сказать, простодушно забывалъ о себѣ передъ тѣмъ, что̀ признавалъ за истину; онъ былъ живой человѣкъ, — шелъ, падалъ, поднимался и опять шелъ впередъ какъ живой человѣкъ. Спѣшу

прибавить, что падалъ онъ только на пути умственнаго развитія: другихъ паденій онъ не испытывалъ и испытать не могъ, потому что нравственная чистота этого—какъ выражались его противники (гдѣ они теперь!)—„циника" была по истинѣ изумительна и трогательна; знали о ней только близкіе его друзья, которымъ была доступна внутренность храма".

По разсказу г. Тургенева, въ рѣчахъ Бѣлинскаго не было блеска; онъ охотно повторялъ однѣ и тѣ же шутки (что́ бываетъ и въ его письмахъ), смѣялся мало-мальски острому слову, своему и чужому; въ его словахъ не бывало никакихъ цвѣтовъ и искусственныхъ эффектовъ; — но „когда онъ былъ въ ударѣ и умѣлъ сдерживать свои нервы... не было возможно представить человѣка болѣе краснорѣчиваго, въ лучшемъ, въ русскомъ смыслѣ этого слова... Это было неудержимое изліяніе нетерпѣливаго и порывистаго, но свѣтлаго и здраваго ума, согрѣтаго всѣмъ жаромъ чистаго и страстнаго сердца и руководимаго тѣмъ тонкимъ и вѣрнымъ чутьемъ правды и красоты, котораго почти ничѣмъ не замѣнишь".

Въ теченіе зимы, разсказываетъ г. Тургеневъ, онъ видѣлся съ Бѣлинскимъ нѣсколько разъ; на Святой онъ уѣхалъ въ деревню и по возвращеніи опять встрѣтился съ Бѣлинскимъ уже лѣтомъ, на дачѣ въ Лѣсномъ [1]). Тутъ они сошлись окончательно и видались почти каждый день. „Въ то время", разсказываетъ г. Тургеневъ, „(публика объ этомъ давно забыла—я по крайней мѣрѣ льщу себя этой надеждой), я напечаталъ небольшой разсказъ въ стихахъ, который, въ силу нѣкоторыхъ, едва замѣтныхъ, крупицъ чего-то похожаго на дарованіе, заслужилъ одобреніе Бѣлинскаго, всегда готоваго протянуть руку начинающему и привѣтствовать все, что́ хотя немного обѣщало быть полезнымъ приращеніемъ тому, что́ Бѣлинскій любилъ самой страстной любовью — русской словесности. Онъ даже напечаталъ статью объ этомъ разсказѣ въ „Отеч. Запискахъ",— статью, которую я не могу вспомнить не краснѣя; за то въ весьма непродолжительномъ времени надежды Бѣлинскаго на

---

[1]) Рѣчь идетъ вѣроятно уже о лѣтѣ 1844 года (ср. „В. Евр.", стр. 700), потому что лѣто 1843 г. Бѣлинскій прожилъ въ Москвѣ.

мою литературную будущность значительно охладѣли, и онъ сталъ считать меня способнымъ на одну лишь критическую и этнографическую дѣятельность". Разсказъ, о которомъ здѣсь говорится, назывался „Параша" и изданъ былъ весной 1843 года отдѣльной книжкой. Бѣлинскій упоминаетъ о немъ въ письмѣ къ Боткину отъ 10—11 мая такими словами: „читалъ ли ты „Парашу"?—Это превосходное поэтическое созданіе. Ты вѣрно угадалъ автора?" Удовольствіе Бѣлинскаго отъ „поэтическаго созданія" выразилось большой библіографической статьей въ майской книжкѣ „Отеч. Записокъ" 1843 [1]).

Мы видѣли, что уже въ первое время Бѣлинскій очень заинтересовался г. Тургеневымъ; между ними велись продолжительныя бесѣды,—„въ теченіе которыхъ мы съ Бѣлинскимъ касались всѣхъ возможныхъ предметовъ, преимущественно однако философскихъ и литературныхъ".

Бѣлинскій занималъ тогда одну изъ тѣхъ извѣстныхъ „дачъ", сколоченныхъ изъ барочныхъ досокъ и оклеенныхъ грубыми обоями, съ жалкимъ „общимъ" садикомъ, не дававшимъ никакой тѣни, дачъ, какихъ и теперь много въ окрестностяхъ Петербурга. Удобствъ не было никакихъ. „Но лѣто стояло чудесное", разсказываетъ г. Тургеневъ, „и мы съ Бѣлинскимъ много гуляли по сосновымъ рощицамъ, окружающимъ Лѣсной Институтъ; запахъ ихъ былъ полезенъ его уже тогда разстроенной груди. Мы садились на сухой и мягкій, усѣянный тонкими иглами мохъ, и тутъ-то происходили между нами долгіе разговоры"... „Со мной,—разсказываетъ г. Тургеневъ,—онъ говорилъ особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ въ теченіе двухъ семестровъ занимался гегелевской философіей и былъ въ состояніи передать ему самые свѣжіе, послѣдніе выводы. Мы еще вѣрили тогда въ дѣйствительность и важность философическихъ и метафизическихъ выводовъ, хотя ни онъ, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на нѣмецкій манеръ... Впрочемъ, мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія"...

---

[1]) Соч., т. VII, стр. 258—277.

„Бѣлинскій разспрашивалъ меня,—говоритъ г. Тургеневъ,—слушалъ, возражалъ, развивалъ свои мысли—и все это онъ дѣлалъ съ какой-то алчной жадностью, съ какимъ-то стремительнымъ домогательствомъ истины. Трудно было иногда слѣдить за нимъ; человѣку хотѣлось — по человѣчеству—отдохнуть, но онъ не зналъ отдыха,—и ты по неволѣ отвѣчалъ и спорилъ—и нельзя было пенять на это нетерпѣніе: оно вытекало изъ самыхъ нѣдръ взволнованной души. Страстная по преимуществу натура Бѣлинскаго высказывалась въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи, въ самомъ его молчаніи; умъ его постоянно и неутомимо работалъ;—но теперь, когда я вспоминаю о нашихъ разговорахъ, меня болѣе всего поражаетъ тотъ глубокій здравый смыслъ, то, ему самому не совсѣмъ ясное, но тѣмъ болѣе сильное сознаніе своего призванія, сознаніе, которое, при всѣхъ его безоглядочныхъ порывахъ, не позволяло ему отклоняться отъ единственно полезной [1]) въ то время дѣятельности: литературно-критической, въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова“...

Изъ содержанія своихъ тогдашнихъ бесѣдъ съ Бѣлинскимъ, г. Тургеневъ приводитъ одинъ примѣръ, очень характеристичный. „Вскорѣ послѣ моего знакомства съ нимъ его снова начали тревожить тѣ вопросы, которые, не получивъ разрѣшенія или получивъ разрѣшеніе одностороннее, не даютъ покоя человѣку, особенно въ молодости: философическіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніяхъ людей другъ къ другу и къ Божеству, о происхожденіи міра, о безсмертіи души и т. п.... Его мучили сомнѣнія.... именно мучили, лишали его сна, пищи, неотступно грызли, жгли его; онъ не позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ денно и нощно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые задавалъ себѣ... Искренность его дѣйствовала на меня; его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два-три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое... я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ, сама жена Бѣлинскаго умоляла, и мужа и меня, хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напо-

---

[1]) Точнѣе было-бы сказать: единственно-возможной.

минала ему предписаніе врача... но съ Бѣлинскимъ сладить было нелегко.—„Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога,—сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ,—а вы хотите ѣсть!“.. Сознаюсь, что написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ иныхъ изъ моихъ читателей... Но не пришло бы въ голову смѣяться тому, кто самъ бы слышалъ, какъ Бѣлинскій произнесъ эти слова, и если, при воспоминаніи объ *этой* правдивости, объ *этой* небоязни смѣшного, улыбка можетъ придти на уста, то развѣ улыбка умиленія и удивленія“.

Мы имѣемъ здѣсь наглядный образчикъ того увлеченія, съ какимъ Бѣлинскій отдавался волновавшимъ его вопросамъ. Читатель видѣлъ эту самую черту въ страстныхъ тирадахъ, какими исполнены письма Бѣлинскаго. Припомнимъ, что въ нихъ являлся и вопросъ о безсмертіи души...

Приводимъ изъ тѣхъ же воспоминаній еще одну черту мнѣній Бѣлинскаго въ этомъ періодѣ, когда отвлеченное искусство потеряло исключительное господство въ его литературной теоріи, и передъ нимъ вставали требованія жизни, стремленіе къ общественному благу, какъ основная, достойная цѣль для мыслящаго человѣка и — писателя. Слѣдующій эпизодъ, кажется, вѣрно передаетъ и самую манеру рѣчи Бѣлинскаго.

„Бѣлинскій, какъ извѣстно, не былъ [1]) поклонникомъ принципа: искусство для искусства;—да оно и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, съ какой комической яростью онъ однажды при мнѣ напалъ на—отсутствующаго, разумѣется — Пушкина, за его два стиха въ „Поэтъ и Чернь“:

Печной горшокъ тебѣ дороже:
Ты пищу въ немъ себѣ варишь!

— „И конечно, — твердилъ Бѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ: — конечно дороже. — Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пищу варю—и прежде чѣмъ любоваться красотой истукана,— будь онъ распрефидіасовскій Аполлонъ, — мое право, моя обя-

[1]) Т.-е. въ эти годы.

занность накормить своихъ—и себя, на зло всякимъ негодующимъ баричамъ и виршеплётамъ!"

Г. Тургеневъ дѣлаетъ потомъ оговорку, что Бѣлинскій былъ слишкомъ уменъ, слишкомъ одаренъ здравымъ смысломъ, чтобы не цѣнить высоко искусство, — но приведенныя слова передавали однако существенный элементъ его взгляда на искусство, и комическая внѣшность этихъ словъ, если она была, нимало не уменьшаетъ ихъ серьёзнаго смысла.

Около 1842—1843 г. возобновилъ съ Бѣлинскимъ свое старое знакомство г. Кавелинъ. Переѣхавъ въ это время въ Петербургъ изъ Москвы, онъ поселился на одной квартирѣ съ Кульчицкимъ и Н. Т-мъ. Бѣлинскій, въ то время особенно тяготившійся своимъ одиночествомъ, любилъ бывать въ этомъ молодомъ кружкѣ, куда собирались и другіе его пріятели. Здѣсь онъ, между прочимъ, предавался и игрѣ въ карты, страсть къ которой, по словамъ самого Бѣлинскаго, приводила въ ужасъ его друзей и объяснялась его тревожнымъ внутреннимъ состояніемъ, заставлявшимъ искать внѣшняго развлеченія.

Читатель безъ сомнѣнія съ любопытствомъ прочтетъ отрывки изъ разсказа г. Кавелина: это—свидѣтельство очевидца и изображеніе такихъ сторонъ личности и моральнаго вліянія Бѣлинскаго, которыхъ не могли представить намъ съ такою живостью другіе источники настоящей біографіи.

Время (около года), проведенное въ Петербургѣ въ этой средѣ, авторъ разсказа причисляетъ къ лучшимъ, счастливѣйшимъ воспоминаніямъ своей жизни,—и этимъ считаетъ себя обязаннымъ кружку, и особенно главѣ его — Бѣлинскому.

„Онъ имѣлъ на меня и на всѣхъ насъ чарующее дѣйствіе. Это было нѣчто гораздо больше оцѣнки ума, обаянія таланта,— нѣтъ, это было дѣйствіе человѣка, который не только шелъ далеко впереди насъ яснымъ пониманіемъ стремленій и потребностей того мыслящаго меньшинства, къ которому мы принадлежали, не только освѣщалъ и указывалъ намъ путь, но всѣмъ своимъ существомъ жилъ для тѣхъ идей и стремленій, которыя жили во всѣхъ насъ, отдавался имъ страстно, наполнялъ ими все свое бытіе. Прибавьте къ этому гражданскую,

политическую и всяческую безупречность, безпощадность къ самому себѣ, при большомъ самолюбіи, и вы поймете, почему этотъ человѣкъ господствовалъ въ кружкѣ неограниченно. Мы понимали, что онъ въ своихъ сужденіяхъ часто бывалъ неправъ, увлекался страстью далеко за предѣлы истины; мы знали, что свѣдѣнія его (кромѣ русской литературы и ея исторіи) бывали недостаточны; мы видѣли, что Бѣлинскій часто поступалъ какъ ребенокъ, какъ ребенокъ капризничалъ, малодушествовалъ и увлекался... Но все это исчезало передъ подавляющимъ авторитетомъ великаго таланта, страстной, благороднѣйшей гражданской мысли и чистой личности, безъ пятна, личности, которой нельзя было подкупить ничѣмъ,—даже ловкой игрой на струнѣ самолюбія.

„Бѣлинскаго въ нашемъ кружкѣ не только нѣжно любили и уважали, но и побаивались. Каждый пряталъ гниль, которую носилъ въ своей душѣ, какъ можно подальше. Бѣда, если она попадала на глаза Бѣлинскому: онъ ее выворачивалъ тотчасъ же напоказъ всѣмъ и неумолимо, язвительно преслѣдовалъ несчастнаго дни и недѣли, не келейно, а соборнѣ, предъ всѣмъ кружкомъ... Извѣстно, что и себя онъ тоже не щадилъ. Панаеву немало доставалось за его суетность, мнѣ за „прекраснодушіе“ и за славянофильскія наклонности, которыя въ то время были очень сильны. Вліяніе Бѣлинскаго на мое нравственное и умственное воспитаніе за этотъ періодъ моей жизни было неизмѣримо и оно никогда не изгладится изъ моей памяти“.

Называя, въ числѣ членовъ кружка, г. Тургенева, авторъ воспоминаній замѣчаетъ, что Бѣлинскій благоволилъ къ нему между прочимъ и за нѣсколько стиховъ въ „Парашѣ“—отрицательнаго и демоническаго свойства. Онъ припоминаетъ, что Бѣлинскій особенно восторгался стихомъ, гдѣ говорится о „хохотѣ сатаны“, и привелъ этотъ стихъ въ критической статьѣ [1]).

„Какъ мы проводили время и что происходило въ нашемъ капельномъ кружкѣ, это легко представить себѣ всякій, кто знакомъ, хоть по наслышкѣ, съ молодыми литературными кружками 30-хъ и 40-хъ годовъ. Аристократическимъ изяществомъ

[1]) Упоминаемая здѣсь цитата изъ „Параши“—въ Сочин., VII, стр. 272.

людей съ достаткомъ всѣ мы, кромѣ Панаева и Тургенева, не отличались. Аристократическіе салоны и литературные тузы были намъ извѣстны только по имени. Но весело намъ было очень, насколько можно было веселиться при тогдашней обстановкѣ... Каждый литературный кружокъ, въ томъ числѣ и нашъ, былъ тогда похожъ на секту, въ которую новые члены принимались трудно, по испытаніи и рекомендаціи. Мы мечтали о лучшемъ будущемъ, не формулируя положительно, какимъ оно должно быть, жадно собирали всѣ анекдоты, слухи и разсказы, изъ которыхъ прямо или косвенно слѣдовало... приближеніе иного времени..., также жадно и зорко слѣдили за всякимъ проявленіемъ въ словѣ или печати мыслей и стремленій, которыми были преисполнены. Каждый мѣсяцъ приносилъ намъ новинку—статью, а иногда и больше, Бѣлинскаго, которую читали и перечитывали. Жоржъ-Зандъ и французская литература... пользовались великимъ авторитетомъ. За событіями политическими въ Европѣ мы слѣдили внимательно, но нельзя сказать, чтобъ съ настоящимъ пониманіемъ.

„Взаимныя отношенія членовъ кружка̀ были самыя дружескія, тѣсныя, интимныя. Камертонъ имъ давалъ Бѣлинскій. Шуткамъ и остроуміямъ, часто и неостроумнымъ, не было конца. Запѣвалой былъ почти всегда Бѣлинскій... Споры и серьёзные разговоры не велись методически, а всегда перемежались и смѣшивались съ остротами и шутками.

„Все это очень извѣстно и обыкновенно въ нашихъ русскихъ дружескихъ кружка̀хъ и по складу нашего ума не можетъ быть иначе. Отмѣчу нѣкоторыя особенности нашего тогдашняго кружка, обусловленныя родомъ жизни и вкусами Бѣлинскаго. Онъ работалъ какъ истинно русскій человѣкъ — запоемъ, и когда могъ отдыхать, т.-е. когда необходимость не заставляла его работать, охотно лѣнился, болталъ и игралъ въ карты, ради препровожденія времени. Игрокомъ онъ никогда не былъ. Съ половины мѣсяца, или такъ между 15 и 20 числами, Бѣлинскій исчезалъ для друзей—запирался и писалъ для журнала. Ходить къ нему въ это время было неделикатно. Бѣлинскій болталъ охотно, но проведенное въ разговорѣ время приходилось ему наверстывать ночью, потому что работа была срочная... Съ вы-

ходомъ книжки Бѣлинскій становился свободнымъ и приходилъ почти каждый день къ намъ, иногда къ обѣду, но всего чаще тотчасъ послѣ обѣда — играть въ карты... Такъ какъ друзья Бѣлинскаго знали, что онъ почти каждый вечеръ проводитъ у насъ, то приходили къ намъ, и такимъ образомъ квартира наша мало-по-малу обратилась въ клубъ. Каждый вечеръ кто-нибудь изъ друзей забѣгалъ хоть на минуту повидаться съ Бѣлинскимъ, сообщить новость, переговорить о дѣлѣ. Какъ только приходилъ Бѣлинскій послѣ обѣда—тотчасъ же начиналась игра въ карты, копѣечная, но которая занимала и волновала его до смѣшного. Заигрывались мы вчастую до бѣла дня. Т-въ игралъ спокойно и съ перемѣннымъ счастіемъ; я вѣчно проигрывалъ; Кульчицкому счастье всегда валило удивительное и онъ игралъ отлично. Бѣлинскій игралъ плохо, горячился, ремизился страшно, и рѣдко оканчивалъ вечеръ безъ проигрыша. На этихъ-то картежныхъ вечерахъ, увѣковѣченныхъ для кружка брошюркой Кульчицкаго: „Нѣкоторыя великія и полезныя истины объ игрѣ въ преферансъ“, изданной подъ псевдонимомъ кандидата Ремизова, происходили тѣ сцены высокаго комизма, которыя приводили часто въ негодованіе Т-ва, забавляли друзей, а меня приводили въ глубокое умиленіе и еще больше привязывали къ Бѣлинскому [1])“...

---

[1]) Книжка кандидата Ремизова, которую рѣдко гдѣ можно теперь встрѣтить, стóитъ упоминанія, такъ какъ даетъ понятіе о невинныхъ развлеченіяхъ кружка. Нечего упоминать, что она была написана (не безъ участія и другихъ пріятелей) именно для Бѣлинскаго.

Книжка носила слѣдующее заглавіе: „Нѣкоторыя великія и полезныя истины объ игрѣ въ преферансъ, заимствованныя у разныхъ древнихъ и новѣйшихъ писателей и приведенныя въ систему кандидатомъ философіи П. Ремизовымъ“. Спб., въ тип. Жернакова. 1843. Въ 16-ю д. л., 31 стр. Ей посвящена рецензія въ 4-й кн. „Отеч. Зап.“ за этотъ годъ—гдѣ отдана справедливость серьёзному взгляду автора на предметъ. „Игра въ преферансъ“, — говоритъ рецензія, — „для насъ теперь тоже самое, чѣмъ было искусство для грековъ, гражданская жизнь для римлянъ, что теперь наука для нѣмцевъ, театръ, балы и маскарады для французовъ, парламентъ и биржа для англичанъ. Маленькія дѣти теперь уже знаютъ у насъ, чтó такое „прикупка“ и „игра прямо“ и обѣщаютъ въ своемъ лицѣ богатое надеждами поколѣніе“. Нѣсколько отрывковъ дадутъ понятіе о тонѣ книжки.

Авторъ желалъ изложить дѣло обстоятельно, и говоритъ по рубрикамъ

„Повѣритъ ли читатель, что въ нашу игру, невинѣйшую изъ невинныхъ, которая въ худшемъ случаѣ оканчивалась рублемъ, двумя, Бѣлинскій вносилъ всѣ перипетіи страсти, отчаянія и радости, точно участвовалъ въ великихъ историческихъ событіяхъ? Садился онъ играть съ большимъ увлеченіемъ, и если ему везло, былъ доволенъ и веселъ... Поставя нѣсколько ремизовъ, Бѣлинскій становился мрачнымъ, жаловался на судьбу, которая его во всемъ преслѣдуетъ и наконецъ съ отчаяніемъ

объ *исторіи* преферанса, объ его *пользѣ*, объ его *философіи*, о нужныхъ для него *спеціальныхъ познаніяхъ* и т. д.

„§ 1. Преферансъ (говорится въ отдѣлѣ *исторіи*) есть самая древнѣйшая игра въ мірѣ, что́ уже достаточно доказывается однимъ наименованіемъ ея, ибо слово *преферансъ* происходитъ отъ глагола fero, tuli, latum, ferre, что значитъ *несу, отношу* или *сношу*.

„§ 2. По паденіи Западной Римской Имперіи, игра сія перешла къ народамъ Галльскаго племени. Съ успѣхами наукъ и просвѣщенія, она болѣе и болѣе совершенствовалась и наконецъ, у французовъ, достигла высшаго своего развитія. Оттуда распространилась она по всѣмъ частямъ земного шара, достигнувъ такимъ образомъ и нашего любезнаго отечества, и получивъ то великое значеніе, въ какомъ мы оную теперь видимъ.

„§ 4. Отъ игры *безъ переговоровъ* человѣчество, въ постоянномъ стремленіи своемъ къ совершенствованію, перешло наконецъ къ игрѣ *съ переговоромъ* и стало играть *семь*, *восемь* и т. д. безъ прикупки. Честь такого открытія принадлежитъ исключительно изобрѣтательному XIX вѣку. Впрочемъ, должно упомянуть, что и въ наше время нѣкоторые дикіе и невѣжественные народы играютъ еще въ преферансъ безъ переговоровъ, такъ, напр., Кафры, жители Огненной Земли и проч.“

„Въ преферансѣ,—говоритъ кандидатъ философіи Ремизовъ, — съ незапамятныхъ временъ, всегда существовало 10 взятокъ. Греки, любившіе все обожествлять и персонифьировать, полную преферансовую игру олицетворили въ Аполлонѣ съ 9-ю музами. Очевидно, что это было не что иное, какъ 10 въ черняхъ: Аполлонъ — тузъ, Мельпомена — король и т. д. Оттуда и преданіе, что музы услаждаютъ жизнь человѣческую. Римляне, все переносившіе въ право, тоже самое понятіе выразили въ законахъ, изобразивъ ихъ на доскахъ или таблицахъ, коихъ было первоначально 10; а двѣ прибавлены въ послѣдствіи для обозначенія прикупки“...

Для игры въ преферансъ требуется великое присутствіе духа, чувство собственнаго достоинства и предпріимчивость: и въ доказательство этой теоретической истины приводится въ книжкѣ историческій эпизодъ о войнѣ Аннибала съ Фабіемъ.

„Садясь въ преферансъ, кромѣ спеціальныхъ познаній, должно имѣть не-

бросалъ карты и уходилъ въ темную комнату. Мы продолжали игру какъ будто ни въ чемъ не бывало. Кульчицкій (игравшій обыкновенно счастливо) нарочно ремизился отчаянно и мы шумно выражали свою радость, что наконецъ-то и онъ попался. Послѣ двухъ-трехъ такихъ умышленныхъ ремизовъ и криковъ, сосѣдняя дверь тихонько пріотворялась и Бѣлинскій выглядывалъ оттуда на игру съ сіяющимъ лицомъ. Еще два-три ремиза—и онъ выходилъ изъ темной комнаты, съ азартомъ садился за игру и она продолжалась вчетверомъ по прежнему. Такая наивность и ребячество меня всегда глубоко поражали въ замѣчательныхъ

поколебимое присутствіе духа, единство цѣли и сосредоточенность мысли Великая игра сія требуетъ соединенія въ одномъ лицѣ предпріимчивости полководца, настойчивости дипломата и глубокомыслія ученаго. Древніе приступали къ ней, очистивъ себя напередъ жертвой, и, какъ говорили — manibus puris. Мы, новѣйшіе, садясь въ преферансъ, должны сохранять какъ въ лицѣ своемъ, такъ и въ движеніяхъ отпечатокъ достоинства... Закройте ваши помыслы непроницаемой для противниковъ завѣсой. Пусть лицо ваше ничего не выражаетъ, кромѣ чувства собственнаго достоинства, не оскорбляющаго, впрочемъ, достоинства другихъ. Тогда всѣ скажутъ: „какой прекрасный человѣкъ", и будутъ играть съ вами спустя рукава.

„На счетъ присутствія духа и предпріимчивости многіе имѣютъ весьма ложныя понятія. Я видѣлъ людей, которые безумно расточаютъ врожденную имъ храбрость и врываются въ отчаянныя игры почти безъ оружія (т.-е. безъ взятки). Правда, дѣла ихъ увѣнчиваются иногда блистательнымъ успѣхомъ, но увы, слишкомъ кратковременнымъ: грозный разсчетъ чаще всего падаетъ позоромъ на главу ихъ, опустошеніемъ на карманъ! Не таково присутствіе духа мужа испытаннаго!.. Поэтому, садясь въ преферансъ, не только не должно хвастаться передъ другими, говоря: „я, нынче, господа, обрѣжу васъ", но даже и подумать о томъ предъ самимъ собой. Приведемъ разительный тому примѣръ изъ древняго міра. Когда Аннибалъ запугалъ римлянъ своими побѣдами, они выслали къ нему Фабія, старика чрезвычайно тонкаго и замысловатаго. Прибывъ къ войску, онъ тотчасъ понялъ, что тутъ силой ничего не возьмешь. Тогда онъ прибѣгнулъ къ хитрости и отправился въ станъ къ Аннибалу, будто бы для переговоровъ. Аннибалъ его принялъ очень вѣжливо и приказалъ поставить самоваръ. Такъ какъ дѣло шло ужъ къ вечеру, то хозяинъ спросилъ у Фабія: „а что, не хотите ли въ преферансикъ?"—Нѣтъ,—отвѣчалъ Фабій,—я плохо играю. — „Ничего; мы сядемъ по маленькой". Сѣли и записали по XXX. (Тогда записывали римскими цифрами).

— Развѣ,—сказалъ Фабій,—для занимательности игры, не поставить ли намъ въ пульку судьбу Рима и Карѳагена? Отъ этого и казна больше выиграетъ, и намъ будетъ...

людяхъ и еще сильнѣе къ нимъ привязывали [1]). Та же черта была и въ Г-нѣ, съ которымъ Бѣлинскій имѣлъ всего болѣе родства по натурѣ. Они во многомъ напоминали другъ друга. Я дорожу этой чертой какъ очень характеристической въ Бѣлинскомъ и потому такъ подробно описываю случаи, повидимому совершенно ничтожные [2]).

„Въ эпоху, которую описываю (1843), талантъ, нравственная физіономія и образъ мыслей Бѣлинскаго сложились окончательно и достигли своего апогея. Никакихъ колебаній и шатаній изъ стороны въ сторону не было. Его симпатіи клонились къ сторонѣ Франціи, а не Германіи или Англіи. Его идеалы были нравственно-соціальные болѣе, чѣмъ политическіе.

— Почтеннѣйшій, — перебилъ его Аннибалъ:—оно такъ, казна дѣйствительно больше выиграетъ, да вѣдь я васъ обдую...

— Это еще неизвѣстно.

— Обдую непремѣнно. Въ Кареагенѣ я обдувалъ весь свѣтъ.

— Ну, это еще неизвѣстно.

„Слово за слово; поспорили. И въ то время, какъ Аннибалъ, ставя Фабію ремизъ за ремизомъ, хвасталъ и смѣялся, старый римлянинъ тихо взывалъ къ богамъ: безсмертные!.. Между тѣмъ, счастіе къ Аннибалу валило чертовское. „А что, а что!“ кричалъ онъ въ восторгѣ: „вотъ вамъ еще ремизъ!“—Ничего, отвѣчалъ Фабій: finis coronat opus.—„Какой тутъ finis — смотрите—я въ малинѣ“.—Finis coronat opus, — повторялъ упрямый старикъ. И дѣйствительно: подъ конецъ Аннибалъ какъ-то зацѣпился и поставилъ 3 ремиза. Это его взбѣсило. „Играю—говоритъ — въ червяхъ“. И, несмотря на карты, онъ объявилъ игру и поставилъ еще 5; потомъ дальше, дальше. Кончилось тѣмъ, что Аннибалъ проигралъ Фабію всѣ деньги, вещи, дорожную свою шкатулку, войсковой багажъ и пр., и со стыдомъ бѣжалъ зимовать въ Капуу (Титъ Ливій, книга III, стр. 281).

О Кульчицкомъ, авторѣ этой шутки, мы говорили прежде. Въ эти годы онъ выступилъ въ литературѣ съ легкими юмористическими разсказами, довольно забавными въ самомъ дѣлѣ,—подъ псевдонимомъ Говорилина. См. напр. „Омнибусъ“ въ „Физіологіи Петербурга“, изд. Некрасовымъ, 1844—1845; „Необыкновенный Поединокъ, романтическая повѣсть“, въ „Отеч. Зап.“ 1845, кн. 3.—Кульчицкій вскорѣ умеръ (въ 1845 или 1846).

[1]) Подобные анекдоты см. также въ „Воспоминаніяхъ Панаева“, „Совр.“ 1860, кн. I, стр. 361, и „Восп. Тургенева“, „В. Евр.“, 1869, апр., стр. 717—718.

[2]) Но были у Бѣлинскаго одни знакомые, гдѣ ему приводилось дѣлать болѣе серьёзные проигрыши, напр. тѣ, на какіе онъ жаловался въ письмахъ къ Боткину.

Политической программы ни у кого въ тогдашнихъ кружкахъ не было. Къ тогдашнему нашему status quo Бѣлинскій относился отрицательно на всѣхъ путяхъ, и ненавидѣлъ панславизмъ во всѣхъ его направленіяхъ и со всѣми его идеалами, чутко схватывая, что эти идеалы — пережитое прошедшее, которое и привело къ печальному настоящему. Ненависть и любовь его одинаково выражались страстно, подъ-часъ ребячески, съ чудовищными преувеличеніями, но въ которыхъ всегда лежала вѣрная, свѣтлая и глубокая мысль, которую мы понимали. Разъ какъ-то въ спорѣ Бѣлинскій съ яростью объявилъ, что черногорцевъ надо вырѣзать всѣхъ до послѣдняго. Другой разъ, по поводу какой-то книги, романа или стиховъ, гдѣ поминались русскіе шлемы, латы, доспѣхи, онъ напечаталъ коротенькую рецензію, въ которой говорилъ, что ничего этого никто не видалъ, а всѣ знаютъ лапти, мочалы, рогожи и палки. Враги Бѣлинскаго пользовались этими страстными выходками и отчасти умышленно, отчасти по тупости не хотѣли или не умѣли понять того, что́ онъ говорилъ или хотѣлъ сказать. Послѣ, положительная сторона его ненавистей и отрицаній выступила яснѣе. Говорятъ, что за-границей онъ страшно тосковалъ и стремился назадъ. Нѣсколько лѣтъ спустя, въ Москвѣ, въ одномъ разговорѣ съ Грановскимъ, при которомъ я присутствовалъ, Бѣлинскій даже выражалъ славянофильскую мысль, что Россія лучше съумѣетъ, пожалуй, разрѣшить соціальный вопросъ и покончить съ враждой капитала и собственности съ трудомъ, чѣмъ Европа. Но Бѣлинскій ясно понималъ, что тогдашнее положеніе наше, съ ногъ до головы, ненормальное... Здѣсь будетъ кстати сказать, что Бѣлинскій не любилъ поляковъ и съ необыкновеннымъ своимъ чутьемъ, далеко опережавшимъ время, прозрѣвалъ въ нихъ узкихъ провинціаловъ. Ему особенно не нравилось въ полякахъ то, что они считаютъ Варшаву наравнѣ съ Парижемъ, Мицкевича наравнѣ съ Гёте, что послушать ихъ—ихъ политики, поэты, художники, философы за поясъ заткнутъ европейскія свѣтила. Эта черта, т.-е. провинціальность, недавно подмѣченная и разоблаченная Драгомановымъ у галичанъ и разныхъ западныхъ славянъ, не ускользнула отъ зоркаго взгляда Бѣлинскаго въ полякахъ. Бѣлинскій вмѣ-

нялъ русскимъ въ особенное достоинство, что они трезвы умомъ, не таращатся, относятся къ себѣ отрицательно и что имъ нечего охранять. Петра Великаго онъ боготворилъ. „Пишите скорѣй его исторію", говаривалъ Бѣлинскій: „пройдетъ сто лѣтъ и никто не повѣритъ, что Петръ не миѳъ, а историческая дѣйствительность".

„Изъ этого періода времени сохранилась въ моей памяти еще одна черта Бѣлинскаго, которой не могу пройти мимо. Къ концу моего пребыванія въ Петербургѣ, до московской профессуры, сюда пріѣхалъ Рубини, съ котораго началась здѣшняя итальянская опера. Нашъ кружокъ бросился съ жадностью на эту новинку. Разъ какъ-то давалась „Лучія ди-Ламмермуръ". Мы были въ ложѣ: Панаевы, Т-въ, Бѣлинскій и я (другихъ не помню). Въ извѣстной патетической сценѣ горькаго упрека героя оперы своей возлюбленной, Бѣлинскій былъ глубоко потрясенъ, на силу сдержалъ слезы и назвалъ Рубини великимъ актеромъ. Объективной цѣны этотъ отзывъ не имѣетъ никакой, но онъ характеризуетъ и Бѣлинскаго и время. Наше полное музыкальное невѣжество объясняетъ, какимъ образомъ ничтожная пьеса могла такъ глубоко подѣйствовать на Бѣлинскаго и вызвать то горькое чувство, которое лежало въ душѣ каждаго въ то время. Это чувство объясняетъ и огромный успѣхъ Лермонтова и Некрасова—гораздо больше, чѣмъ ихъ дѣйствительныя поэтическія достоинства"...

Но дѣло тутъ шло не столько о музыкѣ, сколько о драматическомъ исполненіи, которое съ полнымъ правомъ могло привести Бѣлинскаго въ восторгъ и затронуть „горькое чувство" [1]). Въ перепискѣ сохранилось воспоминаніе самого Бѣлинскаго о томъ впечатлѣніи, какое произвелъ на него Рубини.

«Слушалъ я третьяго дня Рубини (въ «Лучіи Ламмермуръ»), — пишетъ Бѣлинскій Боткину 30 апрѣля 1843,—страшный художникъ—и въ третьемъ актѣ я плакалъ слезами, которыми давно уже не плакалъ. Сегодня опять буду слушать ту же оперу. Сцена, гдѣ онъ срываетъ кольцо съ Лучіи и призываетъ небо въ свидѣтели ея вѣроломства — страшна,

---

[1]) Музыкѣ „Лучіи" и тогда не придавали никакой особой важности, и успѣхъ оперы приписывали пѣвцу и актеру, а не композитору. Ср. статью: „Рубини и итал. музыка", въ „Отеч. Зап." 1843, кн. 7, стр. 48.

ужасна, — я вспомнилъ Мочалова и понялъ, что всѣ искусства имѣютъ одни законы. Боже мой, что это за рыдающій голосъ — столько чувства, такая огненная лава чувства — да отъ этого можно съ ума сойти»...

Въ этомъ кружкѣ (для полнаго перечисленія котораго надо было бы еще назвать только два-три имени) проходила въ Петербургѣ жизнь Бѣлинскаго: здѣсь онъ чувствовалъ себя между друзьями, свободно высказывался и былъ самимъ собой. Въ другомъ, мало знакомомъ обществѣ онъ былъ стѣсненъ, связанъ, имъ овладѣвала та боязнь людей, на которую онъ самъ жаловался какъ на свое бѣдствіе, на болѣзнь. Попытки друзей, особенно Панаева, ввести его въ другіе круги, напр. на литературные вечера кн. Одоевскаго, оставались неудачны и отяготительны для Бѣлинскаго.

Прибавимъ двѣ-три черты изъ воспоминаній Панаева, которыя мы уже не разъ цитировали. Хотя его и любятъ упрекать въ недостаткѣ серьезности, его разсказы обыкновенно весьма точны.

„Кружокъ, въ которомъ жилъ Бѣлинскій (разсказываетъ онъ) былъ тѣсно сплоченъ и сохранялся во всей чистотѣ до самой его смерти. Онъ поддерживался силою его духа и убѣжденій.— Послѣ его смерти всѣ какъ-то разбрелись и спутались, но память объ этомъ кружкѣ, вѣрно, до сихъ поръ дорогà каждому изъ тѣхъ, которые принадлежали къ нему...

Бѣлинскій рѣдко выходилъ изъ этого кружка и показывался въ литературный свѣтъ.

„Этотъ свѣтъ изрѣдка открывался для него только въ одномъ домѣ, куда стекались разъ въ недѣлю всевозможныя извѣстности — ученыя, военныя, литературныя, духовныя, и вѣликосвѣтскія. Большой гармоніи и одушевленія въ этомъ обществѣ не могло существовать; усиліе хозяина дома сближать литературу съ великосвѣтскимъ обществомъ неудавалось. Для великосвѣтскаго общества, никогда не принимавшаго живого участія въ отечественной литературѣ, вся тогдашняя литература заключалась только въ пяти или шести литературныхъ авторитетахъ, посѣщавшихъ салоны. На остальныхъ литерато-

ровъ и ученыхъ — людей, по бо́льшей части не свѣтскихъ, застѣнчивыхъ, это общество посматривало съ нѣсколько оскорбительнымъ любопытствомъ сквозь стеклышки и лорнеты, какъ на звѣрей; спрашивая съ удивленіемъ хозяина дома: „откуда *это?* что *это?*" Литературные авторитеты не желали сближаться съ этими остальными и удостоивали ихъ только изрѣдка своего благосклоннаго вниманія или одобренія...

„Это былъ домъ кн. В. Ѳ. Одоевскаго [1]).

„Положеніе записныхъ ученыхъ и литераторовъ было очень неловко въ этомъ великосвѣтскомъ литературномъ салонѣ. Они обыкновенно съ робостію, съ замирающимъ дыханіемъ пробирались черезъ салонъ, преслѣдуемые дамскими лорнетами и мужскими стеклышками, въ кабинетъ радушнаго хозяина и тамъ уже, забравшись куда-нибудь въ уголокъ, вздыхали полной грудью.

„Нужно ли было сближать литературу съ великосвѣтскостью — это вопросъ, въ разсмотрѣніе котораго я входить здѣсь не буду...

„Но упоминая объ этихъ собраніяхъ, я долженъ сказать, что всѣхъ человѣчнѣе, всѣхъ лучше являлся на нихъ самъ хозяинъ дома, принимавшій съ одинаковымъ радушіемъ, теплотою и искренностію, безъ различія, каждаго своего гостя—какого-нибудь важнаго, значительнаго господина съ украшеніями на фракѣ и бѣднаго, робкаго, еще никому неизвѣстнаго литератора. Это черта, особенно для того времени заслуживающая вниманія.

„Бѣлинскій долго не рѣшался появиться въ этомъ салонѣ, несмотря на то, что чувствовалъ большое расположеніе къ его хозяину, доказательствомъ чего было то, что онъ высказывался предъ нимъ вполнѣ, иногда даже съ такою энергіею, которая приводила хозяина салона въ большое смущеніе...

„— Отчего вы не хотите бывать у меня? Я сердитъ на васъ, говорилъ онъ Бѣлинскому.

„— Сказать вамъ правду—отчего? отвѣчалъ улыбаясь Бѣлинскій:—я человѣкъ простой, неловкій, робкій, отъ роду не бывавшій ни въ какихъ салонахъ... У васъ же тамъ бываютъ

---

[1]) Объ его литературно-аристократическомъ салонѣ, см. также „Совр." 1861, февр., 626—628.

дамы, аристократки, а я и въ обыкновенномъ-то дамскомъ обществѣ вести себя не умѣю... Нѣтъ, ужъ избавьте меня отъ этого! Вѣдь вамъ же будетъ нехорошо, если я сдѣлаю какую-нибудь неловкость или неприличіе по вашему.

„Но, несмотря на это, хозяинъ салона непремѣнно хотѣлъ, чтобъ Бѣлинскій былъ въ числѣ его гостей".

Извѣстенъ анекдотъ о томъ, какой переполохъ произвелъ Бѣлинскій на этомъ вечерѣ своей неловкостью, когда, облокотившись по разсѣянности на столикъ съ одной ножкой, уставленный бутылками, опрокинулъ его—вино полилось къ ногамъ знаменитостей, Бѣлинскій смѣшался до послѣдней степени, и „близкій къ кончинѣ" поспѣшилъ домой...

„Вообще, — продолжаетъ Панаевъ, — Бѣлинскій не терпѣлъ разнороднаго, мало знакомаго и большого общества. Онъ даже, бывало, при появленіи въ нашемъ обычномъ кружку какого-нибудь незнакомаго лица, измѣнялся мгновенно, впадалъ въ дурное расположеніе духа и переставалъ говорить.

„Онъ искренно былъ привязанъ ко всѣмъ безъ исключенія, составлявшимъ этотъ тѣсный кружокъ, но иногда вдругъ почему-то особенно увлекался на время кѣмъ-нибудь и обнаруживалъ къ нему необыкновенную нѣжность. Онъ впрочемъ, всегда прямо и откровенно сознавалъ потомъ свои заблужденія и самъ добродушно смѣялся вмѣстѣ съ нами надъ своими крайностями и увлеченіями...

„Вообще малѣйшая, самая ничтожная вещь могла приводить его иногда въ бѣшенство—это было уже отчасти слѣдствіемъ роковой болѣзни, развивавшейся въ немъ сильнѣе и сильнѣе.

„Во время отдыховъ, иногда по вечерамъ онъ любилъ играть въ преферансъ съ пріятелями по самой маленькой цѣнѣ и игралъ всегда съ увлеченіемъ и очень дурно.

„Разъ (это было у меня, наканунѣ свѣтлаго праздника) онъ часа три сряду не выпускалъ изъ рукъ картъ и наставилъ страшное количество ремизовъ. Утомленный, во время сдачи онъ вышелъ въ другую комнату, чтобы пройтиться немного. Въ это время Тургеневъ (котораго онъ очень любилъ) нарочно подобралъ ему такую игру на восемь въ червяхъ, что онъ дол-

женъ былъ остаться непремѣнно безъ четырехъ... Бѣлинскій возвратился, схватилъ карты, взглянулъ и весь просіялъ... Онъ объявилъ восемь въ червяхъ и остался, какъ и слѣдовало, безъ четырехъ. Онъ съ бѣшенствомъ бросилъ карты и вскрикнулъ задыхаясь: — Такія вещи могутъ случаться только со мною.

„Тургеневу стало жаль его—и онъ признался ему, что хотѣлъ подшутить надъ нимъ.

„Бѣлинскій сначала не повѣрилъ, но когда всѣ подтвердили ему тоже,—онъ съ невыразимымъ упрекомъ посмотрѣлъ на Тургенева и произнесъ, поблѣднѣвъ какъ полотно:

„—Лучше бы ужъ вы мнѣ этого не говорили. Прошу васъ впередъ не позволять себѣ такихъ шутокъ!

„Когда болѣзненные припадки затихали или не слишкомъ безпокоили его, онъ становился какъ-то особенно ясенъ и свѣтелъ: его кроткая, прямая, деликатная натура такъ и отражалась въ его глазахъ. Въ эти минуты онъ любилъ подшучивать надъ слабостями нѣкоторыхъ своихъ друзей, напримѣръ, надъ падкостью къ аристократіи, маленькимъ хвастовствомъ, тщеславіемъ и т. п.

„Но для того, чтобы имѣть о Бѣлинскомъ полное понятіе, видѣть его во всемъ блескѣ, надобно было навести разговоръ на тѣ общественные предметы и вопросы, которые живо его затрогивали, и раздражить его противорѣчіемъ; затронутый, онъ вдругъ выросталъ, слова его лились потокомъ, вся фигура дышала внутренней энергіей и силой, голосъ по временамъ задыхался, всѣ мускулы лица приходили въ напряженіе... Онъ нападалъ на своего противника съ силой человѣка, власть имѣющаго, мимоходомъ игралъ имъ какъ соломенкой, издѣвался, ставилъ его въ комическое положеніе и между тѣмъ продолжалъ развивать свою мысль съ энергіей поразительной. Въ такія минуты этотъ обыкновенно застѣнчивый, робкій и неловкій человѣкъ былъ неузнаваемъ...

„Бѣлинскій ходилъ къ немногимъ искреннимъ пріятелямъ, чтобы отдыхать отъ работы и отводить душу въ спорахъ и толкахъ о томъ, что́ его сильно тревожило; но онъ больше любилъ домашній уголъ и устроивалъ его всегда, по мѣрѣ средствъ своихъ, съ нѣкоторымъ комфортомъ. Чистота и по-

рядокъ въ его кабинетѣ были всегда удивительные: полы какъ зеркало, на письменномъ столѣ всѣ вещи разложены въ порядкѣ, на окнахъ занавѣсы, на подоконникахъ цвѣты, на стѣнахъ портреты различныхъ знаменитостей и друзей, и, между прочимъ, портретъ Станкевича и нѣсколько старинныхъ гравюръ, до которыхъ онъ былъ большой охотникъ. Онъ самъ отыскивалъ ихъ на толкучемъ рынкѣ и хвасталъ мнѣ своими находками, и библіотеку свою, состоявшую большею частью изъ русскихъ книгъ, онъ умножалъ съ каждымъ годомъ, и въ послѣднее время, когда уже свободно читалъ по-французски, началъ пріобрѣтать и французскія книги...

„Къ нему часто сходились по вечерамъ его пріятели и онъ всегда встрѣчалъ ихъ радушно и съ шутками, если былъ въ хорошемъ расположеніи духа, т.-е. свободенъ отъ работы и не страдалъ своими обычными припадками [1]). Въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно зажигалъ нѣсколько свѣчей въ своемъ кабинетѣ. Свѣтъ и тепло поддерживали всегда еще болѣе хорошее расположеніе его духа“....

Панаевъ разсказываетъ, съ какимъ энтузіазмомъ Бѣлинскій встрѣчалъ всякій новый талантъ, всякій литературный успѣхъ. Такъ онъ встрѣтилъ первыя произведенія г. Достоевскаго, Гончарова; такъ прежде онъ восхитился „Двумя Судьбами“ г. Майкова, даже „Парашей“ г. Тургенева...

„Страсть Бѣлинскаго, не имѣя другого выхода, вся сосредоточилась на литературѣ. Онъ съ какою-то жадностью бросался на каждую вновь выходящую книжку журнала и дрожащей рукой разрѣзывалъ свои статьи, чтобы пробѣжать ихъ и посмотрѣть, до какой степени сохранился смыслъ ихъ въ печати [2]). Въ эти минуты лицо его то вспыхивало, то блѣднѣло: онъ отбрасывалъ отъ себя книжку въ отчаяніи, или успокоивался и приходилъ въ хорошее расположеніе духа, если не встрѣчалъ значительныхъ перемѣнъ и искаженій“.

Кн. Одоевскій, о которомъ сейчасъ упоминалось, былъ чрез-

---

[1]) Эти замѣчанія Панаева относятся уже болѣе къ послѣднимъ годамъ жизни Бѣлинскаго.

[2]) Т. е. насколько онѣ уцѣлѣли отъ цензуры.

вычайно высокаго мнѣнія о талантѣ Бѣлинскаго, и въ особенности видѣлъ въ немъ большую силу именно философской мысли.

„Бѣлинскій,— говоритъ онъ [1]), — былъ одною изъ высшихъ философскихъ организацій, какія я когда-либо встрѣчалъ въ жизни. Въ немъ было сопряженіе Канта, Шеллинга и Гегеля, сопряженіе вполнѣ органическое, ибо онъ никого изъ нихъ не читалъ; онъ не зналъ по-нѣмецки, весьма плохо понималъ по-французски, а въ его эпоху ничто изъ этихъ философовъ не было переведено по-французски. Нѣкоторыя ихъ положенія перешли къ нему по наслышкѣ, частію отъ учениковъ Павлова, знавшаго впрочемъ лишь Шеллинга и Окена, частію отъ меня. Всякій разъ, когда мы встрѣчались съ Бѣлинскимъ (это было рѣдко), мы съ нимъ спорили жестоко; но я не могъ не удивляться, какимъ образомъ онъ изъ поверхностнаго знанія принциповъ натуральной философіи (Naturphilosophie) развивалъ цѣлый органическій философическій міръ—sui generis“.

Кн. Одоевскій не зналъ въ точности, какъ развивались философскіе интересы и понятія Бѣлинскаго; онъ думалъ напримѣръ, что Бѣлинскій совсѣмъ не зналъ или не слышалъ о Гегелевскихъ ученіяхъ; но его слова тѣмъ не менѣе любопытны. Кн. Одоевскій былъ одинъ изъ образованнѣйшихъ людей у насъ въ то время, и во всякомъ случаѣ могъ быть хорошимъ судьей въ оцѣнкѣ умственнаго содержанія.

„Бѣда Бѣлинскаго,—продолжаетъ онъ,—въ томъ, что обстоятельства жизни не позволяли ему развиться правильнымъ образомъ.—У насъ Бѣлинскому учиться было негдѣ; рутинизмъ нашихъ университетовъ не могъ удовлетворить его логическаго въ высшей степени ума; пошлость большей части нашихъ профессоровъ порождала въ немъ лишь презрѣніе; нелѣпыя преслѣдованія неизвѣстно за что развили въ немъ желчь, которая примѣшалась въ его своебытное философское развитіе и доводила его безстрашную силлогистику до самыхъ крайнихъ предѣловъ“...

Напомнимъ наконецъ разсказы еще одного изъ современ-

---

[1]) „Р. Архивъ“, 1874, стр. 339 и слѣд.

никовъ и ближайшихъ друзей Бѣлинскаго,—разсказы, которыми, къ сожалѣнію, намъ трудно было воспользоваться, и гдѣ изображеніе Бѣлинскаго, сдѣланное съ любовью и пониманіемъ, является особенно рельефнымъ.

Возвратимся къ приведеннымъ выше подробностямъ.

Боязнь общества у Бѣлинскаго была черта довольно сложная. Прежде всего, это были слѣды того стараго болѣзненнаго чувства, которое онъ объяснялъ однажды въ письмѣ къ Боткину тяжелыми воспоминаніями своего дѣтства и отрочества; съ теченіемъ времени, и особенно теперь, это чувство опредѣлилось и получило новыя основанія. Въ самомъ дѣлѣ, съ первыхъ поръ своей сознательной жизни Бѣлинскій долженъ былъ чувствовать свой разрывъ съ обществомъ, которому не было ни малѣйшаго дѣла до пламенныхъ стремленій небольшой горсти идеалистовъ, какими были Бѣлинскій и его друзья, которое скорѣе готово будетъ смотрѣть на нихъ съ пренебреженіемъ и даже ненавистью. Мы читали, въ письмахъ къ Боткину, горькія жалобы Бѣлинскаго и печальное сознаніе, что они не нужны этому обществу, что они — люди безъ отечества. Таково и дѣйствительно было положеніе этого кружка́, какъ вообще бываетъ положеніе людей, которые въ невѣжественной средѣ или въ эпохи реакцій, тяготясь настоящимъ, глубоко страдая отъ противорѣчій его съ ихъ лучшими стремленіями, только въ неясномъ будущемъ видятъ достиженіе своихъ, даже скромныхъ идеаловъ. Отвлеченное разсужденіе давало Бѣлинскому эту надежду на будущее; —но въ данную минуту онъ долженъ былъ тѣмъ сильнѣе чувствовать свое отчужденіе отъ настоящаго. Понятно, что́ Бѣлинскаго отталкивало отъ „общества", въ которомъ онъ видѣлъ олицетвореніе застоя, внѣшній блескъ, покрывавшій бѣдность мысли и грубые инстинкты. Бѣлинскому не только не́чего было дѣлать съ людьми этого общества, ему было съ ними положительно тяжело. Даже съ лучшими представителями „общества", имѣвшими свое мѣсто и въ литературѣ, какъ кн. Одоевскій, самъ составлявшій исключеніе въ своемъ кругѣ,—для Бѣлинскаго сближеніе было довольно трудно. Кн. Одоевскій, который былъ очень способенъ оцѣнить серьёзность его

таланта и дѣятельности, и въ самомъ дѣлѣ высоко цѣнилъ Бѣлинскаго, остался ему чуждъ: не говоря о мистическихъ и алхимическихъ пристрастіяхъ этого аристократическаго полигистора, не сочувственныхъ Бѣлинскому, онъ не могъ сойтись съ кн. Одоевскимъ въ самой сущности своего взгляда на вещи. Кн. Одоевскій удивлялся логической энергіи Бѣлинскаго, силѣ и смѣлости его выводовъ, понималъ ихъ въ теоріи, но никакъ бы не рѣшился послѣдовать за нимъ въ этой логикѣ. Бѣлинскій съ своей стороны не могъ понять его двойственности, хотѣвшей примирить вещи непримиримыя. Бѣлинскій по всей своей природѣ былъ пламенный энтузіастъ: у него не было ни легкости характера, способной довольствоваться порядкомъ вещей, ни скептическаго невѣрія, приводящаго къ равнодушной терпимости; ни той сдержанности, которая тяжелыми опытами научается таить для себя и ближайшихъ друзей свои интимныя мысли. Бѣлинскій понималъ, конечно, необходимость этой сдержанности, но иногда не въ силахъ былъ одолѣвать свою страстную впечатлительность, и если бы затронуты были его задушевныя мысли, онъ, несмотря на свою робость въ обществѣ, свойственную кабинетнымъ людямъ,—въ какой бы ни былъ обстановкѣ,—способенъ былъ самымъ рѣшительнымъ образомъ отвѣтить на вызовъ и высказать эти мысли. Такъ это случалось съ нимъ нѣсколько разъ. Такъ было съ нимъ однажды въ тридцатыхъ годахъ, во время увлеченія его „фихтіянствомъ". Два-три такихъ же примѣра повторились и теперь, — между прочимъ въ большомъ обществѣ у князя Одоевскаго, гдѣ Бѣлинскій, нетерпѣливо слушавшій фантазіи одного изъ собесѣдниковъ о чемъ-то въ родѣ реставраціи стариннаго боярства, наконецъ взволнованный и раздраженный, заявилъ свое противорѣчіе словами, которыя поразили присутствующихъ своей суровой рѣзкостью... Само собою разумѣется, что такіе порывы могли представлять и самую серьёзную опасность, и Бѣлинскому приводилось испытывать непріятную тревогу послѣ подобныхъ случаевъ...

Г. Кавелинъ замѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что въ тогдашнихъ кружкáхъ вообще не было опредѣленнаго политическаго взгляда, и это было очень естественно: политическія

программы были еще слишкомъ безполезны и невозможны; слишкомъ ясна была крайняя неразвитость общества, олицетворявшаяся въ той жалкой литературѣ, которую Бѣлинскій называлъ „расейской“ и къ которой питалъ настоящую ненависть. Опредѣленнаго взгляда этого рода одинаково не было въ обоихъ главныхъ кружкахъ тогдашней литературы—и западномъ, и славянофильскомъ; въ обоихъ одинаково понимали необходимость разъяснить самые общіе вопросы историческаго развитія, которые и стали насущнымъ интересомъ литературы: оттого Бѣлинскій относился къ нимъ съ такой страстью, и оттого крайняя вражда его къ славянофильству.

Его борьба съ славянофильствомъ началась тотчасъ, какъ славянофильство нашло себѣ первый органъ въ „Москвитянинѣ“. Къ половинѣ сороковыхъ годовъ эта борьба была для Бѣлинскаго едва ли не главнымъ практическимъ вопросомъ литературы. Сюда сводились и общіе философскіе принципы, и историческія соображенія, и мнѣнія о настоящемъ.

Бѣлинскаго нерѣдко обвиняли въ непониманіи и даже въ нежеланіи понять то, что́ было въ славянофильствѣ хорошаго и справедливаго. Но чтобы вѣрно представить себѣ отношенія Бѣлинскаго къ славянофильству, надо помнить время и лица. Первыя впечатлѣнія славянофильства далъ Бѣлинскому „Москвитянинъ“. Теперь уже забыли, что́ это было. Но сто́итъ взглянуть на первые годы этого журнала, чтобы понять вражду Бѣлинскаго: невозможно было иначе отнестись къ нелѣпой, юродивой формѣ, въ которой даны были здѣсь первыя заявленія новой школы. Правда, извѣстно было, что въ этомъ лагерѣ есть противники болѣе серьёзной умственной силы и таланта, чѣмъ Шевыревъ и другіе дѣятели „Москвитянина“, что есть противники съ болѣе серьёзными убѣжденіями, — но, по мнѣнію Бѣлинскаго, это было еще хуже: онъ видѣлъ, что *эти* члены славянофильскаго лагеря (впослѣдствіи и составившіе настоящій славянофильскій кружокъ) ни мало не отвергали „Москвитянина“, и Бѣлинскій могъ справедливо предполагать ихъ солидарность. Онъ долженъ былъ думать, что и „Москвитянинъ“ собственно, и этотъ кружокъ проповѣдуютъ одну и ту же ненависть къ Западу и его образованности, дѣлятъ одни и тѣже археологи-

ческія влеченія, поддерживаютъ, въ настоящемъ, одни и тѣже принципы, для Бѣлинскаго ненавистные. Мы увидимъ дальше, что и друзья Бѣлинскаго, какъ Грановскій и другіе, гораздо менѣе исключительные, чѣмъ онъ, гораздо болѣе способные перенестись въ чужую точку зрѣнія, даже эти люди, иногда сами упрекавшіе Бѣлинскаго въ нетерпимости, соглашались потомъ, что онъ былъ правъ въ своей враждѣ.

Впослѣдствіи, когда славянофильство больше опредѣлилось и очистилось, значительно измѣнились и отзывы Бѣлинскаго.

Вмѣстѣ съ домашнимъ славянофильствомъ, которое вообще казалось Бѣлинскому очень близкимъ повтореніемъ оффиціальной народности, Бѣлинскій очень недружелюбно относился и къ начинавшимся проявленіямъ панславизма, который былъ опять возвращеніемъ къ прошлому. Еще во времена гегеліянскихъ увлеченій, Бѣлинскій не сочувствовалъ панславистскимъ жалобамъ на угнетеніе славянскихъ народностей нѣмцами и турками — на томъ основаніи, что „сила есть право", что турецкое господство надъ южными, и нѣмецкое надъ западными славянами есть право „историческое", и слѣд. тѣмъ самымъ доказанное и оправданное. Впослѣдствіи, онъ безъ сомнѣнія покинулъ эту точку зрѣнія, но сохранилось нерасположеніе къ панславизму и, въ связи съ нимъ, къ мелкимъ народнымъ литературамъ, въ томъ числѣ и къ малорусской. Здѣсь опять Бѣлинскаго упрекаютъ за непониманіе естественнаго права народности на существованіе и проявленіе своей особенности и національнаго быта, за непониманіе тѣхъ жизненныхъ элементовъ, какіе представляютъ мѣстныя народныя литературы, и т. п. [1]). Дѣйствительно, Бѣлинскій и въ этомъ отношеніи, какъ во многихъ другихъ, не обошелся безъ крайностей,—между прочимъ потому, что былъ искрененъ и не боялся высказывать свою мысль вполнѣ; но (какъ справедливо замѣтилъ г. Кавелинъ) въ основѣ его преувеличеній и крайностей была или вся истина или часть истины. Прежде всего, для вѣрной оцѣнки мнѣній Бѣлинскаго

---

[1]) Точка зрѣнія Бѣлинскаго извѣстна теперь и западно-славянскимъ историкамъ славянской литературы; см. Krek, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Graz, 1874.

и здѣсь слѣдуетъ припомнить тогдашнее положеніе вопроса и въ обществѣ и въ литературѣ. Начать съ того, что „сила“ есть, конечно, плохое юридическое право, но она во всякомъ случаѣ есть историческій *фактъ*, который нужно объяснить изъ исторіи и характера народности, но котораго нельзя вычеркнуть и устранить жалобами и обвиненіями. Запальчивыя слова, вырывавшіяся у Бѣлинскаго противъ панславизма, были крайностью, если взять ихъ буквально и безотносительно; но ихъ смыслъ былъ тотъ, что и вопросъ ученый и вопросъ національнаго возрожденія долженъ былъ рѣшаться не одними лирическими изліяніями и патріотической похвальбой, которыхъ слишкомъ много расточали и западный панславизмъ и наши его сторонники. Въ самомъ дѣлѣ, наша литература этого предмета, въ концѣ 30-хъ и началѣ 40-хъ годовъ, очень мало объясняла положеніе вещей, но за то не щадила высокопарныхъ словъ о дѣлѣ, почти неизвѣстномъ, и важность котораго для русскаго общества была еще сомнительна. И здѣсь, какъ въ домашнемъ славянофильствѣ, не было недостатка въ нелѣпостяхъ, вызывавшихъ только насмѣшку; вспомнимъ, напр., полемику по поводу Коперника [1]). Болѣе серьёзная, научная постановка предмета сдѣлана была только позднѣе. Еще съ бо́льшимъ правомъ Бѣлинскій и его друзья могли быть нерасположены къ панславизму съ другой стороны. Для русскаго общества, панславянскій переворотъ, въ которомъ Россіи пророчилась великая, но нѣсколько темная роль,—этотъ переворотъ не только въ тѣ времена, но и теперь былъ нѣчто въ родѣ журавля въ небѣ, когда въ рукахъ и синица была довольно плохая. Время ли было (и есть) мечтать о панславянскомъ царствѣ, когда собственная ближайшая жизнь ставила еще самыя элементарныя задачи? Не было ли бы грубымъ самохвальствомъ—„освобождать“ другіе народы, когда милліоны собственнаго народа были тогда крѣпостными рабами, и этому еще не предвидѣлось конца? Имѣли ли какой-нибудь смыслъ угрозы западному просвѣщенію, когда собственное стояло еще на аз-

---

[1]) „Москвитянинъ о Коперникѣ“, ст. Г-на, въ „Отеч. Зап.“ 1843, кн. 11, смѣсь, стр. 56—58.

букѣ и подъ ферулой? Могъ ли панславизмъ помочь всѣмъ этимъ домашнимъ невзгодамъ, и напротивъ, не усилилъ ли бы онъ ихъ, отвлекая вниманіе и силы къ полу-фантастической цѣли?.. И наконецъ, возможно ли было какое-нибудь дѣйствительное, не воображаемое, участіе нашего общества въ подобномъ дѣлѣ—гдѣ могъ бы помочь только настоящій и свободный энтузіазмъ,—когда это общество не имѣло простора и для своихъ домашнихъ скромныхъ желаній? Между тѣмъ наши партизаны панславизма не только не видѣли всего этого, но, напротивъ, въ домашнихъ вопросахъ еще являлись защитниками такихъ общественныхъ элементовъ, въ которыхъ Бѣлинскій и его друзья не безъ основанія видѣли наше бѣдствіе, причины нашего застоя. Съ патріотизмомъ панславянскимъ у насъ почти всегда соединялся домашній квасной патріотизмъ, и этого соединенія было довольно, чтобы возстановить Бѣлинскаго противъ панславизма, какъ нротивъ вреднаго и пустого фантазёрства.

Наконецъ, народныя литературы, или собственно малорусская. Бѣлинскій вообще не любилъ ея, отчасти по тѣмъ же общимъ причинамъ: онъ считалъ малорусскую литературу дѣломъ прихоти, ненужнымъ провинціализмомъ и думалъ, что люди, посвящавшіе свои силы на созданіе особой малорусской литературы, съ бо́льшей пользой могли бы употребить ихъ для литературы русской, господствующей и въ образованныхъ классахъ самой Малороссіи. Во-вторыхъ, Бѣлинскій возставалъ противъ самаго содержанія малорусской литературы. Чистѣйшій великоруссъ, Бѣлинскій мало зналъ и не любилъ малорусскаго языка [1]) и, слѣдовательно, не могъ цѣнить внѣшней, формальной стороны этой литературы; а содержаніе ея различнымъ образомъ не удовлетворяло его. За немногими исключеніями, въ тогдашней малорусской литературѣ не представлялось ничего особенно талантливаго. Бѣлинскій видѣлъ довольно большое число малорусскихъ писателей, но въ ихъ произведеніяхъ находилъ или повтореніе на малорусскомъ языкѣ устарѣлыхъ

---

[1]) Въ перепискѣ намъ встрѣтились доказательства этой нелюбви еще въ 1840 г., слѣдов. еще до споровъ съ славянофильствомъ.

романтическихъ и сантиментальныхъ темъ, надоѣвшихъ и въ русской литературѣ, или повтореніе темъ народной поэзіи, изложенныхъ хуже, чѣмъ въ подлинникѣ, или шутку и пародію, которыя не показались ему достаточно остроумными, или, наконецъ, проявленія мѣстнаго патріотизма, котораго вѣроятно не считалъ серьёзнымъ. Въ мѣстной поэзіи, какъ она создавалась въ то время, Бѣлинскій не находилъ ни достаточнаго обще-человѣческаго поэтическаго интереса, ни настоящаго удовлетворенія потребностямъ мѣстнаго народа: народно-поэтическіе элементы, вводимые въ литературу, должны были, по его мнѣнію, быть просвѣтлены этимъ высшимъ интересомъ, какъ въ поэзіи Кольцова; мѣстныя потребности могли быть достаточно удовлетворены книгами элементарными, которыя служили бы переходомъ къ образованности обще-русской. Вспомнимъ, что тогда не было и мысли о такой постановкѣ народнаго образованія, къ какой стремятся теперь просвѣщенные друзья народа и педагоги, — не было ни для малорусскаго, ни для великорусскаго народа. Первое и главное, о чемъ мечтали тогда для народа, было освобожденіе отъ крѣпостнаго состоянія, — школа для крѣпостнаго населенія была не мыслима, да о ней и не думали; слѣдовательно, трудно было думать и о воспитательномъ и учебномъ значеніи мѣстныхъ литературъ... Въ этихъ условіяхъ знаменательнымъ явленіемъ былъ для Бѣлинскаго малоруссъ Гоголь, который могъ стать великимъ писателемъ только въ обще-русской литературѣ. „Какая глубокая мысль въ этомъ фактѣ, что Гоголь, страстно любя Малороссію, все-таки сталъ писать по русски, а не по малороссійски!“ говоритъ Бѣлинскій еще въ 1841 году [1]).

Вотъ, напр., нѣсколько словъ его изъ рецензіи вышедшей тогда поэмы Шевченка „Гайдамаки“ [2]). Сославшись на прежде высказанныя мнѣнія свои о „такъ-называемой“ малороссійской литературѣ, Бѣлинскій продолжаетъ:

«...Новый опытъ *спиваній* г. Шевченка, привилегированнаго, кажется, малороссійскаго поэта, убѣждаетъ насъ еще болѣе, что подобнаго

[1]) Сочин., V, стр. 309.

[2]) Эта рецензія, въ „Отеч. Зап.“ 1842, кн. 5, не вошла въ изданіе Сочиненій.

рода произведенія издаются только для услажденія и назиданія самихъ авторовъ: другой публики у нихъ, кажется, нѣтъ. Если же эти господа *кобзари* думаютъ своими *поэмами* принести пользу низшему классу своихъ соотчичей, то въ этомъ очень ошибаются: ихъ поэмы, несмотря на обиліе самыхъ вульгарныхъ и площадныхъ словъ и выраженій, лишены простоты вымысла и разсказа, наполнены вычурами и замашками, свойственными всѣмъ плохимъ піитамъ,—часто нисколько не народны, хотя и подкрѣпляются ссылками на исторію, пѣсни и преданія, — и слѣдовательно, по всѣмъ этимъ причинамъ—онѣ непонятны простому народу и не имѣютъ въ себѣ ничего съ нимъ симпатизирующаго. Для такой цѣли [1]) было бы лучше, отбросивъ всякое притязаніе на титло поэта, разсказывать народу простымъ, понятнымъ ему языкомъ о разныхъ полезныхъ предметахъ, гражданскаго и семейнаго быта, какъ это прекрасно началъ (и жаль, что не продолжалъ) г. Основьяненко въ брошюрѣ своей «Лысты до любезныхъ землякивъ»...

«Что касается до самой поэмы г-на Шевченка—«Гайдамаки», здѣсь есть все, что подобаетъ каждой малороссійской поэмѣ: здѣсь ляхи, жиды, казаки; здѣсь хорошо ругаются, пьютъ, бьютъ, жгутъ, рѣжутъ, ну, разумѣется, въ антрактахъ кобзарь (ибо безъ кобзаря какая ужъ малороссійская поэма!) поетъ свои вдохновенныя пѣсни, безъ особеннаго смысла, а дивчина плачетъ, а буря гомонитъ»...

Онъ приводитъ далѣе отрывки, въ которыхъ дѣйствительно „хорошо ругаются, бьютъ", и проч. Но во всякомъ случаѣ рѣчь идетъ о формахъ литературнаго развитія; къ самому народу Бѣлинскій питаетъ большое сочувствіе. „Малороссія — страна поэтическая и оригинальная въ высшей степени. Малороссіяне одарены неподражаемымъ юморомъ; въ жизни ихъ простого народа такъ много человѣческаго, благороднаго. Тутъ имѣютъ мѣсто всѣ чувства, которыми высока натура человѣческая" и проч., — говоритъ онъ въ той же статьѣ, гдѣ говоритъ о ненужности тогдашней малороссійской литературы.

И здѣсь Бѣлинскій опять враждебно встрѣчается съ славянофилами. Эти послѣдніе относились (пока) сочувственно къ малорусской литературѣ, какъ „народной", и безъ сомнѣнія ставили ее параллельно съ другими народными славянскими литературами, которыя въ то время возрождались. Для Бѣлинскаго эта солидарность малорусской литературы съ славянофильскими и панславистическими тенденціями должна была вну-

---

[1]) Т.-е. для пользы народа.

шать только новое недовѣріе—какъ ненавистное ему противоположеніе національности и общечеловѣческой цивилизаціи, какъ воскрешеніе старины противъ новаго времени...

Въ подобномъ смыслѣ Бѣлинскій „не любилъ поляковъ". Его антипатія къ тому, что́ г. Кавелинъ называетъ „провинціализмомъ" (котораго Бѣлинскій не прощалъ и славянофиламъ), усложнялась еще другими мотивами: онъ особенно враждебно смотрѣлъ на польскій шляхетскій гоноръ, подложенный презрѣніемъ къ народу, и на католическій узкій фанатизмъ,—двѣ, также наслѣдованныя отъ прошедшаго, особенности, которыя вообще никогда не были сочувственны лучшимъ людямъ русскаго общества и которыя безъ сомнѣнія составляютъ одно изъ главнѣйшихъ препятствій успѣшному развитію польской жизни. При всемъ томъ, въ его перепискѣ (съ 1841 года) мы находили ясныя свидѣтельства, что „нелюбовь" вовсе не простиралась на ихъ политическія отношенія; на эти отношенія, напротивъ, онъ смотрѣлъ теперь такъ, какъ можно было бы ожидать отъ его новаго образа мыслей. Выше мы указывали, какъ онъ осуждалъ себя за недружелюбный отзывъ о Мицкевичѣ, сказанный въ эпоху статей о „Бород. Годовщинѣ" и „Менцелѣ".

Таковы были источники мнѣній Бѣлинскаго о славянствѣ и о движеніи народностей. Приписываемая ему вообще вражда къ славянскому движенію относилась въ сущности вовсе не къ самому дѣлу, а къ тогдашней постановкѣ его въ нашей литературѣ, Бѣлинскій не имѣлъ ничего противъ славянскаго и народнаго движенія, даже сочувствовалъ ему, — какъ „другъ человѣчества", когда дѣло шло „не о славянахъ, но о людяхъ" [1]; но онъ съ жаромъ возставалъ противъ тѣхъ толкованій этого движенія, какія дѣлались тогдашнимъ славянофильствомъ, противъ той узкой и несомнѣнно фальшивой и вредной точки зрѣнія, которая противопоставляла это движеніе западному просвѣщенію, отождествляла такимъ образомъ это движеніе съ

[1]) См. статью по поводу „Денницы новоболгарскаго образованія" — въ „От. Зап." 1842, кн. 9; Соч. т. VI, стр. 447—449, гдѣ его отношеніе къ вопросу очень ясно.

обскурантизмомъ, строила свои идеалы на возвращеніи (невозможномъ) старыхъ преданій, высокомѣрно пророчила господство новаго славянства и гибель Запада и придавала вообще вопросу какой-то странный реакціонный смыслъ. Противъ этихъ-то извращеній дѣла, съ которыми Бѣлинскій постоянно встрѣчался въ „Москвитянинѣ", онъ и ратовалъ со всей своей страстностью, которая иногда дѣйствительно заставляла его высказываться съ чрезмѣрной рѣзкостью. Но, конечно, не эти рѣзкости, вырывавшіяся въ разгарѣ спора, составляли его настоящую мысль,—и на дѣлѣ, разбирая мнѣнія Бѣлинскаго объ этомъ предметѣ, слѣдуетъ поставить ему въ заслугу, что своимъ противодѣйствіемъ первому славянофильству онъ много способствовалъ новому, болѣе разумному пониманію вопроса, которое явилось потомъ въ самомъ видоизмѣнившемся славянофильствѣ. Болѣе благоразумные изъ нынѣшнихъ славянофиловъ сами не рѣшатся повторить тогдашнихъ мнѣній о славянскомъ вопросѣ, и устраненіе этихъ крайностей и преувеличеній есть въ большой степени дѣло Бѣлинскаго.

ГЛАВА IX.

Послѣдніе годы участія въ „Отеч. Запискахъ". — Новыя враждебныя столкновенія и полемика съ славянофильствомъ. — Разрывъ съ „Отеч. Записками". — Болѣзнь. — Путешествіе на югъ Россіи. — Основаніе „Современника". — Поѣздка за границу. — Переписка съ Гоголемъ. — Возвращеніе.

1844 — 1847.

Послѣдніе годы, которые работалъ Бѣлинскій въ „Отеч. Запискахъ", были и лучшими годами этого журнала. Шесть лѣтъ трудовъ Бѣлинскаго и его друзей доставили журналу господство въ литературѣ, а также и прекрасное матеріальное положеніе. „Направленіе" журнала выяснилось, и становилось извѣстнымъ руководствомъ; его содержаніе, можно сказать безъ преувеличенія, представляло высшій уровень русской образованности, насколько она могла тогда проявляться въ литературѣ. Журналъ сложился въ одно цѣлое, связанное замѣчательнымъ моральнымъ и умственнымъ единствомъ, какъ главные участники его составляли одинъ кругъ людей, богатыхъ талантами, исполненныхъ лучшими стремленіями. Содержаніе это, хотя въ печати крайне стѣсненное цензурою, затрогивало и серьёзные вопросы отвлеченнаго знанія, и насущные вопросы нашей общественной жизни. Время отвлеченностей, индифферентныхъ въ общественномъ смыслѣ, проходило; наука начала являться въ болѣе широкомъ, жизненномъ значеніи. Правда, въ объясненіяхъ ея не было и не могло быть системы, и были скорѣе только эпизодическія указанія и вызовы къ самостоятельной работѣ; но философская точка зрѣнія вообще уходила далеко

впередъ отъ обычной школьной рутины. Статьи о „Дилеттантизмѣ въ наукѣ“ сохраняютъ (для нашей литературы) свою цѣну и теперь, какъ защита самобытности науки противъ школьныхъ ограниченій, лицемѣрныхъ или боязливыхъ извращеній, вообще нерѣдкихъ въ наукѣ, и которыя у насъ особенно оставляли ее въ ребяческомъ состояніи. Эта защита науки нападала на самое больное мѣсто всей русской образованности. Въ „Письмахъ объ изученіи природы“, задачи философіи и естествознанія были поставлены такъ, какъ лучшіе умы ставятъ ихъ и въ настоящую минуту.

Бѣлинскій, въ полномъ согласіи съ этой точкой зрѣнія, велъ свою критическую дѣятельность. Русская литература представляется ему теперь уже не только какъ предметъ художественной критики, но и какъ выраженіе общества, какъ предметъ критики общественной. Въ 1843 былъ имъ начатъ извѣстный рядъ статей о Пушкинѣ. Разсмотрѣніе поэзіи Пушкина онъ начинаетъ съ ея антецедентовъ въ прежней литературѣ, такъ что этотъ рядъ статей составлялъ почти полный обзоръ новѣйшей литературы до Гоголя. Бѣлинскій и теперь восхищался художественными достоинствами формы, но за эстетической оцѣнкой является оцѣнка мысли, оцѣнка отношенія поэта къ изображаемой жизни, а наконецъ и оцѣнка самой жизни. Чѣмъ дальше подвигались статьи, тѣмъ все больше его критика изъ эстетической становится общественной, публицистической. Онъ уже не вѣруетъ въ абсолютную поэзію, въ творчество безстрастное, какъ творчество природы; поэтъ не есть для него, какъ нѣкогда, Пиѳія, передающая невѣдомыя ей самой изреченія божества, но—живой человѣкъ, членъ своего общества и его дѣятель; какъ членъ общества—живущій его интересами и обязанный его долгомъ...

Труды Бѣлинскаго за эти годы наполняютъ VIII, IX и X томы его „Сочиненій“; главное мѣсто принадлежитъ здѣсь статьямъ о Пушкинѣ, начатымъ еще ранѣе, въ концѣ 1843 года, и оконченнымъ въ началѣ 1846 [1]). Обзоръ его критиче-

[1]) Въ началѣ 1846 написана была послѣдняя статья этого ряда; но помѣщена была она только въ 10-й книгѣ „Отеч. Записокъ“, т.-е. уже въ концѣ года, когда сотрудничество Бѣлинскаго въ этомъ журналѣ давно прекратилось.

скихъ мнѣній и ихъ значенія для тогдашней литературы читатель найдетъ въ прежнихъ трудахъ, къ которымъ мы и обращаемъ его [1]).

Въ свою поѣздку въ Москву лѣтомъ 1843 Бѣлинскій окончательно закрѣпилъ тѣсную связь съ московскими друзьями, Грановскимъ и Г-номъ. Объ отношеніяхъ Бѣлинскаго съ Грановскимъ мы уже не разъ упоминали. Въ московскія времена Грановскій уважалъ въ Бѣлинскомъ его побужденія и порывы, но не раздѣлялъ никакъ его мнѣній, мало вступалъ съ нимъ въ споры, чтобъ избѣжать безплоднаго раздраженія и вѣроятно предвидя, что Бѣлинскій не останется съ этими мнѣніями. Бѣлинскій также съ перваго времени полюбилъ Грановскаго, который пріѣхалъ въ Москву другомъ Станкевича и съ вѣстями о немъ, и самъ по себѣ привлекъ Бѣлинскаго качествами характера и богатствомъ своихъ знаній. Но первое разногласіе и разница характеровъ и путей развитія все еще не давали возникнуть между ними тѣсному единству и тогда, когда Бѣлинскій дошелъ до своего новаго взгляда. Бѣлинскій теперь особенно искалъ сближенія. Въ письмахъ къ Боткину, имя Грановскаго является каждый разъ при воспоминаніи о московскихъ друзьяхъ. Какъ желалъ Бѣлинскій этого сближенія и какъ огорчала и досадна ему была предполагаемая имъ холодность Грановскаго, можно видѣть изъ его словъ въ письмѣ къ Боткину (не приведенныхъ нами прежде), отъ 1 марта 1841:

«Что Грановскій?—спрашиваетъ онъ, не получая отвѣтовъ на свои постоянные запросы о немъ.—Кстати: увѣдомь меня, что онъ—сердится на меня за что, или просто не любитъ? Я о немъ и разспрашиваю, и пишу, и поклоны посылаю; а отъ него себѣ не вижу ни отвѣта, ни привѣта. Скажи всю правду — я въ обморокъ не упаду..., хотя — говорю искренно — люблю и уважаю этого человѣка, и дорожу его о себѣ мнѣніемъ»...

Здѣсь проглядываетъ уже досада, что Грановскій о немъ забываетъ. Но досада прошла. Грановскій пишетъ ему дружескія письма, и Бѣлинскій опять его вспоминаетъ. Въ письмѣ

---

[1]) „Очерки Гоголевскаго періода русской литературы", въ „Современникѣ" 1855, кн. 12, и 1856, кн. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11; также статьи г. Скабичевскаго, въ „Отеч. Зап." 1871.

къ Боткину, отъ 6 февраля 1843, онъ опять говоритъ о Грановскомъ: „онъ человѣкъ хорошій,... но одно въ немъ худо— модерація“.

Несмотря на все различіе характеровъ, между ними была однако глубокая нравственная солидарность, основаніе которой лежало въ одинаковомъ ихъ положеніи среди тогдашняго общества: ихъ тяготила одна и та же „дѣйствительность“, и одушевляло одно глубокое стремленіе работать для лучшаго будущаго. Къ тому, что́ сказано, прибавимъ еще слова изъ воспоминаній г. Кавелина.

„Между Бѣлинскимъ и Грановскимъ была великая дружба; но я думаю, что непосредственной симпатіи между ними не было, да и не могло быть. Это были двѣ натуры совершенно противоположныя. Грановскій былъ натура, въ высшей степени художественная, гармоническая, нѣжная, сосредоточенная. Мысль всегда представлялась ему въ художественномъ образѣ, и въ немъ онъ передавалъ свои мысли и взгляды. Это не была маска, за которой онъ прятался, а свойство его природы. Всякая рѣзкость была ему непріятна, всякая односторонность его шокировала. Многіе считали его за это дипломатомъ, чуть-чуть не двоедушнымъ и хитрымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, слабымъ, безхарактернымъ. Но такія сужденія не шли въ глубь этой натуры, удивительно изящной и рѣзко отличавшей его отъ диковатой русской и въ особенности московской среды. Представьте же себѣ рядомъ съ Грановскимъ — Бѣлинскаго, страстнаго, нервнаго, вѣчно переходившаго изъ одной крайности въ другую, необузданнаго и гораздо менѣе образованнаго. Онъ не могъ не смущать иногда Грановскаго своими выходками, точно также какъ и самъ вѣроятно бѣсился и выходилъ изъ себя отъ сосредоточенной умѣренности и идеальности Грановскаго. Грановскій къ тому же былъ плохой философъ, плохой діалектикъ, и часто былъ побиваемъ въ отвлеченныхъ спорахъ, даже когда былъ правъ. О Бѣлинскомъ Грановскій говорилъ всегда съ большимъ уваженіемъ, съ большою любовью, но прибавлялъ, что онъ страшно увлекается и впадаетъ въ крайности. Еслибы эти натуры не сплочали въ тѣснѣйшій союзъ внѣшнія обстоятельства, благородство общихъ стремленій, личная безукориз-

ненность, а также гнетъ мысли, науки, литературы, — Бѣлинскій и Грановскій навѣрно бы разошлись, какъ Грановскій впослѣдствіи разошелся съ Г-номъ".

Гораздо ближе и проще была дружба Бѣлинскаго съ Г-номъ.

Послѣ перваго враждебнаго столкновенія въ 1839—40, между ними установилась тѣсная связь взаимнаго пониманія и сходства самыхъ натуръ. Эти отношенія уцѣлѣли между ними до конца. „Г-нъ высоко цѣнилъ умъ Бѣлинскаго,—замѣчаетъ г. Кавелинъ въ тѣхъ же воспоминаніяхъ,—говоря, что у него совершенно русская, свѣтлая голова, удивительно послѣдовательная, бьющая до конца. Въ примѣръ онъ приводилъ, что Бѣлинскій, не зная по нѣмецки и только изъ отрывочныхъ разговоровъ друзей познакомившись съ системой Гегеля, тотчасъ же сообразилъ въ чемъ дѣло и суть его, и самъ, безъ чьей-либо помощи, вывелъ всѣ послѣдствіи изъ Гегелевской философіи, которыя выведены изъ нея позднѣе либеральной и радикальной фракціей Гегелевыхъ послѣдователей". До сихъ поръ они встрѣчались не часто, но, несмотря на то, они понимали другъ друга больше, чѣмъ кто-нибудь изъ всего дружескаго кружка. Г-нъ былъ вообще мягче, терпимѣе; его образованіе было несравненно серьёзнѣе и разностороннѣе, взгляды шире,—онъ видѣлъ крайности Бѣлинскаго, сердился на нихъ, но въ концѣ-концовъ горячо къ нему привязался.

Но былъ между Бѣлинскимъ и московскими друзьями пунктъ, гдѣ онъ никакъ съ ними не примирялся. Это было, какъ мы и раньше видѣли, сближеніе московскихъ его друзей съ славянофилами. Къ концу 1843, представился случай, гдѣ они снова поспорили объ этомъ пунктѣ. Открылись новыя отношенія „западнаго" кружка съ славянофильствомъ, окончившіяся новой литературной войной.

Въ концѣ ноября 1843, Грановскій открылъ публичный курсъ объ исторіи среднихъ вѣковъ (окончившійся въ апрѣлѣ слѣдующаго года). Лекціи имѣли необычайный успѣхъ. Чаадаевъ назвалъ эти лекціи „событіемъ", и справедливо, потому что это было первымъ подобнаго рода испытаніемъ умственныхъ интересовъ публики: находили, что въ Москвѣ никогда ничего подобнаго не было. Успѣхъ былъ таковъ, что сами славянофилы

его признали,—какъ ни мало сочувствовали характеру и содержанію лекцій. Г-нъ написалъ о первой лекціи восторженную статью, которая появилась въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ", и желалъ, чтобы подобный отзывъ сдѣланъ былъ въ „Отеч. Запискахъ". Къ его большому недоумѣнію и неудовольствію, этого отзыва сдѣлано не было; дальше увидимъ, что Бѣлинскій впослѣдствіи объяснялъ это неполной свободой журнала говорить о подобныхъ предметахъ—онъ затруднялся хвалить, зная, что не имѣетъ свободы порицать; другой причиной, помѣшавшей журналу раздѣлить восторги Г-на, было вѣроятно опасеніе къ „дарамъ данайцевъ" или къ тогдашнимъ сочувствіямъ славянофиловъ [1]). Такъ или иначе, но произошло разногласіе, которое непріятно подѣйствовало на московскихъ друзей.

---

[1]) Чтобы представить и съ „другой стороны" тогдашнія отношенія кружковъ, приводимъ отрывки изъ неизданной переписки Хомякова, сообщеніемъ которой мы обязаны М. А. Веневитинову. Въ этомъ отрывкѣ есть любопытныя черты тогдашняго настроенія славянофиловъ и ихъ, тогда мирнаго, отношенія къ противникамъ.

Въ письмѣ къ одному изъ петербургскихъ друзей (отъ начала 1844 года), Хомяковъ говоритъ, какъ въ ихъ кругу „отвлеченности всякаго рода", космополитизмъ, національность, „замѣняютъ мѣсто положительныхъ интересовъ", замѣчаетъ, что конечно въ этомъ толку немного, но думаетъ, что можно чего-нибудь ожидать отъ столкновенія мнѣній и дѣятельности,—хотя по правдѣ и дѣятельности все-таки нѣтъ.

„Даже „Москвитянинъ", послѣдній, и по правдѣ довольно жалкій признакъ жизни умственной, клонится къ упадку. Говорятъ, что нынѣшній годъ будетъ предѣломъ его существованія. Пожалѣй объ насъ. Не останется даже журнала. Никто въ немъ не пишетъ и не хлопочетъ объ его поддержкѣ, а когда онъ скончается, вѣрно всѣ будутъ также разстроены, какъ Иванъ Никифоровичъ, если бы у него украли ружье, изъ котораго онъ отъ роду не стрѣливалъ. Вѣдь покуда было ружье, можно бы было стрѣлять, если захотѣлось. Лучшимъ проявленіемъ жизни московской были лекціи Грановскаго. Такихъ лекцій, конечно, у насъ не было со временъ самого Калиты, основателя первопрестольнаго града, и безспорно мало во всей Европѣ. Впрочемъ, я его хвалю съ тѣмъ бо́льшимъ безпристрастіемъ, что онъ принадлежитъ къ мнѣнію, которое во многомъ, если не во всемъ, противоположно моему. Мурмолка (вѣроятно ты знаешь, что это такое) не мѣшала намъ, мурмолконосцамъ, хлопать съ величайшимъ усердіемъ краснорѣчію и простотѣ рѣчи Грановскаго. Даже П. В. Кирѣевскій, прославившійся, какъ онъ самъ говоритъ, не-изданіемъ русскихъ пѣсенъ и прозвищемъ великаго печальника земли Русской, даже и онъ хлопалъ не менѣе другихъ. Ты видишь, что крайности мысли не мѣшаютъ

Должно сказать, что полемика съ славянофильствомъ не прекращалась, и еще въ 11-й книгѣ „Отеч. Записокъ“ помѣщены были двѣ небольшія остроумныя статейки, посвященныя „Москвитянину“ и имѣвшія въ Москвѣ большой успѣхъ [1]). Друзья извѣщали изъ Москвы, что редакція „Москвитянина“ собиралась и выдумывала остроты на „Отеч. Записки“:—„вы ихъ увидите въ 12 № „Москвитянина“; они работали цѣлый вечеръ—должно быть, если не аттическая соль, то четверговая“.

Между тѣмъ продолженіе лекцій Грановскаго, имѣвшее въ публикѣ прежній успѣхъ, начало производить въ противномъ лагерѣ совсѣмъ иное дѣйствіе, которое наконецъ могло стать неблагополучнымъ. „Славяне“, какъ называли тогда „Москвитянинъ“ и славянофиловъ, быть можетъ раздраженные и новыми нападеніями изъ западнаго лагеря, подняли говоръ о лекціяхъ Грановскаго, — негодовали, что (читая о среднихъ вѣкахъ въ Ев-

какому-то добродушному русскому единству. Все это безстрастно. Не то, что у васъ въ Питерѣ, гдѣ мысль, если когда проявится, гнѣвлива какъ практическій интересъ. Къ вамъ нельзя писать, чтобы не включить прошенія или порученія. Я думаю, это тебѣ кажется иногда страннымъ, но это очевидное слѣдствіе сосредоточія всей положительной жизни. Какую напр., дать коммиссію въ Москву? Развѣ отслужить гдѣ-нибудь молебенъ? Другого и не придумаешь“...

Въ другомъ письмѣ того же времени (по возвращеніи изъ-за границы Дмитрія Валуева) Хомяковъ говоритъ:—

„Наше московское житье-бытье идетъ по старому, въ сладкой и ненарушимой праздности, въ отвлеченностяхъ, въ бесѣдахъ довольно живыхъ, вертящихся все около однихъ какихъ-нибудь предметовъ, которые идутъ на мѣсяцы и годы... Записка ежедневныхъ (бесѣдъ) можетъ быть легко заключена въ слѣдующей формѣ: „тѣ же, о томъ же“. Ежедневное повтореніе однѣхъ и тѣхъ же бесѣдъ очень похоже на оперу въ Италіи. Одна идетъ на цѣлый годъ, а слушателямъ не скучно. Это не похоже на Питеръ. Мы называемъ такія бесѣды движеніемъ мысли; но Языковъ увѣряетъ, что это не движеніе, а просто моціонъ. Одно только явленіе истинно оживило нынѣшнюю московскую зиму—лекціи Грановскаго объ исторіи среднихъ вѣковъ. Профессоръ и чтеніе достойны лучшаго европейскаго университета и, къ крайнему моему удивленію, публика оказалась достойною профессора. Я не ожидалъ ни такого успѣха, ни такого глубокаго сочувствія къ наукѣ о развитіи человѣческихъ судебъ и человѣческаго ума. Ты видишь, что я не пристрастенъ къ Москвѣ“...

[1]) „От. Зап.“ 1843, кн. 11, смѣсь: „Москвитянинъ о Коперникѣ“, стр. 56—58; „Путевыя записки г. Вѣдрина“ (пародія записокъ Погодина), стр. 58—60.

ропѣ) онъ не говоритъ о Руси, о православіи, слѣдуетъ западной наукѣ, мало говоритъ о христіанствѣ. Возраженія и обвиненія были нелѣпы, но имѣли свое дѣйствіе. Второй отчетъ Г-на о лекціяхъ уже не былъ разрѣшенъ; университетское начальство стало думать о мѣрахъ противъ распространенія нѣмецкой философіи; митрополитъ московскій поручалъ обличеніе Гегеля извѣстному профессору московской академіи Голубинскому...

Встрѣчи съ славянофилами однако продолжались. Московскіе друзья извѣщали Бѣлинскаго о томъ, что дѣлается въ Москвѣ, и предвидя, что ему не понравятся эти сношенія съ враждебнымъ лагеремъ, указывали ему его собственную односторонность, объясняли, что нельзя же смѣшивать этого кружка съ самими издателями „Москвитянина" и т. д. Московскіе друзья полагали даже, что еслибы „Москвитянинъ" перешелъ въ руки этого кружка, то можно было бы даже имъ въ немъ писать, не обращаясь къ редакціи „Отеч. Зап.", которою лично они были недовольны. Въ концѣ 1843, Г-нъ познакомился съ Ю. Ѳ. Самаринымъ, и съ обычной искренностью отдался пріятному впечатлѣнію, и рекомендовалъ петербургскимъ друзьямъ сблизиться съ нимъ, когда онъ отправлялся въ Петербургъ. Лекціи Грановскаго по прежнему производили въ публикѣ чрезвычайное впечатлѣніе, такъ что даже злѣйшіе враги изъ „славянъ" должны были сдерживаться и смолкли. Въ апрѣлѣ 1844 Грановскій окончилъ свой курсъ, и обѣ партіи соединились, чтобы отпраздновать заключеніе курса банкетомъ въ честь Грановскаго; банкетъ былъ очень шумный, и между двумя лагерями заключенъ былъ миръ—впрочемъ недолгій [1]).

Бѣлинскій получалъ всѣ эти московскія новости, и конечно раздражался. Онъ помѣнялся съ Г-номъ нѣсколькими письмами (ихъ, къ сожалѣнію, нѣтъ въ нашемъ матеріалѣ), въ которыхъ повидимому не скрывалъ своего раздраженія, на мирныя извѣстія отвѣчалъ невѣріемъ, опасался даже, что самъ Г-нъ впадетъ, если уже не впалъ, въ славянофильство. Въ маѣ онъ написалъ въ Москву цѣлое длинное посланіе. „Я жидъ по натурѣ,—говорилось тамъ между прочимъ,—и съ филистимлянами за однимъ

---

[1]) Описаніе этого обѣда въ „Литер. Воспом." Панаева, 1861.

столомъ ѣсть не могу... Грановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ „Москвитянинѣ"? [1]) Нѣтъ, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія". Московскіе друзья отвѣчали оправданіями, но въ душѣ соглашались, что Бѣлинскій не совсѣмъ неправъ. Въ августѣ 1844 было написано Бѣлинскимъ еще одно желчное письмо на ту же тему [2]).

Предположенія Бѣлинскаго о непрочности мира съ славянофилами оправдались уже вскорѣ. Къ осени 1844 отношенія московскихъ его друзей къ славянофильскому кружку, который они такъ защищали отъ Бѣлинскаго, стали портиться; друзья приходили къ заключенію, что не можетъ быть мира съ людьми, которые такъ расходятся съ ними въ понятіяхъ; открылась наконецъ явная война. Грановскій, въ то время наиболѣе видное лицо „западной" партіи въ Москвѣ,—сдѣлался предметомъ самыхъ непріязненныхъ нападеній съ „славянской" стороны въ университетѣ, въ печати и за угломъ, въ стихотвореніяхъ, ходившихъ по рукамъ. Въ ноябрѣ 1844, въ университетѣ хотѣли не принять представленной имъ магистерской диссертаціи („Волинъ, Іомсбургъ и Винета", напечат. потомъ въ Валуевскомъ сборникѣ, 1845), и съ позоромъ возвратить ему ее какъ неудовлетворительную [3]); это не удалось врагамъ Грановскаго, но раздражить его они, конечно, успѣли. Грановскій теперь самъ отказался отъ участія въ „Москвитянинѣ". Славянофильскій кружокъ обнаруживалъ тотъ мрачный фанатизмъ, который друзья имѣли и прежде случаи видѣть. Хомяковъ (нѣсколько позднѣе) напалъ на Грановскаго въ печати. Языковъ, извѣстный поэтъ, „славянофилъ по родству", истощивши свою музу на мнимо-

[1]) Мы упоминали объ этомъ выше.

[2]) Около іюня 1844, вышла въ Москвѣ диссертація Самарина („Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ какъ проповѣдники", М. 1844), книга очень талантливая, которая произвела тогда большое впечатлѣніе. Изъ Москвы прислана была въ „Отеч. Записки" (№ 7) рецензія, гдѣ отдавалась полная справедливость достоинствамъ этой книги—безъ всякой примѣси вражды партій. Но Бѣлинскій, несмотря ни на что, оставался при своемъ.

[3]) Поводъ былъ, кажется, тотъ, что мнѣніе Грановскаго, что знаменитая Винета—миѳъ, сочтено было оскорбительнымъ для славянства.

разгульной поэзіи, напалъ на „западную“ партію въ стихотвореніяхъ, которыя можно было бы назвать памфлетами, еслибъ современники не считали ихъ за „юридическія бумаги“, какъ тогда говорилось. Онъ началъ (это было въ декабрѣ 1844), кажется, стихотвореніемъ *Къ не-нашимъ* [1]), направленнымъ противъ Грановскаго, Г-на и Чаадаева, которыхъ онъ обвинялъ не меньше какъ въ измѣнѣ отечеству; затѣмъ послѣдовали еще два такихъ же: изъ нихъ одно было посвящено спеціально обличенію Чаадаева [2]), другое было посланіе къ К. Аксакову, гдѣ за изъявленіями дружбы и славянофильскаго союза слѣдовали упреки Аксакову за то, что онъ подаетъ руку людямъ, которые „нашу Русь ненавидятъ всей душой и передались лукавой нѣметчинѣ“, и наконецъ поощреніе на борьбу съ этими врагами отечества [3]).

Въ этихъ стихотвореніяхъ было столько тупой злобы, что даже въ славянофильскомъ кругу не всѣ приняли ихъ съ сочувствіемъ. Аксаковъ, отличавшійся отъ многихъ неизмѣнной прямотой и искренностью, не отвѣчалъ на приглашенія Языкова и съ своей стороны написалъ стихотвореніе „Къ союзникамъ“; К. К. Павлова обратилась къ Языкову въ стихотвореніи, гдѣ укоряла его за то, что „гласъ пѣвца—вливаетъ ненависть въ сердца“ [4]). Мы упоминали, какъ смотрѣли другіе на эти произведенія Языкова; объясненія Грановскаго съ однимъ изъ членовъ славянофильскаго кружка, П. Кирѣевскимъ, едва не привели къ дуэли. Г-нъ послалъ въ „Отеч. Записки“ статью противъ „Москвитянина“, который тогда (съ января 1845) перешелъ въ завѣдываніе Ивана Кирѣевскаго и его друзей—впрочемъ не надолго. Какъ ни былъ Г-нъ еще недавно расположенъ къ миру съ этимъ кружкомъ, послѣднія дѣянія „славянъ“ раз-

---

[1]) Оно напечатано въ біографіи Чаадаева, написанной г. Жихаревымъ, „В. Евр.“ 1871, сент., стр. 43—44.

[2]) Тамъ же, у Жихарева, стр. 46—47; и въ „Р. Архивѣ“, 1875, № 5, стр. 111, съ нѣкоторыми варіантами.

[3]) Тамъ же, у Жихарева, стр. 44—45. К. Аксаковъ въ то время еще не разошелся съ Г-номъ и Грановскимъ.

[4]) Оба стихотворенія тамъ же у Жихарева. Мы не согласимся съ почтеннымъ біографомъ Чаадаева, что стихотвореніе Языкова противъ Чаадаева есть „чуть ли не лучшее стихотвореніе этого поэта“. Какова бы ни была форма, содержаніе столь фальшиво и обскурантно, что о „поэзіи“ странно говорить.

дражили наконецъ и его. Въ его статьѣ о 1-й книгѣ „Москвитянина“ не забыто неблаговидное нападеніе Языкова на „западный“ кружокъ [1]).

Между тѣмъ раздоръ продолжался. 21 февраля 1845 Грановскій защищалъ свою диссертацію: факультетъ, въ которомъ были непримиримые враги его изъ „славянъ“, наконецъ долженъ былъ принять ее. Диспутъ снова раздражилъ партіи: Грановскому сдѣлана была овація, его противникамъ шикали [2]). Въ новомъ „Москвитянинѣ“ дѣло не ладилось между самими „славянами“. Бѣлинскій смѣялся или сердился на воображаемыя примиренія, на торжественные обѣды и лобызанія съ своими противниками, и теперь московскимъ друзьямъ пришлось согласиться съ нимъ. Московскіе друзья разошлись наконецъ и съ тѣми людьми „славянскаго“ кружка, которые внушали имъ наиболѣе сочувствія по характеру и таланту. Г-нъ разстался съ К. Аксаковымъ и Самаринымъ. Имъ пришлось нѣсколько разочароваться и въ публикѣ, которая повидимому съ такимъ сознательнымъ сочувствіемъ принимала Грановскаго на его

[1]) Въ статьѣ говорится по поводу напечатаннаго въ „Москвитянинѣ“ новаго стихотворенія Языкова:

„Разсказъ г. Языкова о капитанѣ Сурминѣ—трогателенъ и наставителенъ; кажется, успокоившаяся отъ суетъ муза г. Языкова рѣшительно посвящаетъ нѣкогда забубенное перо свое поэзіи исправительной и обличительной. Это истинная цѣль искусства; пора поэзіи сдѣлаться трибуналомъ de la poésie correctionelle. Мы имѣли случай читать еще поэтическія произведенія того же исправительнаго направленія, ждемъ ихъ въ печати; это громъ и молнія; озлобленный поэтъ не остается въ абстракціяхъ; онъ указуетъ негодующимъ перстомъ *лица*—при полномъ изданіи можно приложить адресы!.. Исправлять нравы! Что можетъ быть выше этой цѣли? развѣ не ее имѣлъ въ виду самоотверженный Коцебу и авторъ „Выжигиныхъ“ и другихъ нравственно-сатирическихъ романовъ?“—„От. Зап.“ 1845, кн. 3: „Москвитянинъ и Вселенная“, Ярополка Водянскаго (смѣсь, стр. 48—51).

Еще раньше, въ началѣ 1844, Г-нъ написалъ „Два литературныхъ брака“ (Гречъ и Булгаринъ, Погодинъ и Шевыревъ), но бросилъ ихъ. Потомъ, вѣроятно тоже самое написалъ онъ вновь, подъ заглавіемъ „Умъ хорошо, а два лучше“—и посвятилъ эту блестящую остроуміемъ статейку Бѣлинскому. Напечатана она была только впослѣдствіи, — между прочимъ въ „Р. Старинѣ“ 1871, т. IV, стр. 528—532 (съ опечатками).

[2]) См. въ біографіи Грановскаго, г. Станкевича. Другія подробности взяты нами изъ современной переписки.

лекціяхъ. Успѣхъ Грановскаго кололъ глаза его противникамъ, и въ началѣ 1845 года объявленъ былъ публичный курсъ Шевырева о древней русской словесности. Оказалось, что лекціи Шевырева—изложенныя въ извѣстномъ духѣ и напечатанныя потомъ въ его книгѣ — имѣли въ своемъ кругѣ успѣхъ и опять сопровождались оваціями...

Но московскіе друзья, въ особенности Г-нъ, съ своей стороны дѣйствовали на мнѣнія Бѣлинскаго. Г-нъ объяснялъ ему лучшія стороны мнѣній своихъ славянофильскихъ друзей, упрекалъ Бѣлинскаго въ исключительности, и между прочимъ настаивалъ на бо́льшемъ вниманіи къ „народу", указывая Бѣлинскому на неловкости его приговоровъ о „невѣжественной толпѣ", о „народности лаптей и зипуна". Впослѣдствіи, въ „Московскихъ Сборникахъ" славянофилы не упустили напасть на подобныя выраженія, и хотѣли приписать вообще всей „западной" партіи пренебреженіе къ народу;—но, во-первыхъ, это въ самомъ дѣлѣ были только излишнія, неосторожныя выраженія; во-вторыхъ, эта ошибка (какъ мы нашли тому доказательства въ тогдашней перепискѣ) гораздо раньше была замѣчена въ само́й западной партіи... Подобныя выраженія имѣли чисто полемическій источникъ и направлялись собственно противъ мнимо-патріотическаго нелѣпаго хвастовства „Маяка", „Москвитянина", „С. Пчелы" и т. п.,—въ родѣ того, что намъ не чему учиться и заимствоваться отъ Европы, что Западъ сгибнетъ въ одно прекрасное утро, что европейская цивилизація ничто передъ нашей „народностью", что русскій „мужичокъ" лучше всякаго нѣмца сдѣлаетъ то-то и то-то, и т. д. Когда славянофилы, т.-е. собственно К. Аксаковъ, надѣлъ тотъ русскій костюмъ, въ которомъ настоящіе мужики, говорятъ, принимали его за персіянина [1]), Бѣлинскій въ этой символикѣ увидѣлъ новое упрямое подтвержденіе этого хвастовства, и съ раздраженіемъ напалъ на „терлики" и „мурмолки"... Ему ненавистны были эти легкомысленныя нападки на западную образованность, которой мы

[1]) Одинъ изъ московскихъ друзей писалъ въ Петербургъ объ этой костюмировкѣ (окт. 1844): „Аксаковъ въ бородѣ, рубашка сверхъ панталонъ, и въ мурмолкѣ и терликѣ ходитъ по улицамъ. Хомяковъ восхищается этимъ и *ходитъ во фракѣ*".

сами имѣли только крохи, на западную общественность, которой не умѣли даже понимать, и ненавистна была эта похвальба, которая грозила отупленіемъ и послѣднихъ умственныхъ инстинктовъ. Прибавимъ, для объясненія послѣдующихъ отношеній между двумя партіями, что у славянофиловъ начало теперь складываться мнѣніе, что „западная" партія вообще враждебна „народу"—почему московскіе друзья Бѣлинскаго и сочли нужнымъ его предостеречь. Дѣло въ слѣдующемъ. Старые „славяне", т.-е. издатели „Москвитянина", считали дѣятельность „западнаго" круга такъ сказать огуломъ вредной, идущей противъ всѣхъ основныхъ началъ русской народности. Новые славянофилы, хотя во многомъ буквально сходились съ „Москвитяниномъ", ставили вопросъ нѣсколько тоньше. Въ то время, какъ издатели „Москвитянина" являлись партизанами оффиціальной народности, новые славянофилы подраздѣлили русскую исторію на два различныхъ явленія—древнюю, настоящую (на дѣлѣ собственно московскую) Русь и такъ-названный ими „петербургскій періодъ". Первая имѣла всѣ ихъ пламенныя сочувствія, второй—всю ненависть. Представителями первой они считали себя; своихъ „западныхъ" противниковъ они стали отождествлять съ „петербургскимъ періодомъ", и прошлымъ и новѣйшимъ. Ссылаясь на то, что ихъ партія (новое славянофильство) возбуждало противъ себя нѣкоторое неудовольствіе въ высшихъ сферахъ, они приписывали себѣ извѣстную оппозиціонную роль, а своихъ противниковъ (одни—наивно, другіе не безъ лукавства) выдавали за союзниковъ status quo, враговъ (своей) свободной мысли и народныхъ началъ.

Можно себѣ представить, сколько было смысла въ этомъ послѣднемъ. Настоящее положеніе партій было очевидно уже изъ союза новыхъ славянофиловъ съ „Москвитяниномъ", цвѣтъ котораго былъ совершенно ясенъ, и изъ той роли, какую заняли „славяне" въ описанномъ столкновеніи съ „западной" партіей во время лекцій Грановскаго. Поэтъ „славянъ", Языковъ, еще разъ самымъ несомнительнымъ образомъ указывалъ точку зрѣнія и вожделѣнія своей партіи.

Несмотря на то однако, „славяне" употребляли противъ западной партіи указанный аргументъ о мнимомъ тождествѣ ея

съ „петербургскимъ періодомъ", какъ полемическую уловку, и могли подкрѣплять ее цитатами изъ статей Бѣлинскаго, гдѣ бывали и теперь остатки старой гегеліянской точки зрѣнія и неосторожныя выраженія, въ родѣ вышеприведенныхъ [1]). Доходило до того, что Бѣлинскаго считали возможнымъ обвинять въ сервильности [2]). Московскіе друзья, предостерегая Бѣлинскаго, хотѣли отнять у своихъ противниковъ возможность этой полемической уловки.

Бѣлинскій безъ сомнѣнія не спорилъ, когда московскіе друзья замѣтили ему, что не слѣдуетъ нападать на лапти или зипунъ, которые мужикъ носитъ не по любви къ нимъ, а по невозможности имѣть сапоги или хорошую шубу. Рѣчь шла лишь о томъ, чтобъ измѣнить способъ выраженія, дававшій поводъ къ перетолкованіямъ. Но мимо этого, Бѣлинскій по всему вѣроятію заимствовалъ у Г-на долю тѣхъ воззрѣній на „народный" вопросъ, какія отчасти сближали самого Г-на съ славянофильскимъ взглядомъ.

Факты, здѣсь указанные, отчасти взяты нами изъ переписки друзей Бѣлинскаго. Его собственная переписка, какъ было замѣчено, на это время очень скудна. Приводимъ изъ нея немногія цитаты.

Бѣлинскій былъ крайне утомленъ отъ журнальной работы; нездоровье, которое уже давно его одолѣвало, теперь почти не покидаетъ его и періодически усиливается все въ болѣе тяжкихъ формахъ [3]).

---

[1]) Такія неловкости московскіе друзья видѣли, напр., и въ статьѣ Бѣлинскаго о „Парижскихъ тайнахъ" („Отеч. Зап." 1844, кн. 4, критика; Сочин. IX, стр. 3—29).

[2]) См. напр. послѣднюю статью, Сочин. IX, стр. 11.

[3]) Въ декабрѣ 1844 онъ пишетъ небольшое письмо къ своимъ деревенскимъ друзьямъ, и начинаетъ съ извиненія за свою невѣжливость—что отвѣчаетъ уже только на третье письмо, отъ нихъ полученное.

„Что дѣлать? Русскій человѣкъ — и мнѣ приличнѣе обращаться съ лошадьми, нежели съ дамами. То боленъ (а. я дѣйствительно съ самаго лѣта такъ боленъ, какъ еще никогда не бывалъ), то дѣла по горло, то не въ духѣ, а главное—проклятая журнальная работа—этотъ источникъ моего нездоровья

Въ письмѣ отъ января 1845 г., къ одному изъ московскихъ друзей, мы имѣемъ между прочимъ указанія на московскія отношенія кружка́. Въ началѣ письма разсказывается, какъ было обрадовался Бѣлинскій, когда однажды кухарка, она же и камердинеръ, „доложила" ему, что его спрашиваетъ господинъ съ именемъ, похожимъ на имя Г-на. На минуту Бѣлинскій изумился. „У меня вздрогнуло сердце: какъ Г-нъ? быть не можетъ— субъектъ запрещенный...,—при томъ же онъ оборвалъ бы звонокъ, залился бы хохотомъ и, снимая шубу, отпустилъ бы кухаркѣ съ полсотню остротъ,—нѣтъ, это не онъ"! Это дѣйствительно не былъ онъ. Бѣлинскій упоминаетъ при этомъ о своей перепискѣ съ Г-номъ, письма котораго всегда доставляли ему большое удовольствіе: „въ нихъ всегда такъ много какого-то добродушнаго юмору, который хоть на минуту выведетъ изъ апатіи и возбудитъ добродушный смѣхъ"... Новый знакомецъ, явившійся къ Бѣлинскому, былъ пріѣзжій изъ Москвы, и привезъ Бѣлинскому письма отъ московскихъ друзей, и московскія новости.

«Вѣсти... о лекціяхъ Ш., о фурорѣ, который онѣ произвели въ *зернистой* московской публикѣ, о рукоплесканіяхъ, которыми прерывается каждое слово сего московскаго скверноуста — все это меня не удивило нисколько: я увидѣлъ въ этомъ повтореніе исторіи съ лекціями Грановскаго. Наша публика—мѣщанинъ во дворянствѣ: ее лишь бы пригласили въ парадно-освѣщенную залу, а ужъ она, изъ благодарности, что ее, холопа, пустили въ барскія хоромы, непремѣнно останется всѣмъ довольною. Для нея хорошъ и Грановскій, да не дуренъ и Шевыревъ; интересенъ Вильменъ, да любопытенъ и Гречъ. Лучшимъ она всегда считаетъ того, кто читалъ послѣдній. Иначе и быть не можетъ, и винить ее за это нельзя. Французская публика умна, но вѣдь къ ея услугамъ и тысячи журналовъ, которые имѣютъ право не только хвалить, но и ругать; сама она имѣетъ право не только хлопать, но и свистать. Сдѣлай такъ, чтобы во Франціи публичность замѣнилась авторитетомъ полиціи, и публика, въ театрѣ и на публичныхъ чтеніяхъ, имѣла бы право только хлопать, не имѣла бы права шикать и свистать: она скоро сдѣлалась бы такъ же глупа, какъ и русская публика. Если бы Г-нъ имѣлъ право,

---

и физическаго, и нравственнаго,—то наконецъ и самъ не знаю почему, но только не могъ приняться за перо. Съ нѣкотораго времени я со всѣми таковъ въ отношеніи къ письмамъ. Но вы такъ добры и, вѣрно, простили меня, не дожидаясь извиненій"...

между первою и второю лекціею Ш., тиснуть статейку,—вторая лекція, навѣрное, была бы принята съ меньшимъ восторгомъ. По моему мнѣнію, стыдно хвалить то, чего не имѣешь права ругать: вотъ отъ чего мнѣ не понравились статьи (Г-на) о лекціяхъ Грановскаго [1]). Но довольно объ этомъ. Москва сдѣлала наконецъ рѣшительное пронунціаменто [2]); хорошій городъ! Питеръ тоже не дуренъ. Да и все хорошо. Спасибо тебѣ за стихи Яз. Жаль, что ты не вполнѣ ихъ прислалъ»...

Въ Петербургѣ нѣкто написалъ пародію на злостныя стихотворенія Языкова (упомянутыя выше). Бѣлинскій посылаетъ ее московскимъ друзьямъ, совѣтуетъ распространить ее, и послать для напечатанія въ „Москвитянинъ". Онъ продолжаетъ:

«А что ты пишешь..., будто моя статья не произвела на ханжей впечатлѣнія и что они гордятся ею—вздоръ; если ты этому повѣрилъ, значитъ, ты плохо знаешь сердце человѣческое и совсѣмъ не знаешь сердца литературнаго—ты никогда не былъ печатно обруганъ. Штуки, судырь ты мой, изъ которыхъ я вижу ясно, что ударъ былъ страшенъ. Теперь я этихъ людей [3]) не оставлю въ покоѣ»...

Рѣчь идетъ безъ сомнѣнія о статьѣ Бѣлинскаго „Русская литература въ 1844 году,"—гдѣ между прочимъ былъ мѣткій и суровый разборъ вышедшихъ тогда стихотвореній Языкова и Хомякова [4]). И тѣ и другія Бѣлинскому очень мало нравились звонкая поверхностность, вычурность, натянутость одного автора, славянофильскій притязательный мистицизмъ другого только подтверждали антипатіи Бѣлинскаго; разбирая Языкова, Бѣлинскій еще не зналъ новѣйшихъ его произведеній (стихотворныхъ ругательствъ на „западный" кружокъ)—но этотъ разборъ вышелъ точно отвѣтомъ на это недостойное злоупотребленіе Языковымъ своей „лиры".

Далѣе, въ томъ же письмѣ упоминается о другомъ предметѣ тогдашнихъ интересовъ Бѣлинскаго:

«N. [5]) писалъ тебѣ о парижск. Ярбюхерѣ, и что будто я отъ него воскресъ и переродился. Вздоръ! Я не такой человѣкъ, котораго тетрадка можетъ удовлетворить. Два дня я отъ нея былъ бодръ и веселъ,—и все

[1]) Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ".

[2]) Быть можетъ, разумѣются здѣсь лекціи Шевырева, или „Москвитянинъ", получавшій тогда новую редакцію.

[3]) Замѣняемъ рѣзкое выраженіе.

[4]) „Отеч. Зап." 1845, кн. 1. Сочин., т. XI, стр. 253—288.

[5]) Имя одного изъ общихъ друзей.

тутъ. Истину я взялъ себѣ... (рѣзкія выраженія противъ «тьмы, мрака, цѣпей» и пр.)... Все это такъ, но вѣдь я, по прежнему, не могу печатно сказать все, чтó я думаю и какъ я думаю. А чортъ-ли въ истинѣ, если ея нельзя популяризировать и обнародывать?—мертвый капиталъ!..»

Парижское изданіе, о которомъ здѣсь упоминается, былъ новый журналъ Арнольда Руге. Когда „Deutsche Jahrbücher" были запрещены саксонскимъ правительствомъ, Руге рѣшился продолжать свое дѣло во Франціи; въ новыхъ „Jahrbücher" должны были соединиться лѣвая сторона гегеліянства съ французскимъ соціализмомъ. Кружокъ Бѣлинскаго еще раньше былъ знакомъ (больше или меньше) съ тѣмъ и другимъ, сочувствовалъ обоимъ, и понятно, что ихъ соединеніе могло произвести на Бѣлинскаго впечатлѣніе, указанное въ послѣдней цитатѣ. Въ воспоминаніяхъ г. Тургенева разсказывается, какъ, напримѣръ, Бѣлинскій и его друзья увлекались тогда (впрочемъ, не особенно долго) Пьеромъ Леру, о которомъ таинственно переписывались, давая ему наименованіе „Петра Рыжаго", и т. п. [1]).

Между тѣмъ, здоровье все больше измѣняло Бѣлинскому. Осенью 1845 года онъ выдержалъ сильную болѣзнь, которая грозила опасностью самой жизни. Журнальная работа становилась ему невыносима. Наконецъ, стали разстроиваться отношенія съ редакціей „Отечеств. Записокъ". Дѣло кончилось тѣмъ, что въ началѣ 1846 года Бѣлинскій оставилъ совсѣмъ этотъ журналъ.

Мы не будемъ входить въ разборъ этихъ несогласій, тѣмъ больше, что подробности ихъ все еще не вполнѣ извѣстны. Мы укажемъ только на извѣстные отзывы объ этихъ отношеніяхъ въ воспоминаніяхъ современниковъ, друзей Бѣлинскаго (какъ Панаевъ, Тургеневъ, Г-нъ), и прибавимъ, что слышали отъ другихъ современниковъ, непричастныхъ этимъ отношеніямъ, отзывы гораздо болѣе умѣренные и нѣсколько измѣняющіе дѣло, —хотя должно сказать, что другая сторона до сихъ поръ не представила достаточнаго разъясненія дѣла [2]). Какъ бы то ни

---

[1]) „В. Евр.", 1869, апр. 719.

[2]) Объ отношеніяхъ Бѣлинскаго къ „Отеч. Запискамъ", и потомъ къ „Современнику", есть уже цѣлая литература. Кромѣ упомянутыхъ въ текстѣ воспоминаній современниковъ, см. статьи въ „Голосѣ" 1869, по поводу „Воспо-

было, Бѣлинскій къ началу 1846 уже рѣшилъ покинуть „Отеч. Записки". Его сильно заняли планы о томъ, какъ могъ бы онъ устроить себѣ иное литературное положеніе, которое лучше бы его обезпечило и дало возможность болѣе спокойной, свободной работы и отдыха.

Въ самомъ началѣ 1846 года, 2 января онъ пишетъ объ этомъ къ своимъ ближайшимъ московскимъ друзьямъ, подъ величайшей тайной [1]).

«Я теперь рѣшился оставить «Отечественныя Записки», — говоритъ онъ въ этомъ письмѣ.—Это желаніе давно уже было моею idée fixe; но я все надѣялся выполнить его чудеснымъ способомъ, благодаря моей фантазіи, которая у меня услужлива не менѣе фантазіи г. Манилова, и надеждамъ на богатыхъ земли. Теперь я увидѣлъ ясно, что это все вздоръ, и что надо прибѣгнуть къ средствамъ, болѣе обыкновеннымъ, болѣе труднымъ, но за то и болѣе дѣйствительнымъ. Но прежде о причинахъ, а потомъ уже о средствахъ... Журнальная срочная работа высасываетъ изъ меня жизненныя силы, какъ вампиръ кровь. Обыкновенно, я недѣли двѣ въ мѣсяцъ работаю съ страшнымъ лихорадочнымъ напряженіемъ, до того, что пальцы деревенѣютъ и отказываются держать перо; другія двѣ недѣли я, словно съ похмѣлья послѣ двухнедѣльной оргіи, праздношатаюсь и считаю за трудъ прочесть даже романъ. Способности мои тупѣютъ, особенно память, страшно заваленная грязью и соромъ россійской словесности. Здоровье видимо разрушается. Но трудъ мнѣ не опротивѣлъ. Я больной писалъ большую статью о жизни и сочиненіяхъ Кольцова [2]), и работалъ съ наслажденіемъ; въ другое время, я въ три недѣли чуть не изготовилъ къ печати цѣлой книги, и эта работа была мнѣ сладка, сдѣлала меня веселымъ, довольнымъ и бодрымъ духомъ. Стало быть, мнѣ невыносима и вредна только срочная журнальная работа; она тупитъ мою голову, разрушаетъ здоровье, искажаетъ характеръ, и безъ того брюзгливый и мелочно-раздражительный, но трудъ

минаній" г. Тургенева; въ „Космосѣ" 1869, прил. № 1, и второе полугодіе, № 1; полемику между „Голосомъ" и „Спб. Вѣдомостями" по поводу письма Бѣлинскаго къ Боткину (отъ 4—5 ноября 1847), напечатаннаго въ „Спб. Вѣд." 1869, № 187—188.

[1]) Это письмо, и нѣкоторыя слѣдующія извѣстны намъ только въ неполныхъ копіяхъ.

[2]) Для отдѣльнаго изданія стихотвореній. Сочин., т. XII. Кромѣ того онъ издалъ въ началѣ 1846 года брошюру о Полевомъ. Сочин., XII, стр. 148—186.

не ex officio былъ бы мнѣ отраденъ и полезенъ. Вотъ первая и главная причина»...

Къ пасхѣ этого года Бѣлинскій намѣренъ былъ издать „толстый, огромный альманахъ", который долженъ былъ на первое время, по оставленіи журнала, дать ему помѣщеніе для работы и вмѣстѣ нѣкоторыя средства.

Подобные альманахи были тогда въ ходу. Передъ тѣмъ, въ такомъ же родѣ, былъ задуманъ и изданъ, въ началѣ 1846 года, Некрасовымъ „Петербургскій Сборникъ", въ которомъ участвовалъ и Бѣлинскій [1]); въ Москвѣ, въ 1846 и въ слѣдующемъ году, явились два „Московскіе Сборника". За трудностью получить разрѣшеніе на изданіе новаго журнала (эта трудность и тогда была велика) альманахъ оставался единственной формой, въ которой возможенъ былъ сборный трудъ. Понятно, что въ сборникахъ московскихъ и петербургскихъ выразилось и дѣленіе литературныхъ партій — такъ это и понималось: московскіе сборники были заявленіемъ новой славянофильской программы; петербургскія изданія представляли бы мнѣнія „западной" партіи.

Было еще обстоятельство, которое ободряло Бѣлинскаго въ его предпріятіи. Эти годы (1845, особенно 1846, потомъ 1847) были особенно изобильны литературными явленіями, въ которыхъ несомнѣнно сказывалось новое движеніе, новый шагъ развитія послѣ Гоголя. Съ 1845, г. Тургеневъ покидаетъ стихи и поэмы, и обращается къ повѣсти; въ томъ же году явилась первая половина романа „Кто виноватъ?"; въ томъ же году, въ кружкѣ Бѣлинскаго появился г. Достоевскій съ повѣстью „Бѣдные люди" (вошедшей въ „Петербургскій Сборникъ"). Въ 1846 году Бѣлинскій съ восхищеніемъ встрѣтилъ „Обыкновенную Исторію" г. Гончарова, и въ концѣ того же года явилась первая замѣчательная повѣсть г. Григоровича, „Деревня". Бѣлинскій, всегда съ восторгомъ встрѣчавшій новые таланты, теперь не зналъ мѣры своимъ увлеченіямъ, быть можетъ потому (какъ замѣчаетъ Тургеневъ въ своихъ воспомина-

---

[1]) Статьей „Мысли и замѣтки о русской литературѣ". Сочин. XII, стр. 235—276.

ніяхъ), что наступавшее ослабленіе организма увеличивало его нервную воспріимчивость, а вѣроятнѣе потому, что быстрое появленіе, одно за другимъ, явленій дѣйствительно замѣчательныхъ, само по себѣ производило сильное впечатлѣніе.

Такой, до крайности доходившій, восторгъ произвела въ немъ прежде всего первая повѣсть Достоевскаго „Бѣдные люди"; Бѣлинскій узналъ о ней отъ издателя „Петербургскаго Сборника", въ который она предназначалась. Бѣлинскому сообщили ее какъ замѣчательное произведеніе.

„Бѣлинскій принялъ ее не совсѣмъ довѣрчиво, — разсказываетъ Панаевъ [1]). — Нѣсколько дней онъ, кажется, не принимался за нее.

„Онъ въ первый разъ взялся за нее, ложась спать, думая прочесть немного, но съ первой же страницы рукопись заинтересовала его... Онъ увлекался ею болѣе и болѣе, не спалъ всю ночь и прочелъ ее разомъ, не отрываясь.

„Утромъ Некрасовъ засталъ Бѣлинскаго уже въ восторженномъ, лихорадочномъ состояніи.

„Въ такомъ положеніи онъ, обыкновенно, ходилъ по комнатѣ въ безпокойствѣ, въ нетерпѣніи, весь взволнованный. Въ эти минуты ему непремѣнно нуженъ былъ близкій человѣкъ, которому бы онъ могъ передать переполнявшія его впечатлѣнія... Нечего говорить, какъ Бѣлинскій обрадовался Некрасову.

„— Давайте мнѣ Достоевскаго!—были первыя слова его.

„Потомъ онъ, задыхаясь, передалъ ему свои впечатлѣнія; говорилъ, что „Бѣдные люди" обнаруживаютъ громадный, великій талантъ, что авторъ ихъ пойдетъ далѣе Гоголя, и прочее. „Бѣдные люди", конечно, замѣчательное произведеніе и заслуживало вполнѣ того успѣха, которымъ оно пользовалось, но все-таки увлеченіе Бѣлинскаго, относительно его, доходило до крайности.

„Когда къ нему привезли Достоевскаго, онъ встрѣтилъ его съ нѣжною, почти отцовскою любовью, и тотчасъ же высказался передъ нимъ *весь*, передавъ ему вполнѣ свой энтузіазмъ"...

---

[1]) Восп. о Бѣл., „Совр., 1860, № 1, стр. 369. Ср. „Воспоминанія" г. Тургенева, „Вѣстн. Евр.", 1869, апрѣль, стр. 720.

Но энтузіазмъ Бѣлинскаго не былъ однако слѣпымъ и неисправимымъ увлеченіемъ. Во-первыхъ, появленіе „Бѣдныхъ людей“ въ тогдашнемъ положеніи литературы было дѣйствительно событіемъ; а во-вторыхъ, Бѣлинскій уже вскорѣ сильно измѣнилъ свое мнѣніе о самомъ талантѣ, при появленіи другихъ повѣстей Достоевскаго, слѣдовавшихъ за „Бѣдными людьми“: ихъ болѣзненная натянутая фантастика подѣйствовала на него непріятно и очень умѣрила его представленіе о талантѣ Достоевскаго. Впослѣдствіи Бѣлинскій называлъ эту фантастику „нервической чепухой“ [1]...

Около того же времени, или немного позднѣе, произвелъ на Бѣлинскаго столь же сильное, но гораздо болѣе прочное впечатлѣніе первый трудъ г. Гончарова. Авторъ самъ, въ теченіе нѣсколькихъ вечеровъ, читалъ Бѣлинскому свою „Обыкновенную исторію“... Бѣлинскій былъ въ восторгѣ отъ новаго таланта, выступавшаго такъ блистательно,—говоритъ Панаевъ:—„Бѣлинскій, все съ болѣе и болѣе возроставшимъ участіемъ и любопытствомъ, слушалъ чтеніе Гончарова и по временамъ привскакивалъ на своемъ стулѣ, съ сверкающими глазами, въ тѣхъ мѣстахъ, которыя ему особенно нравились“... [2]). Мнѣнія своего о талантѣ г. Гончарова онъ не измѣнилъ и впослѣдствіи.

Возвращаемся къ письму 2 января:

«Къ пасхѣ я издаю толстый огромный альманахъ. Достоевскій даетъ повѣсть, Тургеневъ повѣсть и поэму, Н... юмористическую статью въ стихахъ (*Семейство*, онъ на эти вещи собаку съѣлъ), П... повѣсть; вотъ уже пять статей есть; шестую напишу самъ; надѣюсь у Майкова выпросить поэму»...

Онъ ждалъ содѣйствія и отъ московскихъ друзей: отъ Грановскаго онъ желалъ исторической статьи: отъ Г-на—вторую часть романа „Кто виноватъ“? и вообще чего-нибудь живого и легкаго о русской жизни, литературѣ и проч. Упомянувъ о Грановскомъ, Бѣлинскій продолжаетъ:

«На всякій случай, скажи юному профессору К-ну, нельзя-ли отъ

---

[1]) Даже сильнѣе.

[2]) „Восп.“ Панаева, стр. 368. Дальше, читатель найдетъ объ этомъ еще другія подробности.

него поживиться чѣмъ-нибудь въ этомъ [1]) родѣ. Его лекціи, которыхъ начало онъ прислалъ мнѣ (за что благодаренъ ему до-нельзя), чудо какъ хороши; основная мысль ихъ о племенномъ и родовомъ характерѣ русской исторіи въ противоположность личному характеру западной исторіи—геніальная мысль, а онъ развиваетъ ее превосходно. Если бы онъ далъ мнѣ статью, въ которой бы развилъ эту мысль, сдѣлавъ сокращеніе изъ своихъ лекцій, я бы не зналъ, какъ благодарить его»...

Это и было сдѣлано въ очень извѣстной статьѣ „Юридическій бытъ древней Россіи", напечатанной въ 1-й книгѣ возникшаго потомъ „Современника".

Самъ Бѣлинскій думалъ написать о современномъ значеніи поэзіи. Онъ ожидалъ, кромѣ того, получить повѣсть отъ Кудрявцева, жившаго тогда въ Берлинѣ,—что-нибудь въ родѣ путевыхъ замѣтокъ отъ Анненкова, который уѣзжалъ тогда за границу. Бѣлинскій надѣялся, что со всѣмъ этимъ матеріаломъ, повѣстями, стихотвореніями, статьями серьёзными и юмористическими, „альманахъ вышелъ бы на славу".

Въ ту минуту онъ дѣлалъ изданіе Кольцова съ книгопродавцемъ Ольхинымъ; къ пасхѣ же надѣялся кончить первую часть своей исторіи русской литературы. Вообще онъ былъ исполненъ надеждами:

«Лишь бы извернуться на первыхъ-то порахъ, а тамъ, я знаю, все пойдетъ лучше, чѣмъ было; я буду получать не меньше, если еще не больше, за работу, которая будетъ легче и пріятнѣе»...

Отвѣтъ московскихъ друзей не замедлилъ и очень обрадовалъ Бѣлинскаго. Ему писали, что Г-нъ хочетъ дать ему другую повѣсть (это была „Сорока-воровка", напечатанная потомъ въ „Современникѣ"), и предложили „Письма объ Испаніи" Боткина. Бѣлинскій, въ письмѣ отъ 14 января, опасается только, что остается мало времени. „Пора уже собирать и въ цензуру представлять. Цензоровъ у насъ мало, а работы у нихъ гибель, оттого они страшно задерживаютъ рукописи"... Затѣмъ слѣдуютъ строки, въ которыхъ высказались мрачныя мысли, уже овладѣвавшія имъ теперь:

«Ахъ, братцы, плохо мое здоровье—бѣда! Иногда, знаете, лѣзетъ въ голову всякая дрянь, напр., какъ страшно оставить жену и дочь безъ

---

[1]) Т. е. историческомъ.

кусва хлѣба и пр. До моей болѣзни прошлою осенью, я былъ богатырь въ сравненіи съ тѣмъ, что я теперь. Не могу поворотиться на стулѣ, чтобъ не задохнуться отъ истощенія.

«Полгода, даже четыре мѣсяца за-границею, и можетъ быть, я лѣтъ на пятокъ или болѣе, опять пошелъ бы какъ ни въ чемъ не бывало. Бѣдность не порокъ, а хуже порока. Бѣднякъ подлецъ, который долженъ самъ себя презирать, какъ парія, не имѣющаго права даже на солнечный свѣтъ. Журнальная работа и петербургскій климатъ доканали меня».

Слѣдующее письмо къ московскимъ друзьямъ писано отъ 6 февраля. Бѣлинскій „радъ несказанно", что можетъ быть увѣренъ въ полученіи „Сороки-воровки", которая уже кончена.

«А все-таки грустно и больно, что «Кто виноватъ» [1]) ушла у меня изъ рукъ. Такія повѣсти (если 2 и 3 часть не уступаютъ первой) являются рѣдко, и въ моемъ альманахѣ она была бы капитальною статьею, раздѣляя восторгъ публики съ повѣстью Достоевскаго «Сбритые бакенбарды» [2]), а это было бы больше, нежели сколько можно желать издателю альманаха даже и во снѣ, не только на яву. Словно бѣсъ какой дразнитъ меня этою повѣстью, и, разставшись съ нею, я все не перестаю строить на ея счетъ предположительные планы...

«Что статья К-на будетъ хороша—въ этомъ я увѣренъ, какъ нельзя больше. Ея идея (а отчасти и манера К-на развивать эту идею) мнѣ извѣстна, а этого довольно, чтобы смотрѣть на эту статью какъ на что-то весьма необыкновенное»...

Въ концѣ письма Бѣлинскій говоритъ съ величайшимъ сочувствіемъ о талантѣ автора „Кто виноватъ?" Онъ еще не имѣлъ въ рукахъ „Сороки-воровки", но былъ убѣжденъ, что это—„граціозно-остроумная и, по его обыкновенію, дьявольски умная вещь" и т. д. Далѣе онъ высказываетъ желаніе имѣть что-либо отъ Грановскаго. „Статьѣ Соловьева я радъ несказанно и прошу тебя поблагодарить его отъ меня за нее" [3]).

Московскіе друзья не знали, радоваться или нѣтъ, что Бѣ-

---

[1]) Первая часть этого романа появилась въ „Отеч. Зап." 1845, кн. 12, стр. 195—245. Продолженіе („Владиміръ Бельтовъ". Эпизодъ между первою и второю частями)—въ „Отеч. Зап." 1846, кн. 4, стр. 155—192. Объ этомъ продолженіи Бѣлинскій здѣсь и говоритъ. Наконецъ полный романъ, въ двухъ частяхъ, изданъ былъ въ приложеніи къ 1-й книгѣ „Современника", 1847.

[2]) Такой повѣсти, кажется, послѣ не появлялось.

[3]) „Даніилъ Романовичъ Галицкій"; статья эта явилась потомъ въ „Современникѣ", 1847 г.

линскій оставилъ журналъ. У нихъ было естественное опасеніе, что Бѣлинскій можетъ остаться безъ средствъ, не имѣя правильнаго помѣщенія для своей работы. Онъ отвѣчаетъ на это въ новомъ письмѣ, отъ 19 февраля, гдѣ опять говоритъ объ альманахѣ:

«...Отвѣчаю утвердительно: радоваться; дѣло идетъ не только о здоровьи, о жизни, но и умѣ моемъ. Вѣдь я тупѣю со дня на день. Памяти нѣтъ, въ головѣ хаосъ отъ русскихъ книгъ, а въ рукѣ всегда готовыя общія мѣста и казенная манера писать обо всемъ. «Въ дорогѣ» Н-ва [1]) превосходно; онъ написалъ и еще нѣсколько такихъ же, и напишетъ ихъ еще больше; но онъ говоритъ, это отъ того, что онъ не работаетъ въ журналѣ. Я понимаю это. Отдыхъ и свобода не научатъ меня стихи писать, но дадутъ мнѣ возможность такъ хорошо писать, какъ мнѣ дано. Ты не знаешь этого положенія. А что я могу прожить и безъ «Отечественныхъ Записокъ», можетъ быть, еще лучше, это кажется ясно. Въ головѣ у меня много дѣльныхъ предпріятій и затѣй, которыя при прочихъ занятіяхъ никогда бы не выполнились, и у меня есть теперь имя, а это много».

Бѣлинскій говорилъ далѣе о присланныхъ статьяхъ. „Сорока-воровка", по его словамъ, отзывалась анекдотомъ, но разсказана мастерски и производитъ глубокое впечатлѣніе. Онъ боялся одного: „всю запретятъ" [2]). Ему понравилась и мысль— „Записокъ медика" (это были—явившіяся потомъ „Записки доктора Крупова"); понравилась и историческая монографія „Даніилъ Галицкій". „О статьѣ Кавелина нечего и говорить, это— чудо". Далѣе онъ опять возвращается къ своему альманаху,— отвѣчая на мнѣніе московскихъ друзей.

«Итакъ, вы, лѣнивые и бездѣятельные москвичи, оказались исправнѣе нашихъ петербургскихъ скорописцевъ. Спасибо вамъ!

«А что мой альманахъ долженъ быть слономъ или левіаѳаномъ, это такъ. Пьеса какъ «Въ дорогѣ» нисколько не виновата въ успѣхѣ альманаха [3]). «Бѣдные люди»—другое дѣло, и то потому, что о нихъ заранѣе прошли слухи. Сперва покупаютъ книгу, а потомъ читаютъ; люди, поступающіе наоборотъ, у насъ рѣдки, да и тѣ покупаютъ не альманахи. Повѣрь мнѣ, между покупателями «Петербургскаго Сборника»

---

[1]) Это стихотвореніе находилось въ „Петербургскомъ Сборникѣ" г. Некрасова. Эта книга только-что передъ тѣмъ вышла.

[2]) Она явилась потомъ въ февральской книгѣ „Современника", 1848.

[3]) Т. е. „Петербургскаго Сборника".

много есть людей, которымъ только и понравится, что статья «О парижскихъ увеселеніяхъ» [1]). Мнѣ рисковать нельзя, мнѣ нуженъ успѣхъ вѣрный и быстрый... Одинъ альманахъ разошелся, глядь, за нимъ является другой, покупатели ужъ смотрятъ на него недовѣрчиво. Имъ давай новаго, повтореній не любятъ, у меня тѣ же имена, кромѣ Г. и М. С. [2]). Когда альманахъ порядкомъ разойдется, тогда статья К-па поможетъ его окончательному ходу, а сперва она только испугаетъ всѣхъ своимъ названіемъ; скажутъ: ученость, сушь, скука! Итакъ, мнѣ остается разсчитывать на множество повѣстей, да на толщину баснословную...

«Я знаю только одну книгу, которая не нуждается даже въ объявленіи для столицъ: это вторая часть «Мертвыхъ Душъ». Но вѣдь такая книга только одна и была на Руси».

Повидимому, московскіе друзья придумывали, что́ бы сдѣлать и для поправленія здоровья Бѣлинскаго. Въ одномъ изъ предыдущихъ писемъ онъ говорилъ о томъ, что нѣсколько мѣсяцевъ за границей на нѣсколько лѣтъ поправили бы его здоровье; друзья повидимому находили труднымъ для него сдѣлать эту поѣздку, а съ своей стороны предложили ему отправиться на нѣсколько мѣсяцевъ на югъ Россіи вмѣстѣ съ М. С. Щепкинымъ, который также хотѣлъ отдохнуть въ южномъ климатѣ и вмѣстѣ сдѣлать небольшое артистическое путешествіе. Эта мысль Бѣлинскому понравилась; Щепкинъ былъ его старинный и близкій другъ, добродушный человѣкъ, неистощимо веселый собесѣдникъ. Бѣлинскій его искренно любилъ и уважалъ, и въ началѣ лѣта эта поѣздка устроилась.

Въ письмѣ онъ говоритъ объ этихъ планахъ:

«Коли мнѣ не ѣхать за-границу, такъ и не ѣхать. У меня давно уже нѣтъ жгучихъ желаній, и потому мнѣ легко отказываться отъ всего, что́ не удается. Съ М. С. въ Крымъ и Одессу очень бы хотѣлось; но семейство въ Петербургѣ оставить на лѣто не хочется, а переѣхать ему въ Гапсаль двойные расходы.

«Впрочемъ посмотрю»...

Далѣе, Бѣлинскій пишетъ къ московскимъ друзьямъ отъ 20 марта. Онъ получилъ конецъ статьи Кавелина, „Записки док-

---

[1]) Статья Панаева.

[2]) М. С. Щепкина, который прислалъ Бѣлинскому разсказъ изъ своихъ воспоминаній, явившійся потомъ въ „Современникѣ“, 1847, кн. 1, стр. 77—94: „Изъ записокъ артиста“.

тора Крупова", отрывокъ изъ записокъ М. С. Щепкина, статью Мельгунова [1]). Всѣ эти вещи ему чрезвычайно нравятся.

«Статья Кавелина — эпоха въ исторіи русской исторіи, съ нея начнется философическое изученіе нашей исторіи. Я былъ въ восторгѣ отъ его взгляда на Грознаго. Я по какому-то инстинкту всегда думалъ о Грозномъ хорошо, но у меня не было знанія для оправданія моего взгляда. «Записки доктора Крупова» — превосходная вещь, больше пока ничего не скажу... Отрывокъ М. С. прелесть: читая его, я будто слушалъ автора, столько же милаго, сколько и талантнаго. Статья М-ва мнѣ очень понравилась, я очень благодаренъ ему за нее. Особенно мнѣ нравится первая половина и тотъ старый румянцовскій генералъ, который Суворова, Наполеона, Веллингтона и Кутузова называетъ мальчишками. Вообще, въ этой статьѣ много мемуарнаго интереса; читая ее, переносишься въ доброе старое время и впадаешь въ какое-то тихое раздумье... Имя моему альманаху «Левіаѳанъ». Выйдетъ онъ осенью, но въ цензуру пойдетъ на дняхъ и немедленно будетъ печататься.

«На счетъ путешествія съ М. С., кажется, что поѣду. Мнѣ обѣщаютъ денегъ, и какъ получу, сейчасъ же пишу, что ѣду. Семейство отправляю въ Гапсаль: это и дача въ порядочномъ климатѣ, и курсъ леченія для жены, что̀ будетъ ей очень полезно. Тарантасъ, стоящій на дворѣ М. С., видится мнѣ и днемъ и ночью, это не Соллогубовскому тарантасу чета. Святители! Сдѣлать верстъ тысячи четыре, на югъ, дорогою спать, ѣсть, пить, глазѣть по сторонамъ, ни о чемъ не заботиться, не писать, даже не читать русскихъ книгъ для библіографіи, да это для меня лучше Магометова рая, и гурій не надо, чортъ съ ними!

«Мнѣ непремѣнно нужно знать, когда именно думаетъ ѣхать М. С., я такъ и буду готовиться. Альманаха при мнѣ напечатается листовъ до 15, остальные безъ меня (я поручаю надежному человѣку), а къ пріѣзду моему онъ будетъ готовъ, а въ октябрѣ выпущу».

Въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 6 апрѣля, Бѣлинскій опять говоритъ о своей поѣздкѣ со Щепкинымъ:

«...Я ѣду не только за здоровьемъ, но и за жизнію. Дорога, воздухъ, климатъ, лѣнь, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все это съ такимъ спутникомъ какъ М. С., да я отъ одной мысли объ этомъ чувствую себя здоровѣе. Мой докторъ (очень хорошій докторъ, хотя и не Круповъ) сказалъ мнѣ, что по роду моей болѣзни такая поѣздка лучше всякихъ лекарствъ и леченій. Итакъ, М. С. ѣдетъ рѣшительно, и я знаю теперь, когда я могу готовиться. Развѣ только что-нибудь непредвидѣнное и необыкновенное заставитъ меня отка-

[1]) „Иванъ Филиповичъ Вернетъ, швейцарскій уроженецъ и русскій писатель". Эта статья, подъ буквой Л., помѣщена была въ „Соврем." 1847, кн. 2.

заться; но во всякомъ случаѣ я на дняхъ беру мѣсто въ маль-постъ... На лѣто мнѣ и семейству денегъ станетъ; можетъ быть, станетъ ихъ на мѣсяцъ и по пріѣздѣ въ Питеръ, а тамъ, что́ будетъ, то и будетъ, vogue la galère! Нашему брату «подлецу», т. е. нищему (а не то чтобы мошеннику), даже полезно иногда довѣриться случаю и положиться на авось. Дѣлать-то больше нечего, а притомъ, если такая поведенція можетъ сгубить, то она же иногда можетъ и спасти»...

Московскіе друзья, какъ видимъ, приняли самое горячее дружеское участіе въ дѣлахъ Бѣлинскаго,—и въ его альманахѣ, которымъ онъ надѣялся пріобрѣсти средства существованія, и въ поѣздкѣ, отъ которой ждалъ исцѣленія. Они отдавали въ его распоряженіе свои труды, и,—сколько мы знаемъ, ближайшіе друзья отказывались отъ всякаго гонорара,—эти труды были бо́льшею частью капитальныя работы, литературныя и ученыя. Предполагая, что, несмотря на надежды Бѣлинскаго получить деньги, его средства все-таки очень невѣрны и невелики, московскіе друзья написали ему объ „обрѣтеніи явленныхъ 500 р. с.", которые назначались на его путешествіе. Это была уже прямая помощь; Бѣлинскій не усумнился принять ее, зная привязанность къ нему его друзей. Это окончательно обезпечивало его поѣздку.

Остальная часть письма 6 апрѣля занята любопытной характеристикой таланта Г-на, который теперь высказывался съ новыхъ сторонъ. Послѣ недавнихъ работъ серьёзнаго философскаго содержанія, онъ написалъ теперь цѣлый рядъ разсказовъ, упомянутыхъ сейчасъ въ перепискѣ, и хотя Бѣлинскій уже зналъ первую половину романа „Кто виноватъ?" онъ тѣмъ не менѣе былъ изумленъ новыми разсказами, живостью и разнообразіемъ ума и фантазіи.

Бѣлинскій между прочимъ получилъ интермедію къ „Кто виноватъ?" [1]); она опять доставила ему большое удовольствіе, и онъ пишетъ слѣдующее:

«Я изъ нея окончательно убѣдился, что Г-нъ—большой человѣкъ въ нашей литературѣ, а не дилеттантъ, не партизанъ, не наѣздникъ отъ нечего дѣлать. Онъ не поэтъ: объ этомъ смѣшно и толковать: но вѣдь

---

[1]) Интермедія (т. е. вѣроятно, глава: „Бельтовъ") попала однако, какъ выше замѣчено, въ „Отеч. Зап.", 1846—не знаемъ, какимъ образомъ.

и Вольтеръ не былъ поэтъ не только въ «Генріадѣ», но и въ «Кандидѣ»;— однако его «Кандидъ» потягается въ долговѣчности со многими великими художественными созданіями, а многія невеликія уже пережилъ и еще больше переживетъ ихъ. У художественныхъ натуръ умъ уходитъ въ талантъ, въ творческую фантазію,—и потому въ своихъ твореніяхъ, какъ поэты, они страшно, огромно умны; а какъ люди — ограничены и чуть не глупы (Пушкинъ, Гоголь). У Г-на, какъ у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборотъ—талантъ и фантазія ушли въ умъ, оживленный и согрѣтый, *осердеченный* гуманистическимъ направленіемъ, не привитымъ и не вычитаннымъ, а присущимъ его натурѣ. У него страшно много ума, такъ много, что я и не знаю, зачѣмъ его столько одному человѣку; у него много и таланта и фантазіи, но не того чистаго и самостоятельнаго таланта, который все родитъ самъ изъ себя и пользуется умомъ какъ низшимъ, подчиненнымъ ему началомъ— нѣтъ, его талантъ—чортъ его знаетъ—такой же бастардъ или пасынокъ въ отношеніи къ его натурѣ, какъ и умъ въ отношеніи къ художественнымъ натурамъ. Не умѣю яснѣе выразиться... И такіе таланты необходимы и полезны не менѣе художественныхъ. Если онъ лѣтъ въ десять напишетъ три-четыре томика, поплотнѣе и порядочнаго размѣра, онъ — большое имя въ нашей литературѣ и попадетъ не только въ исторію русской литературы, но и въ исторію Карамзина. Онъ можетъ оказать сильное и благодѣтельное вліяніе на современность. У него свой особенный родъ, подъ который поддѣлываться такъ же опасно, какъ и подъ произведенія истиннаго художества. Какъ *Носъ* въ Гоголевой повѣсти, онъ можетъ сказать: «я самъ по себѣ!»... У него все оригинально, все свое—даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у него часто обращаются въ достоинство. Такъ, напримѣръ, къ числу его личныхъ недостатковъ принадлежитъ страстишка безпрестанно острить, но въ его повѣстяхъ такого рода выходки бываютъ удивительно хороши»...

Бѣлинскій получилъ для альманаха вкладъ и еще отъ стараго друга, Кудрявцева, жившаго тогда за границей. Кудрявцевъ прислалъ извѣстную повѣсть „Безъ разсвѣта", напечатанную послѣ въ „Современникѣ". Бѣлинскій былъ уже хладнокровенъ къ таланту Кудрявцева; но эта повѣсть очень ему понравилась. Онъ писалъ Кудрявцеву 15 мая, уже изъ Москвы.

«Не знаю, какъ и благодарить васъ, любезнѣйшій Петръ Николаевичъ, за вашъ безцѣнный подарокъ. Повѣсть ваша привела меня въ восторгъ по многимъ причинамъ. Признаюсь откровенно: ваша драматическая пьеса привела меня въ отчаяніе, такъ что я подумалъ было, что вашъ *Послѣдній Визитъ* дѣйствительно былъ послѣднимъ визитомъ вашимъ въ область творчества. Не то чтобы она была плоха: почему человѣку съ талантомъ не написать плохой пьесы; но то, что она старчески умна и

чужда всякаго живого начала. Поэтому за повѣсть вашу я взялся съ нѣкоторымъ безпокойствомъ; но тѣмъ сильнѣе былъ мой восторгъ, когда я читалъ ее. Чудесная вещь, глубокая вещь! Это судьба, жизнь, положеніе русской женщины нашего времени. Характеръ героини выдержанъ, а муженекъ и любовникъ ея — чудо совершенства. Особенно хорошъ офицерикъ-то! Только два недостатка нахожу я въ этой повѣсти. Первый — прибавленіе къ ея названію — *водевиль* не для сцены: оно не идетъ, и его иронія весьма сомнительнаго качества. Не вычеркнуть-ли? Второй—и очень важный недостатокъ: это вторая сцена (въ канцеляріи)—она не идетъ къ дѣлу, ничего не поясняетъ, ослабляетъ впечатлѣніе, и послѣ ея отрывокъ изъ письма, которымъ оканчивается повѣсть, теряетъ всю силу, весь характеръ. Если бы вы ее позволили выкинуть вовсе, повѣсть ничего не потеряла бы и много бы выиграла. Какъ вы думаете? Если вы согласны со мною въ полезности этой мѣры, то потрудитесь увѣдомить объ этомъ общаго друга нашего А. Д. Галахова. Я въ Москвѣ проѣздомъ—ѣду завтра съ М. С. Щепкинымъ въ Одессу и Крымъ, для возстановленія здоровья, а можетъ быть и для спасенія жизни. Отъ «Отеч. Зап.» я отказался окончательно. Кстати: статья ваша о Бельведерѣ умна и хороша, но о такихъ предметахъ, какъ живопись, теперь такъ странно читать такія длинныя статьи: такъ думаютъ многіе».

Въ письмѣ идетъ рѣчь о трехъ повѣстяхъ Кудрявцева: „Ошибка", которую Бѣлинскій назвалъ драматической пьесой, „Послѣдній Визитъ" и „Безъ Разсвѣта". Но, какъ увидимъ, послѣдняя не имѣла большого успѣха въ публикѣ: и это приводило Бѣлинскаго въ недоумѣніе [1]).

Наконецъ Бѣлинскій писалъ и къ Боткину; это—единственное извѣстное намъ письмо изъ тѣхъ немногихъ, какія были имъ писаны къ Боткину за границу. Изъ самаго начала видно, впрочемъ, что переписка эта была очень скудная. Приводимое письмо почти ничего не говоритъ о частностяхъ его жизни, но въ немъ проходитъ печальная нота,—разочарованія и утомленія жизнью.

«Давно мы не видались, другъ Василій Петровичъ, и давно не подавали другъ другу голоса. Что до меня, мнѣ всѣ переписки надоѣли и я сталъ на письма такъ же лѣнивъ, какъ во время оно (глупое время!) былъ ретивъ. Сверхъ того, я и боюсь переписки: она годна только для недоразумѣній. Чтó при свиданіи рѣшается двумя-тремя словами къ обоюдному удовольствію, то въ разлукѣ служитъ поводомъ къ огромной

[1]) См. ниже письма 1847 года, 19 февр. къ Тургеневу, и 4 марта къ Боткину.

перепискѣ, гдѣ все перепутывается. Это я много разъ испыталъ, и пора мнѣ воспользоваться урокомъ опыта. О себѣ писать мнѣ просто противно, а больше вѣдь у насъ не о чемъ писать. Скоро увидимся—тогда вновь познакомимся другъ съ другомъ — говорю познакомимся, потому что послѣ трехлѣтней разлуки ни я, ни ты — не то, что́ были. Мая 30, а по вашему, по басурманскому, іюня 11-го, стукнетъ мнѣ 36 лѣтъ, осенью— три года какъ я женатъ, и моей дочери теперь девять мѣсяцевъ. Въ это время я пережилъ да передумалъ (и уже не головою, какъ прежде) право лѣтъ за 30. Пройдутъ незамѣтно и еще 4 года—и мнѣ 40 лѣтъ:— страшно! Вотъ она и старость! Ну, да довольно объ этомъ»...

Бѣлинскій не подозрѣвалъ, что ему оставалось прожить едва только половину этихъ четырехъ лѣтъ.

Онъ благодаритъ Боткина за письма объ Испаніи и о Тангерѣ (для альманаха); извѣщаетъ его о своемъ планѣ ѣхать со Щепкинымъ въ Одессу и Крымъ; онъ думалъ вернуться изъ поѣздки въ сентябрѣ и ему очень хотѣлось встрѣтиться тогда съ Боткинымъ въ Петербургѣ или въ Москвѣ.

«Странное дѣло! При мысли о свиданіи съ тобою, мнѣ все кажется, будто мы разстались молодыми, а свидимся стариками, и отъ этой мысли мнѣ и грустно и больно, и почти-что страшно. Молодыми! Нѣтъ! я не былъ молодъ никогда, потому что всегда жилъ головой и съумѣлъ даже и изъ сердца сдѣлать голову—отъ чего и вышла преуродливая голова»...

Поѣздка наконецъ устроилась. Въ послѣднихъ числахъ апрѣля Бѣлинскій выѣхалъ изъ Петербурга. Семейство его въ началѣ мая должно было переѣхать на все лѣто въ Гапсаль. Съ 1 мая до начала сентября идетъ рядъ писемъ его домой (и два-три письма къ друзьямъ), изъ Москвы и съ дальнѣйшаго пути. Это цѣлый дневникъ, изъ котораго приводимъ нѣсколько цитатъ, рисующихъ его настроеніе и нѣкоторыя подробности путешествія.

Дорога до Москвы была безпокойна; погода стояла дождливая и холодная. Дилижансъ запоздалъ.

1-ю мая... Москва. «Дорога до того испорчена, особенно между Клиномъ и Москвою, что мы пріѣхали въ воскресенье, въ 6 часовъ вечера. Друзья мои дожидались меня въ почтамтѣ съ двухъ часовъ. Принятъ я былъ до того ласково и радушно, что это глубоко меня тронуло, хотя я и привыкъ къ дружескому вниманію порядочныхъ людей. Безо всякой

ложной скромности скажу, что мнѣ часто приходитъ въ голову мысль, что я не стóю такого вниманія. Что это за добрый, за радушный народъ москвичи! Что за добрѣйшая душа Г-нъ... Да и всѣ они что за славный народъ! Лучше, т. е. оригинальнѣе всѣхъ принялъ меня Михаилъ Семеновичъ: готовясь облобызаться со мною, онъ пресерьёзно сказалъ: какая мерзость! Онъ глубоко презираетъ всѣхъ худыхъ и тонкихъ [1]). Дамы просто носятъ меня на рукахъ, братецъ ты мой: озябну, укутываютъ меня своими шалями, надѣваютъ на меня свои мантильи, приносятъ мнѣ подушки, подаютъ стулья. Таковы права старости!.. Н. А. (г-жа Г-нъ) такъ была мнѣ рада, что я даже почувствовалъ къ себѣ нѣкоторое уваженіе. Вотъ какъ!

«Ѣдемъ мы 16, 17 или 18 мая, не прежде. Боюсь, что возвратимся довольно поздно. М. С. хочетъ лечиться, кромѣ купанья, и виноградомъ. Это и мнѣ будетъ очень полезно...

«Завтра друзья мои даютъ мнѣ торжественный обѣдъ»...

4-го мая. «...Здѣшній кружокъ живѣе нашего, и здѣшнія дамы тоже поживѣе нашихъ... И для отдыха Москва вообще чудный городъ. Впрочемъ, и то сказать, теперь какъ нарочно почти всѣ съѣхались туда въ одно время, и отъ того такъ весело [2]).

«Сегодня даютъ мнѣ обѣдъ; ему надо было быть въ четвергъ, да по болѣзни К. отложили до сегодня, а К. то все-таки не выздоровѣлъ»...

На свое здоровье онъ жалуется; кромѣ того, безпокоило его отсутствіе писемъ изъ дома: первыя извѣстія изъ Петербурга онъ получилъ уже 7 мая; и послѣ, медленность почтовыхъ сообщеній оставляла его надолго безъ писемъ, и это нерѣдко приводило его въ тягостную тревогу.

Наконецъ Щепкинъ, которому нужно было дождаться въ Москвѣ бенефиса Мартынова, былъ свободенъ, и они выѣхали изъ Москвы 16 мая. Проводы Бѣлинскаго московскими друзьями были такъ же радушны и полны расположенія, какъ и описанная выше встрѣча.

„Проводы Бѣлинскаго были необыкновенно веселы и шумны, —разсказываетъ Панаевъ, участвовавшій въ нихъ [3]).—Они начались небольшимъ завтракомъ въ квартирѣ Щепкина. Я въ это время также былъ въ Москвѣ. Всѣ московскіе друзья Бѣлин-

[1]) Щепкинъ былъ невысокъ и очень толстъ; одинъ изъ кружка друзей говорилъ въ шутку, что онъ отъ природы положенъ на ватѣ.

[2]) Къ московскому кружку прибавились тогда еще Панаевъ, г. Тургеневъ, и другіе.

[3]) „Современникъ“ 1860, кн. 1, стр. 370—372.

скаго присутствовали тутъ; между прочимъ—Грановскій, Е. Ѳ. Коршъ, К-ръ и Г-нъ, съ которымъ Бѣлинскій въ это время былъ уже въ самыхъ близкихъ, дружественныхъ отношеніяхъ. Они совершенно сошлись въ своихъ убѣжденіяхъ и Бѣлинскій всею силою души привязался къ нему. Они сдѣлались другъ для друга необходимыми людьми.

„Г-нъ, несмотря на перенесенные имъ перевороты и страданія, сохранялъ веселость и живость необыкновенную. Въ этотъ разъ онъ говорилъ во время завтрака неумолкаемо, съ свойственнымъ ему блескомъ и остроуміемъ, и его звонкій, пріятный голосъ покрывалъ всѣ голоса...

„Тарантасъ Щепкина былъ уже готовъ, экипажи провожавшихъ также. Наступала минута отъѣзда. Г-нъ все продолжалъ говорить съ неистощимою увлекательностью.—Ѣдемъ, Михайла Семенычъ, пора!—сказалъ Бѣлинскій, всегда нетерпѣливый въ подобныхъ случаяхъ.—Позвольте, господа, перебилъ К.,—какъ же мы поѣдемъ по городу съ Г-номъ? Съ нимъ по городу нельзя ѣхать.—Отчего же?—спросили всѣ съ недоумѣніемъ.—Да вѣдь съ *колокольчиками* взпрещено ѣздить по городу.—Всѣ расхохотались и двинулись къ экипажамъ. Мы взяли съ собой провизіи и запасъ вина. Обѣдать мы рѣшили на первой станціи—и тамъ уже окончательно проститься съ отъѣзжающими... Поѣздка наша была необыкновенно пріятна. Всегда неистощимый остроуміемъ Г-нъ въ этотъ день былъ еще блестящѣе обыкновеннаго“...

Проводы заключились, по пріѣздѣ на первую станцію, обѣдомъ на открытомъ воздухѣ. Наконецъ Бѣлинскій и Щепкинъ уѣхали.

Изъ Калуги Бѣлинскій писалъ домой о своемъ выѣздѣ изъ Москвы и дальнѣйшемъ странствіи; но это письмо, какъ онъ самъ послѣ увидѣлъ, вѣроятно пропало, будучи адресовано въ Гапсаль, тогда какъ его семейство осталось на лѣто въ Ревелѣ. Поэтому въ слѣдующемъ письмѣ, изъ Харькова, онъ повторяетъ, но только вкратцѣ, дневникъ своего путешествія отъ Москвы.

Харьковъ, іюня 11-го. «...Выѣхали мы изъ Москвы 16 мая (въ четв.), въ 12 ч. Насъ провожали до первой деревни, за 13 верстъ, и провожав-

шихъ было 16 человѣкъ... Пили, ѣли, разстались. Погода страшная, грязь, дорога скверная, за лошадьми остановки. Въ Калугу пріѣхали въ субботу (18 мая), прожили въ ней одиннадцать дней. Еслибъ не гнусная погода, мнѣ было бы не скучно. Еще въ Москвѣ я почувствовалъ, что поправляюсь въ здоровьѣ и возстановляюсь въ силахъ, а въ Калугѣ въ сносную погоду я уходилъ за городъ, всходилъ на горы, лазилъ по оврагамъ, уставалъ до нельзя, задыхался на смерть, *но не кашлянулъ ни разу.* Съ возвращеніемъ холода и дождя возвращался и кашель. Пребываніе въ Калугѣ для меня останется вѣчно памятнымъ по одному знакомству, котораго я и не предполагалъ, выѣзжая изъ Питера. Въ Москвѣ М. С. Щ. познакомился съ А. О. Смирновой. Свѣтъ не убилъ въ ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не въ обрѣзъ. Она— большая пріятельница Гоголя, и М. С. былъ отъ нея безъ ума. Такъ какъ она пригласила его въ Калугу (гдѣ мужъ ея губернаторомъ), то я еще въ Москвѣ предвидѣлъ, что познакомлюсь съ нею. Когда мы пріѣхали въ Калугу, ея еще не было тамъ; въ качествѣ хвоста толстой кометы, т. е. М. С., я былъ приглашенъ губернаторомъ на ужинъ.... потомъ мы у него обѣдали. Во вторникъ пріѣхала она, а въ четвергъ я былъ ей представленъ. Чудесная, превосходная женщина — я безъ ума отъ нея.. Пишу все это не больше, какъ матеріалъ для разговоровъ и разсказовъ при свиданіи, и потому въ подробности не пускаюсь»...

Погода все еще бывала дурная. Изъ Калуги они „поплыли" (по грязи) въ Воронежъ; только около Воронежа, куда они пріѣхали 1 іюня, начиналась хорошая дорога. Іюня 4 они выѣхали въ Курскъ, куда опять пришлось „плыть"; изъ Курска они ѣздили взглянуть на Коренную ярмарку,—„и ужъ подлинно поплыли, потому что жидкая грязь по колѣно, и лужи выше брюха лошадямъ были безпрестанно". Сама ярмарка „буквально по поясъ сидѣла въ грязи". Возвращаясь въ Курскъ, встрѣтили крестный ходъ, съ которымъ обыкновенно носятъ изъ Курска на ярмарку явленный образъ Божіей Матери:—„тысячъ 20-ть народу, въ-розбитъ идущаго по колѣно въ грязи и который, пройдя 27 верстъ, ляжетъ спать подъ открытымъ небомъ, въ грязи, подъ дождемъ, при 5 градусахъ тепла". По пути въ Харьковъ опять „плаваніе"; къ Харькову погода стала поправляться, а также и дорога.

Іюня 9 они пріѣхали въ Харьковъ. гдѣ Бѣлинскій увидѣлся съ Андреемъ Кронебергомъ и получилъ письмо изъ дома, нѣсколько успокоившее его тревоги; но затѣмъ новое письмо растревожило его извѣстіями о болѣзни домашнихъ... Въ Харь-

ковѣ они должны были остаться на нѣсколько дней, потому что Щепкинъ хотѣлъ явиться въ пяти спектакляхъ. Здѣсь Бѣлинскій въ первый разъ увидѣлъ Малороссію, и она произвела на него очень пріятное впечатлѣніе.

Іюня 14-го. «... Изъ плодовъ, въ Харьковѣ мы нашли только землянику, да и ту подаютъ только въ гостинницахъ. Нынѣшняя весна и въ Харьковѣ была не лучше петербургской. Верстъ за 30 до Харькова я увидѣлъ Малороссію, хотя еще и перемѣшанную съ грязнымъ москальствомъ. Избы хохловъ похожи на домики фермеровъ—чистота и красивость неописанныя... Другія лица, смотрятъ иначе. Дѣти очень милы, тогда какъ на русскихъ и смотрѣть нельзя—хуже и гаже свиней...

«Изъ моей поѣздки хочу сдѣлать статью. Въ головѣ плановъ бездна. Словомъ: оживаю и вижу, что могу писать лучше прежняго, могу начать новое литературное поприще. А закабались опять въ журнальную работу—идіотъ, кретинъ!»

Изъ Харькова Бѣлинскій и Щепкинъ выѣхали 16; слѣдующее письмо писано изъ Одессы, 24 іюня. Они ѣхали черезъ Екатеринославль, который Бѣлинскому очень понравился. Еще болѣе пріятное впечатлѣніе произвела на него Одесса—своей европейской внѣшностью, оживленіемъ, и наконецъ моремъ: купанье въ морѣ доставило Бѣлинскому большое удовольствіе,—хотя докторъ совѣтовалъ ему быть при этомъ очень осторожнымъ. Его продолжаетъ безпокоить положеніе домашнихъ, переписка съ которыми все больше замедлялась по мѣрѣ того, какъ онъ уѣзжалъ дальше. Но здоровье его было лучше.

Іюня 24-го, Одесса. «...Здоровье мое очень поправилось: я и свѣжѣе, и крѣпче и бодрѣе. Что же касается до кашлю—въ отношеніи къ нему я сдѣлался совершеннымъ барометромъ: солнце жжетъ, вѣтру нѣтъ—грудь моя дышетъ легко, мнѣ отрадно, и кажется, что проклятый кашель *навсегда* оставилъ меня; но лишь скроется солнце хоть на полчаса за облако, пахнетъ вѣтеръ—и я кашляю. Впрочемъ, сильные припадки кашлю оставили меня уже съ мѣсяцъ»...

Въ Одессѣ они прожили довольно долго, затѣмъ предстояли еще новыя странствія, потому что Щепкинъ заключилъ условіе съ однимъ содержателемъ труппы и по условію долженъ былъ играть въ Николаевѣ, Херсонѣ, Симферополѣ, Севастополѣ и еще гдѣ-то. Поѣздка въ Крымъ очень завлекала Бѣлинскаго; тамъ, между прочимъ, онъ надѣялся еще лечиться виноградомъ.

Въ Одессѣ онъ объѣдался плодами. „Вотъ въ Крыму—другое дѣло, надо будетъ быть осторожнѣе; да съ нами будетъ докторъ, да и М. С. смотритъ за мной словно дядька за недорослемъ. Что это за человѣкъ!..“

Въ письмахъ отъ первой половины іюля Бѣлинскій опять говоритъ о купаньѣ въ морѣ; „купанье уже оказало благодѣтельное вліяніе на мои нервы: я сталъ крѣпче, свѣжѣе и здоровѣе“. Около 12 іюля они выѣхали изъ Одессы въ Николаевъ.

Изъ Одессы Бѣлинскій писалъ, отъ 4 іюля, и московскимъ друзьямъ. Онъ говоритъ о своемъ намѣреніи написать свои путевыя впечатлѣнія, впрочемъ вовсе не о самомъ путешествіи.

«...Путевыя впечатлѣнія у меня будутъ только рамкой статьи, или, лучше сказать, придиркою къ ней. Онѣ будутъ состоять больше въ толкахъ о скверной погодѣ и еще сквернѣйшихъ дорогахъ.

«А буду писать я вотъ о чемъ: 1. о театрѣ русскомъ, причинахъ его гнуснаго состоянія и причинахъ скораго и совершеннаго паденія сценическаго искусства въ Россіи. Тутъ будетъ сказано многое изъ того, что уже было говорено и другими, и мною, но предметъ будетъ разсмотрѣнъ à fond. М. С. игралъ въ Калугѣ, въ Харьковѣ, теперь играетъ въ Одессѣ, и можетъ быть, будетъ играть въ Николаевѣ, Севастополѣ, Симферополѣ, и чортъ знаетъ гдѣ еще. Я видѣлъ много, ходя и на репетиціи и на представленія, толкаясь между актерами. Сверхъ того, М. С. преусердно снабжаетъ меня комментаріями и фактами, что все будетъ ново и сильно.

«2. Въ Харьковѣ я прочелъ «Московскій Сборникъ». Статья С. умна и зла, даже дѣльна, несмотря на то, что авторъ отправляется отъ неблагопристойнаго принципа кротости и смиренія и зацѣпляетъ меня въ лицѣ «Отечественныхъ Записокъ». Какъ умно и зло казнилъ онъ аристократическія замашки С—ба! Это убѣдило меня, что можно быть умнымъ, даровитымъ и дѣльнымъ человѣкомъ, будучи славянофиломъ [1]). За то Х..., я-жъ ему дамъ зацѣплять меня—узнаетъ онъ мои крючки [2]).

«3. Я не читалъ еще ругательства Сенковскаго; но радъ ему, какъ новому матеріалу для моей статьи [3]).

---

[1]) „Московскій литер. и ученый Сборникъ“, 1846, стр. 545—579, критическая статья о „Тарантасѣ“ гр. Соллогуба, М... З... К... (Ю. Самарина).

[2]) Въ статьѣ „Мнѣніе русскихъ объ иностранцахъ“, тамъ же, стр. 179, 183.

[3]) Бѣлинскій разумѣетъ здѣсь разборъ его брошюры „Н. А. Полевой“ (Спб. 1846) въ „Библ. для Чтенія“ 1846, іюнь, Литер. лѣтоп., стр. 50—54. Разборъ написанъ, вѣроятно Сенковскимъ, въ насмѣшливомъ тонѣ и трактуетъ Бѣлинскаго какъ „талантливаго юношу, изъ котораго выйдетъ толкъ, если онъ немножко поучится“.

«Изъ этого видите, что моя статья будетъ журнально-фельетонною болтовнею о всякой всячинѣ, сдобренною полемическимъ задоромъ.

«Въ Калугѣ столкнулся я съ И. А. Славный юноша! Славянофилъ— а такъ хорошъ, какъ будто никогда не былъ славянофиломъ. Вообще я впадаю въ страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами дѣйствительно могутъ быть порядочные люди. Грустно мнѣ думать такъ, но истина впереди всего!

«Здоровье мое лучше. Я какъ-то свѣжѣе и замѣтно крѣпче, но кашель все еще и не думаетъ оставлять меня. Съ 25-го іюня начались было въ Одессѣ жары, но съ 30-го опять посвѣжѣло; впрочемъ, все тепло, такъ что ночью потѣешь въ лѣтнемъ пальто. Началъ было я *читать Данта*, т. е. купаться въ морѣ [1]), да кровь прилила къ груди, и я цѣлое утро харкалъ кровью; докторъ велѣлъ на время прекратить купанья».

12 іюля они выѣхали изъ Одессы въ Николаевъ. Дальнѣйшій маршрутъ зависѣлъ отъ дѣлъ театральнаго антрепренера, съ которымъ заключилъ условіе Щепкинъ. Бѣлинскій начиналъ скучать своей поѣздкой и разлукой съ домашними, съ которыми такъ мудрено было списываться; но все поддерживалъ себя надеждой на Крымъ, на купанье въ морѣ, виноградъ и кумысъ...

«Со дня на день,—пишетъ онъ 17 іюля изъ Николаева, — все сильнѣе и сильнѣе начинаю скучать; хочется домой, поѣздка надоѣла, и меня утѣшаетъ только то, что бо́льшая половина поѣздки уже совершена, и что я еще увижу, хотя и мимоходомъ, южный берегъ Крыма. Здоровье мое хорошо, кашля нѣтъ. Жду много добра отъ купанья въ морѣ въ Севастополѣ... А какъ жарко — мочи нѣтъ; а нынѣшнее лѣто еще не изъ жаркихъ здѣсь».

Около 1 августа Бѣлинскій и Щепкинъ отправились въ Херсонъ. Содержатель труппы получилъ отъ губернатора разрѣшеніе давать спектакли съ 4 до 15 августа, приходившіеся на лѣтній постъ; но потомъ губернаторъ передумалъ, взялъ свое разрѣшеніе назадъ, и спектакли пришлось отложить до второй половины августа, такъ что путешественники должны были пробыть въ Херсонѣ до конца мѣсяца.

«... Да будетъ вамъ извѣстно,—пишетъ Бѣлинскій изъ Херсона, отъ 6 августа,—что я хожу съ бородою. Съ выѣзда изъ Калуги не брился,

---

[1]) Намекъ на очень извѣстный тогда стихъ Шевырева: „что въ морѣ купаться, то Данта читать“.

въ Воронежѣ, на Коренной и въ Харьковѣ я походилъ на бѣглаго солдата, но къ пріѣзду въ Одессу у меня явилось что-то въ родѣ бороды, а теперь совсѣмъ борода. Я боялся, что моя борода выйдетъ въ родѣ моихъ усовъ, то-есть мерзость страшная; но борода вышла на славу».

Въ Херсонѣ онъ скучалъ еще болѣе; между тѣмъ, ему предстояло удалиться отъ Петербурга еще на 360 верстъ, и тогда только должно было начаться обратное путешествіе.

«Скучно,—начинаетъ Бѣлинскій письмо изъ Херсона, отъ 22 августа, — Михаилъ Семеновичъ страдаетъ теперь на сценѣ пакостнѣйшаго театра (сдѣланнаго изъ сарая), играя съ безтолковѣйшими и пошлѣйшими въ мірѣ актерами; а я остался дома... Въ понедѣльникъ поутру ѣдемъ изъ Херсона; остается трое сутокъ, а мнѣ все кажется, какъ будто остается еще три года! Ай да Херсонъ—буду я его помнить! Вообще Новороссія страшно мнѣ опротивѣла. Безлѣсная, опаленная солнцемъ, вѣчно сухая и пыльная сторона. За неимѣніемъ лучшаго утѣшенія, утѣшаюсь мыслію, что ближе, чѣмъ черезъ недѣлю, увижу деревья, лѣса, виноградные сады. Но еслибъ было возможно, кажется, уѣхалъ бы сейчасъ же домой, не посмотрѣвши ни на что на это. Въ день нашего выѣзда, т. е. въ понедѣльникъ, 26 августа, исполнится ровно *четыре мѣсяца*, какъ я выѣхалъ изъ Питера, а мнѣ кажется, что прошло съ тѣхъ поръ, по крайней мѣрѣ, четыре года. Надѣюсь, что сентябрь пройдетъ для меня скорѣе, нежели августъ...

«Кто хочетъ насладиться долголѣтіемъ, тому совѣтую поѣхать въ Херсонъ: если онъ въ немъ проживетъ годъ, ему покажется, что онъ прожилъ Маѳусаиловы вѣки, жизнь утомитъ его и душа его востоскуетъ по успокоительной могилѣ».

Слѣдующее письмо писано было изъ Симферополя отъ 4—5 сентября. Переѣздъ изъ „ужаснаго" Херсона въ Симферополь „былъ бы переходомъ изъ ада въ рай", еслибы не случился съ Бѣлинскимъ сильный припадокъ геморроидальныхъ страданій. Въ Симферополѣ, гдѣ припадокъ повторился, они встрѣтили опытнаго врача — Арендта, „предобрѣйшаго старика, который полюбилъ насъ такъ, что и сказать нельзя". Этотъ Арендтъ, братъ извѣстнаго петербургскаго лейбъ-медика, принялся за леченье Бѣлинскаго и помогъ ему.

Здѣсь, какъ въ Николаевѣ и Херсонѣ, Бѣлинскій восхищается изобиліемъ и дешевизной плодовъ, превосходнымъ виноградомъ, какой ему удалось здѣсь попробовать. Симферополь вообще понравился Бѣлинскому послѣ скучныхъ Николаева и Херсона, и послѣ душныхъ пыльныхъ степей. Щепкинъ опять

эти приготовленія, толки объ новомъ изданіи, мысль, что онъ, освободясь отъ непріятной ему зависимости, будетъ теперь свободно дѣйствовать съ людьми, къ которымъ онъ питалъ полную симпатію, которые глубоко уважали и любили его; наконецъ довольно забавная полемика, возникшая тогда между нами и „Отеч. Записками"—все это поддерживало его нервы, оживляло и занимало его [1]). Бѣлинскій принялся съ жаромъ за статью о русской литературѣ для „Современника" (см. 1 кн. „Совр." 1847)"...

Дѣйствительно, Бѣлинскій оказалъ новому журналу поддержку, которая послужила главнымъ основаніемъ его успѣха. Для предположеннаго имъ альманаха, Бѣлинскій имѣлъ уже въ рукахъ много чрезвычайно любопытнаго матеріала. Отъѣздъ изъ Петербурга помѣшалъ ему исполнить тогда же изданіе „Левіаѳана"; теперь весь имъ собранный матеріалъ онъ предоставилъ новому журналу, который такимъ образомъ съ перваго раза могъ дать читателямъ превосходный выборъ статей, притомъ соединенныхъ общимъ тономъ и направленіемъ, что́ должно было сообщить новому журналу и самый живой интересъ и единство содержанія. Правда, этотъ матеріалъ, отданный первоначально въ распоряженіе Бѣлинскаго для его собственнаго предпріятія, поступалъ теперь въ журналъ на другихъ матеріальныхъ условіяхъ, но во всякомъ случаѣ онъ перешелъ сюда только черезъ Бѣлинскаго.

Когда появились первыя книжки журнала, въ который перенесена была дѣятельность Бѣлинскаго, гдѣ собрались такія произведенія, какъ „Кто виноватъ?" (полное изданіе) и другіе разсказы Г-на, „Обыкновенная Исторія" г. Гончарова, первые „Разсказы охотника" г. Тургенева, повѣсти Григоровича, Дружинина, Достоевскаго, воспоминанія Щепкина, стихотворенія г. Некрасова, статьи г. Кавелина („Юридическій бытъ древней Россіи" и статьи о книгахъ по русской исторіи), Соловьева и проч.,—эти первыя книжки произвели сильное впечатлѣніе и успѣхъ журнала могъ считаться обезпеченнымъ. Большая доля этого успѣха была именно дѣломъ Бѣлинскаго, нравственный и

[1]) О полемикѣ см. „Отеч. Записки" 1846, кн. 12, журнальныя замѣтки стр. 118—120, и упомянутыя тамъ статьи противниковъ.

литературный авторитетъ котораго собралъ эти замѣчательныя силы. Но уже вскорѣ изъ этихъ отношеній журнала возникли тягостныя для Бѣлинскаго недоразумѣнія. Московскіе друзья, горячо принимавшіе къ сердцу интересы Бѣлинскаго, считали новый журналъ не иначе какъ журналомъ Бѣлинскаго; но уже скоро, недовольные устройствомъ дѣлъ редакціи, гдѣ интересы Бѣлинскаго, по ихъ мнѣнію, не получили достаточнаго къ себѣ вниманія,—начали даже устраняться отъ „Современника". Не входя въ разборъ этихъ отношеній, еще не совершенно разъясненныхъ, довольно замѣтить, что эти недоразумѣнія стали для Бѣлинскаго предметомъ большихъ огорченій и досадъ, тѣмъ больше, что матеріальныя его дѣла не поправились настолько, чтобъ онъ могъ считать себя обезпеченнымъ отъ недостатка. Въ приводимыхъ дальше письмахъ мы часто будемъ встрѣчаться съ этой темой.

Наконецъ, въ послѣдніе мѣсяцы 1846 года, Бѣлинскій увидѣлся и съ своимъ старымъ другомъ, вернувшимся изъ-за границы. Мы упоминали, что съ конца 1843 г. сношенія Бѣлинскаго съ Боткинымъ почти прекратились; съ отъѣзда Боткина за границу, они не разу не помѣнялись письмами до половины 1844 года; только въ іюнѣ этого года Боткинъ узналъ о женитьбѣ Бѣлинскаго, и то отъ другихъ. Самъ Боткинъ переживалъ тогда тяжелое личное испытаніе, которое, вѣроятно, и оставило свой слѣдъ на его характерѣ, потому что по возвращеніи изъ-за границы Боткинъ, сколько мы знаемъ, былъ уже не совсѣмъ тотъ: въ немъ развилась или усилилась желчность; онъ сталъ равнодушенъ къ идеалистическимъ стремленіямъ недавняго времени; потребность развлеченія, забвенія отъ его личной тревоги развила страсть къ удовольствію, которая въ жизни сдѣлала его эпикурейцемъ, въ эстетическихъ вопросахъ защитникомъ „чистаго" искусства; въ общественныхъ взглядахъ онъ сталъ консерваторомъ. Въ нашемъ матеріалѣ нѣтъ писемъ Бѣлинскаго къ нему за эти годы, но по отвѣтамъ Боткина видно, что они посылали другъ другу три-четыре письма въ годъ, содержаніемъ которыхъ была почти исключительно личная исторія Боткина, гдѣ послѣдній видѣлъ отъ Бѣлинскаго столько участія, сколько и могъ ожидать...

Изъ дальнѣйшей переписки Бѣлинскаго видно (и то же слышали мы отъ нѣкоторыхъ изъ его друзей), что при свиданіи послѣ долгой разлуки между имъ и Боткинымъ оказалось различіе мнѣній и вкусовъ, очень непохожее на ихъ прежнее единство. Но дружба сохранилась, и въ первое время Бѣлинскій даже очень разсчитывалъ на то, что Боткинъ поселится въ Петербургѣ и приметъ ближайшее участіе въ редакціи „Современника"; Бѣлинскій очень желалъ этого, особенно цѣня свѣдѣнія своего друга въ иностранной литературѣ. Но переѣздъ не состоялся: собственныя дѣла удерживали Боткина въ Москвѣ, и, кромѣ того, у него возникло личное недоразумѣніе относительно журнала, взаимное недовѣріе съ однимъ изъ издателей. Бѣлинскій узналъ объ этомъ изъ письма самого Боткина, и съ этихъ вопросовъ объ участіи Боткина въ „Современникѣ" между ними возобновилась переписка, въ которой Бѣлинскій опять обнаружилъ чрезвычайную дѣятельность.

Разъясненію этихъ недоразумѣній посвящено письмо Бѣлинскаго отъ 29 января 1847, гдѣ любопытно замѣчаніе, относящееся къ Боткину. Стараясь разубѣдить его, будто къ нему относились съ недовѣріемъ, Бѣлинскій говоритъ о новомъ направленіи мыслей Боткина:

«Скажу тебѣ правду: твое новое практическое направленіе, соединенное съ враждою ко всему противоположному, произвело на всѣхъ насъ равно непріятное впечатлѣніе, на меня перваго. Но я понялъ, что на дѣлѣ съ тобою также легко сойтись, какъ трудно сойтись на словахъ, ибо, несмотря на твое ультра-практическое направленіе, ты все остался отчаяннымъ теоретикомъ, нѣмцемъ, для котораго споръ о дѣлѣ гораздо важнѣе самаго дѣла, и который только въ спорѣ и вдается въ чудовищныя крайности, а въ дѣлѣ является человѣкомъ порядочнымъ»...

Въ письмѣ упоминается дальше о несогласіи, какое случилось въ редакціи новаго журнала при первой же его книжкѣ. Поводъ къ несогласію дала повѣсть г. Григоровича „Деревня", напечатанная передъ тѣмъ въ „Отеч. Запискахъ" (1846, кн. 12). На Бѣлинскаго она произвела очень пріятное впечатлѣніе попыткой изображенія народнаго быта въ его крѣпостныхъ формахъ. Одинъ изъ издателей „Современника", считая повѣсть вовсе не стоющей того отзыва, какой дѣлалъ о ней Бѣлинскій

въ своемъ обозрѣніи литературы за 1846 г., для первой книжки журнала, какъ разсказывали, не желалъ дать мѣста этому отзыву въ печати. Бѣлинскій съ неудовольствіемъ говоритъ объ этомъ несогласіи [1]...

Здоровье его, несмотря на путешествіе лѣтомъ 1846 г., не поправилось. Его докторъ уже въ началѣ 1847 г. говорилъ, что ему необходимо отправиться на воды въ Силезію; но средствъ для этого не было: „поѣздка моя на воды — миѳъ". Если бы дѣйствительно было необходимо поѣхать на воды, то единственная надежда была бы только на помощь друзей: „скажу тебѣ откровенно, — говоритъ при этомъ Бѣлинскій,—эта жизнь, на подаяніяхъ становится мнѣ невыносимою"...

Въ концѣ письма замѣтка о книгѣ Гоголя „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями" (о которой Бѣлинскій въ это время писалъ для „Современника"):—„славянофилы напрасно сердятся на Гоголя: онъ только консеквентнѣе и добросовѣстнѣе ихъ— вотъ и все".

Черезъ недѣлю, 6 февраля, Бѣлинскій опять пишетъ Боткину о тѣхъ же журнальныхъ недоразумѣніяхъ, опасаясь, что Боткинъ какъ-нибудь неправильно пойметъ его прежнее письмо. Онъ хочетъ только точнѣе объяснить ему положеніе вещей. Онъ жалѣетъ, что Боткинъ не поселится въ Петербургѣ, но не думаетъ убѣждать его къ этому: „у меня и у моихъ друзей было слишкомъ много опытовъ, чтобы вразумить меня, какъ опасно подобное вмѣшательство въ жизнь другого".

«А на счетъ рѣшенія (т. е. рѣшенія Боткина остаться въ Москвѣ)— я завидую тебѣ. Сказать правду, я счелъ бы себя блаженнѣйшимъ изъ смертныхъ, еслибъ безъ труда получалъ въ годъ maximum того, что могу выработать. Мое отвращеніе отъ литературы и журналистики, *какъ отъ ремесла*, выростаетъ со дня на день, и я не знаю, что изъ этого выйдетъ наконецъ. Съ отвращеніемъ бороться труднѣе, чѣмъ съ нуждою; оно—болѣзнь. То ли дѣло ты—счастливый человѣкъ! Квартира съ отопленіемъ, столъ — готовыя, на одежу и прихоти всегда хватитъ, занимайся, чѣмъ хочется, а ничего не хочется — ничего не дѣлай. Твоя строка, что ты хочешь заняться органическою химіею, обдала меня кипяткомъ зависти»...

---

[1]) Другія подробности о „Деревнѣ" г. Григоровича см. въ Воспом. Тургенева, „В. Евр." 1869, апр., 704.

Онъ завидовалъ тому, что это намѣреніе Боткина обнаруживало полнѣйшую свободу въ выборѣ занятій. Бѣлинскій считалъ себя неспособнымъ заниматься наукой: „наука для меня не существуетъ, я не такъ воспитыванъ, не такъ развивался, чтобъ быть способнымъ заняться ею“; но для него была бы наслажденіемъ возможность заниматься одной исторической эпохой, заниматься не ученымъ образомъ, а просто, безъ претензій:

«Я нашелъ бы для себя въ этомъ занятіи замѣну всего, чего такъ глупо добивался всю жизнь и чего такъ умно не дала мнѣ судьба, зане такого мудренаго кушанья у нея не оказалось.

«Да поди—займись тутъ чѣмъ-нибудь!.. А тебѣ опять-таки скажу: благую избралъ ты часть. Если обстоятельства настоятельно потребуютъ твоего переѣзда въ Питеръ, тогда дѣло другое; но безъ крайней нужды запрягаться въ телѣгу срочной работы—это безуміе, хотя бы работа давала и чортъ знаетъ что!... Еще разъ поздравляю тебя за мудрое рѣшеніе, и жалѣю, что не могу послѣдовать твоему примѣру.

«2-я книжка «Современника» вышла во́-время. Она лучше первой. Но NN [1]) такъ поправилъ одно мѣсто въ моей статьѣ о Гоголѣ, что я до сихъ поръ хожу какъ человѣкъ, получившій въ обществѣ оплеуху. Вотъ въ чемъ дѣло: я говорю въ статьѣ [2]), что де *мы*, хваля Гоголя, не ходили къ нему справляться, какъ онъ думаетъ о своихъ сочиненіяхъ, то и теперь *мы* не считаемъ нужнымъ дѣлать это; а онъ, добрая душа! въ первомъ случаѣ *мы* замѣнилъ словомъ *нѣкоторые*—и вышла, во-первыхъ, галиматья, а во-вторыхъ, что-то въ родѣ подлаго отпирательства отъ прежнихъ похвалъ Гоголю и сваленія вины на другихъ. А тамъ еще цензора подрадѣли—и все это произвольно, безъ основанія. Вотъ они—поощренія къ труду!»

Любопытны въ томъ же письмѣ сужденія Бѣлинскаго о Литтрѐ и Луи-Бланѣ.

«Статья о физіологіи, Литтре [3])—прелесть! Вотъ человѣкъ! Отъ него морщится Revue des Deux Mondes, хотя и печатаетъ его статьи; а соціальные и добродѣтельные ослы не въ состояніи и понять его. Я безъ ума отъ Литтре, именно потому, что онъ равно не принадлежитъ ни... ворамъ-умникамъ J. d. Débats и Revue d. D. M., ни соціалистамъ (по мнѣнію Бѣлинскаго, выродившимся изъ фантазій генія Руссо)... Кстати: въ G. de France я прочелъ отрывокъ изъ 1-го тома «Исто-

---

[1]) Одно изъ лицъ, принимавшихъ участіе въ редакціи журнала.

[2]) Въ статьѣ о „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями“. См. „Совр.“ 1847, кн. 2, крит., стр. 122. Сочин., XI, стр. 100.

[3]) „Важность и успѣхи физіологіи“, во 2-й книгѣ „Современника“.

ріи рево.» Луи-Блана. Это — его сужденіе о Вольтерѣ! Святители... да это Шевыревъ! Все, что говоритъ Луи-Бланъ въ порицаніе Вольтера, справедливо, да глупо то, что онъ не судитъ о немъ, а осуждаетъ его, и притомъ какъ нашего современника, какъ сотрудника J. d. Débats. Я въ первый разъ понялъ всю гадость и пошлость духа партій. Въ то же время, я понялъ, отчего «Hist. des dix ans» такъ хороша, несмотря на всѣ ея нелѣпости: отъ того, что это памфлетъ, а не исторія. Луи-Бланъ—историкъ современныхъ событій; но за прошедшее, сдѣлавшееся исторіею, ему, кажется, не слѣдовало бы браться. Вотъ ужъ сколько времени лежитъ у меня книжка «Revue des Deux Mondes» съ статьею объ Огюстѣ Контѣ и Литтрѣ—и не могу прочесть, потому что запнулся на гнусномъ взглядѣ этого журнала съ первыхъ же строкъ статьи. Бѣда мнѣ съ моими нервами! Что не по мнѣ—дѣйствуетъ на меня болѣзненно; но пересилю себя и прочту.

«О себѣ мнѣ нечего тебѣ сказать новаго. Впрочемъ, вотъ уже съ недѣлю, какъ здоровье мое какъ будто лучше и желудокъ какъ будто поправляется. За то скучаю смертельно. Безъ Тургенева я осиротѣлъ плачевно. Можетъ быть, отъ этого во мнѣ опять пробудилась давно оставившая меня охота писать длинныя письма. Пожалуйста, пиши ко мнѣ: въ теперешнемъ моемъ положеніи, ты сдѣлаешь мнѣ этимъ много добра.

«Читалъ-ли ты *Переписку* Гоголя? Если нѣтъ, прочти. Это любопытно и даже назидательно... А славянофилы... напрасно на него сердятся. Имъ бы вспомнить пословицу: неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Они... трусы, люди не консеквентные, боящіеся крайнихъ выводовъ собственнаго ученія; а онъ человѣкъ храбрый, которому нечего терять»...

На другой день Бѣлинскій пишетъ опять къ Боткину, и еще къ Г-ву и Кавелину. Предметомъ этихъ писемъ были опять дѣла журнала [1]), а письмо къ Боткину занято, кромѣ того, предположеніями о поѣздкѣ на воды.

«...Твое послѣднее письмо глубоко меня тронуло, — пишетъ Бѣлинскій.—Человѣкъ лѣнивый и тяжелый на подъемъ, я во всю жизнь мою ни разу не хлопоталъ такъ усердно о себѣ, какъ хлопочешь ты обо мнѣ, при этомъ рѣшаясь по прежнему на жертвы для меня, которыя должны поставить тебя въ стѣсненное положеніе. Понялъ-ли я все это и какъ отозвалось все это во мнѣ—объ этомъ распространяться не буду»...

Средствъ на поѣздку конечно не было; Бѣлинскій жалуется, что отъ журнала—„и такъ забрался страшно—за полгода впередъ, а заработалъ только два мѣсяца. Да... бѣдный человѣкъ—

---

[1]) Два послѣднія письма не существуютъ.

нарія общества". Эти средства на поѣздку надѣялся найти для него Боткинъ.

Черезъ нѣсколько дней, 17 февраля, Бѣлинскій снова пишетъ Боткину большое письмо, въ родѣ тѣхъ „тетрадей", какія писывалъ къ нему прежде. Онъ разсказываетъ нѣкоторые анекдоты, происходившіе по редакціонной части журнала; извѣщаетъ, что они надѣются помѣстить статью Боткина („Письма объ Испаніи") въ слѣдующей 3-й книгѣ,—что редакція „Современника" и съ своей стороны хочетъ принять участіе въ устройствѣ поѣздки Бѣлинскаго за границу. Затѣмъ литературныя новости:

«Тургеневъ хочетъ перевести нѣмцамъ статью Кавелина: «Юрид. бытъ Россіи до Петра В». Скажи ему это, равно какъ и то, что помѣщеніемъ своихъ критическихъ статей на книгу Погодина въ «Отеч. Зап». онъ растерзалъ мое сердце и усилилъ мои немощи. Кронебергъ—только переводчикъ, а какъ сотрудникъ — хуже ничего нельзя придумать. Современное для него не существуетъ, онъ весь въ римскихъ древностяхъ да въ Шекспирѣ. При этомъ, страшно лѣнивъ... Повѣсть Кудрявцева никому не нравится. Поди ты тутъ!»

Для объясненія словъ Бѣлинскаго о г. Кавелинѣ надо опять припомнить отношеніе московскихъ друзей къ „Современнику". Они находили, что Бѣлинскій не играетъ въ редакціи журнала той господствующей роли, какая, по ихъ мнѣнію, ему подобала; выше замѣчено, что недовольные этимъ, и относя свое собственное участіе въ журналѣ къ Бѣлинскому, они если не совсѣмъ отдалились отъ „Современника", то по крайней мѣрѣ стали смотрѣть на него такъ же, какъ на „От. Записки", и не находили основанія поддерживать исключительно первый, когда оба журнала представляли тогда одинъ въ сущности характеръ... Этотъ вопросъ очень волновалъ Бѣлинскаго и сталъ предметомъ длинныхъ разсужденій и страстныхъ выходокъ въ перепискѣ Бѣлинскаго за 1847 годъ. Во-первыхъ, онъ никакъ не могъ помириться съ тѣмъ, чтобы лучшіе друзья, въ союзѣ которыхъ онъ не сомнѣвался при началѣ дѣла, могли давать поддержку своихъ именъ и трудовъ журналу, который теперь вызывалъ въ немъ крайнюю вражду. Онъ не разъ возвращается къ этому предмету, усиливаясь возобновить ту связь съ московскими друзьями, на которую такъ надѣялся. Во-вторыхъ, и самъ Бѣ-

линскій относительно внутренняго устройства журнала бывалъ въ разныхъ настроеніяхъ. Между петербургскими друзьями также были люди, раздѣлявшіе взглядъ московскихъ. Бѣлинскій иногда соглашался съ ними, бывалъ недоволенъ, недоумѣвалъ; но его огорчало, что друзья охладѣвали къ „Современнику", и тяготило его собственное положеніе между двумя непріязненными сторонами, которыя ему хотѣлось примирить...

Затѣмъ слѣдуетъ длинный трактатъ объ Огюстѣ Контѣ. Бѣлинскій прочелъ въ „Revue d. Deux Mondes" статью Сессе (Saisset) о положительной философіи; у него составилось о Контѣ неблагопріятное мнѣніе.

«Сколько можно получить понятіе о предметѣ изъ вторыхъ рукъ, я понялъ Конта, въ чемъ мнѣ особенно помогли разговоры и споры съ тобою, которые только теперь уяснились для меня. Контъ — человѣкъ замѣчательный; но чтобъ онъ былъ основателемъ новой философіи—далеко кулику до Петрова дня! Для этого нуженъ геній, котораго нѣтъ и признаковъ въ Контѣ»...

Контъ замѣчателенъ, какъ реакція теологическому вмѣшательству въ науку, реакція энергическая и тревожная; но его умъ сухой, и въ немъ нѣтъ творчества. Литтрѐ хотя и ограничивается смиренной ролью его ученика, но это очевидно натура болѣе богатая. Къ автору статьи, Сессе, Бѣлинскій возымѣлъ (очень справедливо) антипатію, какъ метафизическому эклектику, который говоритъ съ презрѣніемъ о нѣмецкой философіи, не имѣя о ней никакого понятія.

Контъ находитъ природу несовершенною, и Бѣлинскій видитъ въ этой мысли явное доказательство, что онъ не можетъ основать новаго философскаго ученія. Эта мысль есть только крайность, противопоставленная крайности піэтистовъ, находящихъ, что въ природѣ все совершенно, все премудро размѣрено и разсчитано, что во всѣхъ ея явленіяхъ, даже въ страшномъ расположеніи крысъ и мышей, скрывается великая польза. Наперекоръ мнѣнію піэтистовъ, Контъ утверждаетъ другую нелѣпость, что природа несовершенна, и могла бы быть совершеннѣе:

«Послѣднее—чепуха, первое справедливо,—замѣчаетъ Бѣлинскій,—да въ несовершенствѣ-то природы и заключается ея совершенство. Со-

вершенство есть идея абстрактнаго трансцендентализма, и потому оно—подлѣйшая вещь въ мірѣ. Человѣкъ смертенъ, подверженъ болѣзни, голоду, долженъ отстаивать съ бою жизнь свою—это его несовершенство, но имъ-то и великъ онъ, имъ-то и мила и дорога ему жизнь его. (Если застраховать человѣка отъ смерти, болѣзни и пр...) онъ—турецкій паша, скучающій въ вѣковомъ блаженствѣ, хуже — онъ превратится въ скота. Контъ не видитъ историческаго прогресса, живой связи, проходящей живымъ нервомъ по живому организму исторіи человѣчества. Изъ этого я вижу, что область исторіи закрыта для его ограниченности»...

Въ общемъ выводѣ Бѣлинскій думаетъ, что основатель новой философіи долженъ освободить науку отъ призраковъ трансцендентализма, отъ всего фантастическаго и мистическаго, но что Контъ этого не сдѣлаетъ, а только, со многими другими замѣчательными умами, поможетъ сдѣлать это призванному.

Въ томъ же французскомъ журналѣ нашелъ онъ статью о новомъ, вышедшемъ тогда, сочиненіи Шеллинга.

«У меня было какое-то смутное понятіе о новомъ мистическомъ ученіи Шеллинга. Тома (авторъ статьи) говоритъ, что Шеллингъ деизмъ называетъ imbécile (съ чѣмъ и поздравляю Пьера Леру) и презираетъ его больше атеизма, который онъ несказанно презираетъ. Кто же онъ? онъ пантеистъ-христіанинъ, и создалъ для избранныхъ натуръ (аристократіи человѣчества) удивительно изящную церковь, въ которой обителей много. Бѣдное человѣчество! Добрый Одоевскій разъ не шутя увѣрялъ меня, что нѣтъ черты, отдѣляющей сумасшествіе отъ нормальнаго состоянія ума, и что ни въ одномъ человѣкѣ нельзя быть увѣреннымъ, что онъ не сумасшедшій. Въ приложеніи не къ одному Шеллингу, какъ это справедливо! У кого есть система, убѣжденіе, тотъ долженъ трепетать за нормальное состояніе своего разсудка»...

Онъ совѣтуетъ Боткину прочесть статью Губера о книгѣ Гоголя (въ „Спб. Вѣд.“ 1847, № 35): эта статья кажется ему „замѣчательнымъ и отраднымъ явленіемъ“; спрашиваетъ, прочелъ ли Боткинъ книгу Макса Штирнера...

На тѣхъ же дняхъ, 19 февраля, Бѣлинскій писалъ къ г. Тургеневу, который незадолго передъ тѣмъ уѣхалъ за границу, Бóльшая доля этого письма напечатана въ воспоминаніяхъ г. Тургенева [1]); главнымъ образомъ оно занято извѣстіями объ отношеніяхъ Бѣлинскаго къ редакціи „Современника“ и спо-

[1]) „Вѣстн. Евр.“, тамъ же, стр. 726—728.

рахъ объ этомъ съ московскими друзьями. Прибавимъ изъ этого письма нѣсколько отзывовъ Бѣлинскаго о тогдашнихъ литературныхъ новостяхъ:

«...Достоевскаго переписка шуллеровъ [1]), къ удивленію моему, мнѣ просто не понравилась—насилу дочелъ. Это общее впечатлѣніе...

«Некр. написалъ недавно страшно-хорошее стихотвореніе. Если не попадетъ въ печать (а оно назначается въ 3 №), то пришлю къ вамъ въ рукописи [2]). Что за талантъ у этого человѣка! И что за топоръ его талантъ!

«Повѣсть Кудрявцева [3]) не имѣла никакого успѣха: откуда ни послышишь—не то, что бранятъ, а холодно отзываются».

Въ письмѣ къ Боткину, отъ 26 февраля, Бѣлинскій опять благодаритъ своего друга за хлопоты объ его дѣлахъ. „Меня не одно то трогаетъ,—говоритъ онъ,—что ты всюду собираешь для меня деньги, и жертвуешь своими, но еще больше то, что ты занятъ моею поѣздкою, какъ своимъ собственнымъ сердечнымъ интересомъ. А я все браню тебя, да пишу тебѣ грубости". Онъ и теперь бранитъ его за нечеткую рукопись „Писемъ объ Испаніи", которая сдѣлала для него корректуру очень трудной: особенно онъ проситъ Боткина избѣгать частаго употребленія испанскихъ словъ—и не отвѣчаетъ за то, какъ они явились въ печати: „если увидишь, что отъ нихъ равно откажутся и въ Мадридѣ и въ Марокко, или равно признаютъ ихъ своими и тамъ и сямъ, то пеняй на себя". При этомъ онъ сообщаетъ и другое свѣдѣніе относительно „Писемъ объ Испаніи":

«Скажу тебѣ пренепріятную вещь: статью твою К. (цензоръ) порядочно поцарапалъ — говоритъ: политика. Дѣйствительно, у тебя много вышло рѣзко, особенно эпитеты, прилагаемые тобою къ испанскому правительству — терпимость на этотъ разъ измѣнила тебѣ. Вотъ тутъ и пиши! Впрочемъ, Некр. говоритъ, что выкинуто строкъ 30, но ты понимаешь, какихъ. Не знаю, какъ это извѣстіе подѣйствуетъ на тебя, но знаю, что если ты и огорчишься, то не больше меня: я до сихъ поръ не могу привыкнуть къ этой отеческой расправѣ, которую испытываю чуть не ежедневно».

---

[1]) „Романъ въ девяти письмахъ", — „Совр." 1847, кн. 1, смѣсь, стр. 45—54.

[2]) Рѣчь идетъ вѣроятно о стих. „Нравственный человѣкъ", которое и было помѣщено въ 3-й книгѣ „Современника".

[3]) „Безъ разсвѣта", въ 1-й кн. „Совр."

Затѣмъ, опять рѣчь о поѣздкѣ. Боткинъ писалъ ему, какое участіе выразилъ къ дѣламъ Бѣлинскаго А-въ (въ письмѣ къ Боткину). „Я понимаю, какое содержаніе письма А-ва. Это меня нисколько не удивило. Я давно знаю, что за человѣкъ А-въ, и знаю, что онъ любитъ меня. Тѣмъ не менѣе, съ нетерпѣніемъ жду этого письма".

Вскорѣ Бѣлинскій получилъ и письмо А-ва, пересланное Боткинымъ, и 28 февраля снова пишетъ Боткину. Онъ былъ сильно тронутъ выраженіями дружеской привязанности, какія встрѣтилъ въ письмѣ А-ва. „Говорю тебѣ безъ фразъ и безъ лицемѣрія,—пишетъ онъ Боткину по этому поводу,—что любовь ко мнѣ друзей моихъ часто меня конфузитъ и грустно на меня дѣйствуетъ, ибо, по совѣсти, не чувствую, не сознаю себя стоющимъ ея".

Далѣе, почти все письмо (или та часть его, какая намъ извѣстна,—потому что въ немъ какъ будто недостаетъ конца) занято предметомъ, который въ это время безпрестанно вращался въ мысляхъ Бѣлинскаго,—„Перепиской" Гоголя, возмутившей его до послѣдней степени. Боткинъ заговорилъ о статьѣ Бѣлинскаго въ „Современникѣ" (кн. 2) по поводу этой книги; слѣдующія слова Бѣлинскаго еще разъясняютъ его мнѣніе объ этой книгѣ и, вмѣстѣ, одну сторону его литературнаго характера:

«О статьѣ моей о Гоголѣ мнѣ не хотѣлось бы писать къ тебѣ, ибо я положилъ себѣ за правило — никогда и ни съ кѣмъ не спорить о моихъ статьяхъ, защищая ихъ. Но на этотъ разъ нарушаю мое правило, потому что ты боленъ и что въ твоемъ положеніи письмо пріятеля тѣмъ пріятнѣе, чѣмъ больше въ немъ разныхъ вздоровъ... Видишь-ли, въ чемъ дѣло: ты рѣшительно не понимаешь меня, хотя и знаешь меня довольно. Я не юмористъ, не острякъ; иронія и юморъ—не мои оружія. Если мнѣ удалось въ жизнь мою написать статей пятокъ, въ которыхъ иронія играетъ видную роль и съ бо́льшимъ или меньшимъ умѣньемъ выдержана,—это произошло совсѣмъ не отъ спокойствія, а отъ крайней степени бѣшенства, породившаго, своею сосредоточенностію, другую крайность—спокойствіе. Когда я писалъ «типъ» на Шев. и статью о «Тарантасѣ» [1]), я былъ не красенъ, а блѣденъ, и у меня сохло во рту, отъ чего на гу-

[1]) О взглядѣ Бѣлинскаго на „Тарантасъ" гр. Соллогуба, см., во-первыхъ, самыя статьи Бѣлинскаго (небольшая библіографическая статья въ „Отеч.

бахъ и не было пѣны. Я могу писать порядочно только на основаніи моей натуры, моихъ естественныхъ средствъ. Выходя изъ нихъ по разсчету или по необходимости,—я дѣлаюсь ни то, ни сё, ни ракъ, ни рыба. Теперь слушай: кромѣ того, что я боленъ и что мнѣ опротивѣла и литература и критика, такъ что не только писать, читать ничего не хотѣлось бы,—я еще принужденъ дѣйствовать внѣ моей натуры, моего характера. Природа осудила меня лаять собакою и выть шакаломъ, а обстоятельства велятъ мнѣ мурлыкать кошкою, вертѣть хвостомъ по-лисьи. Ты говоришь, что статья «написана безъ довольной обдуманности и нѣсколько съ плеча, тогда (какъ) за дѣло надо было взяться съ тонкостью». Другъ ты мой, потому-то, напротивъ, моя статья и не могла никакъ своею замѣчательностію соотвѣтствовать важности (хотя и отрицательной) книги, на которую писана, что я ее обдумалъ. Какъ ты мало меня знаешь! Всѣ лучшія мои статьи нисколько не обдуманы. Это импровизаціи; садясь за нихъ, я не зналъ, что́ я буду писать. Если первая строка хватитъ издалека — статья болтлива, о дѣлѣ мало сказано; если первая строка ближе къ дѣлу,—статья хороша. И чѣмъ больше я ее запущу, чѣмъ меньше мнѣ времени писать ее, тѣмъ она энергичнѣе и горячѣе. Вотъ какъ я пишу!.. Статья о гнусной книгѣ Гоголя могла бы выдти замѣчательно хорошею, если бы я въ ней могъ, зажмуривъ глаза, отдаться моему негодованію и бѣшенству [1]). Мнѣ очень нравится статья Губера (читалъ-ли ты ее?) именно потому, что она писана прямо, безъ лисьихъ верченій хвостомъ. Мнѣ кажется, что она — моя, украдена у меня и только немножко ослаблена. Но мою статью я обдумалъ, и потому впередъ зналъ, что отличною она не будетъ, и бился изъ того только, чтобы она была дѣльна и показала гнусность... И она такою и вышла у меня, а не такою, какою ты прочелъ ее. Вы живете въ деревнѣ и ничего не знаете. Эффектъ этой книги былъ таковъ, что Н., ее пропустившій, вычеркнулъ у меня часть выписокъ изъ книги, да еще дрожалъ и за то, что́ оставилъ въ моей статьѣ. Моего, онъ и цензора вычеркнули цѣлую треть, а въ статьѣ обдуманной помарка слова—важное дѣло. Ты упрекаешь меня, что я разсердился и не совладѣлъ съ моимъ гнѣвомъ? Да (я) этого и не хотѣлъ. Терпимость къ заблужденію я еще понимаю и цѣню, по крайней мѣрѣ въ другихъ, если не въ себѣ, но терпимости къ подлости я не терплю. Ты рѣшительно не понялъ этой книги, если видишь въ ней *только* заблужденіе... Гоголь—совсѣмъ не К. С. А-въ. Это—Талейранъ, кардиналъ Фешъ, который всю жизнь обма-

---

Зап.“ 1845, кн. 4, не помѣщенная въ изданіи, и большая критич. статья въ кн. 6-й; Сочин. IX, стр. 309—370); во-вторыхъ, Очерки Гогол. періода, въ „Соврем.“ 1856, кн. 11, стр. 3—8, и Восп. Панаева, „Совр.“ 1860, кн. 1, стр. 363—364.

[1]) Такъ это было въ другомъ случаѣ — въ извѣстномъ письмѣ его къ Гоголю, отъ іюня 1847.

нывалъ Бога, а при смерти надулъ сатану... И отзывъ Анненкова о книгѣ Гоголя тоже не отзывается терпимостью. Повторяю тебѣ: умѣю вчужѣ понимать и цѣнить терпимость, но останусь гордо и убѣжденно нетерпимымъ. И если сдѣлаюсь терпимымъ, — знай, что съ той минуты... во мнѣ умерло то прекрасное человѣческое, за которое столько хорошихъ людей (а въ числѣ ихъ и ты) любили меня больше, нежели сколько я стоилъ того».

На другой день, 1 марта, онъ писалъ къ г. Тургеневу длинное письмо, сущность котораго приведена въ воспоминаніяхъ г. Тургенева [1]). Бѣлинскій отчасти выяснилъ себѣ свои личныя отношенія съ редакціей „Современника", но его смущало теперь другое — ему казалось, что редакція относится къ дѣлу слишкомъ лѣниво, апатически, что́ сдѣлано было много „ужасныхъ" ошибокъ, вслѣдствіе которыхъ успѣхъ журнала былъ не такъ великъ, какъ могъ бы быть,—хотя вообще Бѣлинскій былъ доволенъ его успѣхомъ (къ марту „Современникъ" имѣлъ до 1,700 подписчиковъ). Самой важной ошибкой онъ считалъ то, что не была въ первыхъ же нумерахъ напечатана повѣсть г. Гончарова, которая,—говоритъ Бѣлинскій,—„по всѣмъ признакамъ должна произвести сильное впечатлѣніе". Она подѣйствовала бы иначе и на подписку. „Будь она напечатана въ первыхъ двухъ №№, вмѣсто... (плохой) повѣсти Панаева, можно клясться всѣми клятвами, что уже мѣсяцъ назадъ всѣ 2,100 экз. были бы разобраны, и, можетъ быть, надо было бы печатать еще 600 экз., которые тоже разошлись бы, хотя и медленно, и доставили бы собою не большую, но уже чистую прибыль".

Въ этотъ же день Бѣлинскій писалъ П. В. А-ву. Онъ высказываетъ и ему, что́ говорилъ уже въ письмахъ къ Боткину и Тургеневу, — какое отрадное впечатлѣніе произвело на него теплое участіе А-ва къ его дѣламъ. Дѣло въ томъ, что А-въ, кромѣ другого содѣйствія поѣздкѣ Бѣлинскаго, измѣнилъ для него планъ своего собственнаго путешествія: отложилъ свое намѣреніе ѣхать въ Грецію и Константинополь и обѣщалъ выѣхать на встрѣчу Бѣлинскому и устроить его на водахъ въ Силезіи—что́ послѣ и исполнилъ.

---

[1]) „Вѣстн. Евр.", стр. 728—729.

Въ письмѣ къ А-ву, Бѣлинскій говоритъ о состояніи своего здоровья:

«Да, я было струхнулъ порядкомъ за свое положеніе, но теперь поправляюсь. Тильманъ ручается за выздоровленіе весною даже и въ Питерѣ, но всегда прибавляетъ: «а лучше бы ѣхать, если можно». Когда я сказалъ ему, что нельзя, онъ видимо насупился, а когда потомъ сказалъ, что ѣду — онъ просіялъ. Изъ этого я заключаю, что въ Питерѣ можно меня починить до осени, а за-границею можно закрѣпить готовый развязаться и расползтись узелъ жизни. Вотъ уже съ мѣсяцъ чувствую я себя лучше, но упадокъ силъ у меня — страшный; устаю отъ всякаго движенія, иногда задыхаюсь отъ того, что переворочусь на кушеткѣ съ одного бока на другой»...

Онъ обѣщаетъ А-ву привезти съ собой и запасъ петербургскихъ новостей. „Я знаю, что вы многое знаете черезъ Боткина, но я вамъ многое изъ этого многаго передамъ совсѣмъ съ другой точки зрѣнія". Это относилось, конечно, къ его дѣламъ въ „Современникѣ".

Черезъ нѣсколько дней Бѣлинскій снова пишетъ Боткину, отъ 4 марта:

«Поѣздка не выходитъ у меня изъ головы. Энтузіазма нѣтъ и не будетъ никакого: въ этомъ отношеніи, я сильно измѣнился—самъ себя не узнаю. Но тѣмъ не менѣе, все вертится у меня около этой idée fixe, и я чувствую, что мнѣ тяжело было бы, еслибъ дѣло разстроилось. Письмо А-ва озарило какимъ-то веселымъ и теплымъ колоритомъ мою поѣздку,— и я жду ея, какъ счастья дня»...

Дальше любопытенъ трактатъ о повѣстяхъ Кудрявцева. Этотъ писатель, которымъ нѣкогда Бѣлинскій такъ безгранично восхищался и къ которому до сихъ поръ питалъ теплую личную привязанность, окончательно пересталъ удовлетворять его своими повѣстями. Мы видѣли выше, что послѣднія его повѣсти уже внушали Бѣлинскому сомнѣнія, иныя вовсе не нравились. Теперь, въ 3-й книгѣ „Отеч. Зап." этого года, была помѣщена повѣсть Кудрявцева „Сбоевъ"; чтеніе ея навело Бѣлинскаго на слѣдующія размышленія:

«Кажется, таланту Кудрявцева — вѣчная память. Этотъ человѣкъ, видно, никогда не выйдетъ изъ своей коры. Онъ и въ Парижъ привезъ съ собою свою Москву. Что за узкое созерцаніе, что за бѣдные интересы, что за ребяческіе идеалы, что за исключительность типовъ и характе-

ровъ. (Для объясненія своей мысли, Бѣлинскій дѣлаетъ сравненіе между повѣстями Кудрявцева и Гончарова...). Сильно-ли понравится тебѣ повѣсть Гончарова, или и вовсе не понравится [1], — во всякомъ случаѣ, ты увидишь великую разницу между Гонч. и Кудр. въ пользу перваго. Эта разница состоитъ въ томъ, что Г-въ—человѣкъ взрослый, совершеннолѣтній, а К-въ духовно-малолѣтній, нравственный и умственный недоросль. Это досадно и грустно. Читая его повѣсти, чувствуешь, что они могутъ быть понятны и интересны только для людей, близкихъ къ автору. Вотъ отъ чего нѣкогда я съ ума сходилъ отъ повѣстей К-ва: я зналъ и любилъ его, въ немъ и въ нихъ было много моего, т. е. такого, что́ было моимъ конькомъ. Того конька давно нѣтъ, и повѣсти не тѣ. Талантъ вижу въ нихъ и теперь, но черта-ли въ одномъ талантѣ. Земля цѣнится по ея плодородности, урожаямъ; талантъ—та же земля, но которая вмѣсто хлѣба родитъ истину. Порождая однѣ мечты и фантазіи, талантъ, даже большой — песчаникъ или солончакъ, на которомъ не родится ни былинки. Двѣ повѣсти выходятъ изъ ряда обычныхъ повѣстей К-ва: *Послѣдній визитъ*, въ которомъ конецъ онъ все-таки испортилъ эффектомъ, и *Безъ разсвѣта*, въ которой прекрасное намѣреніе осталось гораздо выше исполненія. Стало быть, ничего удовлетворительнаго вполнѣ и вмѣстѣ дѣльнаго. Что же это? Слабость таланта? — Нѣтъ, вся бѣда въ томъ, что К-въ москвичъ... Ахъ, господа, изображайте любовь и женщинъ, я вамъ не запрещаю этого на томъ основаніи, что я начисто раздѣлался съ подобными интересами; но изображайте не какъ дѣти, а какъ взрослые люди. Вонъ и въ повѣсти Гончарова любовь играетъ главную роль, да еще такая, какая субъективно всего менѣе можетъ интересовать меня: а читаешь, словно ѣшь холодный, полу-пудовой сахаристый арбузъ въ знойный день».

Дальше—отзывы о 3-й книгѣ „Современника", которой онъ доволенъ, и жалобы на „палача"—цензора.

Письмо къ Боткину, отъ 8 марта, опять любопытно по тѣмъ выраженіямъ личныхъ задушевныхъ мыслей и отзывамъ о самомъ себѣ,—въ которыхъ мы уже не разъ видѣли чрезвычайно характеристическія опредѣленія его личности.

Въ началѣ письма онъ опять говоритъ о 3-й книгѣ (гдѣ было помѣщено начало „Обыкновенной Исторіи"), которая „произвела самое благопріятное впечатлѣніе на питерскую публику"; извѣщаетъ Боткина, что есть надежда—возстановить, въ слѣдующихъ статьяхъ, то, что́ вычеркнулъ цензоръ въ первомъ

---

[1]) Въ это именно время выходила „Обыкновенная Исторія" (1-я часть—въ 3-й книгѣ „Современника"; 2-я часть—въ 4-й книгѣ).

„Письмѣ изъ Испаніи“: одинъ изъ близкихъ участниковъ журнала надѣялся отстоять въ цензурномъ комитетѣ выброшенныя мѣста,—на томъ основаніи, что въ нихъ заключается „исторія“ (которая не запрещалась совершенно), а не „политика“ (которая совершенно запрещалась). Бѣлинскій недоволенъ въ 3-й книгѣ только повѣстью Диккенса, и по поводу ея даетъ любопытное свидѣтельство о своихъ „національныхъ“ взглядахъ, которое, вмѣстѣ съ другими подобными признаніями, объясняетъ, кажется, почему друзья его видѣли въ немъ въ это время наклонность почти къ славянофильскому идеализму.

«Прочти пожалуйста повѣсть Диккенса *Битва жизни*, изъ нея ты ясно увидишь всю ограниченность, все узколобіе этого дубоваго англичанина, когда онъ является не талантомъ, а просто человѣкомъ. Это едва-ли не единственная плохая вещь, помѣщенная въ 3 № *Совр.*,—чтó мнѣ очень досадно. Уважаю практическія натуры, въ hommes d'action, но если вкушеніе сладости ихъ роли непремѣнно должно быть основано на условіи безвыходной ограниченности, душной узкости—слуга покорный, я лучше хочу быть созерцающею натурою, человѣкомъ просто, но лишь бы все чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко. Я—натура русская. (Онъ прибавляетъ, что и гордится этимъ...) Не хочу быть даже французомъ, хотя эту націю люблю и уважаю больше другихъ. Русская личность пока—эмбріонъ, но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбріона, какъ душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость. Она боится ихъ, не терпитъ ихъ больше всего — и хорошо, по моему мнѣнію, дѣлаетъ, довольствуясь пока ничѣмъ, вмѣсто того, чтобы закабалиться въ какую-нибудь дрянную односторонность. А что мы всеобъемлющи потому, что намъ нечего дѣлать, — чѣмъ больше объ этомъ думаю, тѣмъ больше сознаю и убѣждаюсь, что это ложь. Грузинцамъ тоже нечего дѣлать, и мало-ли другихъ народовъ, ничего не дѣлающихъ, и все-таки бѣдныхъ замѣчательными личностями. Русакъ пока еще дѣйствительно—ничего; но посмотри, какъ онъ требователенъ, не хочетъ того, не дивится этому, отрицаетъ все, а между тѣмъ чего-то хочетъ, къ чему-то стремится. Но о такомъ предметѣ надо говорить много, или совсѣмъ не говорить, и потому мнѣ досадно на себя, что я заговорилъ. Не думай, чтобы я въ этомъ вопросѣ былъ энтузіастомъ. Нѣтъ, я дошелъ до его рѣшенія (для себя) тяжкимъ путемъ сомнѣнія и отрицанія. Не думай, чтобы я со всѣми объ этомъ говорилъ *такъ*: нѣтъ, въ глазахъ нашихъ квасныхъ патріотовъ, славянофиловъ..., витязей прошедшаго и обожателей настоящаго, я всегда останусь тѣмъ, чѣмъ они до сихъ поръ считали меня»...

Въ письмѣ отъ 15 марта Бѣлинскій говоритъ объ извѣст-

ныхъ статьяхъ Н. Ф. Павлова, вызванныхъ „Перепиской съ друзьями“ Гоголя (въ „Моск. Вѣдомостяхъ“ 1847): статьи эти чрезвычайно понравились Бѣлинскому.

«Здоровье мое,—начинаетъ онъ,—въ сравненіи съ прежнимъ лучше, но безотносительно—плохо. Тоска страшная, и не знаю, какъ дождаться вожделѣннаго дня отъѣзда. Только этою мыслію и живу; безъ нея, право, не знаю, что́ бы со мной теперь было. Новостей у насъ... нѣтъ никакихъ, а если какія и есть, онѣ извѣстны и у васъ. Книга Гоголя какъ будто пропала,—и я немного горжусь тѣмъ, что вѣрно предсказалъ (не печатно, а на словахъ) ея судьбу. Русскаго человѣка не надуешь такими продѣлками, а если и надуешь, такъ на минуту. Если еще не вовсе забыто существованіе этой книги, такъ это потому, что отъ времени до времени напоминаютъ о ней журнальныя статьи. Статья Н. Ф. Павлова—образецъ мастерства писать. Я перечелъ ее нѣсколько разъ, и съ каждымъ разомъ она кажется мнѣ все лучше и лучше. Сколько ума, какая послѣдовательность, какъ все ровно и цѣло; дочитывая конецъ, ясно помнишь начало и середину! Словомъ—чудо, а не статья! Сначала на меня произвелъ было непріятное впечатлѣніе взглядъ на мертвопочитаніе *русской породы;* но я сообразилъ, что вся сила статьи въ томъ и заключается, что П. бьетъ Г. не своимъ, а его же оружіемъ, и имѣетъ въ виду доказать не столько нелѣпость книги, сколько ея противорѣчіе съ самой собою. Но особенно понравилась мнѣ въ статьѣ одна мысль—умная до невозможности. Это ловкій намекъ на то, что перенесенная въ сферу искусства книга Г-ля была бы превосходна, ибо ея чувства и понятія принадлежатъ законно Хлестаковымъ, Коробочкамъ, Маниловымъ и т. п. Это такъ умно, что мо́чи нѣтъ! Жаль одного: что эта превосходная статья напечатана въ «Моск. Вѣд.»,—изданіи, сохраняющемъ свято внѣшнія формы временъ Петра Великаго, и читаемомъ только въ Москвѣ, да и то больше людьми солидными. Что́, какъ бы позволилъ намъ Н. Ф. перепечатать его статью въ «*Совр.*»?.. Право, отъ этого не однимъ намъ было бы хорошо: статья получила бы больше народности»...

Павловъ дѣйствительно предоставилъ „Современнику“ перепечатать свои „Письма къ Н. В. Гоголю“, которыя вскорѣ и появились въ этомъ журналѣ [1]).

Бѣлинскій продолжаетъ письмо черезъ два дня, разсказомъ о чрезвычайномъ успѣхѣ „Обыкновенной исторіи“:

«Повѣсть Гонч. произвела въ Питерѣ фуроръ—успѣхъ неслыханный!

---

[1]) Письма *первое* и *второе* — въ майской книгѣ 1847 г.; *четвертое* (прямо послѣ второго)—въ августовской. Но *третьяго* письма, кажется, такъ и не было (!).

Всѣ мнѣнія слились въ ея пользу. Даже свѣтлѣйшій князь В-скій, черезъ дядю Панаева, изъявилъ ему, Панаеву, свое удовольствіе... Дѣйствительно, талантъ замѣчательный. Мнѣ кажется, что его особенность, такъ сказать, личность, заключается въ совершенномъ отсутствіи семинаризма, литературщины и литераторства, отъ которыхъ не умѣли и не умѣютъ освобождаться даже геніальные русскіе писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Г-ва нѣтъ и признаковъ труда, работы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный разсказъ. Я увѣренъ, что что тебѣ повѣсть эта сильно понравится. А какую пользу принесетъ она обществу! Какой она страшный ударъ романтизму, мечтательности, сантиментальности, провинціализму!»...

Бѣлинскій говоритъ дальше о матеріальномъ положеніи „Современника", который „нравственно процвѣтаетъ", т.-е. пріобрѣтаетъ въ публикѣ авторитетъ и положительно считается лучшимъ журналомъ; успѣхъ его и за первый годъ (у него было теперь 1800 подписчиковъ) онъ называетъ небывалымъ и неслыханнымъ.

«Тургеневъ пишетъ, что... хочетъ жить въ Штетинѣ и, подобно Моинѣ, бродя по морскому берегу, ждать Фингала, т.-е. меня»...

Въ концѣ марта или началѣ апрѣля, Бѣлинскому пришлось вынести еще одно бѣдствіе, сильно его поразившее—потерю маленькаго сына (у него осталась дочь, родившаяся въ половинѣ 1845). Онъ пишетъ къ Тургеневу отъ 12 апрѣля [1]).

«Вскорѣ по полученіи вашего второго ко мнѣ письма, въ которомъ вы изъявляете свое удовольствіе о здоровьи моего сына [2]),—онъ умеръ. Это меня уходило страшно. Я не живу, а умираю медленною смертью. Но довольно объ этомъ. Къ дѣлу. Я взялъ билетъ на первый штетинскій пароходъ (Владиміръ); онъ отходитъ 4/16 мая.

«Я уже публикуюсь [3]); свидѣтельство Тильмана вчера отправлено въ физикатъ» [4])...

Отъ 22 апрѣля Бѣлинскій опять пишетъ Боткину очень длинное письмо, посвященное вопросамъ о журналѣ и личнымъ дѣламъ. Журналомъ онъ вообще доволенъ, и думаетъ, что впредь

---

[1]) Отрывокъ этого письма въ „В. Евр.", стр. 729.

[2]) Онъ былъ крестникомъ г. Тургенева.

[3]) Тогда отъѣзжающимъ за границу нужно было предварительно публиковаться о томъ въ газетахъ.

[4]) Другое условіе, нужное для отъѣзда.

онъ долженъ пойти еще лучше, предполагая, что московскіе друзья окажутъ ему свое содѣйствіе. Онъ сравниваетъ „Современникъ" съ тогдашними „Отеч. Записками" и отдаетъ первому рѣшительное предпочтеніе. Самое начало письма занято длиннымъ объясненіемъ отношеній редакціи (и самого Бѣлинскаго) къ одному изъ московскихъ пріятелей и сотрудниковъ, Мельгунову, который хотя отличался большой ревностью къ журналу, но редакціи не казался особенно полезнымъ сотрудникомъ, и Бѣлинскій проситъ Боткина деликатнымъ образомъ умѣрить его усердіе.

Между прочимъ Бѣлинскій въ это время возымѣлъ планъ— оставить совсѣмъ Петербургъ и переселиться въ Москву.

«Скажу тебѣ о себѣ новость, которая удивитъ тебя. Я рѣшился переѣхать жить въ Москву, и это можетъ быть, если не встрѣтится особенныхъ препятствій, по послѣднему снѣжному пути конца будущей зимы 1848 года. Я привыкъ къ Питеру, люблю его какою-то странною любовью за многое даже такое, за что бы нечего любить его; въ немъ много удобствъ. Въ Москвѣ меня, кромѣ друзей, ничто не привлекаетъ; какъ городъ, я не люблю ея. Но жить въ петербургскомъ климатѣ, на понтинскихъ болотахъ, гнилыхъ и холодныхъ, мнѣ больше нѣтъ никакой возможности. Если я поправлюсь за границею, въ Питерѣ черезъ годъ, будущею же весною, могу придти опять въ прежнее положеніе»...

Прежнее положеніе дѣйствительно вернулось, но еще въ худшей степени; Бѣлинскій не успѣлъ исполнить своего плана.

Вотъ еще отрывокъ изъ того же письма:

«О, еслибы только мнѣ ожить,—да лишь бы московскіе друзья наши не охладѣли въ своей рѣшимости поддерживать «*Совр.*»,—осенью же нынѣшнею это былъ бы журналъ, именно такой, какого въ наше время нужно! Вникая въ себя, я чувствую, что во мнѣ убита только сила работать, но не сила души; меня все занимаетъ, волнуетъ, бѣситъ по прежнему, голова работаетъ безпрестанно. Но если не поправлюсь физически— погибъ всячески, погибъ страшно!

«Хотѣлось бы обо многомъ поговорить съ тобою, особенно на счетъ *Хоря и Калиныча*; мнѣ кажется, что въ отношеніи къ этой пьесѣ, такъ рѣзко замѣчательной, ты совсѣмъ не правъ. Но писать некогда; времени не много, а работы бездна, благо я могу теперь хоть черезъ силу работать.

«Нынѣшній годъ въ денежномъ отношеніи для меня ужасенъ, хуже прошлаго: я забралъ *всѣ* деньги по 1-е января 1848 года [1]), безъ меня

[1]) Т.-е. изъ редакціи „Современника"; на первый годъ онъ долженъ былъ получать 8,000 р., на второй 12,000 р. асс.

жена, а потомъ я по пріѣздѣ осенью, будемъ забирать сумму 1848 года. У меня на лекарства выходитъ рублей 30 и 40 серебромъ въ мѣсяцъ, если не больше, да рублей 50 сер. стóитъ докторъ. Домъ мой—лазаретъ»...

Послѣднія письма изъ Петербурга писаны имъ въ день отъѣзда, 5 мая. Въ письмѣ къ Боткину онъ говоритъ:

«Если я ворочусь возстановленнымъ и мое бѣдное семейство увѣрится, что его опора съ нимъ, — это твое дѣло. Вотъ лучшая благодарность съ моей стороны за все то, чтò ты для меня сдѣлалъ... Ѣду я въ Зальцбруннъ, около Шведница и Фрейбурга, недалеко отъ Бреславля. Пробыть *постараюсь* до половины ноября по старому стилю... Утѣшь и успокой меня, докончи и доверши... все, чтò уже сдѣлалъ ты для меня... Въ мое отсутствіе перенеси свою заботливость на мое семейство. Ты такой человѣкъ, на котораго можно положиться больше, чѣмъ на кого-нибудь. За это и терпи въ чужомъ пиру похмѣлье.

«Хотѣлъ бы обо многомъ писать къ тебѣ, да некогда, не до того. Прощай. Обнимаю тебя крѣпко. Всѣмъ нашимъ поклонъ и братское привѣтствіе отъ меня. К-на обними за меня. Это сынъ моего сердца, у меня къ нему особенная симпатія, и я знаю, за чтò онъ меня любитъ и за чтó я его люблю. Еще разъ прощай»...

Бѣлинскій сѣлъ на пароходъ 5 мая; 9-го онъ былъ въ Штетинѣ, 10-го пріѣхалъ по желѣзной дорогѣ въ Берлинъ, гдѣ нашелъ г. Тургенева.

Собственные разсказы Бѣлинскаго объ его путешествіи за границу находятся въ его письмахъ къ домашнимъ, и въ двухъ-трехъ письмахъ къ друзьямъ. Приводимъ нѣкоторыя подробности.

Бѣлинскій, на первыхъ же порахъ, замѣчаетъ, что онъ вовсе не путешественникъ, и дѣйствительно, бóльшей частью путешествіе было для него тягостно: прежде всего онъ уже скоро начинаетъ скучать по дому, и чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе; во-вторыхъ, его очень сильно стѣсняло незнаніе иностранныхъ языковъ и, по его словамъ, съ перваго же раза это надѣлало ему „много хлопотъ и комическихъ несчастій". Путешествіе до Штетина не было особенно пріятно: „пароходъ „Владиміръ" внутри убранъ великолѣпно,—пишетъ Бѣлинскій,—но удобства никакого и тѣснота страшная; за столъ въ шубѣ сѣсть нельзя—и тѣсно и жарко, а положить ее некуда; я понялъ, какъ ко-

рабли набиваютъ неграми торгующіе этимъ товаромъ; буфетъ снабженъ гадко";—на воздухѣ было холодно; наконецъ была и качка съ ея послѣдствіями. Съ пріѣзда въ Штетинъ начинаются „комическія несчастія": надо было торопиться на желѣзную дорогу, Бѣлинскій добрался до нея не безъ приключеній; въ Берлинѣ ему попался на станціи трактирный слуга, говорившій по-русски, и только съ его помощью Бѣлинскій розыскалъ г. Тургенева [1]): „я почувствовалъ себя въ пристани; со мною была моя нянька".

Отправляться въ Силезію было еще рано; поэтому, поживши дня три въ Берлинѣ, Бѣлинскій и Тургеневъ поѣхали въ Дрезденъ. Здѣсь случилось новое „комическое несчастіе". Въ дрезденской галереѣ они встрѣтились съ г-жей Віардо, которая между прочимъ заговорила съ представленнымъ ей Бѣлинскимъ, чѣмъ и повергла его въ величайшее затрудненіе.

«*Все шло хорошо*, — разсказываетъ съ сокрушеніемъ Бѣлинскій, — какъ вдругъ, уже въ послѣдней залѣ, *m-me* Віардо, быстро обратившись ко мнѣ, сказала: лучше ли вы себя чувствуете? Я такъ потерялся, что ничего не понялъ, она повторила, а я еще больше смѣшался; тогда она начала говорить по-русски очень смѣшно, и сама хохотала. Тутъ я наконецъ понялъ, въ чемъ дѣло, и подлѣйшимъ французскимъ языкомъ... отвѣчалъ ей, что мнѣ лучше»...

Изъ Дрездена Бѣлинскій и г. Тургеневъ сдѣлали обычную экскурсію въ саксонскую Швейцарію.

«Я ходилъ пѣшкомъ,—говоритъ Бѣлинскій,—ѣздилъ верхомъ, носили меня на носилкахъ... видѣлъ чудную природу, прекрасныя и грандіозныя мѣстоположенія... но все это скоро надоѣло мнѣ. У меня ужасная способность скоро привыкать къ новости. И потому, мнѣ въ тотъ же день показалось, что я лѣтъ сто сряду видѣлъ всѣ эти дива дивныя, и они давно мнѣ наскучили какъ горькая рѣдька»...

Понятно, что дѣло было не въ этой „ужасной способности привыкать къ новости", — а просто въ томъ, что Бѣлинскій и не думалъ о томъ, что́ было передъ его глазами: онъ былъ разсѣянъ, скучалъ, ему хотѣлось быть дома—съ этимъ онъ сдѣлалъ все свое путешествіе. Послѣ онъ и самъ въ этомъ сознается.

Наконецъ, 22 мая они пріѣхали въ Зальцбруннъ. Бѣлин-

---

[1]) Въ „Воспом." г. Тургенева неточность. „Вѣстн. Евр.", стр. 729.

скій подсмѣивается надъ тѣмъ, что Тильманъ, въ запискѣ объ его болѣзни, счелъ нужнымъ упомянуть „о романтическихъ окрестностяхъ Зальцбрунна, которыя невольно влекутъ *чувствительное сердце* къ наслажденію природой". Оказывалось, что природа вся загорожена, занята домами и полями; Бѣлинскаго удивила страшная тѣснота, но онъ признавалъ, что мѣстоположеніе дѣйствительно хорошо и манитъ къ прогулкѣ.—Изъ своего еще очень короткаго путешествія, Бѣлинскій уже теперь извлекъ „глубокое убѣжденіе", что онъ вовсе не путешественникъ:

«Въ другой разъ меня и калачемъ не выманишь изъ дому. Еще другое дѣло съ семействомъ; а одному — слуга покорный! Мнѣ становится страшно... Я не гожусь въ путешественники еще и по слабости моего здоровья: вставай, ложись, ѣшь безъ порядку, когда можно, а не когда хочешь. Еслибъ не желаніе основательно вылечиться, я въ августѣ махнулъ бы домой, не жалѣя, что я не видѣлъ того и этого».

Зальцбруннскій докторъ, по виду Бѣлинскаго, ручался за его выздоровленіе, — предписалъ діэту, сыворотку изъ козьяго молока и минеральную мѣстную воду. На первое время Бѣлинскій чувствовалъ себя тяжело, потомъ ему казалось, что леченье дѣйствуетъ на него хорошо; онъ чувствовалъ себя здоровѣе и крѣпче; но лѣто было очень дурное, вмѣсто лѣта стояла „осень, осень и осень, да еще какая — петербургская"; отъ холода и сырости не было спасенія — за отсутствіемъ печей въ домѣ, гдѣ онъ жилъ. Погода мѣшала и прогулкамъ въ окрестности, которыхъ они и видѣли мало. Къ концу мая (29-го) пріѣхалъ изъ Парижа въ Зальцбруннъ П. В. А-въ, который съ тѣхъ поръ и взялъ Бѣлинскаго на свое попеченіе. Докторъ, лечившій Бѣлинскаго, сначала, какъ водится, внушилъ ему большое довѣріе; потомъ это довѣріе поколебалось; подъ конецъ, Бѣлинскій говорилъ о немъ съ озлобленіемъ, какъ о невѣждѣ и шарлатанѣ. Онъ поилъ Бѣлинскаго минеральной водой и сывороткой изъ своего заведенія (причемъ за козье молоко выдавалось иной разъ и коровье), но не могъ объяснить теченія болѣзни и являвшихся припадковъ. Къ концу пребыванія въ Зальцбруннѣ Бѣлинскій такъ описываетъ состояніе своего здоровья:

«На этотъ счетъ я и теперь не могу сказать ничего опредѣленнаго и положительнаго, ни въ хорошемъ, ни въ худомъ отношеніи. Съ одной стороны, мое здоровье плохо, ибо одышка, судорожное дыханіе и стукотня въ голову, не позволяющая откашливаться, мучитъ меня почти такъ же, какъ мучила въ Петербургѣ; съ другой стороны, я чувствую себя крѣпче не только того, какъ я былъ въ Петербургѣ, но и чуть ли не крѣпче того, какъ я чувствовалъ себя въ прошлое лѣто, во время поѣздки (а я тогда чувствовалъ себя очень недурно)... Аппетитъ и сонъ у меня совершенно въ порядкѣ». «Но главное,—прибавляетъ онъ въ другомъ письмѣ,—я сталъ несравненно крѣпче тѣломъ и бодрѣе духомъ».

Онъ возлагалъ надежды на то, что Зальцбруннъ на иныхъ дѣйствуетъ заднимъ числомъ, т. е. уже спустя нѣкоторое время, и что теплая погода, которая когда-нибудь наступитъ, довершитъ дѣйствіе леченья.

Однажды, когда погода въ Зальцбруннѣ была особенно мрачная,—Бѣлинскій говоритъ о себѣ: „я раскисъ и изнемогъ душевно, насилу отчитался Мертвыми Душами". Любопытно сопоставить съ этимъ фактъ, что именно въ это время произошла у Бѣлинскаго извѣстная переписка съ Гоголемъ. Мы видѣли, какъ „Выбранныя мѣста" возмутили Бѣлинскаго, который, кромѣ своей статьи объ этой книгѣ, перепечаталъ еще „Письма" Павлова. Гоголь былъ смущенъ жалкой неудачей своей книги, но и явно раздосадованъ нападеніями, и написалъ Бѣлинскому письмо, въ двусмысленномъ тонѣ смиренія и колкости [1]). Бѣлинскій

[1]) „Я прочелъ съ прискорбіемъ статью вашу обо мнѣ въ „Современникѣ",—писалъ Гоголь между прочимъ,—не потому, чтобы мнѣ прискорбно было униженіе, въ которое вы хотѣли меня поставить въ виду всѣхъ, но потому что въ ней слышенъ голосъ человѣка на меня разсердившагося. А мнѣ не хотѣлось бы разсердить человѣка, даже не любящаго меня, тѣмъ болѣе васъ, который—думалъ я — любилъ меня. Я вовсе не имѣлъ въ виду огорчить васъ ни въ какомъ мѣстѣ моей книги. Какъ же вышло, что на меня разсердились всѣ до единаго въ Россіи? Этого, покуда, я еще не могу понять. Восточные, западные, нейтральные—всѣ огорчились. Это правда, я имѣлъ въ виду небольшой щелчокъ каждому изъ нихъ, считая это нужнымъ, испытавши надобность его на собственной кожѣ (всѣмъ намъ нужно побольше смиренія); но я не думалъ, чтобъ щелчокъ мой вышелъ такъ грубо неловокъ и такъ оскорбителенъ. Я думалъ, что мнѣ великодушно простятъ все это и что въ книгѣ моей зародышъ примиренія всеобщаго, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами человѣка разсерженнаго, а потому почти все приняли въ другомъ видѣ. Оставьте всѣ тѣ мѣста, которыя, покамѣсть, еще загадка для многихъ,

отвѣчалъ, изъ Зальцбрунна, длиннымъ посланіемъ, въ которомъ высказалъ всю силу негодованія, возбужденнаго въ немъ книгой Гоголя. Письмо его, написанное съ энергіей чувства и выраженія, какихъ мы напрасно стали бы искать въ его печатныхъ сочиненіяхъ, между прочимъ чрезвычайно любопытно какъ его свободная рѣчь, какъ образчикъ того, чѣмъ могъ быть его талантъ въ другихъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Письмо вскорѣ потомъ разошлось быстро въ рукописяхъ. Не имѣя возможности представить его вполнѣ, приводимъ нѣсколько извлеченій, которыя даютъ понятіе о сущности его содержанія [1]).

«Вы только отчасти правы, — писалъ Бѣлинскій,—увидѣвъ въ моей статьѣ разсерженнаго человѣка; этотъ эпитетъ слишкомъ слабъ и нѣженъ для выраженія того состоянія, въ которое привело меня чтеніе вашей книги. Но вы совсѣмъ не правы, приписавъ это вашимъ дѣйствительно не совсѣмъ лестнымъ отзывамъ о почитателяхъ вашего таланта. Тутъ была причина болѣе важная. Оскорбленное чувство самолюбія еще можно перенести, и у меня достало бы ума умолчать объ этомъ предметѣ, если бы все дѣло заключалось въ немъ; но нельзя перенести оскорбленнаго чувства истины, человѣческаго достоинства. Нельзя промолчать, когда проповѣдываютъ ложь и безнравственность, какъ истину и добродѣтель. Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своею страною, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса. И вы имѣли основательную причину хотя на минуту выйти изъ спокойнаго состоянія вашего духа, потерявъ право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считалъ любовь свою наградою великаго таланта, а потому что въ этомъ отношеніи представляю не одно, а множество лицъ, изъ которыхъ ни вы, ни я не видѣли самаго большого числа, и которыя, въ свою очередь, тоже никогда не видѣли васъ! Я не въ состояніи дать вамъ ни малѣйшаго понятія о томъ негодованіи, которое возбудила ваша книга во всѣхъ благородныхъ сердцахъ.

«Я думаю,—продолжаетъ Бѣлинскій,—что вы глубоко знаете Россію

если не для всѣхъ, и обратите вниманіе на тѣ мѣста, которыя доступны всякому здравому и разсудительному человѣку, и вы увидите, что вы ошиблись во многомъ", и проч. (См. переписку Гоголя, въ изд. Кулиша, V, стр. 377—379).

[1]) Извлеченія изъ этого письма были помѣщены въ „Вѣстникѣ Европы", 1872, іюль, стр. 439—443. Оно помѣчено тамъ ошибкой изъ Зальцбурга вм. Зальцбрунна; а время его означено 15 іюля; это—или по новому стилю, т.-е. 3 іюля по ст. ст., день выѣзда Бѣлинскаго изъ Зальцбрунна, или ошибка вм. 15 іюня.—Вполнѣ, это письмо еще не появлялось въ нашихъ изданіяхъ.

только какъ художникъ, а не какъ мыслящій человѣкъ, роль котораго вы такъ неудачно приняли на себя въ своей фантастической книгѣ, но это не потому, чтобы вы не были мыслящимъ человѣкомъ, а потому, что вы столько уже лѣтъ смотрѣли на Россію изъ вашего прекраснаго далека. А вѣдь извѣстно, что нѣтъ ничего легче, какъ изъ далека видѣть предметы такими, какъ намъ хочется ихъ видѣть, потому что въ томъ прекрасномъ далекѣ вы живете совершенно чужды духомъ, въ самомъ себѣ, внутри себя, или въ однообразіи кружка, одинаково съ вами настроеннаго и безсильнаго противиться вашему на него вліянію. Поэтому вы не замѣтили, что Россія видитъ свое спасеніе не въ мистицизмѣ, не въ піэтизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности, въ пробужденіи въ народѣ чувства человѣческаго достоинства, столько вѣковъ потеряннаго въ грязи и навозѣ. Ей нужны права и законы, сообразные съ здравымъ смысломъ и справедливостью, и строгое, по возможности, выполненіе ихъ. А вмѣсто того она представляетъ собою ужасное зрѣлище, гдѣ люди торгуютъ людьми, не имѣя на то и того оправданія, какимъ лукаво пользуются американскіе плантаторы, утверждающіе, что негръ не человѣкъ. Это страна, гдѣ люди сами себя называютъ не именами, а кличками, Ваньками, Степками, Палашками; страна, гдѣ нѣтъ не только никакихъ гарантій для личности, чести и собственности, но нѣтъ даже и полицейскаго порядка; а есть только огромная корпорація различныхъ служебныхъ воровъ и грабителей. Самые живые современные національные вопросы Россіи теперь уничтоженіе крѣпостнаго права и отмѣненіе тѣлеснаго наказанія, введеніе по возможности строгаго выполненія тѣхъ законовъ, которые уже есть. Вотъ вопросы, которыми тревожно занята Россія въ своемъ апатическомъ полуснѣ. И въ это-то время великій писатель, который дивно-художественными и глубокомысленными твореніями такъ могущественно содѣйствовалъ самосознанію Россіи, давши ей возможность взглянуть на себя самоё какъ будто въ зеркалѣ, явился съ книгою, которою учитъ варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ побольше денегъ, ругая ихъ «неумытыми рылами». Да если бы вы обнаружили покушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ, какъ за эти позорныя строки. Нѣтъ, если бы вы дѣйствительно прониклись Христова ученія, совсѣмъ не то писали бы вы къ вашему адепту изъ помѣщиковъ; вы бы писали ему, что такъ какъ его крестьяне—его братья по Христу, и какъ братъ его не можетъ быть рабомъ своего брата, то онъ долженъ дать имъ свободу, или по крайней мѣрѣ пользоваться ихъ трудами какъ можно льготнѣе для нихъ, сознавая себя въ глубинѣ своей совѣсти въ ложномъ къ нимъ положеніи. А выраженіе: «Ахъ ты, неумытое рыло!»... да у какого Ноздрева, или у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать міру, какъ великое открытіе въ пользу и назиданіе русскихъ мужиковъ, которые и безъ того потому не умываются, что повѣрили своимъ барамъ, сами себя не считая за людей. А ваше понятіе о національномъ рус-

скомъ судѣ, расправѣ, идеалъ котораго вы нашли въ словахъ глупой бабы, въ повѣсти Пушкина, и по разуму котораго должно пороть и праваго и виноватаго! Да это и такъ у насъ дѣлается, даже въ частую, хотя чаще всего порятъ праваго, если ему нечѣмъ откупиться отъ преступленія быть безъ вины виноватымъ. И такая-то книга можетъ быть результатомъ труднаго внутренняго прогресса, высокаго духовнаго просвѣщенія? — Не можетъ быть!.. Проповѣдникъ кнута, апостолъ невѣжества, поборникъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристъ татарскихъ нравовъ, что́ вы дѣлаете? Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездною!.. Вспомнилъ я еще, что въ вашей книгѣ вы утверждаете, какъ великую и неоспоримую истину, будто простому человѣку грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что́ сказать вамъ на это? Да проститъ вамъ Богъ за эту мысль, если только, передавая ее бумагѣ, вы вѣдали, что́ творили... Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила васъ въ глазахъ публики и какъ человѣка? Вы, сколько я вижу, не совсѣмъ хорошо понимаете русскую публику. Ея характеръ опредѣляется положеніемъ русскаго общества, въ которомъ кипятъ и рвутся наружу свѣжія силы, и, не находя исхода, производятъ только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной литературѣ есть жизнь и движеніе впередъ. Вотъ почему званіе писателя у насъ такъ почтенно, почему у насъ такъ легокъ вѣрный успѣхъ, даже при маленькомъ талантѣ. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ мнѣніемъ такъ называемое либеральное направленіе, даже и при бѣдности таланта. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не отъ ея дурного направленія, а отъ рѣзкости истинъ, будто бы высказанныхъ вами всѣмъ и каждому. Положимъ, что вы могли это думать о пишущей братіи, но публика-то какъ могла попасть въ эту категорію? Неужели въ «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ Душахъ» вы менѣе рѣзки, съ меньшей истиной и талантомъ, и менѣе горькой правды высказали? И она дѣйствительно разсердилась на васъ до бѣшенства, но «Ревизоръ» и «Мертвыя Души» не пали отъ этого, тогда какъ ваша послѣдняя книга провалилась сквозь землю. И публика тутъ права; это показываетъ, сколько лежитъ въ нашемъ обществѣ, хотя и въ зародышѣ, свѣжаго, здраваго чувства, и это же показываетъ, что у нея есть будущность. Если вы любите Россію, порадуйтесь вмѣстѣ со мною паденію вашей книги.

«Ваше обращеніе, пожалуй, можетъ быть искренно, но мысль довести о немъ до свѣдѣнія публики — самая печальная... Смиреніе, проповѣдываемое вами, во-первыхъ, не ново, во-вторыхъ, отзывается съ одной стороны страшною гордостью, а съ другой — самымъ позорнымъ униженіемъ своего человѣческаго достоинства. Мысль сдѣлаться какимъ-то абстрактнымъ совершенствомъ, стать выше всѣхъ смиреніемъ, можетъ быть плодомъ только или гордости, или слабоумія, и ведетъ въ обоихъ случаяхъ къ лицемѣрію, ханжеству, атеизму. И при этомъ вы позволили

себѣ цинически грязно выражаться не только о другихъ (это было бы только невѣжество), но и о самомъ себѣ (это уже гадко), потому что человѣкъ, бьющій своего ближняго по щекамъ, возбуждаетъ негодованіе; но человѣкъ, бьющій по щекамъ самого себя, возбуждаетъ презрѣніе. Нѣтъ, вы омрачены, а не просвѣтлены. И что́ за языкъ, что́ за фразы? «Дрянь и тряпка сталъ теперь всякъ человѣкъ». Неужели вы думаете, что сказать «всякъ» вмѣсто «всякій»—значитъ выражаться библейски? Какая это великая истина, что когда человѣкъ отдается лжи, его оставляетъ умъ и талантъ. Не будь на вашей книгѣ выставлено вашего имени, и будь изъ нея выключены тѣ мѣста, гдѣ вы говорите о самомъ себѣ, какъ о писателѣ, кто бы подумалъ, что эта надутая и неопрятная шумиха словъ и фразъ — произведеніе автора «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ»? Что же касается до меня лично, повторяю вамъ: вы ошибаетесь, сочтя статью мою выраженіемъ досады за вашъ отзывъ обо мнѣ, какъ объ одномъ изъ вашихъ критиковъ. Если бы только это разсердило меня, я только объ этомъ отозвался бы съ досадою, а объ остальномъ отозвался бы спокойно и безпристрастно. А это правда, что вашъ отзывъ о вашихъ почитателяхъ вдвойнѣ нехорошъ. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своими восторгами ко мнѣ только дѣлаетъ меня смѣшнымъ; но и эта необходимость тяжела, потому что какъ-то не человѣчески за ложную любовь платить враждою. Но вы имѣете въ виду людей, если не съ отличнымъ умомъ, то все же и не глупцовъ. Эти люди въ своемъ удивленіи къ вашимъ твореніямъ надѣлали, можетъ быть, гораздо болѣе восклицаній, нежели сколько высказали о нихъ дѣла, но все же ихъ энтузіазмъ къ вамъ выходитъ изъ такого чистаго, благороднаго источника, что вамъ вовсе не слѣдовало бы выдавать ихъ головою—ихъ и вашимъ врагамъ, да еще въ добавокъ обвинять ихъ въ намѣреніи дать какой-то предосудительный толкъ вашимъ сочиненіямъ. Вы, конечно, сдѣлали это по увлеченію главною мыслью вашей книги и по неосмотрительности. Все это не хорошо. А что вы ожидали времени, когда вамъ можно будетъ отдать справедливость и почитателямъ вашего таланта (отдавши ее съ гордымъ смиреніемъ вашимъ врагамъ),—этого я не зналъ, не могъ, да признаться, не хотѣлъ бы знать. Передо мною была ваша книга, а не ваши намѣренія. Я читалъ и перечитывалъ ее сто разъ, и все-таки не нашелъ въ ней ничего, кромѣ того, что́ въ ней есть; а то, что́ въ ней есть, глубоко возмутило и оскорбило душу.

«Если бы я далъ полную волю моему чувству, письмо это скоро превратилось бы въ толстую тетрадь. Я никогда не думалъ писать къ вамъ объ этомъ предметѣ, хотя я и мучительно желалъ этого, и хотя вы всѣмъ и каждому печатно дали право писать къ вамъ безъ церемоніи, имѣя въ виду одну только правду. Неожиданное полученіе вашего письма дало мнѣ возможность высказать вамъ все, что́ лежало у меня на душѣ противу васъ, по поводу вашей книги. Я не умѣю говорить въ

половину, не умѣю хитрить — это не въ моей натурѣ. Пусть вы или само время докажетъ мнѣ, что я ошибался въ моихъ о васъ понятіяхъ, я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь въ томъ, что высказалъ о васъ. Тутъ дѣло идетъ не о моей или вашей личности, а о предметѣ, который гораздо выше не только меня, но даже и васъ. Тутъ дѣло идетъ объ истинѣ, о русскомъ обществѣ, о Россіи. И вотъ мое послѣднее, заключительное слово: если вы имѣли несчастіе съ гордымъ смиреніемъ отречься отъ вашихъ истинно великихъ произведеній, то теперь вы должны съ искреннимъ смиреніемъ отречься отъ послѣдней вашей книги и тяжелый грѣхъ ея изданія искупить новыми твореніями, которыя напомнили бы ваши прежнія».

Гоголь отвѣчалъ изъ Остенде, отъ 10 августа, письмомъ, которое было получено Бѣлинскимъ въ Парижѣ. Оно писано уже въ иномъ тонѣ: Гоголь не хотѣлъ признать и теперь, что противникъ его былъ правъ; но онъ былъ видимо подавленъ тяжестью упрековъ, которыхъ не былъ въ силахъ опровергнуть. Мы указывали въ другомъ мѣстѣ, что Гоголь приготовлялъ еще отвѣтъ Бѣлинскому, болѣе упрямый и болѣе желчный, гдѣ думалъ подробно его оспаривать,—но этотъ отвѣтъ остался непосланнымъ: Гоголь самъ, вѣроятно, увидѣлъ его слабость [1]). Отвѣтомъ Гоголя переписка окончилась.

3 іюля Бѣлинскій выѣхалъ изъ Зальцбрунна и на нѣсколько дней остановился въ Дрезденѣ съ П. В. А-вымъ. Тургеневъ уѣхалъ въ Лондонъ, откуда надѣялся вскорѣ опять съѣхаться съ ними. Дальнѣйшей цѣлью путешествія Бѣлинскаго былъ Парижъ. Дѣло въ томъ, что неувѣренный въ успѣшности своего леченья въ Зальцбруннѣ, Бѣлинскій хотѣлъ сдѣлать все, что представлялось возможнымъ для возстановленія здоровья, и рѣшилъ обратиться еще къ одному парижскому врачу, Тирá-де-Мальмору, который славился тогда леченіемъ чахотки. О немъ разсказывали чудеса: онъ возвращалъ здоровье людямъ, уже не подававшимъ никакой надежды...

Изъ Дрездена Бѣлинскій съ П. В. А-вымъ выѣхали (7 или 8 іюля) на Веймаръ и Эйзенахъ, по желѣзной дорогѣ; отсюда

---

[1]) См. Кулиша, V, стр. 379 — 387, и „Характеристики Литер. Мнѣній“, главу о Гоголѣ. Короткаго отвѣта, который былъ посланъ Гоголемъ, въ изданіи Кулиша нѣтъ: онъ извѣстенъ однако въ печати.

въ дилижансѣ во Франкфуртъ, далѣе въ Майнцъ, отсюда на пароходѣ въ Кёльнъ. Плаваніе по Рейну было неудачно.

«День былъ гнусный, — пишетъ Бѣлинскій: — осенній мелкій дождь, вѣтеръ, холодъ. Въ каютѣ душно, на палубѣ мокро, сыро и холодно; одно спасеніе въ боковой каюткѣ на палубѣ, но тамъ курители сигаръ, эти мои естественные враги. Все это сдѣлало то, что я холодно смотрѣлъ на удивительныя мѣстоположенія, на виноградники, на средневѣковые замки, какъ реставрированные, такъ и въ развалинахъ. Вечеромъ прибыли въ Кёльнъ. Когда я сказалъ А-ву, что рѣшительно не намѣренъ терять цѣлый день, чтобы полчаса посмотрѣть на Кёльнскій соборъ,—съ нимъ чуть не сдѣлался ударъ», —

такъ вѣроятно удивило его полное равнодушіе Бѣлинскаго къ знаменитой достопримѣчательности. Изъ Кёльна они направились черезъ Брюссель въ Парижъ, гдѣ въ первый разъ нашли настоящее теплое лѣто. Въ Парижѣ они были около 17 іюля. Бѣлинскій встрѣтилъ здѣсь цѣлое общество московскихъ друзей, которые были ему крайне рады—семейство Г-новъ; М. Ѳ. К.; Н. П. Боткина; стараго философскаго друга; Н. Сазонова; вскорѣ былъ въ Парижѣ и г. Тургеневъ.

Не смотря на доказанное уже равнодушіе къ вещамъ, возбуждающимъ обыкновенно восторгъ или любопытство путешественниковъ, Бѣлинскій испыталъ этотъ восторгъ, увидѣвши Парижъ,—отчасти, вѣроятно, потому, что его разогрѣла наступившая теплая погода, и теплая встрѣча друзей. „Меня съ перваго взгляда никогда и ничто не удовлетворяло,—пишетъ онъ,—даже кавказскія горы; но Парижъ съ перваго же взгляда превзошелъ всѣ мои ожиданія, всѣ мечты“ ..

На другой же день одинъ изъ друзей отправился за докторомъ. Тирà-де-Мальморъ нисколько не нашелъ опаснымъ положеніе Бѣлинскаго и надѣялся въ полтора мѣсяца совершенно его поправить,—а потомъ онъ нашелъ даже возможнымъ и сократить этотъ срокъ; онъ потребовалъ однако, чтобы Бѣлинскій переселился въ его лечебное заведеніе въ Пасси, и для удобства леченья, и для болѣе свѣжаго воздуха. Бѣлинскій поселился у него, началъ принимать его пилюли, микстуры, окуриванья, и съ первыхъ же дней сталъ чувствовать себя легче, его кашель сильно уменьшился, если не прекратился совсѣмъ...

Каждый день навѣщалъ его П. В. А-въ, который въ особенности былъ его собесѣдникомъ и нянькой, такъ какъ Г-нъ уѣзжалъ на нѣсколько времени на морской берегъ, и Тургеневъ также отлучался изъ Парижа.

Своимъ докторомъ, его лекарствами и внимательностью Бѣлинскій былъ очень доволенъ.

«Здоровье мое, — пишетъ онъ въ началѣ августа, — видимо поправляется. Я могу сказать положительно и утвердительно, что теперь чувствую себя въ положеніи едва-ли не лучшемъ, нежели въ какомъ я былъ до моей страшной болѣзни осенью 1845 года; если же не въ лучшемъ, то уже нисколько и не въ худшемъ. Кашлю почти нѣтъ вовсе, а если и случится иной день разъ закашляться,—это такъ легко въ сравненіи съ прежними припадками кашля, что и сказать нельзя. Иные же дни не случается кашлянуть ни разу, — чего со мной уже сколько лѣтъ какъ не бывало. Лучше всего то, что меня оставилъ утренній кашель, самый мучительный... Прежде меня мучило такого рода ощущеніе въ груди, какъ будто мои легкія засыпаны пескомъ,—теперь этого ощущенія нѣтъ вовсе, — я дышу свободно и могу вздохнуть глубоко... Сплю, какъ убитый, ѣмъ славно».

Но онъ сильно скучалъ, ему хотѣлось скорѣе домой...

Въ другомъ письмѣ (10 августа) онъ говоритъ опять о своемъ положеніи, объ остающихся припадкахъ болѣзни, и заключаетъ: „я еще не выздоровѣлъ, но крѣпко и видимо выздоравливаю. Узнать же, выздоровѣлъ ли я, можно только проведя осень и зиму въ Петербургѣ“. Разсуждая о своихъ домашнихъ дѣлахъ, Бѣлинскій находилъ, что теперь возможно, пожалуй, и не переселяться въ Москву, какъ онъ рѣшалъ это прежде; но въ другое время прежній страхъ возвращался: „я сильно боюсь Питера“, писалъ онъ.

Около 12 августа онъ оставилъ лечебное заведеніе; докторъ находилъ это возможнымъ, Бѣлинскій былъ очень тому радъ, потому что въ Пасси было скучно, притомъ хотѣлось посмотрѣть Парижъ, театры, окрестности и т. д. Не знаемъ, успѣлъ ли онъ это сдѣлать, но по разсказу г. Тургенева Бѣлинскій очень плохо осматривалъ Парижъ: ему было видимо не до того.

„Странное дѣло! — разсказываетъ г. Тургеневъ, почти все время видавшій Бѣлинскаго въ его заграничную поѣздку.—Онъ изнывалъ за-границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ въ

Россію... Ужъ очень онъ былъ русскій человѣкъ, и внѣ Россіи замиралъ, какъ рыба на воздухѣ. Помню, въ Парижѣ онъ въ первый разъ увидалъ площадь Согласія, и тотчасъ спросилъ меня: „Не правда ли? Вѣдь это одна изъ красивѣйшихъ площадей въ мірѣ?"—И на мой утвердительный отвѣтъ воскликнулъ: „Ну, и отлично; такъ ужъ я и буду знать, — и въ сторону, и баста!" и заговорилъ о Гоголѣ. Я ему замѣтилъ, что на самой этой площади во время революціи стояла гильотина и что тутъ отрубили голову Людовику XVI; онъ посмотрѣлъ вокругъ, сказалъ: а!—и вспомнилъ сцену Остаповой казни въ „Тарасѣ Бульбѣ". Историческія свѣдѣнія Бѣлинскаго были слишкомъ слабы: онъ не могъ особенно интересоваться мѣстами, гдѣ происходили великія событія европейской жизни; онъ не зналъ иностранныхъ языковъ и потому не могъ изучать тамошнихъ людей; а праздное любопытство, глазѣніе, *badauderie*, было не въ его характерѣ" [1])...

Наконецъ, онъ сталъ думать о возвратѣ. Изъ Парижа онъ долженъ былъ отправиться на Брюссель до Берлина, и затѣмъ изъ Штетина — моремъ. Какъ ни тяжело показалось ему первое морское путешествіе, но теперь таковъ былъ въ немъ „страхъ дилижанса", что онъ, не колеблясь, рѣшалъ ѣхать моремъ, какимъ бы качкамъ ни пришлось ему подвергнуться. Путь до Берлина онъ было надѣялся сдѣлать съ кѣмъ-нибудь изъ русскихъ знакомыхъ, но разсчеты не состоялись, и парижскіе друзья, чтобъ не оставить его одного, дали ему до Берлина провожатаго, говорившаго по-французски и по-нѣмецки. Бѣлинскій выѣхалъ изъ Парижа около 11 сентября. Тирà-де-Мальморъ далъ ему лекарствъ на дорогу и на зиму въ Петербургѣ; русскіе друзья посылали съ нимъ кучу гостинцевъ и игрушекъ его маленькой дочери. Дальше мы перескажемъ его дорожныя приключенія, въ которыхъ эти игрушки имѣли фатальную роль...

Изъ писемъ Бѣлинскаго къ друзьямъ въ Россію, намъ извѣстно за это время только письмо къ Боткину, изъ Дрездена (послѣ Зальцбрунна), отъ 7 іюля. Онъ разсказываетъ уже из-

[1]) „Вѣстн. Евр.", 1869, апр. стр. 722—723. На этотъ разъ г. Тургеневъ вѣроятно слишкомъ преувеличиваетъ „слабость свѣдѣній" Бѣлинскаго; дѣло было не въ томъ.

вѣстное намъ о положеніи своего здоровья, бранитъ нѣмцевъ, которыхъ зналъ въ переводѣ, черезъ Тургенева и А-ва, и которые ему очень не нравились, приходитъ въ ужасъ отъ страшной нищеты, которую видѣлъ въ Силезіи и которая въ первый разъ объяснила ему, что́ значитъ пролетаріатъ. Вотъ замѣчаніе о Сикстинской Мадоннѣ, не лишенное интереса:

«Былъ я въ Дрезденской галлереѣ, и видѣлъ Мадонну Рафаэля. Что за чепуху писали о ней романтики, особенно Жуковскій! По моему, въ ея лицѣ также нѣтъ ничего романтическаго, какъ и классическаго. Это — не мать христіанскаго Бога: это аристократическая женщина, дочь царя, «idéal sublime du comme il faut». Она глядитъ на насъ не то, чтобы съ презрѣніемъ — это къ ней не идетъ, она слишкомъ благовоспитанна, чтобы кого-нибудь оскорбить презрѣніемъ, даже людей... нѣтъ: она глядитъ на насъ съ холодною благосклонностію, въ одно и то же время опасаясь и замараться отъ нашихъ взоровъ и огорчить насъ, плебеевъ, отворотившись отъ насъ. Младенецъ, котораго она держитъ на рукахъ, откровеннѣе ея: у ней едва замѣтна горделиво сжатая нижняя губа, а у него весь ротъ дышетъ презрѣніемъ къ намъ... Въ глазахъ его виденъ не будущій Богъ любви, мира, прощенія, спасенія, а древній, ветхозавѣтный Богъ гнѣва и ярости, наказанія и кары. Но что за благородство, что за грація кисти! Нельзя наглядѣться! Я невольно вспомнилъ Пушкина: тоже благородство, таже грація выраженія, при той же вѣрности и строгости очертаній! Недаромъ Пушкинъ такъ любилъ Рафаэля: онъ родня ему по натурѣ»...

Такъ вездѣ вспоминались ему любимые писатели.

Возвращаемся къ путешествію. Въ своихъ воспоминаніяхъ г. Тургеневъ приводитъ собственныя слова Бѣлинскаго въ образчикъ того, какъ юмористически онъ относился къ самому себѣ. Въ этомъ именно тонѣ Бѣлинскій описывалъ свои дорожныя похожденія въ письмѣ къ П. В. А-ву, изъ Берлина, отъ 29 сентября [1]).

Мы сказали выше, что друзья не пустили Бѣлинскаго одного изъ Парижа и дали ему провожатаго. Но въ послѣднюю минуту на желѣзной дорогѣ, провожатый куда-то затерялся или запоздалъ, такъ что Бѣлинскому пришлось ѣхать одному до Брюсселя.

«Надо разсказать вамъ мой плачевно-комическій вояжъ отъ Парижа до Берлина,—пишетъ Бѣлинскій.—Начну съ минуты, въ которую

[1]) Вѣроятно, новаго стиля.

мы съ вами разстались. Огорченный непріятною случайностію, заставившею меня ѣхать безъ Фредерика и боясь за себя остаться въ Парижѣ, заплативши деньги за билетъ, я побѣжалъ къ поѣзду и задохнулся отъ этого движенія до того, что не могъ сказать ни слова, ни двинуться съ мѣста; я думалъ, что пришелъ мой послѣдній часъ... Только-что кондукторъ толкнулъ меня въ карету и захлопнулъ дверцы, какъ поѣздъ двинулся. Я пришелъ въ себя совершенно не прежде, какъ около первой станціи. Тогда овладѣли мною двѣ мысли: таможня и Фредерикъ. Спать хотѣлось смертельно, но лишь задремлю — и греза переноситъ меня въ таможню: я вздрагиваю судорожно и просыпаюсь. Такъ мучился я до самаго Брюсселя, не имѣя силы ни противиться сну, ни заснуть. Таково свойство нервической натуры! Чтó мнѣ дѣлать въ таможнѣ? Объявить мои игрушки [1])? Но для этого меня ужасали 40 фр. пошлины, заплаченные Г-мъ за игрушки же. Но это вещи (особенно та, что съ музыкою) большія—найдутъ и конфискуютъ. Это еще хуже... потому что я очень дорожу этими игрушками,—и когда подумаю о радости моей дочери, то дѣлаюсь ея ровесникомъ по лѣтамъ... [Оказалось, что таможенный осмотръ долженъ былъ произойти не на границѣ, а въ Брюсселѣ]... Наконецъ, я въ Брюсселѣ. «Нѣтъ-ли у васъ товаровъ — объявите!» сказалъ мнѣ, голосомъ пастора или исповѣдника, таможенный. Подлая манера! коварная, предательская уловка! Скажи — нѣтъ, да найдетъ, — вещь-то и конфискуютъ, да еще штрафъ сдерутъ. Я говорю — нѣтъ. Онъ началъ рыться въ бѣльѣ, по краямъ чемодана, и ужъ совсѣмъ-было сбирался перейти въ другую половину чемодана, какъ чортъ дернулъ его на полвершка дальше засунуть руку для послѣдняго удара — и онъ ощупалъ игрушку съ музыкой... Вынувши игрушку, онъ обратился къ офицеру и донесъ ему, что я не рекламировалъ этой вещи. Вижу—дѣло плохо. Откуда взялся у меня французскій языкъ (какой, не спрашивайте, но догадайтесь сами). Говорю—я объявлялъ. «Да, когда я нашелъ». Офицеръ спросилъ мой паспортъ. Дѣло плохо. Я объявилъ, что у меня и еще есть игрушка. Я уже почувствовалъ какую-то трусливую храбрость—стою, словно подъ пулями и ядрами, но стою смѣло, съ отчаяннымъ спокойствіемъ... Офицеръ потребовалъ, чтобъ я объявилъ цѣнность моихъ вещей... Вижу, что смиловались и дѣло пошло къ лучшему — и отъ этого опять потерялся. Вмѣсто того, чтобы оцѣнить... я началъ толковать, что не знаю цѣны, что это подарки, и что я купилъ только оловянныя игрушки за 5 фр. Поспоривши со мною и видя, что я глупъ до святости, они оцѣнили все въ 35 фр. и взяли пошлины 3½ франка. Такъ вотъ изъ чего я страдалъ и мучился столько — изъ трехъ съ половиною франковъ!»

Въ Брюсселѣ провожатый догналъ Бѣлинскаго, и благодаря его услугамъ, Бѣлинскій ѣхалъ дальше довольно удобно, еслибъ

[1]) Эти игрушки составляли его главнѣйшую заботу.

не пугавшія его таможни. Подъѣзжая къ нѣмецкой границѣ, Бѣлинскій принялся-было себя успокоивать, что „Германія — страна больше религіозная, философская, честная и глупая, нежели промышленная", слѣдовательно, и таможни не могутъ быть такъ свирѣпы, какъ въ Бельгіи,—но въ таможнѣ опять струсилъ и уже рѣшилъ объявить свои игрушки; дѣло однако обошлось благополучно: „въ мой чемоданъ плутъ таможенный и не заглянулъ, но схвативши его понесъ въ дилижансъ, за что́ я далъ ему франкъ". Дальше, въ Брауншвейгѣ, Бѣлинскій, сверхъ всякаго чаянія, встрѣтилъ еще таможню.

Въ Берлинѣ онъ увидѣлся съ старымъ знакомымъ, Дмитріемъ Щепкинымъ, который изучалъ тогда въ Берлинѣ археологію. Это былъ человѣкъ съ серьёзными учеными вкусами, съ большими свѣдѣніями и — самолюбіемъ, которое дѣлало его иногда тяжелымъ; но Бѣлинскаго онъ принялъ самымъ дружественнымъ образомъ, и непремѣнно хотѣлъ, чтобъ Бѣлинскій поселился у него [1]). Бѣлинскій остался въ Берлинѣ нѣсколько дней (вѣроятно, въ ожиданіи срока отплытія штетинскаго парохода), наслушался отъ Щепкина политическихъ новостей о берлинскихъ дѣлахъ, о процессѣ Мирославскаго, и ученыхъ разсказовъ объ египетскихъ древностяхъ, которыми Щепкинъ тогда занимался. Бѣлинскій не забывалъ о таможняхъ, которыя вызывали въ немъ забавное, ожесточенное негодованіе.

«Теперь,—пишетъ онъ,—мнѣ грозитъ послѣдняя и самая страшная таможня — русская. Щепкинъ говоритъ, что она да англійская — самыя свирѣпыя. Будь, что будетъ. Меня немножко успокоиваетъ то, что не будутъ спрашивать и исповѣдывать... Воля ваша, а я родился рано— куда ни повернусь, все вижу, что жить нельзя, а путешествовать и подавно. Что́ ни говорите о таможняхъ, а въ моихъ глазахъ это гнусная, позорная для человѣческаго достоинства вещь. Я отвергаю ее не головою, а нервами; мое отвращеніе къ ней—не убѣжденіе только, но и болѣзнь вмѣстѣ съ тѣмъ»... [Состояніемъ своего здоровья онъ доволенъ]. «Вообще, если я въ такомъ состояніи доѣду до дома, то ни для меня,

---

[1]) Дмитрій Щепкинъ (1817 — 1857), сынъ М. С. Щепкина, извѣстенъ въ нашей археологической литературѣ замѣчательной книгой: „Объ источникахъ и формахъ русскаго баснословія", 2 вып. М. 1859—61. При первомъ выпускѣ этой книги помѣщена его краткая біографія.

ци для другихъ не будетъ сомнѣнія, что я-таки поправился немного, и въ этомъ отношеніи не даромъ ѣздилъ за-границу».

Конецъ своего путешествія Бѣлинскій досказалъ въ письмѣ къ А-ву, уже отъ 20 ноября изъ Петербурга. Онъ начинаетъ это длинное письмо извиненіями, что такъ долго оставлялъ парижскихъ друзей безъ извѣстій о себѣ: его самого укоряетъ совѣсть...

«Гибельная привычка быть подробнымъ и обстоятельнымъ въ письмахъ — главная причина моей несостоятельности въ перепискѣ. Отправивши къ вамъ письмо изъ Берлина, въ которомъ я расхвастался моимъ здоровьемъ, я черезъ нѣсколько же часовъ почувствовалъ, что мнѣ хуже, что я, значитъ, простудился. Такова моя участь... Въ Берлинѣ погода стояла гнусная. Мы съ Щ. выходили только обѣдать, да еще по утрамъ онъ ходилъ къ своему египтологу, Лепсіусу, а я все сидѣлъ дома...

«Въ пятницу я уѣхалъ въ Штетинъ, а на другой день, ровно въ часъ, тронулся нашъ «Адлеръ». Лишь только начали мы выбираться изъ Свинемюнде, какъ началась качка. Я пообѣдалъ въ субботу, часа въ два, а потомъ позавтракалъ во вторникъ часовъ въ 10 утра. Въ промежуткѣ я лежалъ въ моей койкѣ... Въ Кронштадтъ прибыли мы въ середу, часовъ въ 6. Началась переписка и отмѣтка паспортовъ—церемонія длинная и варварски скучная. Между тѣмъ переложились на малый пароходъ. Да, я забылъ-было сказать, что при видѣ Кронштадта намъ представилось странное зрѣлище: все покрыто снѣгомъ, а наканунѣ (намъ сказали) въ Петербургѣ была санная ѣзда. Страдая морскою болѣзнію, я поправился въ моей хронической болѣзни, и прибылъ здоровехонекъ...

«Но вотъ и Питеръ. Что-то у меня дома? Такъ и полетѣлъ бы; а изволь идти въ таможню. Часа 4 прошло въ мукѣ ожиданія и хлопотъ, но дѣло сошло съ рукъ лучше, нежели гдѣ-нибудь...

«Дома я нашелъ все и всѣхъ въ положеніи довольно порядочномъ»..

Но черезъ нѣсколько дней Бѣлинскій опять былъ боленъ: „я хрипѣлъ, задыхался,—пишетъ онъ,—словомъ, это былъ вечеръ хуже самыхъ худыхъ дней прошлой зимы, когда я безпрестанно умиралъ“. Тильманъ, лечившій его, называлъ парижскаго врача шарлатаномъ, но потомъ,—узнавши, какъ онъ говорилъ, рецепты Тира́-де-Мальмора,—разрѣшилъ Бѣлинскому принимать его средства. Здоровье Бѣлинскаго, очевидно, было подорвано такъ, что жизнь въ Петербургѣ была немыслима: онъ совсѣмъ падалъ духомъ, но временами оправлялся, и опять начиналъ надѣяться.

«Тильманъ говорилъ..., что такого больного у него не бывало, что онъ уже не одинъ разъ назначалъ день моей смерти — и я его неожиданно обманывалъ. Это хорошо, но это только одна сторона медали, а вотъ и другая: не разъ считалъ онъ меня внѣ всякой опасности и назначалъ время совершеннаго моего выздоровленія — и я опять каждый разъ его обманывалъ. Самаринъ тиснулъ въ «Москвитянинѣ» статью... о «Современникѣ»; мнѣ надо было отвѣтить ему. Взялся было за работу—не могу—лихорадочный жаръ, изнеможеніе. Какъ я испугался! Стало быть, я не могу работать! Стало быть, мнѣ надо искать мѣста въ больницѣ!.. Но дня черезъ два, черезъ три лихорадка прошла совершенно; Тильманъ велѣлъ мнѣ оставить всѣ лекарства, я принялся за работу, и въ шесть дней намахалъ три съ половиною печатныхъ листа. И все это съ отдыхами, съ лѣнью, съ потерею времени [1]... И во все это время я чувствовалъ себя не только здоровѣе и крѣпче, но бодрѣе и веселѣе обыкновеннаго. Это меня сильно поощрило. Значитъ — я могу работать, стало быть, могу жить. Вообще, чтобъ ужъ больше не возвращаться къ этому предмету, скажу вамъ, что, какъ ни хилъ и ни плохъ я, а все гораздо лучше, нежели какъ былъ до поѣздки за границу—просто, сравненья нѣтъ!»

Въ концѣ письма еще длинные разсказы о журнальныхъ новостяхъ и отношеніяхъ.

---

[1]) Статья, о которой идетъ рѣчь, есть „Отвѣтъ Москвитянину“, Соврем. 1847, кн. 11; Сочин., XI, стр. 195—268.

ГЛАВА X.

Возвращеніе въ Петербургъ.—Журнальныя работы.—Письма къ друзьямъ.—Тяжелыя внѣшнія обстоятельства.—Послѣдняя болѣзнь и смерть Бѣлинскаго.

1847 — 1848 (май).

Хотя болѣзнь тотчасъ напомнила о себѣ по возвращеніи Бѣлинскаго изъ путешествія, но въ первые мѣсяцы по пріѣздѣ онъ обнаружилъ чрезвычайную дѣятельность — много работалъ для журнала и съ величайшей ревностью хлопоталъ объ интересахъ „Современника". Съ самой редакціей журнала Бѣлинскій, повидимому, уже не имѣлъ прежнихъ недоразумѣній. Свидѣтельствомъ его горячаго интереса къ журналу остался рядъ длинныхъ писемъ къ московскимъ друзьямъ, отъ ноября и декабря 1847 года. Это опять были „тетради", въ которыхъ Бѣлинскій старался убѣдить друзей въ необходимости поддержать журналъ болѣе дѣятельнымъ, если не исключительнымъ участіемъ.

Таково длинное письмо къ Боткину, отъ 4—5 ноября. Мы не будемъ его излагать, такъ какъ оно почти вполнѣ было уже однажды напечатано [1]). Въ началѣ говоритъ онъ о результатахъ путешествія, о своемъ здоровьѣ, о работахъ—что́ мы знаемъ уже изъ приведеннаго выше письма къ А-ву (писаннаго

---

[1]) „Спб. Вѣд." 1869, № 187—188. Намъ это письмо извѣстно по достовѣрной старой копіи (писанной однимъ изъ московскихъ друзей Бѣлинскаго), которая сполна называетъ имена и заключаетъ многія подробности, которыхъ нѣтъ въ напечатанномъ текстѣ.

позднѣе). Бѣлинскаго тревожилъ вопросъ—возвратились ли его силы, можетъ ли онъ работать. Онъ упоминаетъ о томъ, что вскорѣ по пріѣздѣ, послѣ болѣзни, среди хлопотъ о квартирѣ, могъ очень быстро написать большую статью, и продолжаетъ:

«Теперь одеревенѣлая рука отошла, дѣла нѣтъ, (въ квартирѣ) все уложено и уставлено, и я пишу къ тебѣ.

«Я приступалъ къ работѣ со страхомъ и трепетомъ; но къ счастію, она-то и убѣдила меня несомнѣнно, что поѣздка моя за границу, въ отношеніи къ здоровью, была благодѣтельна, и что я не даромъ скучалъ, зѣвалъ и апатически страдалъ за границею. Во время усиленной работы я чувствовалъ себя даже здоровѣе, крѣпче, сильнѣе, бодрѣе и веселѣе, чѣмъ въ обыкновенное время. Итакъ, я еще могу работать; стало быть, пока еще не пропалъ».

Затѣмъ, идетъ длинное разсужденіе и разсказъ о дѣлахъ журнала: Бѣлинскій относится съ крайней враждой къ „Отеч. Запискамъ", укоряетъ своихъ друзей за союзъ съ ними (московскіе друзья въ 1847 продолжали писать въ „Отеч. Запискахъ", хотя работали также и въ „Современникѣ") по тому поводу, что передъ тѣмъ появилось объявленіе „Отеч. Зап." о подпискѣ на слѣдующій годъ, причемъ, по тогдашнему обычаю, редакція выставляла рядъ обѣщанныхъ ей статей и имена сотрудниковъ, и въ числѣ ихъ стояли имена тѣхъ московскихъ друзей, которыхъ Бѣлинскій желалъ видѣть исключительными сотрудниками „Современника"... Текстъ этого письма, сообщенный въ „Спб. Вѣдомостяхъ" 1869, далеко не передаетъ всей рѣзкости словъ, какую вызвало здѣсь у Бѣлинскаго его раздраженіе...

Приводимъ здѣсь нѣсколько словъ изъ заключенія этого длиннаго письма:

«Уфъ, какъ усталъ! — пишетъ Бѣлинскій. Но за то, болтая много, *все* сказалъ. Знаю, что не убѣжду этимъ москвичей, но люблю во всемъ, и хорошемъ, и худомъ, лучше *знать*, нежели *предполагать*; это необходимо для истинности отношеній. Знаю горькимъ опытомъ, что съ славянами пива не сваришь, что славянинъ можетъ дѣлать только отъ себя, а для совокупнаго, дружнаго дѣйствія обнаруживаетъ сильную способность только по части обѣдовъ на складчину. Никакого практическаго чутья: что̀ заломилъ, то и давай ему — никакой уступки ни въ самолюбіи, ни въ убѣжденіи; лучше ничего не станетъ дѣлать, нежели дѣлать на столько, на сколько возможно, а не на столько, на сколько хочетъ.

А посмотришь на дѣлѣ—возитъ на себѣ Погодина или К-го, которые ѣдутъ да посмѣиваются надъ нимъ же. А послушать: общее дѣло, мысль, стремленіе, симпатія, мы, мы и мы—соловьями поютъ. Эхъ, братецъ ты мой, В. П., когда бы ты зналъ, какъ мнѣ тяжело жить на свѣтѣ, какъ все тяжелѣй и тяжелѣй день ото дня, чѣмъ больше старѣю и хирѣю!»...

Въ концѣ онъ сообщаетъ нѣкоторыя литературныя новости:

«Вѣроятно, ты уже получилъ XI № «Современника». Тамъ повѣсть Григоровича [1]), которая измучила меня; читая ее, я все думалъ, что присутствую при экзекуціяхъ. Страшно! Вотъ поди ты [2])... Цензура чуть ее не прихлопнула; конецъ передѣланъ—выкинута сцена разбоя, въ которой Антонъ участвуетъ. Мою статью [3]) страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно. Выкинуто о Мицкевичѣ, о шапкѣ мурмолкѣ, а мелкихъ фразъ, строкъ — безъ числа. Но объ этомъ я еще буду писать къ тебѣ, потому что это довело меня до отчаянія, и я выдержалъ нѣсколько тяжелыхъ дней»...

Но другое письмо къ Боткину онъ пока отложилъ, потому что дошелъ до него слухъ, что Боткинъ самъ собирается въ Петербургъ.

Въ письмѣ къ А-ву, отъ 20 ноября, изъ котораго приведены цитаты въ концѣ предыдущей главы, — повторяются жалобы на москвичей за ихъ слабое содѣйствіе „Современнику"...

Черезъ нѣсколько дней, отъ 22 ноября, Бѣлинскій посылаетъ г. Кавелину длинное, тепло написанное и очень любопытное письмо, гдѣ, между прочимъ, опять идетъ рѣчь о тѣхъ же журнальныхъ отношеніяхъ,—но уже въ значительно иномъ тонѣ, чѣмъ въ послѣднемъ письмѣ къ Боткину. Бѣлинскій получилъ отъ московскихъ друзей отвѣтъ на свое посланіе 4—5 ноября. Московскіе друзья продолжали держаться своего взгляда на дѣло, объясняли его Бѣлинскому еще разъ, и Бѣлинскій увидѣлъ, что они могли быть—болѣе или менѣе справедливо—недовольны, раздосадованы или огорчены его нападками. Бѣлинскій очень сожалѣетъ, что написалъ прежнее письмо; успокоившись, онъ видѣлъ теперь, что не во всемъ былъ правъ: объясняетъ свои побужденія, и проситъ забыть его ошибку или

---

[1]) „Антонъ Горемыка".

[2]) Онъ изумлялся, что у Григоровича — совершенное отсутствіе рефлексіи, размышленія—и, однако, сильный талантъ.

[3]) Упомянутый „Отвѣтъ Москвитянину".

несправедливость... Этими предметами занята вторая половина письма, а въ началѣ идетъ рѣчь о впечатлѣніи, какое произвела на московскихъ друзей названная выше статья Бѣлинскаго противъ славянофиловъ.

Впечатлѣніе было благопріятное, и Бѣлинскій былъ очень тронутъ сочувственнымъ отзывомъ г. Кавелина объ этой статьѣ, хотя тутъ же находилъ его отзывъ преувеличеннымъ. Удовольствіе Бѣлинскаго объясняется тѣмъ, что это была первая крупная статья, написанная по возвращеніи изъ-за границы,—и судя по всему, московскіе друзья съ большимъ интересомъ и нѣкоторой тревогой ждали первыхъ статей Бѣлинскаго, которыя должны были показать, сберегласъ ли у него прежняя энергія, или болѣзнь подорвала ее, и дѣятельность его должна кончиться. Мы знаемъ дѣйствительно, что даже самый близкій изъ его друзей, Боткинъ, высказывался въ этомъ смыслѣ противъ нѣкоторыхъ мнѣній Бѣлинскаго за это время: Боткину уже видѣлось паденіе таланта и отсталость... Бѣлинскій повидимому, если не зналъ, то подозрѣвалъ эти опасенія и, какъ видимъ, самъ не скрывалъ отъ себя возможности упадка, который былъ бы очень естественнымъ послѣдствіемъ и физическаго изнеможенія, и нравственной усталости, и съ трепетомъ приступалъ къ работѣ: оттого ему и было такъ отрадно услышать слова сочувствія.

«Дѣло прошлое, — говоритъ онъ: — а я и самъ ѣхалъ за-границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что́ дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и... сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете посудить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ. И надежда возвратилась мнѣ съ этою статьею. Неудивительно, что она всѣмъ вамъ показалась лучше, чѣмъ есть, особенно вамъ, по молодости и темпераменту, болѣе другихъ наклонному къ увлеченію. Спасибо вамъ»...

Онъ указываетъ на преувеличеніе похвалы, вызывающее улыбку, и затѣмъ продолжаетъ: „такъ! но есть преувеличенія, лжи и ошибки, которыя иногда дороже намъ вѣрныхъ и строгихъ опредѣленій разума; это—тѣ, которыя исходятъ отъ любви: видишь ихъ несостоятельность, а чувствуешь себя человѣчески тепло и хорошо“.

Бѣлинскій жалуется дальше на цензурныя перемѣны въ его статьѣ:

«Вотъ вамъ два примѣра. Я говорю о себѣ, что опираясь на инстинктъ истины, я имѣлъ на общественное мнѣніе больше вліянія, чѣмъ многіе изъ моихъ *дѣйствительно ученыхъ* противниковъ: подчеркнутыя слова не пропущены, а для нихъ-то и вся фраза составлена. Я мѣтилъ на ученыхъ... — Надеждина и Шевырева. Самаринъ говоритъ, что согласіе князя съ вѣчемъ было идеаломъ новогородскаго правленія. Я возразилъ ему на это, что и теперь, въ конституціонныхъ государствахъ, согласіе короля съ палатою есть осуществленіе идеала ихъ государственнаго устройства: гдѣ же особенность новогородскаго правленія? это вычеркнуто. Цѣлое мѣсто о Мицкевичѣ и о томъ, что Европа и не думаетъ о славянофилахъ, тоже вычеркнуто [1]). Отъ этихъ помарокъ статья лишилась своей ровноты и внутренней діалектической полноты. Ну, да чортъ съ ней! Мнѣ объ этомъ и вспоминать — ножъ вострый! Скажу кстати, что и вамъ угрожаетъ такая же участь»...

Бѣлинскій разсказываетъ, что Панаевъ встрѣтился съ однимъ петербургскимъ славянофиломъ, который сказалъ ему, что читалъ отвѣтъ Кавелина „Москвитянину" — когда этотъ отвѣтъ былъ только-что присланъ и еще не былъ напечатанъ. Панаевъ удивился, гдѣ онъ могъ это сдѣлать. Оказалось, что славянофилъ, по знакомству, видѣлъ статью у цензора и „уговорилъ его кое-что смягчить", т.-е. смягчить сказанное противъ его пріятелей! „Видите ли, сколько у насъ цензоровъ",...—прибавляетъ съ негодованіемъ Бѣлинскій.

Далѣе, Бѣлинскій отвѣчаетъ на другое мнѣніе своего корреспондента, который не соглашался съ отзывомъ о „натуральной школѣ", сдѣланномъ въ „Отвѣтѣ Москвитянину". Бѣлинскій совершенно соглашается съ возраженіемъ и объясняетъ, что онъ затруднялся вполнѣ высказать свое мнѣніе въ печати. „Дѣло въ томъ,—пишетъ Бѣлинскій,—что статья писана не для васъ, а для враговъ Гоголя и натуральной школы, въ защиту отъ ихъ фискальскихъ обвиненій. Поэтому, я счелъ за нужное сдѣлать уступки, на которыя внутренно и не думалъ соглашаться", — но которыя считалъ неизбѣжными ради главной своей цѣли.

---

[1]) Эти цензурныя исключенія должны относиться къ Соч., XI, стр. 257, 260—263.

Наконецъ, изъ Москвы обвиняли Бѣлинскаго (вѣроятно, все за ту же статью) въ славянофильствѣ. Онъ отвѣчаетъ на это любопытными строками.

«Это [1]) не совсѣмъ неосновательно; но только и въ этомъ отношеніи я съ вами едва-ли расхожусь. Какъ и вы, я люблю русскаго человѣка и вѣрю великой будущности Россіи. Но какъ и вы, я ничего не строю на основаніи этой любви и этой вѣры, не употребляю ихъ, какъ неопровержимыя доказательства. Вы же пустили въ ходъ идею развитія личнаго начала, какъ содержаніе исторіи русскаго народа. Намъ съ вами жить не долго, а Россіи — вѣка, можетъ быть тысячелѣтія. Намъ хочется поскорѣе, а ей торопиться нечего. Личность у насъ еще только наклевывается, и оттого Гоголевскіе типы—пока самые вѣрные русскіе типы. Это понятно и просто, какъ дважды два четыре. Но какъ бы мы ни были нетерпѣливы, и какъ бы ни казалось намъ все медленно-идущимъ, а вѣдь оно идетъ страшно быстро. Екатерининская эпоха представляется намъ уже въ миѳической перспективѣ, не стариною, а почти древностью. Помните-ли вы то время, когда я, не зная исторіи, посвящалъ васъ въ тайны этой науки? Сравните-ка то, о чемъ мы тогда съ вами толковали, съ тѣмъ, о чемъ мы теперь толкуемъ. И придется воскликнуть: свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ! Терпѣть не могу я восторженныхъ патріотовъ, выѣзжающихъ вѣчно на междометіяхъ или на квасу да кашѣ; ожесточенные скептики для меня въ 1000 разъ лучше, ибо ненависть иногда бываетъ только особенною формою любви; но, признаюсь, жалки и непріятны мнѣ спокойные скептики, абстрактные человѣки, безпаспортные бродяги въ человѣчествѣ. Какъ бы ни увѣряли они себя, что живутъ интересами той или другой, по ихъ мнѣнію, представляющей человѣчество страны,—не вѣрю я ихъ интересамъ. Любовь часто ошибается, видя въ любимомъ предметѣ то, чего въ немъ нѣтъ,—правда; но иногда только любовь же и открываетъ въ немъ то прекрасное или великое, которое недоступно наблюденію и уму. Петръ Великій имѣлъ бы больше, чѣмъ кто-нибудь, право презирать Россію но онъ —

Не презиралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназначенье.

«На этомъ и основывалась возможность успѣха его реформы. Для меня Петръ—моя философія, моя религія, мое откровеніе во всемъ, что касается Россіи. Это примѣръ для великихъ и малыхъ, которые хотятъ что-нибудь дѣлать, быть чѣмъ-нибудь полезными. Безъ непосредственнаго элемента—все гнило, абстрактно и безжизненно, также какъ при одной непосредственности все дико и нелѣпо. Но что-жъ я разоврался?

---

[1]) Обвиненіе въ славянофильствѣ.

Вѣдь вы и сами тоже думаете, или, по крайней мѣрѣ, чувствуете, можетъ быть, наперекоръ тому, что думаете»...

Около этого же времени, въ концѣ ноября или началѣ декабря, Бѣлинскій писалъ къ одному изъ парижскихъ друзей длинное письмо, наполненное необычнымъ содержаніемъ.

«Не удивляйтесь сему посланію,—говоритъ Бѣлинскій въ самомъ началѣ,—столь интересному по его содержанію: вы его получаете изъ Берлина [1]). Больше ничего не скажу на этотъ счетъ; но прямо приступлю къ изложенію тѣхъ необыкновенно интересныхъ русскихъ новостей, которыя заставили меня на этотъ разъ взяться за перо».

Новости, о которыхъ Бѣлинскій не рѣшался писать по почтѣ, относились къ крестьянскому вопросу. Это былъ тогда опасный вопросъ, о которомъ невозможно было заикнуться въ литературѣ, да и въ частномъ кругу надо было говорить съ осторожностью. У тогдашнихъ „охранителей" крѣпостное право былъ одинъ изъ краеугольныхъ камней русской народности. Для Бѣлинскаго и его друзей, — крестьянскій вопросъ былъ вопросъ давно рѣшенный, pium desiderium, которое стояло на первомъ планѣ въ ихъ желаніяхъ для русскаго общества. Бѣлинскій съ восторгомъ принималъ первыя несмѣлыя попытки литературы касаться издали этого предмета—даже простымъ повѣствовательнымъ изображеніемъ крестьянскаго быта, отдаленнымъ намекомъ на его тягость, внушеніемъ понятія о человѣческомъ достоинствѣ и чувства человѣколюбія, опытами внести въ народную сельскую среду нѣкоторыя понятія образованности. Оттого, восхищался онъ „Деревней", потомъ „Антономъ Горемыкой" Григоровича, нѣкоторыми стихами Некрасова, разсказами Тургенева, „Сельскимъ Чтеніемъ" кн. Одоевскаго и Заблоцкаго. Теперь, казалось, крестьянскому вопросу предстояло выступить наконецъ на очередь—и это ожиданіе радостно поразило Бѣлинскаго. По пріѣздѣ изъ-за границы Бѣлинскій услышалъ разсказы, что въ правительствѣ идетъ большое движеніе по вопросу объ уничтоженіи крѣпостного права. Бѣлинскій съ ревностью собиралъ ходившіе въ Петербургѣ слухи—о твердомъ намѣре-

---

[1]) До Берлина его, очевидно, довезъ кто-нибудь изъ знакомыхъ, ѣхавшихъ за-границу.

ніи ими. Николая Павловича рѣшить этотъ вопросъ, о скрытномъ сопротивленіи разныхъ высокопоставленнымъ тогда лицъ, о томъ, что́ именно дѣлалось въ видахъ приготовленія этой мѣры... Въ своемъ письмѣ Бѣлинскій спѣшилъ передать всѣ эти новости парижскому другу:

«Такъ вотъ-съ, мой дражайшій, — пишетъ Бѣлинскій, кончивъ свой довольно длинный разсказъ,—и у насъ не безъ новостей, и даже не безъ признаковъ жизни. Движеніе это отразилось, хотя и робко, и въ литературѣ. Проскальзываютъ тамъ и сямъ то статьи, то статейки, очень осторожныя и умѣренныя по тону, но понятныя по содержанію. Вы, вѣрно, уже получили статью Заблоцкаго [1]). Въ другое время нельзя было бы и думать напечатать ее, а теперь она прошла. Мало этого: недавно, въ «Журн. Мин. Нар. Просв.» ее разбирали съ похвалою и выписали мѣсто о злѣ *обязательной ренты*. Помѣщики наши проснулись и затолковали. Видно по всему, что патріархально-сонный бытъ весь изжитъ, и надо взять иную дорогу. Очень интересна теперь «Землед. Газета»— органъ мнѣній помѣщиковъ. Толкуютъ о съѣздахъ помѣщиковъ и т. д. Обо всемъ этомъ вамъ дадутъ понятіе XI и особенно XII №№ «Совр». (Смѣсь) [2])»...

Извѣстно, что эти надежды на рѣшеніе крестьянскаго дѣла продолжались недолго. Съ началомъ 1848 года мысли правительства обратились въ другую сторону, и планы относительно крестьянскаго вопроса были, кажется, совершенно отложены. Въ томъ же письмѣ Бѣлинскій уже говоритъ о начинавшихся

---

[1]) „Отеч. Зап.“ 1847, кн. 5 и 6: „Причины колебанія цѣнъ на хлѣбъ въ Россіи“. Эта замѣчательная статья имѣетъ свое историческое мѣсто въ развитіи крестьянскаго вопроса. Не называя крѣпостного права (что́ было невозможно), авторъ указывалъ, съ чисто экономической и статистической точки зрѣнія, основную причину бѣдственнаго положенія нашего „сельскаго хозяйства“—въ *обязательной рентѣ*, т.-е. въ крѣпостномъ трудѣ. Замѣтимъ притомъ, что это—статья чисто спеціальная, наполненная статистическими цифрами. Бѣлинскій несмотря на то, въ восторгѣ отъ нея: „архи- и просто-превосходнѣйшая статья (говоритъ онъ въ письмѣ къ Боткину, отъ 4—5 ноября)— во мнѣніи о которой, я увѣренъ, ты à la lettre согласенъ и пересогласенъ со мною“.

[2]) Кн. 11, смѣсь, стр. 102—105; кн. 12, стр. 176—186, гдѣ передаются изъ „Земледѣльческой Газеты“ и другихъ изданій тогдашніе толки о мѣрахъ къ „улучшенію нашего сельскаго хозяйства“—т.-е. главнымъ образомъ о крѣпостномъ трудѣ, очень осторожно и съ „хозяйственной“ точки зрѣнія.

строгостяхъ цензуры,—хотя онѣ вызывались пока еще частными случаями.

Парижскіе друзья, между прочимъ, желали имѣть свѣдѣнія о судьбѣ Шевченка, сосланнаго не задолго передъ тѣмъ. Одинъ изъ этихъ друзей, котораго Бѣлинскій называетъ „вѣрующимъ другомъ", былъ очень расположенъ въ пользу Шевченка. Бѣлинскій, по пріѣздѣ въ Петербургъ, „наводилъ справки" и пришелъ къ самому неблагопріятному выводу: по справкамъ (которыя, какъ видно, не были совершенно точны) выходило, что Шевченко былъ авторомъ „пасквилей" и за это былъ посланъ солдатомъ на Кавказъ. Такого рода люди, по мнѣнію Бѣлинскаго,—„враги всякаго успѣха", потому что своими поступками „раздражаютъ правительство, дѣлаютъ его подозрительнымъ, готовымъ видѣть бунтъ тамъ, гдѣ ровно ничего нѣтъ, и вызываютъ мѣры, крутыя и гибельныя для литературы и просвѣщенія". — Сколько мы знаемъ, дѣло было не совсѣмъ такъ, какъ разсказываетъ Бѣлинскій, но онъ тогда не имѣлъ другого толкованія этого факта, и самымъ рѣзкимъ образомъ возстаетъ противъ Шевченка. Кромѣ того, опасеніе возбудить подозрительность и вызвать крутыя мѣры видимо овладѣвало Бѣлинскимъ подъ вліяніемъ ожиданій, что тогда предстояло разрѣшеніе крестьянскаго вопроса... Въ доказательство своихъ опасеній Бѣлинскій приводитъ одну исторію изъ тогдашней цензурной практики. Незадолго передъ тѣмъ вышла одна книжка о малороссійской исторіи, въ которой, по словамъ Бѣлинскаго, была между прочимъ высказана мысль, что Малороссія или должна отторгнуться отъ Россіи, или погибнуть. Книжка прошла благополучно; но впослѣдствіи на нее сдѣланъ былъ доносъ, и цензору (человѣку очень уважаемому) грозило преслѣдованіе, которое едва могло быть отклонено: цензоръ уцѣлѣлъ, но вышелъ въ отставку, чтобъ уйти отъ фальшиваго положенія между требовательными цензурными властями и литературой, которой не хотѣлъ тѣснить мелочными придирками. Въ цензурѣ вообще начинались строгости; Бѣлинскій характеризуетъ при этомъ тогдашняго начальника цензуры, Мусина-Пушкина. Между прочимъ вскорѣ за упомянутымъ случаемъ съ малорусской книжкой открылось гоненіе противъ французскихъ рома-

новъ—запрещены были „Манонъ-Леско", и романы Ж. Занда „Пиччинино" и „Леонъ-Леони". По словамъ Бѣлинскаго, цензура вообразила, что авторъ упомянутой книжки „набрался хохлацкаго патріотизма изъ французскихъ романовъ".

Бѣлинскій повторяетъ свое осужденіе противъ тѣхъ „либераловъ", которые легкомысленными крайностями вызываютъ подобныя возмездія,—но онъ еще не чувствовалъ, что его объясненіе не совсѣмъ идетъ къ дѣлу; онъ не замѣчалъ какъ будто, что сопоставленіе французскихъ романовъ съ „хохлацкимъ патріотизмомъ" (еслибъ оно было,—а возможности его Бѣлинскій именно не отвергалъ) само по себѣ было такъ смѣло, что едва ли бы могла его предупредить какая угодно осторожность литературы... Въ томъ же письмѣ онъ приводитъ другіе случаи цензурной и иной подозрительности, направленной противъ славянофиловъ. Вскорѣ, въ самомъ началѣ 1848 года, онъ долженъ былъ увидѣть цѣлый рядъ фактовъ, которые ужъ никакъ не подходили подъ его толкованіе...

Въ концѣ письма, онъ возвращается къ литературнымъ новостямъ:

«Читали-ли вы *Домби и Сынъ?* Если нѣтъ, спѣшите прочесть. Это чудо. Все, что написано до этого романа Диккенсомъ, кажется теперь блѣдно и слабо, какъ будто совсѣмъ другого писателя. Это что-то до того превосходное, что боюсь и говорить — у меня голова не на мѣстѣ отъ этого романа» [1]).

Въ декабрѣ (вѣроятно, въ началѣ) Бѣлинскій пишетъ опять „тетрадь" Боткину. Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ предположеннаго имъ пріѣзда Боткина, и, не дождавшись ни пріѣзда, ни письма, сталъ писать. Ему пришла въ голову мысль—не думаетъ ли Боткинъ, что Бѣлинскій сердится на него за участіе въ „Отеч. Запискахъ", о чемъ онъ писалъ ему длинное письмо 4—5 ноября.

«Я дѣйствительно горячъ и раздражителенъ, — объясняетъ Бѣлинскій,—и когда взбѣшусь на пріятеля, то непремѣнно выстрѣлю въ него длиннымъ письмомъ, отъ котораго смертельно устану... Послѣ этого я

---

[1]) „Домби и Сынъ" переводился тогда и въ „Современникѣ" и въ „Отечествен. Запискахъ".

уже не чувствую никакой досады, кромѣ какъ на себя — потому что припомнится вдругъ, что тó сказалъ рѣзко, а вотъ этого вовсе бы не слѣдовало говорить. И потому сердиться (въ смыслѣ сохраненія надолго непріятнаго чувства) вовсе не въ моей натурѣ. Я способнѣе вовсе разойтись навсегда съ пріятелемъ, если поступокъ его противъ меня будетъ таковъ, что долженъ охолодить меня къ нему, нежели сердиться... [Теперь онъ нимало не сердился на Боткина и вообще на московскихъ друзей]... Повторяю еще разъ—я могъ на минуту вспылить на всѣхъ на васъ за вашъ поступокъ, какъ необдуманный и нелѣпый; но у меня никогда не было въ головѣ дикой мысли — видѣть въ немъ личную обиду мнѣ»...

Дѣла журнала были, по мнѣнію Бѣлинскаго, не совсѣмъ хороши. Началась подписка на слѣдующій годъ, но шла не только хуже, чѣмъ въ „Отеч. Запискахъ", но чѣмъ даже въ „Библіотекѣ для Чтенія". Все письмо затѣмъ наполнено разсужденіями по поводу различныхъ литературныхъ новостей. Бѣлинскаго очень интересуетъ мнѣніе Боткина о повѣсти Дружинина „Полинька Саксъ" [1]): самому Бѣлинскому она очень нравилась „дѣльностью" своего содержанія, хотя было въ ней кое-что незрѣлое, натянутое и мелодраматическое. Въ мнѣніи о повѣсти Григоровича „Антонъ Горемыка", Боткинъ не былъ согласенъ съ Бѣлинскимъ, и находилъ въ повѣсти длинноту. Бѣлинскій споритъ противъ этого и объясняетъ, что взгляды ихъ на русскую повѣсть вообще различны.

«Для меня,—говоритъ Бѣлинскій,—иностранная повѣсть должна быть слишкомъ хороша, чтобы я могъ читать ее безъ нѣкотораго усилія, особенно вначалѣ; и трудно вообразить такую гнусную русскую, которой бы я не могъ осилить (доказательство — я прочелъ съ начала до конца *Вѣру* въ «От. З.» — да и задамъ же я ей при обзорѣ!), а будь повѣсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное—сколько-нибудь *дѣльна*— я не читаю, а пожираю... Ты—сибаритъ, сластёна...—тебѣ, вишь, давай поэзіи да художества — тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т.-е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась диссертаціею... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества, — она для меня *тѣмъ не менѣе* интересна... Я съ удовольствіемъ прочелъ, напр., повѣсть не повѣсть,

---

[1]) „Совр." 1847, кн. 12.

даже разсказъ, не разсказъ, и разсужденіе не разсужденіе — *Записки человѣка*, Г—ва (въ 12 № «Отеч. Зап.»), да еще съ какимъ удовольствіемъ [1])! Разумѣется, если повѣсть возбуждаетъ вопросы и производитъ нравственное впечатлѣніе на общество, при высокой художественности,—тѣмъ она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ. Будь повѣсть хоть разхудожественна, да если въ ней нѣтъ дѣла, — то я къ ней совершенно равнодушенъ [2])... Я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалѣю, и болѣю о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней. Вотъ почему въ *Антонѣ* я не замѣтилъ длинноты, или, лучше сказать, упивался длиннотами... Боже мой! какое изученіе русскаго простонародья въ подробныхъ до мелочности описаніяхъ ярмарки!.. Но перечитывать *Антона* я не буду, хотя всегда перечитываю по-нѣскольку разъ всякую русскую повѣсть, которая мнѣ понравится. Ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлѣнія: читая ее, мнѣ казалось, что я въ конюшнѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязуетъ цѣлую вотчину — законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ»...

Въ этихъ словахъ, вѣроятно, всего рѣшительнѣе высказался послѣдній взглядъ Бѣлинскаго на искусство или, точнѣе, на русскую повѣсть. Защитники чистаго искусства хотѣли осудить этотъ взглядъ, — называя его утилитарнымъ; нѣкоторые изъ друзей Бѣлинскаго хотѣли какъ будто прикрыть его, представить или какъ временный порывъ, или какъ слѣдствіе упадка силъ и вмѣстѣ таланта. Но очевидно, что если въ приведенномъ отрывкѣ этотъ взглядъ высказанъ нѣсколько рѣзко, онъ вовсе не принадлежалъ только послѣднему времени,—напротивъ, теорія чистаго искусства была оставляема Бѣлинскимъ мало-по-малу еще съ первыхъ сороковыхъ годовъ, когда онъ отказался отъ прежняго отвлеченнаго идеализма и въ первый

---

[1]) Этотъ разсказъ, подписанный извѣстнымъ тогда псевдонимомъ „Сто-одинъ“ и задавшійся намѣреніемъ представить возникновеніе разлада съ окружающей жизнью и понятіями въ тогдашнемъ поколѣніи, на первыхъ же порахъ привлекъ на себя неблагосклонное вниманіе московскаго митрополита Филарета, который, какъ извѣстно, съ своей стороны очень слѣдилъ за явленіями литературы и разнымъ образомъ обличалъ ихъ. Когда онъ высказалъ свое неудовольствіе отъ разсказа „Сто-одного“, это обстоятельство побудило автора въ продолженіи разсказа („Отеч. Зап.“ 1848) очень измѣнить принятый въ немъ тонъ,—чтобы избѣжать обнаруженія архипастырскаго гнѣва.

[2]) Въ подлинникѣ гораздо болѣе энергическое выраженіе.

разъ сознавъ, какъ много ихъ кружокъ, и онъ самъ, злоупотребляли словомъ „художественность". Бѣлинскій выражалъ свою мысль менѣе и болѣе сильно, но онъ съ тѣхъ поръ неизмѣнно требовалъ отъ литературнаго произведенія—содержанія. Онъ и теперь не отвергалъ великаго могущества художественнаго генія, и удивлялся, какъ у сильныхъ талантовъ, богатыхъ художественнымъ творчествомъ, многозначительное содержаніе являлось при отсутствіи всякаго намѣренія, даже всякаго сознанія, — какъ у Гоголя; но Бѣлинскаго уже нельзя было подкупить теперь, какъ прежде, внѣшней отдѣлкой художественной формы, такъ-называемой „объективной" поэзіей, за которой такъ нерѣдко скрывался сухой индифферентизмъ содержанія. Тамъ, гдѣ не было первостепеннаго таланта (а такого не встрѣчалось послѣ „Мертвыхъ Душъ"), Бѣлинскій тѣмъ больше требовалъ „дѣльности", или сознательнаго содержанія, т.-е. по крайней мѣрѣ вѣрныхъ изображеній жизни и нравовъ, а такія изображенія уже сами по себѣ должны были принести свою пользу обществу. Ему наскучило, и казалось нелѣпымъ—мѣрить обыкновенныя явленія литературы тѣмъ масштабомъ, какой прилагается къ Шекспиру.

Приводимъ изъ того же письма еще нѣкоторые литературные отзывы. Выше былъ приведенъ восторженный отзывъ о „Домби и Сынѣ"; здѣсь Бѣлинскій опять говоритъ о немъ:

«А читаешь-ли ты *Домби и Сынъ*? Это что-то уродливо, чудовищно-прекрасное! Такого богатства фантазіи на изобрѣтеніе рѣзко, глубоко, вѣрно нарисованныхъ типовъ я и не подозрѣвалъ не только въ Диккенсѣ, но и вообще въ человѣческой натурѣ. Много написалъ онъ прекрасныхъ вещей, но все это въ сравненіи съ послѣднимъ его романомъ блѣдно, слабо, ничтожно. Теперь для меня Диккенсъ — совершенно новый писатель, котораго я прежде не зналъ»...

Онъ жалѣетъ только, что Диккенсъ — „такъ мало личенъ, такъ мало *субъективенъ*, такъ мало человѣкъ, — и такъ много англичанинъ", зачѣмъ онъ ближе къ Вальтеръ-Скотту, чѣмъ къ Байрону: съ сознательными стремленіями и симпатіями Диккенсъ сталъ бы еще несравнено выше. Бѣлинскій огорчается потомъ, что послѣдніе романы Ж.-Занда плохи, недостойны ея таланта; бранитъ „сквернавца" Дюма, котораго называетъ pro-

tégé Боткина, наконецъ говоритъ о знаменитомъ романѣ Гёте, переведенномъ тогда въ „Современникѣ“ [1]).

„Die Wahlverwandschaften“ Гёте еще со временъ московскаго кружка́ очень занимали Бѣлинскаго и его друзей. Поэзія Гёте была тогда для кружка́ такимъ же откровеніемъ, какъ философія Гегеля; понятно, что Бѣлинскій и его друзья ожидали найти здѣсь рѣшеніе вопросовъ о женщинѣ, о любви, о бракѣ. Бѣлинскій въ то время, повидимому, зналъ только по разсказамъ, содержаніе романа Гёте. Впослѣдствіи, у него шли объ этомъ романѣ толки и споры съ Боткинымъ, съ Г-номъ; но Бѣлинскій уже очень давно, съ 1839, усумнился въ художественномъ достоинствѣ „рефлектированныхъ романовъ“ Гёте. Въ письмѣ изъ-за границы (отъ 24 мая) Бѣлинскій сообщаетъ издателямъ „Современника“ мнѣніе Тургенева, который рекомендовалъ перевесть „Тома Джонса“, Фильдинга (что́ и было сдѣлано), но не совѣтовалъ переводить романа Гёте. Романъ былъ однако переведенъ, и вотъ впечатлѣніе Бѣлинскаго:

«Ахъ, кстати: недавно я одержалъ блистательную побѣду, по части терпѣнія — прочелъ *Оттилію* [2]). Святители! Думалъ-ли я, что великій Гёте, этотъ олимпіецъ нѣмецкій, могъ явиться такою нѣмчурою въ этомъ прославленномъ его романѣ. Мысль основная умна и вѣрна, но художественное развитіе этой мысли—Аллахъ, Аллахъ—зачѣмъ ты сотворилъ нѣмцевъ?... Умолкаю» [3])...

Далѣе, слѣдуетъ въ письмѣ цѣлый длинный трактатъ въ защиту „Писемъ изъ Avenue Marigny“, рядъ которыхъ печатался тогда въ „Современникѣ“ [4]). Оказывалось, что эти письма не совсѣмъ понравились московскимъ друзьямъ, которые находили, кажется, что они не достаточно серьёзно говорятъ о предметѣ, который тогда очень занималъ у насъ образованные кружки́, и конечно та́кже московскихъ друзей; что авторъ „Писемъ“ слишкомъ поспѣшно осуждаетъ извѣстныя политическія партіи тогдашней Франціи, преувеличиваетъ и т. д. Бѣлинскій горячо

---

[1]) „Совр.“ 1847, кн. 7—8.

[2]) Такъ названы были Wahlverwandschaften въ русскомъ переводѣ.

[3]) Ср. отзывъ объ этомъ романѣ въ „Соврем.“ 1848, кн. 1; Сочин. XI, стр. 361—362.

[4]) „Совр.“ 1847, кн. 10 (первыя три письма), кн. 11 (письмо четвертое).

защищаетъ автора „Писемъ“: „эти письма, — говоритъ онъ, — особенно послѣднее, писались при мнѣ, на моихъ глазахъ“, — подъ живымъ впечатлѣніемъ фактовъ, которые не подлежали сомнѣнію и ближе были видны автору „Писемъ“; не отвергая возможнымъ преувеличеній со стороны автора, Бѣлинскій рѣшительно не согласенъ съ тѣми осужденіями, какія высказывались московскими друзьями. Увлеченный этой защитой, Бѣлинскій пишетъ цѣлое длинное разсужденіе о буржуазіи и другихъ общественныхъ вопросахъ того времени, о національныхъ характерахъ, о борьбѣ капитала и труда—въ томъ смыслѣ, какъ разсуждалъ объ этихъ вещахъ и авторъ „Писемъ“.

Въ это же время Бѣлинскій писалъ (отъ 7 декабря) длинное письмо г. Кавелину, одно изъ его любопытнѣйшихъ писемъ этого времени. Бѣлинскій уже отвѣчалъ ему на письмо, но не имѣлъ отвѣта, и снова пишетъ, недоумѣвая объ его молчаніи. „Ужъ не больны ли вы,—спрашиваетъ Бѣлинскій...—или вамъ не до писемъ по случаю отставки Стр—ва? Это я считаю очень возможнымъ“. Въ то время эта отставка произвела большое впечатлѣніе, которое раздѣлялъ и Бѣлинскій. „Я человѣкъ посторонній московскому университету, а вѣсть объ отставкѣ С. огорчила меня даже помимо моихъ отношеній къ вамъ, Гр. (Грановскому) и К. Это событіе прискорбное для всѣхъ друзей общаго блага и просвѣщенія въ Россіи“...

Бѣлинскій переходитъ затѣмъ къ ихъ общей полемикѣ противъ славянофильскаго противника (Ю. Самарина), который выступилъ противъ „Современника“ въ „Москвитянинѣ“, подъ буквами М... З... К. Бѣлинскій очень доволенъ статьей своего друга, но ему не нравится, что тотъ не достаточно категорически высказывалъ свои опроверженія, какъ будто оставляя за противникомъ извѣстный авторитетъ. Самъ Бѣлинскій признаетъ большой умъ противника, но считаетъ его умъ чисто парадоксальнымъ; самая роль этого противника въ литературѣ [1]) представляется Бѣлинскому какъ нѣчто въ родѣ прихоти дилеттанта. То, что́ сказано имъ въ самомъ „Отвѣтѣ Москвитянину“, сказано здѣсь съ бо́льшей опредѣленностью: Бѣлинскому ви-

[1]) 1847.

димо казалось, что со стороны его славянофильскаго противника было больше холодной, хотя и умно защищаемой доктрины, чѣмъ живого одушевленія, больше самолюбиваго упорства системы, чѣмъ горячаго стремленія къ истинѣ—какова бы она ни вышла въ результатѣ [1]). Не будемъ разбирать, насколько былъ онъ правъ или неправъ въ подобныхъ соображеніяхъ, —но очень вѣроятно, что именно этими соображеніями объясняется его страстная полемика и съ Самаринымъ, а отчасти и со всѣмъ славянофильствомъ.

Бѣлинскій потомъ возвращается еще къ письму 4—5 ноября. Онъ говоритъ, что это письмо, писанное къ Боткину, предназначено было главнымъ образомъ для Кавелина и Грановскаго, —и опять сожалѣетъ, что огорчилъ друзей. Съ тѣхъ поръ для него совершенно разъяснилось ихъ несогласіе, хотя они и высказывались очень сдержанно. Бѣлинскій не соглашался съ ними и теперь, но понималъ возможность ихъ взгляда на дѣло и видѣлъ ихъ побужденія: онъ не хотѣлъ однако спорить больше съ своими друзьями. Бѣлинскій говоритъ теперь о прежнемъ несогласіи въ мягкомъ, примирительномъ тонѣ, съ спокойнымъ обсужденіемъ обстоятельствъ и съ большой любовью къ своимъ друзьямъ...

Наконецъ, онъ подробнѣе, чѣмъ прежде, останавливается на спорномъ пунктѣ, который былъ затронутъ въ письмѣ г. Кавелина именно на вопросѣ о Гоголѣ, натуральной школѣ и вообще тогдашней литературѣ. Слѣдующая цитата представляетъ любопытныя разъясненія къ литературнымъ мнѣніямъ Бѣлинскаго, которыхъ онъ не могъ досказывать въ печати: — эти слова интересны и теперь, и могли бы быть весьма поучительны для нынѣшнихъ противниковъ реалистическаго направленія литературы, которое теперь такъ и называютъ „отрицательнымъ".

«Принимаясь за это письмо,—говоритъ онъ,—я перечелъ снова ваше, и хочу, ужъ за разъ, еще кое-что сказать по его поводу, въ дополненіе моего прежняго отвѣта. Вы спрашиваете: «представляетъ-ли современная русская жизнь такую *другую* сторону, которая, будучи художественно воспроизведена, представила бы намъ положительную сторону нашей народной физіономіи?»—и видите съ моей стороны уступку сла-

[1]) Ср. Сочин. XI, стр. 252—258.

вянофиламъ въ утвердительномъ моемъ отвѣтѣ [1]). Но, несмотря на то, я не думалъ съ ними соглашаться, по причинамъ, изложеннымъ въ вашемъ письмѣ и съ которыми я всегда былъ вполнѣ согласенъ. Но поймите, что въ отношеніи къ этому вопросу въ печати необходимо или обходить его, или рѣшать утвердительно. Но этотъ вопросъ многими поставляется проще, т.-е. многіе, не видя въ сочиненіяхъ Гоголя и нат. школы такъ называемыхъ «благородныхъ» лицъ, а все плутовъ или плутишекъ, приписываютъ это будто бы оскорбительному понятію о Россіи, что въ ней-де честныхъ, благородныхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ умныхъ людей быть не можетъ. Это обвиненіе нелѣпое, и его-то старался я и буду стараться отстранить. Что хорошіе люди есть вездѣ, объ этомъ и говорить нечего; что ихъ на Руси, по сущности народа русскаго, должно быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сами славянофилы (т.-е. истинно хорошихъ людей, а не мелодраматическихъ героевъ), и что наконецъ Русь есть по преимуществу страна крайностей и чудныхъ, странныхъ, непонятныхъ исключеній,—все это для меня аксіома, какъ дважды два четыре. Но вотъ горе-то: литература все-таки не можетъ пользоваться этими хорошими людьми, не впадая въ идеализацію, въ реторику и мелодраму, т.-е. не можетъ представлять ихъ художественно—такими, какъ они есть на самомъ дѣлѣ, по той простой причинѣ, что ихъ тогда не пропуститъ цензурная таможня. А почему? Потому именно, что въ нихъ человѣческое въ прямомъ противорѣчіи съ тою общественною средою, въ которой они живутъ. Мало того: хорошій человѣкъ на Руси можетъ быть иногда героемъ добра, въ полномъ смыслѣ слова, но это не мѣшаетъ ему быть съ другихъ сторонъ Гоголевскимъ лицомъ; честенъ и правдивъ, готовъ за правду на пытку, на колесо, но невѣжда, колотитъ жену, варваръ съ дѣтьми и т. д. Это потому, что все хорошее въ немъ есть даръ природы, есть чисто человѣческое, которымъ онъ нисколько не обязанъ ни воспитанію, ни преданію; словомъ, средѣ, въ которой родился, живетъ и долженъ умереть; потому, наконецъ, что подъ нимъ нѣтъ terrain, а, какъ вы говорите справедливо, не пловучее море, а огромное стекло. Вотъ, напр., честный секретарь уѣзднаго суда. Писатель реторической школы, изобразивъ его гражданскіе и юридическіе подвиги, кончитъ тѣмъ, что, за его добродѣтель, онъ получаетъ большой чинъ и дѣлается губернаторомъ, а тамъ и сенаторомъ. Это цензура пропуститъ со всею охотою, какими бы негодяями ни былъ обставленъ этотъ идеальный герой повѣсти, ибо онъ одинъ выкупаетъ съ лихвою наши общественные недостатки. Но писатель натуральной школы, для котораго всего дороже истина, подъ конецъ повѣсти представитъ, что героя опутали со всѣхъ сторонъ, и запутали, засудили, отрѣшили съ безчестіемъ отъ мѣста, которое онъ *портилъ*, и пустили съ семьею по міру, если не сослали въ Сибирь, а общество наградило его за добродѣтель справедливости и неподкупности эпитетами безпокойнаго человѣка, ябед-

[1]) Сочин., XI, стр. 221 и слѣд.

ника, разбойника и пр. и пр. Изобразитъ-ли писатель реторической школы доблестнаго губернатора — онъ представитъ удивительную картину преобразованной коренным образомъ и доведенной до послѣднихъ крайностей благоденствія губерніи. Натуралистъ же представитъ, что этотъ, дѣйствительно благонамѣренный, умный, знающій, благородный и талантливый губернаторъ видитъ, наконецъ, съ удивленіемъ и ужасомъ, что не поправилъ дѣла, а только еще больше испортилъ его, и что, покоряясь невидимой силѣ вещей, онъ долженъ себя считать счастливымъ, что, по своему крупному чину, вмѣстѣ съ породой и богатствомъ, онъ не могъ покончить точь-въ-точь, какъ вышеупомянутый секретарь уѣзднаго суда. Кто-жъ будетъ пропускать такія повѣсти? Во всякомъ обществѣ есть солидарность—въ нашемъ страшная: она основывается на пословицѣ — съ волками надо выть по волчьи. Теперь вы видите ясно, какъ я понимаю этотъ вопросъ, и почему рѣшаю его не такъ, какъ бы слѣдовало»...

Слѣдуетъ еще рядъ замѣчаній, вызванныхъ тѣмъ же предметомъ—о Гоголѣ, творчество котораго онъ окончательно признаетъ безсознательнымъ, о свойствахъ геніальной натуры, о Петрѣ Великомъ:

«Итакъ, вы видите, — продолжаетъ Бѣлинскій, — что я вполнѣ и во всемъ согласенъ съ вами. Найдутся, впрочемъ, и несогласія, но не въ мысляхъ, а въ оттѣнкахъ мыслей, о чемъ писать скучно. Говоря, что Гоголь изображаетъ не пошлецовъ, а человѣка вообще, я имѣлъ въ виду отстоять отъ его враговъ сущность его художественнаго таланта. Съ этой стороны и вы не совсѣмъ правы, видя въ немъ только комика. Его *Бульба* и разныя отдѣльныя черты, разсѣянныя въ его сочиненіяхъ, доказываютъ, что онъ столько же трагикъ, сколько и комикъ, но что отдѣльно тѣмъ или другимъ онъ рѣдко бываетъ въ отдѣльномъ произведеніи, но чаще всего слитно тѣмъ и другимъ. Комизмъ — слово узкое для выраженія Гоголевскаго таланта. У него и комизмъ-то выше того, что мы привыкли называть комизмомъ. Что касается до добродѣтелей Собакевича и Коробочки, вы опять не поняли моей цѣли; а я совершенно съ вами согласенъ. У насъ всѣ думаютъ, что если кто, сидя въ театрѣ, отъ души гнушается лицами въ Ревизорѣ, тотъ уже не имѣетъ ничего общаго съ ними, и я хотѣлъ замѣтить, съ одной стороны, что самые лучшіе изъ насъ не чужды недостатковъ этихъ чудищъ, а съ другой, что эти чудища — не людоѣды же. А вы правы, что собственно въ нихъ нѣтъ ни пороковъ, ни добродѣтелей. Вотъ почему заранѣе чувствую тоску при мысли, что мнѣ надо будетъ писать о Гоголѣ, можетъ быть, не одну статью, чтобы сказать о немъ мое послѣднее слово: надо будетъ говорить многое не такъ, какъ думаешь. Въ этомъ отношеніи, о Лермонтовѣ писать гораздо легче. Что между Гоголемъ и натуральною школою—цѣ-

лая бездна (это правда); но все-таки она идетъ отъ него, онъ отецъ ея, онъ не только далъ ей форму, но и указалъ на содержаніе. Послѣднимъ она воспользовалась не лучше его (куда ей въ этомъ бороться съ нимъ!), а только сознательнѣе. Что онъ дѣйствовалъ безсознательно,— это очевидно, но Коршъ больше чѣмъ правъ, говоря, что всѣ геніи такъ дѣйствуютъ. Я отъ этой мысли года три назадъ съ ума сходилъ, а теперь она для меня аксіома, безъ исключеній. Петръ Великій—не исключеніе. Онъ былъ домостроитель, хозяинъ государства, на все смотрѣлъ съ утилитарной точки зрѣнія: онъ хотѣлъ сдѣлать изъ Россіи нѣчто въ родѣ Голландіи, и построилъ было Петербургъ-Амстердамъ. Но то ли только вышло, или должно выдти изъ его реформы? Геній — инстинктъ, а потому и откровеніе: броситъ въ міръ мысль и оплодотворитъ ею его будущее, самъ не зная что сдѣлалъ и думая сдѣлать совсѣмъ не то Сознательно дѣйствуетъ талантъ, но за то онъ кастратъ, безплоденъ, своего ничего не родитъ, но за то лелѣетъ, роститъ и крѣпитъ дѣтей генія. Посмотрите на Ж. Зандъ въ тѣхъ ея романахъ, гдѣ рисуетъ она свой идеалъ общества: читая ихъ, думаешь читать переписку Гоголя. Но довольно объ этомъ»...

Приведенное письмо—послѣднее въ нашемъ матеріалѣ, писанное рукою Бѣлинскаго. Послѣ него есть еще одно, которымъ кончается собранная нами переписка: оно писано уже подъ диктовку.

1848-й годъ начинался для Бѣлинскаго неблагополучно, и по личному его состоянію, и по тому, что готовилось и потомъ совершалось въ общественныхъ дѣлахъ и литературѣ. Около новаго года онъ опять заболѣлъ—гриппомъ, какъ ему говорили: его мучилъ страшный кашель, истощавшій его силы; грудь его была здорова, какъ ему казалось. Чахотка видимо подкапывала его. Внѣшнія обстоятельства, какъ увидимъ, были совсѣмъ не успокоительнаго свойства.

По разсказу Панаева, Бѣлинскій въ первое время по возвращеніи изъ-за границы дѣйствительно казался гораздо бодрѣе и свѣжѣе и возбудилъ-было въ друзьяхъ надежду, что здоровье его поправится. Онъ поселился на новой квартирѣ, на Лиговкѣ, въ домѣ Галченкова (недалеко отъ нынѣшней станціи московской желѣзной дороги).

„Квартира эта,—говоритъ Панаевъ,—довольно просторная и удобная, на обширномъ дворѣ этого дома, во второмъ этажѣ

деревяннаго флигеля, передъ которымъ росло нѣсколько деревьевъ, производила какое-то грустное впечатлѣніе. Деревья у самыхъ оконъ придавали мрачность комнатамъ, заслоняя свѣтъ...

„Наступила глухая осень, съ безразсвѣтными петербургскими днями, съ мокрымъ снѣгомъ..., съ сыростью, проникающею до костей. Вмѣстѣ съ этимъ у Бѣлинскаго возобновилось снова удушье, еще въ болѣе сильной степени сравнительно съ прежнимъ; кашель начиналъ опять страшно мучить его днемъ и ночью, отчего кровь безпрестанно приливала у него къ головѣ. По вечерамъ чаще и чаще обнаруживалось лихорадочное состояніе, жаръ... Силы его гаснули замѣтно съ каждымъ днемъ [1])".

Онъ однако все еще работалъ. Для первой книжки „Современника" приготовилъ онъ статью „Взглядъ на русскую литературу 1847 года" (первая половина) и нѣсколько библіографическихъ статей [2]). Во второй книгѣ помѣщено только нѣсколько короткихъ рецензій [3]). Для третьей книги онъ далъ вторую статью о литературѣ 1847 года [4]),—гдѣ между прочимъ остановился на новыхъ повѣствователяхъ, которые были въ тоже время его любимцами,—какъ Искандеръ, Гончаровъ, Тургеневъ, Даль, Григоровичъ, Дружининъ. Въ четвертой книгѣ помѣстилъ онъ двѣ небольшія рецензіи [5]).

Этимъ кончилась его литературная дѣятельность.

Мы видѣли изъ его собственныхъ словъ, какое значеніе имѣла для него работа:. это было — право на жизнь; понятно, что онъ хотѣлъ работать до послѣдней возможности. Наконецъ, онъ былъ не въ состояніи писать; послѣднія статьи были имъ диктованы...

Также подъ диктовку писано письмо къ П. В. А-ву отъ 15 февраля—послѣднее, какое мы знаемъ изъ переписки Бѣлинскаго.

---

[1]) „Совр." 1860, кн. 1, стр. 373.

[2]) Сочин. X, 315—366; 437—462.

[3]) Тамъ же, стр. 463—476.

[4]) Тамъ же, стр. 370—436.

[5]) Тамъ же, стр. 476—486.

«Дражайшій П. В., случайно узналъ я, что вашъ отъѣздъ изъ Парижа въ февралѣ отложился еще на два мѣсяца; но это еще не заставило бы меня приняться за перо чужою рукою [1]), еслибъ не представился случай пустить это письмо помимо русской почты. Я, батюшка, боленъ уже шестую недѣлю—привязался ко мнѣ проклятый гриппъ; мучитъ сухой и нервическій кашель, по поверхности тѣла пробѣгаетъ ознобъ, а голова и лицо въ огнѣ; истощеніе силъ страшное — еле двигаюсь по комнатѣ; 2-й № «Современника» вышелъ безъ моей статьи [2]), теперь диктую ее черезъ силу для 3-го; вытерпѣлъ двѣ мушки, а сколько перелѣлъ разныхъ аптечныхъ гадостей — страшно сказать, а все толку нѣтъ до сихъ поръ; вотъ ужъ недѣли двѣ какъ не ѣлъ ничего мясного, а ко всему другому потерялъ всякій аппетитъ. Къ довершенію всего, выѣзжаю пользоваться воздухомъ въ намордникѣ, который выдумалъ на мое горе какой-то чортъ англичанинъ, чтобъ ему подавиться кускомъ ростбифу. Это для того, чтобъ на холодѣ дышать теплымъ воздухомъ черезъ машинку, сдѣланную изъ золотой проволоки, а стоитъ эта вещь 25 сер. Человѣкъ богатый, я—изволите видѣть—и дышу черезъ золото, и только по прежнему въ карманахъ не нахожу его. Легкія же мои, по увѣренію доктора, да и по моему собственному чувству, въ лучшемъ состояніи, нежели какъ были назадъ тому три года (?). На счетъ гриппа Тильманъ утѣшаетъ меня тѣмъ, что теперь въ Петербургѣ тяжелое время для всѣхъ слабогрудыхъ, и что (я) еще не изъ самыхъ страждущихъ, но это меня мало утѣшаетъ»...

Далѣе, идетъ рѣчь о нѣкоторыхъ личныхъ вопросахъ его корреспондента, а затѣмъ о литературныхъ новостяхъ—о Тургеневѣ, Дружининѣ, Достоевскомъ. Въ то время появлялись въ „Современникѣ“ новые эпизоды изъ „Записокъ Охотника“. Любопытно, что Бѣлинскій относился къ нимъ очень требовательно: быть можетъ, въ немъ еще оставался слѣдъ того охлажденія, которое наступило у него послѣ перваго восхищенія стихотворными разсказами или поэмами г. Тургенева, быть можетъ (и это вѣроятнѣе) и то, что требовательность возбуждалась самой серьёзностью задачи, которую теперь бралъ на себя авторъ: Бѣлинскій, очень цѣнившій эту задачу—реальное изображеніе цѣлой области нашей жизни, области помѣщичьей и крѣпостной, — тѣмъ ревнивѣе слѣдилъ за ея выполненіемъ.

---

[1]) Онъ диктовалъ женѣ.

[2]) Бѣлинскій готовилъ для него продолженіе большой критической статьи, которая начата была въ 1-й книгѣ.

Дружининымъ онъ продолжаетъ восхищаться. Къ Достоевскому замѣчательно охладѣлъ.

Приводимъ нѣсколько отрывковъ изъ этихъ послѣднихъ дружескихъ бесѣдъ о литературѣ:

«Съ чего вы это, батюшка, такъ превознесли *Лебедянь* Тургенева? Это одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ разсказовъ его, а послѣ вашихъ похвалъ онъ мнѣ показался даже довольно слабымъ. Цензура не вымарала изъ него ни единаго слова, потому что рѣшительно нечего вычеркивать. *Малиновая вода* мнѣ не очень понравилась, потому что я рѣшительно не понялъ Степушки. Въ уѣздномъ лекарѣ я не понялъ ни единаго слова, и потому ничего не скажу о немъ; а вотъ моя жена такъ въ восторгѣ отъ него — бабье дѣло!.. Во всѣхъ остальныхъ разсказахъ много хорошаго, мѣстами даже очень хорошаго, но вообще они мнѣ показались слабѣе прежнихъ [1]). Больше другихъ мнѣ понравились *Бирюкъ* и *Смерть*. Богатая вещь—фигура Татьяны Борисовны, недурна старая дѣвица; но племянникъ мнѣ крайне не понравился, какъ списокъ съ Андрюши и Кирюши, на нихъ непохожій»...

Бѣлинскому не нравится также звукоподражательное измѣненіе словъ (въ разговорѣ дѣйствующихъ лицъ) и слишкомъ частое употребленіе словъ мѣстнаго орловскаго языка. Послѣднее замѣчаніе нѣсколько странно: этого мѣстнаго языка въ разсказахъ г. Тургенева не такъ много, чтобъ они бросались въ глаза, и едва ли больше, чѣмъ сколько былъ авторъ въ правѣ ввести ихъ для „мѣстнаго колорита". Недовольство Бѣлинскаго остается объяснять тѣмъ, что народный и мѣстный языкъ гораздо меньше, чѣмъ теперь, проникалъ тогда въ литературныя произведенія, хотя и тогда онъ уже сильно пробивался въ литературу, напр., у Даля, который вообще Бѣлинскому нравился; мы теперь такъ освоились съ народнымъ языкомъ— особенно, въ новѣйшей натуральной школѣ—Успенскихъ, Рѣшетникова, Слѣпцова и проч.,—что въ „Запискахъ Охотника" онъ вовсе не кажется странностью. Въ отзывахъ Бѣлинскаго

---

[1]) „Разсказы Охотника" появлялись тогда въ такомъ порядкѣ: „Совр." 1847, кн. 1: „Хорь и Калиныч". Кн. 2: „Петръ Петровичъ Каратаевъ". Кн. 6: „Ермолай и Мельничиха",—„Мой сосѣдъ Радиловъ", — „Однодворецъ Овсянниковъ",—„Льговъ". Кн. 10: „Бурмистръ", — „Контора". 1848, кн. 2: „Малиновая вода",—„Уѣздный лекарь",—„Бирюкъ",—„Лебедань",—„Татьяна Борисовна и ея племянникъ",—„Смерть".

еще слышна непривычка къ нововведенію: онъ искалъ общей картины, и мѣстный колоритъ казался ему нарушающимъ ее излишествомъ....

«А какую Дружининъ написалъ повѣсть новую—чудо [1])! Тридцать лѣтъ разницы отъ «Полиньки Саксъ»! Онъ для женщинъ будетъ тоже, что Г-нъ для мужчинъ. «Сорока-воровка» напечатана, и прошла съ небольшими измѣненіями—несмотря на нихъ, мысль ярко выказывается... «Сорока-воровка» имѣла большой успѣхъ. Но повѣсть Дружинина не для всѣхъ писана, также какъ и записки Крупова [2]). Не знаю, писалъ-ли я вамъ, что Достоевскій написалъ повѣсть *Хозяйка*—... [3]). Въ ней онъ хотѣлъ помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подболтавши немножко Гоголя. Онъ и еще кое-что написалъ послѣ того, но каждое его новое произведеніе—новое паденіе... Надулись же вы, другъ мой, съ Достоевскимъ—геніемъ! О Тург. не говорю — онъ тутъ былъ самимъ собою, а ужъ обо мнѣ, старомъ чортѣ, безъ палки нечего и толковать...»

Бѣлинскій прочелъ „Исповѣдь" Руссо, и возымѣлъ къ нему крайнюю антипатію: теперь онъ читалъ романы Вольтера, и въ восторгѣ отъ него, и опять бранитъ Луи-Блана, который не съумѣлъ вѣрно понять Вольтера въ своей „Исторіи революціи".

«... Что за благородная личность Вольтера! какая горячая симпатія ко всему человѣческому, разумному, къ бѣдствію простого народа! Что онъ сдѣлалъ для человѣчества! Правда, онъ иногда называетъ народъ vile populace, но за то, что народъ невѣжественъ, суевѣренъ, изувѣръ, кровожаденъ, любитъ пытки и казни. Кстати, мой вѣрующій другъ [4]) и наши славянофилы сильно помогли мнѣ сбросить съ себя мистическое вѣрованіе въ народъ. Гдѣ и когда народъ освободилъ себя? Всегда и все дѣлалось черезъ личности. Когда я, въ спорахъ съ вами о буржуазіи, называлъ васъ консерваторомъ, я былъ глупецъ, а вы были умный человѣкъ [5]). Вся будущность Франціи въ рукахъ буржуазіи, всякій прогрессъ зависитъ отъ нея одной, и народъ тутъ можетъ по временамъ играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моемъ вѣрующемъ другѣ сказалъ, что для Россіи теперь нуженъ новый Петръ Великій, онъ на-

[1]) Бѣлинскій разумѣетъ вѣроятно „Разсказъ Алексѣя Дмитрича", въ „Соврем." 1848, книга 2.

[2]) „Соврем." 1847, кн. 9, стр. 1—30: „Изъ сочиненія доктора Крупова".

[3]) Слѣдуетъ очень неодобрительный отзывъ. „Хозяйка" была напечатана въ „Отеч. Зап." 1847, кн. 10 и 12.

[4]) Такъ называлъ Бѣлинскій одного изъ парижскихъ друзей.

[5]) Въ подлинникѣ болѣе сильныя выраженія.

палъ на мою мысль какъ на ересь, говоря, что самъ народъ долженъ все для себя сдѣлать. Что за наивная аркадская мысль! ...Мой вѣрующій другъ доказывалъ мнѣ еще, что избави-де Богъ Россію отъ буржуазіи. А теперь ясно видно, что внутренній процессъ гражданскаго развитія въ Россіи начнется не прежде, какъ съ той минуты, когда русское дворянство обратится въ буржуазію. Польша лучше всего доказала, какъ крѣпко государство, лишенное буржуазіи съ правами. Странный я человѣкъ! когда въ мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелѣпость, здравомыслящимъ людямъ рѣдко удастся выколотить ее изъ меня доказательствами: для этого мнѣ непремѣнно нужно сойтись съ мистиками, піэтистами и фантазёрами, помѣшанными на той же мысли— тутъ я и назадъ. Вѣрующій другъ и славянофилы наши оказали мнѣ большую услугу. Не удивляйтесь сближенію: лучшіе изъ славянофиловъ смотрятъ на народъ совершенно такъ, какъ мой вѣрующій другъ; они высосали эти понятія изъ соціалистовъ... Но довольно объ этомъ. Дѣло объ освобожденіи крестьянъ идетъ, а впередъ не подвигается. На-дняхъ прошелъ въ государственномъ совѣтѣ законъ, позволяющій крѣпостному крестьянину имѣть собственность — съ позволенія своего помѣщика! черезъ годъ снимутся таможни на русско-польской границѣ. Передѣлывается, говорятъ, тарифъ вообще... Усталъ диктовать, а потому и говорю вамъ прощайте..., не мистически, а раціонально обожаемый другъ мой, П. В.».

Рукой Бѣлинскаго написана только послѣдняя строка—дата письма.

„Зима 1847 — 1848 года тянулась для Бѣлинскаго мучительно,—разсказываетъ Панаевъ, часто его видавшій.—Съ физическими силами падали и силы его духа. Онъ выходилъ изъ дому рѣдко; дома, когда у него собирались пріятели, онъ мало одушевлялся и часто повторялъ, что ему уже не долго остается жить. Говорятъ, что больные чахоткой обыкновенно не сознаютъ опасности своего положенія.... У Бѣлинскаго не было этой иллюзіи; онъ не разсчитывалъ на жизнь и не утѣшалъ себя никакими надеждами“....

Письма, приведенныя въ началѣ этой главы, и указанныя статьи въ „Современникѣ“ 1848 года были послѣдними порывами его дѣятельности.

„Болѣзненныя страданія Бѣлинскаго, — продолжаетъ Панаевъ,—развились страшно въ послѣднее время отъ петербургскаго климата, отъ разныхъ огорченій, непріятностей и отъ тяжелыхъ и смутныхъ предчувствій чего-то недобраго. Стали носиться какіе-то неблагопріятные для него слухи, все какъ-то

душнѣе и мрачнѣе становилось кругомъ его, статьи его разсматривались все строже и строже. Онъ получилъ два весьма непріятныя письма, написанныя, впрочемъ, съ большою деликатностію, отъ одного изъ своихъ прежнихъ наставниковъ, котораго онъ очень любилъ и уважалъ. Ему надобно было, по поводу ихъ, ѣхать объясняться, но онъ уже въ это время не выходилъ изъ дому....

„Нѣкоторые господа, мнѣніемъ которыхъ Бѣлинскій дорожилъ нѣкогда, начинали поговаривать, что онъ исписался, что онъ повторяетъ зады, что его статьи длинны, вялы и скучны... Это доходило и до него, и глубоко огорчало его [1])".

Для объясненія „неблагопріятныхъ слуховъ" и новыхъ особыхъ тревогъ, какія пришлось испытать Бѣлинскому въ послѣднее время его жизни, надобно вспомнить то положеніе, какое занимала лучшая часть литературы, и Бѣлинскій въ томъ числѣ, въ понятіяхъ большинства и руководящихъ авторитетовъ. Это положеніе мы не можемъ лучше объяснить, какъ цитатой изъ воспоминаній другого современника.

„... Тяжелыя тогда стояли времена,—разсказываетъ г. Тургеневъ о срединѣ сороковыхъ годовъ [2])... Пусть читатель самъ посудитъ: утромъ тебѣ, быть можетъ, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; можетъ быть, тебѣ даже пришлось съѣздить къ цензору и, представивъ напрасныя и унизительныя объясненія, оправданія, выслушать его безапелляціонный, часто насмѣшливый приговоръ... На улицѣ тебѣ попалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генералъ, и даже не начальникъ, а такъ просто генералъ, оборвалъ или, что́ еще хуже, поощрилъ тебя... Бросишь вокругъ себя мысленный взоръ; взяточничество процвѣтаетъ, крѣпостное право стоитъ какъ скала, казарма на первомъ планѣ, суда нѣтъ, носятся слухи о закрытіи университетовъ, вскорѣ

---

[1]) „Воспом.", тамъ же, стр. 374.

[2]) „Вѣстн. Евр.", 1869, апр., стр. 718. Опускаемъ слова, гдѣ авторъ сравниваетъ „вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій",—потому что сами понимаемъ это сравненіе какъ разъ обратно.

потомъ сведенныхъ на трехсотенный комплектъ, поѣздки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висѝтъ надъ всѣмъ такъ-называемымъ ученымъ, литературнымъ вѣдомствомъ, а тутъ еще шипятъ и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общихъ интересовъ, страхъ и приниженность во всѣхъ, хоть рукой махни!..“

Кружокъ людей, въ средѣ котораго дѣйствовалъ Бѣлинскій и которому принадлежала лучшая дѣятельность въ развитіи литературы,—этотъ кружокъ былъ немногочисленъ; сами друзья кружка̀ называли его „сектой“, чтобы выразить его уединенность и замкнутость относительно остального общества; — другую подобную секту составляли, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, славянофилы... При всемъ литературномъ успѣхѣ, какой былъ пріобрѣтенъ, вліяніе этого круга и этой литературы ограничивалось необширнымъ числомъ людей, правда, наиболѣе образованныхъ и воспріимчивыхъ, но все участіе которыхъ не могло бы дать дѣятелямъ литературы никакой опоры и поддержки въ случаѣ невзгоды. Въ массѣ общества господствовало или простодушное невѣжество, или тотъ уровень понятій, который нѣкогда производилъ Фамусовыхъ и Скалозубовъ, и въ сущности мало въ чемъ измѣнился. Естественно, поэтому, что Бѣлинскій, въ которомъ съ самаго начала кипѣла, какъ въ Чацкомъ, страстная вражда къ застою и невѣжеству, пламенное стремленіе возбудить разумное отношеніе къ жизни, — что онъ съ самаго же начала вооружилъ противъ себя все, что̀ жило, питалось и радовалось этимъ застоемъ, и не желало нарушенія своего покоя. Еще въ тѣ времена, когда онъ стоялъ вполнѣ, сначала на совершенно отвлеченной почвѣ мирныхъ философскихъ умозрѣній, потомъ на почвѣ совершенно консервативной, онъ успѣлъ уже—одною чисто литературной борьбой противъ устарѣлыхъ авторитетовъ—возбудить къ себѣ вражду въ защитникахъ неподвижности, прослыть человѣкомъ „безпокойнымъ“, писателемъ „неблагонамѣреннымъ“. Всѣ мелкія и крупныя, но не оправдываемыя дѣломъ, самолюбія, которыхъ Бѣлинскій никогда не щадилъ, издавна вымещали на немъ свою злость — обвиненіями въ томъ, что онъ ничего не ува-

жаетъ (даже ихъ талантовъ), что онъ стремится унизить наши славныя имена, что онъ разрушаетъ преданія и т. д., словомъ, что онъ — „карбонарій", что онъ „властей не признаетъ". Съ 1836 г. можно указать длинный рядъ подобныхъ нападеній въ полемическихъ статьяхъ, стихотвореніяхъ, даже въ повѣстяхъ. Нападенія хотя всего чаще и бывали нелѣпы, безвкусны, но они были постоянны и злобны, и наконецъ принимали даже свойство „юридическихъ бумагъ", какъ тогда говорили, и становились не безопасны; Бѣлинскій не думалъ смущаться, — часто бывалъ доволенъ, потому что это показывало, что онъ за живое задѣвалъ враждебныя и ненавистныя ему вещи и идеи. Самые ожесточенные враги его были „Сѣверная Пчела" и „Москвитянинъ". Первая была ничтожна въ литературномъ смыслѣ, но небезопасна своими негласными отношеніями и „юридическимъ" характеромъ своей полемики. „Москвитянинъ" также имѣлъ свои связи—и не стѣснялся изображать дѣятельность Бѣлинскаго какъ вредную и развращающую. Насколько было вообще смысла въ этихъ обвиненіяхъ, можно видѣть по тому, что они, какъ было замѣчено сейчасъ, начались съ тѣхъ поръ, когда Бѣлинскій былъ еще въ консервативныхъ традиціяхъ. Враги однако чуяли въ немъ живую силу, критическій запросъ, и тѣмъ съ бо̀льшимъ ожесточеніемъ возстали на него тогда, когда онъ заявилъ свою послѣднюю точку зрѣнія. Успѣхъ его дѣятельности и журнала дѣлалъ его все болѣе замѣтнымъ и въ тѣхъ кругахъ, которые вообще „мало заботятся на счетъ литературы", но могутъ оказывать на нее фатальное дѣйствіе,— и здѣсь утвердилась за нимъ репутація, какую устроивали „Сѣверная Пчела" и „Москвитянинъ". До 1847 года дѣло еще обходилось благополучно, но съ этого времени, вмѣстѣ съ особеннымъ оживленіемъ литературы, надъ ней собираются тучи. Цензура становится все строже; съ первыхъ мѣсяцевъ 1848 года цензурный надзоръ принимаетъ такіе размѣры, какъ этого еще никогда не бывало. Отчасти свои домашнія причины, отчасти начинавшіяся безпокойства въ Европѣ (казавшіяся опасными и для Россіи) побудили обратить особенное вниманіе на предполагаемое броженіе умовъ, и это повлекло цѣлый рядъ ограничительныхъ и стѣснительныхъ мѣръ, пав-

шихъ на университеты, на народное образованіе и на литературу...

Въ спеціальныхъ изданіяхъ читатель найдетъ исчисленіе многоразличныхъ цензурныхъ мѣропріятій того времени, которыя могутъ дать понятіе и о взглядахъ цензурной и соприкосновенныхъ съ нею властей, и о томъ, какъ они должны были подѣйствовать на литературный міръ [1]). Нѣсколько вѣдомствъ участвовали въ этихъ мѣропріятіяхъ; кромѣ того, устроивались особенныя коммиссіи и наконецъ такъ-называемый комитетъ 2-го апрѣля, съ обширными полномочіями, которыя, между прочимъ, обнимали и пересмотръ прежней литературы, съ принятой теперь точки зрѣнія. Кромѣ новыхъ предписаній цензорамъ, не однажды собираемы были редакторы періодическихъ изданій для внушеній, иногда поселявшихъ своей строгостью самое основательное безпокойство.

Очень понятно, что Бѣлинскій при этомъ не былъ забытъ. Редакторъ „Отеч. Записокъ" былъ призываемъ для объясненій по прежнему изданію журнала. Цензурныя власти уже давно имѣли представленіе о Бѣлинскомъ, какъ о писателѣ безпокойнаго и неблагонамѣреннаго характера; теперь это представленіе о немъ перешло и въ другое вѣдомство.

Мы слышали разныя объясненія того, по какому собственно поводу нашли тогда нужнымъ обратить на Бѣлинскаго особое строгое вниманіе. Всего вѣроятнѣе, что главнымъ и пожалуй единственнымъ поводомъ была сама литературная дѣятельность Бѣлинскаго,—потому что въ то время было въ полномъ разгарѣ дѣло объ ограниченіи литературы, и Бѣлинскій естественно могъ представиться какъ одинъ изъ тѣхъ писателей, сочиненія которыхъ признавались теперь особенно вредными. Но прибавляютъ и другія объясненія. Такъ, мы находимъ въ сообщенныхъ намъ воспоминаніяхъ одного современника разсказъ, что еще на возвратномъ пути изъ-за границы Бѣлинскій ѣхалъ на пароходѣ съ какимъ-то господиномъ, и съ обыч-

---

[1]) См. „Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи", Спб. 1862, стр. 51—62. Перечисленіе цензурныхъ мѣропріятій съ 1847 г. и въ началѣ 1848 года—въ „Сборникѣ правительственныхъ распоряженій о цензурѣ съ 1720 по 1862 годъ", стр. 239—248.

ной своей горячностью и младенческимъ простодушіемъ не воздержался отъ нѣсколько смѣлаго разговора о политическихъ предметахъ. Предполагали (хотя неизвѣстно, было ли это дѣйствительно), что неосторожный разговоръ былъ сообщенъ; по крайней мѣрѣ Бѣлинскій былъ потомъ очень неспокоенъ относительно этого случая. Предполагали также, что до свѣдѣнія могла дойти ходившая по рукамъ переписка Бѣлинскаго съ Гоголемъ, которая впослѣдствіи послужила какъ corpus delicti въ одномъ извѣстномъ процессѣ... Но это толкованіе представляетъ ту трудность, что въ такомъ случаѣ Бѣлинскій едва ли могъ остаться свободенъ отъ объясненій, болѣе настоятельныхъ, чѣмъ тѣ, какихъ отъ него пожелали въ это время....

Тѣ два „непріятныя письма, написанныя, впрочемъ, съ большою деликатностію", о которыхъ упоминаетъ Панаевъ, получены были Бѣлинскимъ отъ его бывшаго наставника, М. М. Попова, о которомъ мы говорили прежде. Теперь Поповъ обращается къ Бѣлинскому по своему тогдашнему служебному положенію [1]). Въ первомъ письмѣ, отъ 20 февраля, Поповъ извѣщалъ Бѣлинскаго, что желаютъ познакомиться съ нимъ, Бѣлинскимъ, какъ съ извѣстнымъ литераторомъ, и назначалъ время, когда Бѣлинскій долженъ явиться. Но Бѣлинскій не могъ явиться; онъ былъ тогда уже очень слабъ. Не знаемъ, какимъ образомъ, письмомъ или черезъ кого-нибудь изъ друзей, Бѣлинскій извѣстилъ Попова о своемъ болѣзненномъ состояніи, которое мѣшало ему послѣдовать приглашенію.

На нѣсколько времени его оставили въ покоѣ. Но затѣмъ Бѣлинскій получилъ новое письмо Попова, отъ 27 марта: Поповъ слышалъ, что Бѣлинскій обезпокоился прежнимъ приглашеніемъ, и зналъ также объ его болѣзни; Поповъ успокоиваетъ его, что съ нимъ желали только познакомиться, что ему будетъ оказанъ самый радушный пріемъ, и — приглашалъ его вновь. Оба письма дѣйствительно написаны въ деликатной формѣ.

Вѣроятно послѣ этого второго письма, Бѣлинскій послалъ

---

[1]) См. въ главѣ I.

за однимъ изъ своихъ близкихъ друзей,—который и передавалъ намъ слѣдующія подробности:

„Придя къ Бѣлинскому, я засталъ его въ страшномъ волненіи и безпокойствѣ. Дѣло въ томъ, что къ нему явился жандармъ съ повѣсткою (это и было, вѣроятно, второе письмо Попова)... По тогдашнимъ обстоятельствамъ можно понять, какое впечатлѣніе должно было произвести неожиданное и загадочное появленіе этого посланнаго..... въ квартирѣ Бѣлинскаго.

„Бѣлинскій, не встававшій уже съ кресла, задыхающимся отъ волненія и отъ слабости голосомъ, просилъ меня... отыскать бывшаго его учителя Попова.. и узнать, для чего его требуютъ. Пріѣхавъ къ Попову, я объяснилъ ему о тяжкой болѣзни Бѣлинскаго, приковавшей его къ креслу, и спросилъ, чего отъ него желаютъ. Поповъ вспомнилъ съ нѣжностью о дѣтскихъ годахъ Бѣлинскаго, выразилъ участіе къ его болѣзненному состоянію, просилъ меня успокоить больного и объяснить ему, что онъ вызывался не по какому-либо частному дѣлу или обвиненію, но какъ одинъ изъ замѣчательныхъ дѣятелей на поприщѣ русской литературы, „единственно для того, чтобы лично познакомиться съ начальникомъ вѣдомства (гдѣ служилъ Поповъ), *хозяиномъ* русской литературы“....

Въ мартѣ Бѣлинскій еще работалъ; но затѣмъ оставалось ему только тяжкое страданіе болѣзни, въ которой не выпало на его долю и нравственнаго утѣшенія,—сама литература, для которой онъ жилъ, выносила тогда тяжелый кризисъ.

„Къ веснѣ, — разсказываетъ Панаевъ [1]), — болѣзнь начала дѣйствовать быстро и разрушительно. Щеки его провалились, глаза потухали, изрѣдка только горя лихорадочнымъ огнемъ, грудь впала, онъ еле передвигалъ ноги и начиналъ дышать страшно. Даже присутствіе друзей уже было ему въ тягость.

„Я разъ зашелъ къ нему утромъ (въ маѣ)... На дворъ подъ деревья вынесли диванъ—и Бѣлинскаго вывели подышать чистымъ воздухомъ. Я засталъ его уже на дворѣ. Онъ сидѣлъ на диванѣ, опустя голову и тяжело дыша. Увидѣвъ меня, онъ

---

[1]) „Воспом.“, тамъ же, стр. 374.

грустно покачалъ головою и протянулъ мнѣ руку. Черезъ минуту онъ приподнялъ голову, взглянулъ на меня и сказалъ:

— Плохо мнѣ, плохо, Панаевъ!

„Я началъ-было нѣсколько словъ въ утѣшеніе, но онъ перебилъ меня.

— Полноте говорить вздоръ.

„И снова молча и тяжело дыша опустилъ голову. Я не могу высказать, какъ мнѣ было тяжело въ эту минуту... Я начиналъ заговаривать съ нимъ о разныхъ вещахъ, но все какъ-то неловко, да и Бѣлинскаго, кажется, уже ничего не интересовало... „Все кончено"! думалъ я.

„Бѣлинскій умеръ черезъ нѣсколько дней послѣ этого"...

Присутствовавшіе при его смерти разсказывали, что Бѣлинскій, за нѣсколько минутъ до кончины, лежавшій уже въ постели безъ сознанія, вдругъ быстро поднялся, съ сверкавшими глазами, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, проговорилъ невнятными, прерывающимися словами, но съ энергіей, какія-то слова, обращенныя къ русскому народу, говорившія о любви къ нему... Его поддержали, уложили въ постель, и черезъ нѣсколько минутъ онъ умеръ. Это было 26 мая, въ 6-мъ часу утра [1]).

Немногіе петербургскіе друзья проводили его тѣло до Волкова кладбища. Къ нимъ присоединились (вспоминаетъ Панаевъ) три или четыре *неизвѣстныхъ*, вдругъ откуда-то взявшіеся. Они остались на кладбищѣ до самаго конца погребенія и слѣдили за всѣмъ съ величайшимъ любопытствомъ, хотя слѣдить было совершенно нечего. Бѣлинскаго отпѣли и опустили въ могилу, какъ и всякаго другого.

Въ собранномъ нами біографическомъ матеріалѣ находилась между прочимъ замѣтка, писанная однимъ изъ близкихъ друзей, разбиравшимъ бумаги Бѣлинскаго послѣ его смерти. Въ этихъ бумагахъ мало нашлось біографическаго матеріала, напр., переписки съ друзьями, и въ замѣткѣ говорится по этому поводу: „...Скудость постороннихъ матеріаловъ, переписки съ дру-

[1]) Восп. Панаева, стр. 375; „Воспоминанія" одного, въ то время юнаго, почитателя Бѣлинскаго—въ „Кронштадтскомъ Вѣстникѣ", 1862, № 47; „Воспоминанія" г. Кавелина и Тургенева.

зьями и даже нѣкоторыхъ задушевныхъ статей, о которыхъ мы знали еще и при жизни Б.,—объясняется тѣмъ, что онъ безпощадно, но весьма основательно жегъ передъ смертію своею все, что́ казалось ему дѣломъ молодости и вертопрашества". Послѣднія слова вѣроятно не совсѣмъ точны: уничтоженіе бумагъ должно понимать въ связи съ указанными выше обстоятельствами того времени.

Семейство Бѣлинскаго осталось, конечно, безъ всякихъ средствъ. Похоронили Бѣлинскаго на деньги, собранныя между близкими друзьями; участвовавшіе въ складчинѣ, согласились вносить и впредь ежегодно извѣстную сумму, пока не будетъ обезпечено семейство покойнаго. При этомъ явилась мысль разыграть въ лотерею, въ пользу семейства, библіотеку Бѣлинскаго. Для этого нужно было выхлопотать оффиціальное разрѣшеніе. Тотъ изъ друзей Бѣлинскаго, который однажды отправлялся уже съ объясненіями къ Попову и слышалъ тогда его теплый отзывъ о Бѣлинскомъ, выбранъ былъ для переговоровъ и въ настоящемъ случаѣ.

Услышавъ о смерти Бѣлинскаго, Поповъ выразилъ сожалѣніе о столь преждевременной кончинѣ замѣчательнаго критика, но лишь только ему сказано было о лотереѣ, онъ весь измѣнился въ лицѣ и отвѣтилъ въ самомъ раздраженномъ тонѣ—отказомъ. Его слова имѣли тотъ смыслъ, что для него имя Бѣлинскаго было равнозначительно имени государственнаго преступника [1])....

Вдова Бѣлинскаго переѣхала на житье въ Москву и нѣсколько времени спустя получила въ томъ институтѣ, гдѣ была прежде классной дамой, мѣсто кастелянши; сестра ея опредѣлилась классной дамой, а дочь пользовалась уроками въ томъ же заведеніи. Когда, двѣнадцать лѣтъ спустя, основанъ былъ литературный фондъ, однимъ изъ первыхъ его дѣлъ было назначеніе пенсіи семейству Бѣлинскаго (сколько мы знаемъ, это была самая значительная пенсія, какія фондъ опредѣлялъ). Эта пенсія была потомъ сокращена по заявленію самой г-жи Бѣлинской, потому что для нея открылись новыя средства обезпе-

---

[1]) „Воспоминанія" Н. Н. Т-ва.

ченія. Это было—изданіе „Сочиненій“ Бѣлинскаго, появившееся, какъ только представилась къ тому возможность, благодаря стараніямъ одного изъ старѣйшихъ друзей Бѣлинскаго, Н. Х. Кетчера, и матеріальному содѣйствію К. Т. Солдатенкова, извѣстнаго московскаго издателя, которому наша литература обязана цѣлымъ рядомъ полезныхъ и замѣчательныхъ книгъ [1]). Трудъ изданія этихъ двѣнадцати томовъ (1859—1862) съ Н. Х. Кетчеромъ раздѣлилъ А. Д. Галаховъ, который составилъ очень полный и точный библіографическій списокъ сочиненій Бѣлинскаго, разсѣянныхъ (почти всегда безъ подписи) въ журналахъ съ 1831 до 1848 года. Успѣхъ собранія „Сочиненій“, иные томы котораго выдержали до трехъ изданій, окончательно обезпечилъ семейство Бѣлинскаго.

Въ литературѣ смерть Бѣлинскаго прошла какъ-будто незамѣченной. Два лучшіе журнала того времени, столько съ нимъ связанные, въ тогдашнихъ обстоятельствахъ сказали едва нѣсколько словъ о писателѣ, который занималъ въ литературѣ такое господствующее мѣсто и которому они оба были такъ обязаны. Очевидно, они не могли сказать больше [2]).

Эти нѣсколько словъ некролога, совершенно незначительныхъ, надолго остались единственнымъ упоминаніемъ имени Бѣлинскаго. Даже въ то время, когда условія печати стали измѣняться, когда общество и литература начали оглядываться и вспоминать недавнее прошлое, онъ еще оставался безыменнымъ „критикомъ сороковыхъ годовъ“, пока, наконецъ, имя его въ первый разъ было опять названо въ 1856 году.

Наружность Бѣлинскаго г. Тургеневъ описываетъ слѣдующимъ образомъ. „Извѣстный литографическій, — едва-ли не единственный,—портретъ Бѣлинскаго даетъ о немъ понятіе невѣрное... Срисовывая его черты, художникъ придалъ всей головѣ какое-то повелительно-вдохновенное выраженіе, какой-то военный, чуть не генеральскій поворотъ, неестественную позу,

---

[1]) Въ изданіи участвовалъ и Н. М. Щепкинъ.

[2]) Ср. „Современникъ“ и „Отеч. Записки“ 1848, іюнь, смѣсь.

что́ вовсе не соотвѣтствовало дѣйствительности и нисколько не согласовалось съ характеромъ и обычаемъ Бѣлинскаго. Это былъ человѣкъ средняго роста, на первый взглядъ довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалою грудью и понурой головою. Одна лопатка замѣтно выдавалась больше другой. Всякаго, даже не медика, немедленно поражали въ немъ всѣ главные признаки чахотки... При томъ же (въ послѣдніе годы), онъ почти постоянно кашлялъ. Лицо онъ имѣлъ небольшое, блѣдно-красноватое, носъ неправильный, какъ бы приплюснутый, ротъ слегка искривленный, особенно когда раскрывался; маленькіе частые зубы; густые бѣлокурые волосы падали клокомъ на бѣлый, прекрасный, хотя и низкій лобъ. Я не видывалъ глазъ, болѣе прелестныхъ, чѣмъ у Бѣлинскаго. Голубые, съ золотыми искорками въ глубинѣ зрачковъ, эти глаза, въ обычное время полузакрытые рѣсницами, расширялись и сверкали въ минуты воодушевленія; въ минуты веселости взглядъ ихъ принималъ плѣнительное выраженіе привѣтливой доброты и безпечнаго счастья. Голосъ у Бѣлинскаго былъ слабъ, съ хрипотою — но пріятенъ; говорилъ онъ съ особенными удареніями и придыханіями, „упорствуя, волнуясь и спѣша“ (стихъ г. Некрасова). Смѣялся онъ отъ души, какъ ребенокъ. Онъ любилъ расхаживать по комнатѣ, постукивая пальцами красивыхъ и маленькихъ рукъ по табакеркѣ съ русскимъ табакомъ. Кто видѣлъ его только на улицѣ, когда въ тепломъ картузѣ, старой енотовой шубёнкѣ и стоптанныхъ калошахъ, онъ торопливой и неровной походкой, пробирался вдоль стѣнъ и съ пугливой суровостью, свойственной нервическимъ людямъ, озирался вокругъ — тотъ не могъ составить себѣ вѣрнаго о немъ понятія... Между чужими людьми, на улицѣ, Бѣлинскій легко робѣлъ и терялся. Дома онъ носилъ обыкновенно сѣрый сюртукъ на ватѣ и держался вообще очень опрятно“...

Подобнымъ образомъ и г. Кавелинъ передаетъ черты Бѣлинскаго въ своихъ воспоминаніяхъ. „Онъ былъ небольшого роста, очень невзраченъ съ виду, сутуловатъ, и страшно застѣнчивъ и неловокъ. Наружность его доказывала, что его воспитаніе и жизнь прошли вдали отъ свѣтскихъ кружковъ. Значительна была его голова, и въ ней особенно глаза. Несмотря

на весьма некрасивые плоскіе волосы, прекрасно сформированный интеллигентный лобъ бросался въ глаза. Большіе сѣрые [1]), страшно проницательные глаза загорались и блестѣли при малѣйшемъ оживленіи. Въ нихъ страстная натура Бѣлинскаго выражалась съ особенною яркостью. Характеристично было въ его лицѣ, что конецъ носа былъ неровенъ, и верхняя губа съ одной стороны была слегка приподнята: то и другое можно видѣть на его маскѣ. Спокойнымъ онъ почти никогда не бывалъ. Въ спокойныя минуты глаза его бывали полузакрыты, губы слегка двигались. Очень некрасивы были у него выдавшіяся скулы. Ходилъ онъ большими шагами, слегка опускаясь при каждомъ шагѣ... Вѣчно бывалъ онъ нервно возбужденъ или въ полной нервной атоніи и разслабленіи. Дѣтей онъ очень любилъ"...

Много примѣровъ этой внѣшней манеры Бѣлинскаго читатель можетъ видѣть въ разсказахъ современниковъ: нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ были нами приведены; относительно другихъ, и можетъ быть, еще болѣе характерныхъ, мы должны обратить читателя къ самымъ источникамъ.

Портретъ, о которомъ говоритъ г. Тургеневъ, есть въ самомъ дѣлѣ почти единственный и имѣлъ свою исторію. Онъ сдѣланъ былъ, въ 1843 г. или около того, тогда еще молодымъ художникомъ К. А. Горбуновымъ, котораго Бѣлинскій зналъ еще съ Москвы и очень любилъ. Горбуновъ былъ портретистомъ кружка́: около того же времени, когда сдѣланъ былъ портретъ Бѣлинскаго, тѣмъ же художникомъ сдѣланы были, и потомъ изданы, болѣе или менѣе удачные портреты Грановскаго, Г-на, Щепкина, Кетчера, Е. Ѳ. Корша, Анненкова. Изданіе дѣлалось главнымъ образомъ для ближайшаго кружка́, и портретъ Бѣлинскаго былъ мало распространенъ. На этомъ портретѣ Бѣлинскій не имѣетъ бороды и усовъ, которыхъ тогда не носилъ.

Въ первый разъ послѣ того, этотъ портретъ повторенъ былъ въ 1862, въ „Русскомъ Худож. Листкѣ" (№ 29), Тимма, которому онъ былъ указанъ г. Ефремовымъ. Тамъ же помѣщенъ былъ другой, изображавшій Бѣлинскаго въ гробу — по фото-

---

[1]) Варіантъ отъ г. Тургенева.

графіи (сообщенной также г. Ефремовымъ) съ эскиза, сдѣланнаго К. А. Горбуновымъ на другой день кончины Бѣлинскаго. Этотъ эскизъ повторенъ въ „Рус. Старинѣ" 1876.

Не исчисляя другихъ, бо́льшей частью не точныхъ повтореній, отмѣтимъ еще портретъ, помѣщенный въ „Галлереѣ" г. Мюнстера: здѣсь рисовальщикъ, по собственному соображенію, далъ Бѣлинскому одни усы, безъ бороды (какъ Бѣлинскій никогда не носилъ) и иначе завязалъ ему шейный платокъ, кажется, для бо́льшаго франтовства [1]).

Затѣмъ, при „Сочиненіяхъ" (1862, т. XII) приложенъ портретъ, гравированный Іорданомъ въ 1859. Оригиналъ гравюры—тотъ же прежній портретъ, нѣсколько измѣненный г. Горбуновымъ въ то время, когда онъ дѣлалъ посмертный эскизъ.

При „Иллюстрированномъ Альманахѣ", который былъ изданъ въ началѣ 1848 г. редакціей „Современника" и гдѣ помѣщенъ рядъ превосходныхъ каррикатуръ изъ очень извѣстнаго въ свое время альбома г. Степанова, находится также каррикатура, изображающая Бѣлинскаго съ листомъ корректуры, полученной отъ цензора, въ рукахъ и съ подписью: „...своей собственной статьи не узнаю въ печати". Въ оглавленіи каррикатура названа: „Типографскія превращенія" (предполагалось также назвать эту каррикатуру: „Огорченный литераторъ"). По словамъ современниковъ, каррикатура очень удачна. Если не ошибаемся, впослѣдствіи эта каррикатура была отбираема; по крайней мѣрѣ она встрѣчается только въ рѣдкихъ экземплярахъ „Иллюстрир. Альманаха".

Намъ извѣстенъ еще одинъ—небольшой акварельный портретъ, дѣланный, кажется, тѣмъ же Горбуновымъ гораздо ранѣе, вѣроятно еще въ Москвѣ. Эта акварель принадлежала В. П. Боткину и находится теперь у М. П. Боткина. Бѣлинскій изображенъ здѣсь съ совершенно юношескими чертами, но не знаемъ, насколько вѣрно переданы эти черты.

Мы видѣли еще шуточный набросокъ перомъ, очень удачно

---

[1]) Другіе портреты, бо́льшею частію плохо скопированные, по обычаю нашихъ изданій,—въ „Портретахъ рус. писателей", 1860, Никтополіона Полеваго; въ „Сынѣ Отечества"; въ „Иллюстраціи" г. Зотова; въ „Нивѣ" 1870; въ „Исторіи рус. литер.", П. Полевого, и проч.

сдѣланный г. Тургеневымъ и представляющій Бѣлинскаго, сзади, идущаго съ его пріятелемъ Я-мъ.

Наконецъ, существуетъ небольшой портретъ карандашомъ, упоминаемый Панаевымъ, и изображающій Бѣлинскаго, какъ онъ былъ за нѣсколько дней до смерти: исхудалый, съ лихорадочными глазами, съ всклокоченными волосами. „Этотъ портретъ,—говоритъ Панаевъ,—сдѣланъ женой Языкова (М. А.)... Лицо умирающаго такъ поразило ее и такъ врѣзалось ей въ память, что она тотчасъ по пріѣздѣ домой набросала его на бумагу“ [1])... Въ настоящее время этотъ портретъ находится у г. Некрасова.

Въ извѣстномъ собраніи г. Третьякова въ Москвѣ находится портретъ, масляными красками, составляющій новое повтореніе прежняго, сдѣланное недавно самимъ Горбуновымъ.

Должно упомянуть наконецъ скульптурное воспроизведеніе, сдѣланное нѣсколько лѣтъ тому назадъ г-мъ Ге: пользуясь портретами Горбунова, посмертной маской и указаніями многихъ друзей Бѣлинскаго, г. Ге вылѣпилъ извѣстный бюстъ, который эти друзья Бѣлинскаго находили очень удачнымъ.

Бѣлинскій былъ похороненъ на Волковомъ кладбищѣ, около могилы пріятеля его, Кульчицкаго, отъ которой теперь, кажется, уже не осталось слѣдовъ. Въ ноябрѣ 1861, рядомъ съ Бѣлинскимъ похоронили Добролюбова. Видъ могилы Бѣлинскаго, съ старымъ памятникомъ, сложеннымъ изъ простыхъ плитъ, и свѣжей могилы Добролюбова, отмѣченной простою насыпью изъ дерна,—помѣщенъ былъ въ томъ же „Художественномъ Листкѣ“ Тимма [2]). Другой видъ этихъ могилъ, съ новымъ памятникомъ Бѣлинскому, недавно поставленнымъ, и съ памятникомъ Добролюбову, изъ массивнаго гранитнаго камня,—находится въ журналѣ „Сіяніе“ [3]). Въ 1868 году, рядомъ съ ними, прибавилась могила Писарева.

---

[1]) „Совр“. 1860, № 1, стр. 375.
[2]) 1862, № 29.
[3]) 1872, № 34.

ГЛАВА XI.

Заключеніе.

Намъ предстояла бы теперь еще задача—собрать разсѣянныя черты характера и біографіи Бѣлинскаго въ общее изображеніе его личности и исторической роли. Дальше мы и сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній о послѣднемъ, т.-е. объ историческомъ его значеніи, которое послѣ законченной дѣятельности есть такъ-сказать теоретическій фактъ, дѣло историческаго сравненія и вывода. Такіе выводы могутъ быть дѣлаемы и внѣ чисто личной оцѣнки; впослѣдствіи, когда снимется необходимая теперь сдержанность, рекомендуемая близостью времени и другими обстоятельствами, они будутъ сдѣланы шире, свободнѣе и рельефнѣе; съ своей стороны, мы еще чувствуемъ стѣсняющія условія и желали бы по крайней мѣрѣ собрать сколько возможно болѣе матеріала для будущихъ рѣшеній вопроса. Но для изображенія личности дѣятеля недовольно теоретическихъ соображеній, которыя въ подобномъ случаѣ могутъ доставлять только болѣе или менѣе гадательное возстановленіе личности: мы старались поэтому указывать современныя свидѣтельства и впечатлѣнія лицъ изъ круга Бѣлинскаго, сохранившихъ память о живыхъ обнаруженіяхъ этого характера.

Въ настоящемъ случаѣ мы только напомнимъ читателю основныя черты этой страстной, увлекающейся, но глубокой, всегда неизмѣнно правдивой натуры,—черты, которыя въ такомъ

обиліи читатель можетъ видѣть и въ фактахъ біографіи, и въ разсказахъ современниковъ, а всего больше въ самыхъ произведеніяхъ и личной, замѣчательно, безусловно искренней перепискѣ Бѣлинскаго. Есть много разсказовъ и фактовъ, говорящихъ объ увлеченіяхъ и крайностяхъ Бѣлинскаго; многіе, даже и теперь, обращаютъ эти увлеченія въ оружіе противъ него; но было бы легкомысленно остановиться на этихъ внѣшнихъ обнаруженіяхъ, и не видѣть благородной и возвышенной сущности характера Бѣлинскаго и того глубокаго взгляда на жизнь, которые съ первыхъ шаговъ его сознанія именно и увлекали его мысль и фантазію къ идеальнымъ построеніямъ этой жизни.

Несмотря на всѣ эти увлеченія, крайности и видимыя противорѣчія, о Бѣлинскомъ справедливо можно было сказать, что онъ никогда не измѣнялъ своимъ идеаламъ,—потому что дѣйствительно господствующій идеалъ Бѣлинскаго былъ *всегда одинъ;* хотя въ частности, мы видѣли, онъ увлекался въ разное время различными представленіями объ обществѣ и о личности. Другими словами, при одномъ господствующемъ характерѣ мысли и чувства, измѣнялись подробности отвлеченнаго теоретическаго *содержанія*. Было время, когда всѣ помышленія Бѣлинскаго были направлены къ воспитанію въ себѣ и другихъ „абсолютнаго" человѣка, съ развитіемъ всѣхъ высшихъ требованій человѣческой личности, какъ это тогда понималось подъ вліяніемъ нѣмецкаго полу-романтическаго идеализма; и когда за этой задачей личнаго развитія онъ былъ равнодушенъ ко всѣмъ общественнымъ вопросамъ, къ внѣшнему быту. Было другое время, когда онъ увидѣлъ, что личная жизнь неизбѣжно связана съ общественностью, и когда, обратившись къ забытому прежде внѣшнему быту, къ обществу, и увлекаясь мнимымъ верховнымъ правомъ „дѣйствительности", понятой слишкомъ буквально и ошибочно, онъ—впрочемъ, очень ненадолго—впалъ въ слѣпое поклоненіе факту и вооружался противъ всякаго отрицанія принимаемой имъ „дѣйствительности", противъ всякаго оспариванія ея мнимой законности. Это была опять крайность, которая, при своихъ первыхъ приложеніяхъ къ живымъ фактамъ, оказалась въ слишкомъ сильномъ противорѣчіи и съ

опытами жизни и со всѣми свойствами его собственной природы, и онъ самъ безпощадно осудилъ свою ошибку. Тогда наступилъ послѣдній періодъ его идей, въ которомъ онъ остался до конца, развивая его все болѣе и болѣе, распространяя на различныя области личной и общественной жизни, „волнуясь и спѣша", чтобы опредѣлить себѣ и другимъ истинныя требованія человѣческой и общественной сущности: идея „общества" разъяснилась для него въ совершенно иномъ смыслѣ; и съ тѣхъ поръ онъ неизмѣнно служилъ ей со всѣмъ энтузіазмомъ своей натуры. Но, какъ ни мало сходны были эти точки зрѣнія, которыя онъ послѣдовательно принималъ, черезъ весь путь его размышленія и дѣятельности проходило одно основное начало, которому служили всѣ его свойства — и сильный, точный умъ, и фантазія, и впечатлительное чувство. Это начало было глубокое чувство *нравственной правды* и *человѣческаго достоинства*.

Начинаясь съ личной высокой прямоты и правдивости, это начало проходитъ черезъ всѣ отношенія Бѣлинскаго и черезъ весь его образъ мыслей, во всѣхъ его видоизмѣненіяхъ. Личная правдивость была такова, что его переписка, какъ могъ убѣдиться читатель, представляетъ рѣдкій, можно сказать, единственный примѣръ въ русской литературной біографіи—по удивительной искренности, по неизмѣнной высотѣ нравственныхъ требованій, обращенныхъ всего прежде къ самому себѣ, по готовности признать свою ошибку и осудить ее. Это свойство такъ непривычно для большинства, что не только въ то время его противники думали видѣть въ немъ (когда оно высказывалось и въ печатныхъ сочиненіяхъ Бѣлинскаго) оружіе противъ Бѣлинскаго, — тогда какъ оно говорило именно за него; но и теперь, для критиковъ извѣстнаго рода, читавшихъ у насъ его переписку, осталось непонятно все нравственное достоинство этой прямоты: они съ самодовольнымъ снисхожденіемъ говорили объ „ошибкахъ" Бѣлинскаго — они, безупречные, не ошибавшіеся,—и не видѣвшіе болота, въ которомъ сами пребывали... Бѣлинскій слишкомъ серьёзно понималъ требованія простой правды, и уступалъ имъ тотчасъ, какъ они становились ему ясны: онъ выносилъ тяжелую борьбу съ самимъ собой, когда шелъ въ немъ этотъ внутренній споръ между пламенной пре-

данностью добытому прежде убѣжденію и возстававшимъ вновь опроверженіемъ, но когда споръ рѣшался, онъ и не думалъ заботиться, что его упрекнутъ старой ошибкой, не думалъ выгораживать своего, очень большого однако, самолюбія, какъ дѣлаютъ — почти всѣ; напротивъ, онъ былъ первымъ обвинителемъ противъ себя и обвинителемъ безпощаднымъ. Мы видѣли изъ воспоминаній современниковъ, какое сильное впечатлѣніе производила на близкихъ ему людей эта нравственная прямота, — какую глубокую, можно сказать, нѣжную привязанность внушала къ нему литературная дѣятельность, руководимая этими свойствами его природы,—внушала кругу его друзей, въ которомъ были лучшіе люди тогдашней литературы.

Это чувство правды и человѣческаго достоинства, высказываемое съ горячимъ фанатическимъ убѣжденіемъ, было безъ сомнѣнія и главнѣйшимъ основаніемъ его литературнаго вліянія. Оно чувствовалось въ томъ, что̀ писалъ Бѣлинскій, и мы еще помнимъ молву сочувствія, говорившую объ его авторитетѣ. Въ самомъ дѣлѣ, эта потребность доискаться нравственной истины, общественной справедливости и опредѣленія человѣческаго достоинства была движущей силой всей его дѣятельности и ставила ей цѣль. Она съ раннихъ лѣтъ внушила ему страстную любовь къ поэзіи и дала то оживленное пониманіе ея, которое называютъ въ немъ чрезвычайно развитымъ эстетическимъ вкусомъ, и иногда заставляла его ошибаться наперекоръ этому вкусу... Эта потребность побуждала его производить надъ собой идеалистическіе эксперименты въ то время, когда онъ съ своими друзьями вѣровалъ въ гегеліянскую философію и философско-романтическую поэзію. Она побудила его потомъ обратиться къ „дѣйствительности“ и принять всѣ самыя крайнія послѣдствія ошибочно имъ понятой теоріи, уже наперекоръ его собственнымъ личнымъ ощущеніямъ и опытамъ, приходившимъ извнѣ. Наконецъ, эта потребность привела его къ тому критическому взгляду на эту дѣйствительность, который онъ затѣмъ развивалъ все съ бо́льшей настоятельностью. Критическій взглядъ открылъ ему въ жизни много несовершенствъ,— многія изъ нихъ доходили до размѣровъ бѣдственныхъ: его внутреннее чувство оскорблялось до глубокой степени, и это

поддерживало его въ постоянномъ волненіи, какое его отличало. Общественный вопросъ сталъ его господствующимъ интересомъ и передъ нимъ отступили на второй планъ всѣ другіе, и въ томъ числѣ интересы отвлеченнаго искусства. Поэтическое чутье осталось при немъ, но въ послѣдніе годы онъ уже не довольствовался отвлеченнымъ эстетическимъ наслажденіемъ—въ его глазахъ, это было бы себялюбивое эпикурейство среди положенія вещей, призывавшаго къ сознанію общественной обязанности... Въ послѣдніе годы онъ уже скучалъ (и самъ высказывалъ это) необходимостью говорить непремѣнно только о литературѣ и отвлеченной нравственности, и невозможностью говорить о жизни и нравахъ: онъ продолжалъ говорить о литературѣ, но художественная критика все больше и и больше переходила въ публицистическую... Такъ-называемое „утилитарное“ направленіе Бѣлинскаго было совершенно естественнымъ исходомъ всей его дѣятельности, и никогда онъ уже не могъ бы его оставить: онъ зналъ, что друзья, свидѣтели его прежней чисто-эстетической точки зрѣнія, могли счесть его новый взглядъ крайностью, и не защищался отъ упрека: „я знаю, что сижу въ односторонности“, — говоритъ онъ самъ въ этомъ смыслѣ,—но никакъ не хотѣлъ выходить изъ нея, и жалѣлъ о тѣхъ, кто не раздѣлялъ ея съ нимъ. Онъ чувствовалъ, что такъ-называемая „утилитарная“ точка зрѣнія и была собственно тотъ зрѣлый, широкій взглядъ, гдѣ литература открывалась передъ нимъ во всѣхъ своихъ сторонахъ, гдѣ такъ-называемое „искусство“ (т.-е. русскія повѣсти!) представлялось ему уже не съ одной книжно-теоретической точки зрѣнія, а съ менѣе притязательной, но болѣе серьезной точки зрѣнія—ихъ дѣйствительнаго значенія...

Такимъ образомъ результатъ, къ которому пришелъ Бѣлинскій къ концу своей дѣятельности, — его послѣдній взглядъ, конечно, покрывалъ все предыдущее развитіе, завершалъ прежнія понятія новыми, гораздо болѣе точными, многообъемлющими и живыми. И это одно могло бы показать, что прежнія „перемѣны взглядовъ“ были вовсе не такъ случайны и произвольны, какъ могло на первый взглядъ казаться, и многимъ дѣйствительно казалось: въ самомъ дѣлѣ, каждый разъ, когда случалась такая „перемѣна“, Бѣлинскій впадалъ въ тяжелое

нравственное состояніе, въ безпокойство, въ порывы отчаянія или апатіи; это состояніе и было такъ тягостно потому, что онъ чувствовалъ себя еще не въ силахъ рѣшить осаждавшія его противорѣчія, а когда онъ успокоивался, когда „перемѣна“ совершалась и онъ рѣшительно отвергалъ свое прежнее понятіе, — это дѣлалось потому, что онъ и *теоретически* переработалъ эти противорѣчія, что его мысль одолѣла аргументацію прежняго взгляда, и новый являлся у него, вооруженный доказательствами и въ силу этихъ доказательствъ. Онъ дѣйствительно „мѣнялъ копѣйку на рубль“, какъ самъ Бѣлинскій замѣтилъ разъ одному изъ друзей, говоря о „перемѣнахъ“ въ своихъ убѣжденіяхъ, — потому что въ новой точкѣ зрѣнія онъ былъ уже выше прежняго взгляда, какъ предшествующей ступени.

Отгого, въ позднѣйшее время его жизни онъ и былъ до такой степени поглощенъ вопросомъ общественнымъ. Мы видѣли изъ словъ его друзей, какъ представлялась этому кружку тогдашняя общественная обстановка. Всего сильнѣе она поражала именно Бѣлинскаго... Въ прежнее время онъ думалъ дѣйствовать на общество въ отвлеченно-нравственномъ смыслѣ путемъ „эстетическаго воспитанія“; теперь становилось очевидно, что одно подобное воспитаніе, дѣйствующее отчасти на отдѣльныя личности, было бы слишкомъ трудно и безуспѣшно для улучшенія общественныхъ нравовъ и положенія,—что само наслажденіе искусствомъ есть своего рода роскошь среди умственной и нравственной нищеты массъ, и эта роскошь, въ иныя минуты, была самому Бѣлинскому ненавистна. Какъ только онъ пришелъ къ мысли о состояніи общества, къ которому самъ принадлежалъ и для котораго хотѣлъ работать, ему стала ясна, во-первыхъ, необходимость иного воспитанія его, кромѣ „эстетическаго“, и во-вторыхъ, необходимость преобразованія самыхъ условій, въ которыхъ оно живетъ,—потому что въ условіяхъ, тогда существовавшихъ, никакой успѣхъ общества былъ невозможенъ.

Отсюда то страстное исканіе освобожденія мысли и жизни, о которомъ разсказываютъ воспоминанія современниковъ и которое (хотя все еще не вполнѣ) видѣли мы въ его перепискѣ. Это осво-

божденіе было и въ самомъ дѣлѣ неизбѣжной необходимостью—единственнымъ условіемъ, при которомъ возможно было ожидать лучшаго будущаго. Въ этомъ исканіи и заключалось содержаніе послѣдняго образа мыслей Бѣлинскаго. Изъ предыдущаго изложенія читатель могъ видѣть, въ чемъ состояли занимавшіе Бѣлинскаго вопросы: интересы общественности и литературы были здѣсь нераздѣльны—рядомъ съ освобожденіемъ слова и печати, отмѣна крѣпостного права, улучшеніе суда, расширеніе образованія, освобожденіе личности, освобожденіе женщины отъ тѣхъ наиболѣе грубыхъ стѣсненій, какія ее окружали, и т. д., — вопросы, съ которыми, въ новомъ наступившемъ періодѣ, общество и встрѣтилось дѣйствительно, какъ съ вопросами насущными.

Для Бѣлинскаго это были вопросы нисколько не отвлеченные. Страшно впечатлительный, онъ встрѣчался съ ними безпрестанно, въ обыденныхъ случаяхъ, въ газетномъ извѣстіи, въ журнальной повѣсти; онъ чувствовалъ ихъ своими нервами, какъ нервами возненавидѣлъ таможни. Извѣстны различные разсказы объ этой впечатлительности Бѣлинскаго, напримѣръ, разсказъ о томъ, какъ однажды возмутился онъ, услышавъ отъ своихъ знакомыхъ, къ которымъ пришелъ обѣдать на страстной недѣлѣ, что они ѣдятъ постное „для людей". Въ его перепискѣ есть эпизоды подобнаго крайняго раздраженія—которые мы затруднились передать въ печати, и гдѣ оно вызывалось въ немъ случаями изъ обыденной жизни, на которые обыкновенно мало обращается вниманія... Всѣмъ своимъ существомъ онъ былъ отданъ этому стремленію къ правдѣ и человѣческому достоинству, и оно вызывало эти энергическія протестаціи.

Бѣлинскій не могъ, при тогдашней цензурѣ, высказать десятой доли того, что́ ему хотѣлось сказать объ этихъ предметахъ; но въ ближайшемъ кружкѣ онъ говорилъ объ нихъ все, что́ думалъ; мысли его угадывали и читатели, привыкшіе тогда читать между строками и понимавшіе самые осторожные и отдаленные намеки.

Письмо къ Гоголю, разошедшееся по рукамъ, показало наконецъ всю силу и весь объемъ стремленій Бѣлинскаго.

Мы уже сказали, что не будемъ входить въ подробности собственно-литературной дѣятельности Бѣлинскаго и ея результатовъ, такъ какъ это въ общихъ чертахъ было уже достаточно объяснено въ прежнихъ трудахъ [1]). Въ томъ изъ нихъ, который нами указанъ, всего лучше опредѣлено, что́ сдѣлано было Бѣлинскимъ для нашей литературы, для разъясненія ея смысла, для устраненія множества всякихъ фальшивыхъ и вредныхъ понятій, для здраваго направленія ея развитія, наконецъ, для установленія самой ея исторіи. Прибавимъ нѣсколько замѣчаній объ историческомъ значеніи его дѣятельности, которое на́чало обнаруживаться фактически еще при его жизни, а въ особенности съ новыми литературными поколѣніями,—но и досихъ поръ нерѣдко объясняется очень невѣрно, между прочимъ и самими современниками Бѣлинскаго.

Въ одномъ изъ своихъ разсказовъ о Бѣлинскомъ [2]), г. Тургеневъ замѣчаетъ: „Бѣлинскій былъ именно тѣмъ, что́ мы бы рѣшились назвать центральной натурой — то-есть, онъ всѣми своими качествами стоялъ близко къ центру, къ самой сути своего народа... Можно быть человѣкомъ весьма умнымъ, блестящимъ и замѣчательнымъ и находиться въ тоже время на периферіи, на окружности, если можно такъ выразиться, своего народа“, т.-е. быть ему далекимъ, постороннимъ и безполезнымъ. Это замѣчаніе чрезвычайно справедливо, потому что, въ самомъ дѣлѣ, въ Бѣлинскомъ выражались съ особенной силой тогдашній моментъ общественнаго развитія, и тѣ стремленія, которыми была исполнена лучшая доля общества и которыя заключали въ себѣ истинное благо народа: Бѣлинскій въ этомъ отношеніи есть одно изъ замѣчательнѣйшихъ, и въ судьбѣ русскаго образованія, изъ самыхъ характерныхъ лицъ.

Но мы не можемъ принять безъ оговорки, или даже вовсе не можемъ согласиться съ другими мнѣніями и выводами г. Тургенева,—на которыхъ считаемъ необходимымъ остановиться именно потому, что сказанныя писателемъ авторитетнымъ, близкимъ свидѣтелемъ эпохи, однимъ изъ друзей Бѣлинскаго, они

---

[1]) Главнымъ образомъ въ статьяхъ „Современника“ 1855—1856.

[2]) „Моск. Вѣстникъ“, 1860, № 3.

въ особенности могутъ поддерживать несправедливыя понятія, во-первыхъ, о личномъ литературномъ положеніи Бѣлинскаго въ свое время; во-вторыхъ, объ его историческомъ отношеніи къ новому литературному поколѣнію.

Таковъ, во-первыхъ, упрекъ, который такъ долго употреблялся какъ оружіе противъ Бѣлинскаго, и еще употребляется врагами его, существующими до сихъ поръ. Г. Тургеневъ нѣсколько разъ упоминаетъ о „маломъ запасѣ познаній" Бѣлинскаго, о „неохотѣ къ медленнымъ трудамъ", о томъ, что ему „недоставало свѣдѣній — чтобы разработывать массу данныхъ фактовъ, вносить критическій анализъ въ исторію нашей литературы", что „свѣдѣнія его были необширны, онъ зналъ мало" и проч. [1]). Правда, авторъ хочетъ извинить Бѣлинскаго рядомъ замѣчаній—что въ то время „было не до того", чтобы разработывать массу фактовъ, что нужно было „расчистить самый родникъ, уяснить первоначальныя понятія современниковъ о томъ, что́ въ словесности нашей представлялось какъ правда и какъ красота";—что въ то время „ученый" человѣкъ и не могъ бы быть такой „центральной натурой", какъ былъ Бѣлинскій, потому что не соотвѣтствовалъ бы средѣ и между ними не было бы гармоніи, необходимой для пониманія;—что, несмотря на этотъ недостатокъ, Бѣлинскій все-таки могъ сдѣлать свое замѣчательное дѣло.

Но Бѣлинскій вовсе не нуждается въ подобномъ оправданіи и снисхожденіи, и болѣе правильное разъясненіе вопроса объ „учености" или „неучености" Бѣлинскаго было уже ранѣе указано въ литературѣ. Къ тому, что́ сказано другими, прибавимъ нѣсколько фактическихъ примѣровъ.

Говорятъ, что недостатокъ свѣдѣній не дозволилъ Бѣлинскому разработать факты, внести критическій анализъ въ исторію нашей литературы. Замѣтимъ, что рѣчь можетъ и должна идти только о новѣйшей литературѣ, съ XVIII вѣка, которая и была предметомъ собственныхъ занятій Бѣлинскаго. Можно подумать, что́ *въ то время* (потому что прилагать мѣрку *другого* времени не позволяютъ требованія исторической оцѣнки)

---

[1]) „Моск. Вѣстн." 1860; „В. Евр." 1869, апр.

кто-нибудь другой лучше Бѣлинскаго разработалъ факты и внесъ критическій анализъ въ исторію нашей литературы. Ничего не бывало! никто лучше не разработывалъ и не анализировалъ. Напротивъ, *въ то время* никто не говорилъ объ этомъ предметѣ лучше Бѣлинскаго: онъ былъ положительно лучшій знатокъ и критикъ новѣйшей русской литературы. Когда Бѣлинскій былъ студентомъ, каѳедра русской словесности принадлежала Мерзлякову, который еще восторгался Херасковымъ; когда Бѣлинскій началъ свою дѣятельность, въ московскомъ университетѣ профессорствовалъ Шевыревъ—это были признанные, доказанные патентами и мѣстами „ученые" историки и критики русской литературы: сравнивать ихъ съ Бѣлинскимъ—просто смѣшно. Шевыревъ нѣсколько спасъ свою репутацію „Исторіей древней русской словесности", въ которой было по крайней мѣрѣ изученіе фактовъ (и которая появилась впервые только къ концу сороковыхъ годовъ); но чтобъ ставить его въ параллель съ Бѣлинскимъ, слѣдуетъ брать его какъ критика новой литературы, какъ дѣятеля „Моск. Наблюдателя" (первой редакціи) и „Москвитянина", и тѣмъ, кому сравненіе показалось бы неясно, можно только посовѣтовать самимъ лично познакомиться съ писаніями Шевырева въ этихъ журналахъ.

Упрекать Бѣлинскаго въ недостаточной разработкѣ фактовъ можно только, сравнивая его труды съ *позднѣйшей* разработкой этихъ фактовъ у писателей, которые были его учениками и преемниками и которые уже имѣли предъ собой его предварительную общую характеристику старой литературы. Но, не говоря о разницѣ времени, новые труды исходили изъ совершенно иной точки зрѣнія.

Бѣлинскій въ свое время имѣлъ задачей, какъ выражается самъ г. Тургеневъ, показать, „что́ въ словесности нашей представлялось какъ правда и какъ красота", ему нужно было, въ исторіи литературныхъ явленій, объяснить ихъ эстетическій смыслъ, растолковать, что́ можетъ считаться истинной поэзіей и что́ было стихоплетствомъ, гдѣ были самостоятельные проблески настоящаго „искусства" и гдѣ было механическое, рабское подражаніе; и съ этой стороны, онъ, для своего времени и для перваго объясненія дѣла, мастерски разработалъ и ана-

лизировалъ факты, т.-е. выдѣлилъ дѣйствительно поэтическое и самобытное изъ массы сухого и бездарнаго реторическаго подражанія. Бѣлинскій тогда и имѣлъ въ виду только исторію *художественной* литературы, и въ *этомъ* смыслѣ его трудно даже упрекать за недостатокъ исторической перспективы, — такъ, напримѣръ, въ статьяхъ о Пушкинѣ, гдѣ Бѣлинскій разыскивалъ въ старой литературѣ поэтическіе элементы, подготовившіе Пушкина (первыя статьи), перспектива несомнѣнно соблюдалась. Въ недостаткѣ исторической перспективы скорѣе надобно упрекнуть тѣхъ противниковъ, съ которыми ему приходилось спорить и которые именно забывали о ней, навязывая и въ настоящее время поклоненіе Ломоносову и Державину и не давая мѣста новой литературѣ.

Въ томъ трудѣ, который былъ предпринятъ Бѣлинскимъ, онъ былъ положительно предоставленъ собственнымъ силамъ. Ему нисколько не помогли ни Мерзляковъ, ни Шевыревъ, ни даже Полевой; они скорѣе даже мѣшали ему, потому что въ самое трудное для него время, въ началѣ его дѣятельности, когда онъ впервые высказывался, ихъ мнѣнія и писанія только загромождали его путь ложными понятіями, которыя ему нужно было отвергнуть или исправить. Ему помогъ отчасти Надеждинъ,—но только самымъ общимъ образомъ, намекомъ на болѣе строгія критическія требованія и своей наклонностью скептически смотрѣть на русскую литературу, — а все исполненіе было дѣломъ самого Бѣлинскаго: „Литературныя Мечтанія“ сами по себѣ были уже дѣломъ такой критической силы, которой и тѣни не было у Шевырева и у всѣхъ противниковъ Бѣлинскаго, взятыхъ вмѣстѣ.

У новѣйшихъ изслѣдователей (съ начала пятидесятыхъ годовъ) являлась совсѣмъ иная чисто спеціальная задача: они уже имѣли передъ собой намѣченными основныя черты литературной исторіи съ XVIII вѣка, въ смыслѣ художественнаго развитія, и вовсе не перерѣшали сужденій Бѣлинскаго, а разбирали эту литературу съ другой, совсѣмъ новой стороны, — именно, со стороны бытовой исторіи, исторіи нравовъ и образованности. Для нихъ естественно понадобился иной подборъ фактовъ, иныя подробности; они принялись искать ихъ, и ко-

нечно многое находили, — но во всякомъ случаѣ дѣлали уже *другое* дѣло, и ихъ работы ни мало не уменьшали заслуги Бѣлинскаго. Это были двѣ задачи и два историческіе пріема, изъ которыхъ каждый имѣлъ свое научное основаніе, и второй возможенъ былъ только при первомъ, или послѣ перваго.

Въ видѣ извиненія Бѣлинскаго въ „недостаточной разработкѣ фактовъ", указываютъ, что тогда „слѣдовало расчистить самый родникъ, уяснить первоначальныя понятія". Намъ кажется, что „расчистить родникъ" — столь великая задача, что ея исполненіе есть уже достаточно великая и серьёзная заслуга: это — разъяснить самую сущность вопроса, что́ труднѣе, чѣмъ разработывать подробности.

Понятно, что и „малый запасъ познаній" должно судить по сравненію не съ тѣмъ, какой былъ *послѣ* въ литературномъ обращеніи, а какой бывалъ въ тѣ времена. Въ одной изъ послѣднихъ статей своихъ Бѣлинскій, вызванный противниками, самъ смѣло высказывалъ, что своими трудами больше принесъ пользы литературѣ, чѣмъ „дѣйствительно ученые" его противники (онъ разумѣлъ тогда между прочимъ Шевырева). И онъ былъ, безъ сомнѣнія, правъ. Ученость бываетъ различная: бываетъ ученость, пріобрѣтаемая одной усидчивостью, состоящая въ знаніи заглавій, въ клочкахъ чужихъ мыслей, ничѣмъ несвязанныхъ, и не способная ни къ какому свободному развитію и живому примѣненію научной мысли. Такой учености не было у Бѣлинскаго, но очень много было у Шевырева, и извѣстно, какъ мало помогла эта ученость критическому пониманію Шевырева въ новой литературѣ, и какъ даже въ старой, которую онъ спеціально изучалъ, „ученая разработка" фактовъ привела его только къ самой уродливой исторической теоріи. Бѣлинскій и его друзья, съ которыми онъ параллельно развивался, стояли, конечно, несравненно выше ученаго ареопага ихъ противниковъ — въ томъ, что́ было истиннымъ движущимъ началомъ тогдашней образованности. Какъ въ настоящее время этимъ движущимъ началомъ становится естествознаніе, такъ въ то время была имъ нѣмецкая философія: въ *тогдашнемъ* положеніи ученыхъ вещей, это былъ высшій научный критеріумъ въ вопросахъ отвлеченной и нравственной философіи. Гдѣ

же Бѣлинскій и его друзья познакомились съ этой нѣмецкой философіей? Въ оффиціальномъ ученомъ мірѣ знакомство съ Гегелемъ явилось только позднѣе, у молодыхъ ученыхъ, штудировавшихъ за границей, а первое изученіе Гегеля въ Россіи было самостоятельнымъ дѣломъ кружка Станкевича, въ половинѣ тридцатыхъ годовъ; и впослѣдствіи, когда Станкевича уже не было, кружокъ Бѣлинскаго съумѣлъ воспринять и переработать ее въ любопытномъ и замѣчательномъ совпаденіи съ движеніемъ этой философіи въ самой Германіи, въ молодой гегеліянской школѣ, и затѣмъ выдти изъ нея къ новымъ научнымъ и общественнымъ интересамъ. Бѣлинскій имѣлъ здѣсь уже свободную дѣятельную роль. Чѣмъ отвѣчали на это „дѣйствительно ученые" противники? Шевыревъ восхвалялъ въ „Москвитятинѣ" мистическую философію Баадера; И. И. Давыдовъ въ томъ же „Москвитянинѣ", отвергая гегеліянство, рекомендовалъ какую-то супер-натуральную философію умѣренности и аккуратности. Оба они были *докторами* философіи, и журналъ издавался чуть ли не *докторомъ* историческихъ наукъ. Тѣ, кто обвиняетъ Бѣлинскаго въ маломъ запасѣ знаній, вообще забываютъ о томъ, что́ творилось въ тогдашней литературѣ подъ руками „дѣйствительно ученыхъ" дѣятелей, напр. обо всей массѣ нелѣпостей, какія печаталъ „Москвитянинъ", о томъ презрительномъ шутовствѣ или невѣжествѣ (иногда это трудно разобрать), съ какимъ относился къ русской литературѣ и къ европейской наукѣ Сенковскій, о мистическихъ и хвастливыхъ мечтаніяхъ стараго и новаго славянофильства и т. д. и т. д. Было бы долго пересчитывать странныя и просто дикія мнѣнія, принадлежавшія часто и „дѣйствительно ученымъ", съ которыми приходилось имѣть дѣло мало-ученому Бѣлинскому; образчики этого рода были давно приведены и напрасно забыты теперь строгими судьями Бѣлинскаго [1]). Въ при-

[1]) Въ упомянутыхъ статьяхъ „Совр." 1855—1856 г. Въ одномъ мѣстѣ авторъ этихъ статей, критикъ новаго литературнаго поколѣнія, останавливается на другомъ обвиненіи, какое по преданію взводимо было на Бѣлинскаго,— на обвиненіи въ нетерпимости, въ рѣзкости (печатныхъ) мнѣній. Авторъ объясняетъ, какова была на самомъ дѣлѣ эта мнимая рѣзкость Бѣлинскаго, и могъ ли онъ быть болѣе уступчивъ, когда ему приходилось имѣть дѣло съ мнѣ-

мѣчаніи читатель найдетъ нѣсколько этихъ образчиковъ: они кажутся невѣроятными, но подлинность ихъ однако несомнѣнна; — читатель можетъ найти ихъ у Сенковскаго, Полевого, но въ особенности у писателей „Москвитянина“ и въ другихъ славянофильскихъ изданіяхъ. — Въ чемъ же дѣло? Въ томъ, что „ученость“ (которую всѣ признавали и даже восхваляли у большинства цитированныхъ здѣсь авторовъ) часто вовсе не избавляетъ отъ необразованности, или по крайней мѣрѣ отъ совершеннаго умственнаго безплодія, или неумѣнья съ здравымъ смысломъ пользоваться знаніями, если они и бывали.

ніями, явно нелѣпыми. — Приводимые имъ примѣры могутъ служить и для нашей цѣли.

„Въ спорахъ съ противниками Бѣлинскій не имѣлъ привычки уступать, и въ полемикѣ, которую онъ велъ, не было ни одного случая, когда споръ не кончался бы совершеннымъ пораженіемъ противника во всѣхъ пунктахъ... Но должно только припомнить, съ какими мнѣніями велъ онъ борьбу, и надобно будетъ признаться, что иначе споръ не могъ кончаться. Бѣлинскій спорилъ только противъ мнѣній, положительно вредныхъ и рѣшительно ошибочныхъ... (Поэтому именно онъ и не могъ быть уступчивъ; въ противномъ случаѣ, еслибъ его противники имѣли на своей сторонѣ долю правды, онъ охотно призналъ бы ее)... Когда онъ замѣчалъ свои ошибки, онъ не колебался самъ первый обнаруживать ихъ. Но что оставалось ему дѣлать, когда, напримѣръ, одинъ изъ его противниковъ возмущался отсутствіемъ всякихъ убѣжденій въ статьяхъ Бѣлинскаго, когда тотъ же самый противникъ утверждалъ, что Бѣлинскій пишетъ, самъ не понимая смысла своихъ словъ, — потомъ твердилъ, что Бѣлинскій заимствуетъ у него свои понятія (когда дѣло было совершенно наоборотъ, что очевидно каждому при сличеніи стараго „Москвитянина“ съ „Отеч. Записками“), — когда другіе возставали на Бѣлинскаго за мнимое неуваженіе къ Державину и Карамзину (которыхъ онъ первый оцѣнилъ) и т. д., — тутъ, при всей готовности быть уступчивымъ, невозможно было увидѣть въ замѣчаніяхъ противниковъ ни искры правды, и невозможно было не сказать, что они совершенно ошибочны. Таково же бывало положеніе дѣла, когда Бѣлинскій въ свою очередь начиналъ полемику: могъ ли онъ не говорить, что мнѣнія, противъ которыхъ онъ возстаетъ, совершенно лишены всякаго основанія, когда эти мнѣнія были такого рода: „Гоголь писатель безъ всякаго таланта—лучшее лицо въ „Мертвыхъ Душахъ“ кучеръ Чичикова Селифанъ — Гегелева философія заимствована изъ „Завѣщанія“ Владиміра Мономаха — писатели, подобные г. Тургеневу и г. Григоровичу, достойны сожалѣнія, потому что берутъ содержаніе своихъ произведеній не изъ русскаго быта — Лермонтовъ былъ подражателемъ г. Бенедиктова и плохо владѣлъ стихомъ — романы Диккенса произведенія уродливой бездарности—Пушкинъ былъ плохой писатель—

У Бѣлинскаго не было ученой спеціальности; онъ и не нуждался въ ней по цѣлямъ своей дѣятельности,—но конечно никто изъ его ученыхъ противниковъ, которыхъ книжныя свѣдѣнія могли превышать „малыя познанія“ Бѣлинскаго, не обладалъ тѣмъ пламеннымъ стремленіемъ къ правдѣ, тѣмъ вѣрнымъ угадываніемъ ея и воспринятіемъ въ личную жизнь и въ служеніе своему обществу, — какія принадлежатъ истинному образованію и которыя были у Бѣлинскаго самой природой. Его знанія, его идеалы никогда не были для него только книжнымъ пріобрѣтеніемъ; онъ переживалъ ихъ всѣмъ своимъ суще-

величайшіе поэты нашего вѣка Викторъ Гюго и г. Хомяковъ — г. Соловьевъ не имѣетъ понятія о русской исторіи — нѣмцы должны быть истреблены — VII глава „Евгенія Онѣгина“ есть рабское подражаніе одной изъ главъ „Ивана Выжигина“ — лучшее произведеніе Гоголя его „Вечера на Хуторѣ“ (по мнѣнію однихъ) или „Переписка съ друзьями“ (по мнѣнію другихъ), остальныя же гораздо слабѣе—Англія погибла около 1837 года, такъ что не осталось и слѣдовъ ея существованія, какъ не осталось слѣдовъ платоновой Атлантиды — Англія единственное живое государство въ западной Европѣ (мнѣніе того же писателя, который открылъ, что она погибла) — лукавый западъ гніетъ и мы должны поскорѣе обновить его мудростью Сковороды — Византія должна быть нашимъ идеаломъ — просвѣщеніе приноситъ вредъ“ и т. д. и т. д. Можно ли найти хотя какую-нибудь частицу правды въ такихъ сужденіяхъ? Можно ли дѣлать имъ уступки? Возставать противъ нихъ значитъ ли обнаруживать духъ нетерпимости? Когда одному изъ людей, воображающихъ себя учеными, и пользовавшемуся сильнымъ вліяніемъ въ журналѣ, который имѣлъ своею спеціальностью борьбу противъ Бѣлинскаго и „Отеч. Записокъ“, вздумалось утверждать, что Галилей и Ньютонъ поставили астрономію на ложный путь, неужели можно было бы вести съ нимъ споръ такимъ образомъ: „Въ вашихъ словахъ есть много справедливаго... но, соглашаясь съ вами въ главномъ, мы должны сказать, что нѣкоторыя подробности въ вашихъ замѣчаніяхъ кажутся намъ не совсѣмъ ясны“: говорить такъ, значило бы измѣнять очевидной истинѣ и дѣлать себя предметомъ общей насмѣшки. Возможно ли было говорить такимъ тономъ и о тѣхъ сужденіяхъ, образцы которыхъ представили мы выше, и которыя въ своемъ родѣ ничуть не хуже опроверженія Ньютоновой теоріи... Относительно такихъ мнѣній нѣтъ средины: или надобно молчать о нихъ, или прямо, безъ малѣйшихъ уступокъ, высказывать, что они лишены всякаго основанія. Разумѣется, нападенія на Галилея и Ньютона можно было оставить безъ вниманія—не было опасности, чтобы кто-нибудь введенъ былъ ими въ заблужденіе. Но другія сужденія не были такъ невинны“... („Соврем.“ 1856, кн. 10, стр. 42—44. О недостаткѣ „учености“ у Бѣлинскаго см. тамъ же, кн. 11, стр. 14—16).

ствомъ, добытыя убѣжденія считалъ нравственной обязанностью, принималъ ихъ какъ религію, — и въ этомъ была его великая сила.

Намъ остается сказать еще о дальнѣйшей литературной судьбѣ Бѣлинскаго.

По его смерти, имя его названо было въ первый разъ въ 1856 году. Но еще раньше, какъ только открылась возможность намекать на это имя (въ 1855), воспоминаніе объ его дѣятельности было одною изъ первыхъ мыслей возрождавшейся литературы. Съ тѣхъ поръ явился цѣлый рядъ воспоминаній, характеристикъ, біографическихъ очерковъ. Сочиненія его, изданныя въ 1859—1862, имѣли значительный успѣхъ, который показывалъ, что при всей перемѣнѣ интересовъ въ новомъ наступившемъ періодѣ общественной жизни Бѣлинскій привлекалъ къ себѣ не одно историческое любопытство. Очевидно, вліяніе его еще продолжалось въ массѣ читателей.

Для критиковъ новаго литературнаго поколѣнія Бѣлинскій точно также остался предметомъ высокаго уваженія. Объясненію его историческаго значенія посвященъ былъ на первыхъ же порахъ обширный трудъ, который свидѣтельствовалъ о самомъ тепломъ сочувствіи и высокой оцѣнкѣ. Новая критика очевидно связывала свое дѣло съ дѣломъ Бѣлинскаго, какъ его продолженіе и развитіе.

Между тѣмъ уже довольно скоро обнаружилось странное недоразумѣніе. Въ литературѣ еще продолжали дѣйствовать современники Бѣлинскаго, люди его круга, его ближайшіе друзья, дѣлившіе съ нимъ и успѣхи, и невзгоды. Въ своей дѣятельности они, конечно, также думали видѣть дальнѣйшее развитіе содержанія, для котораго работали въ болѣе трудныя времена еще съ Бѣлинскимъ; въ явленіяхъ новой литературы и общественности они могли видѣть (и справедливо) не малую долю своего труда и заслуги. Надо было бы ожидать, что они увидятъ друзей и союзниковъ въ писателяхъ новаго поколѣнія, для которыхъ Бѣлинскій послужилъ школой и исходнымъ пунктомъ: у нихъ, въ самомъ дѣлѣ, было много общихъ враговъ—и въ литературѣ, и въ общественныхъ элементахъ. Нѣсколько времени дѣйствительно сохранялась между тѣми и

другими извѣстная солидарность; по крайней мѣрѣ возможно было согласное дѣйствіе и взаимное пониманіе. Но вскорѣ между ними стало больше и больше замѣтно отдаленіе, охлажденіе, наконецъ разрывъ. Двѣ стороны стали (около 1860 года) почти въ то самое положеніе, въ какое обыкновенно становились у насъ два поколѣнія: онѣ перестали понимать другъ друга. Намъ нѣтъ надобности входить въ эту длинную и довольно мудреную для изложенія исторію, — притомъ, главное болѣе или менѣе извѣстно. Эта исторія важна здѣсь для насъ только по отношенію къ Бѣлинскому, по взглядамъ на его дѣятельность, какіе были высказаны съ той и другой стороны. Разногласіе оказалось и въ пониманіи Бѣлинскаго; и начало этого разногласія можно замѣтить уже въ первое время, когда стало возможно говорить о Бѣлинскомъ.

Мы видѣли, по фактамъ, по признаніямъ самого Бѣлинскаго, какъ сложились въ послѣдніе годы его понятія, въ чемъ онъ видѣлъ потребность общественнаго образованія и цѣль своей дѣятельности. И въ свои послѣдніе годы онъ оставался, по традиціи, по необходимости, литературнымъ, эстетическимъ критикомъ, но критика представлялась ему уже совсѣмъ иначе: вопросы чистой эстетики переставали занимать его, и на первомъ планѣ стоялъ интересъ общественный. Мы видѣли, какъ естественно и послѣдовательно совершалась въ немъ эта смѣна, въ которой одинаково отражалось и соединялось его личное развитіе и движеніе самого общества. Отвлеченный нравственный принципъ самъ собою, логическимъ ходомъ, достигалъ бо́льшаго опредѣленія и приходилъ къ неизбѣжному результату: горячее, правдивое отношеніе къ нему Бѣлинскаго ясно показывало ему этотъ результатъ, и онъ его принялъ. Совершенно очевидно, что иначе не могло и быть, и что стремленіе къ общественной критикѣ составляло въ немъ исторически необходимую и столь существенную черту, что ея невозможно отдѣлить отъ его цѣлаго историческаго характера. Мы видѣли, какъ этому личному развитію соотвѣтствовало и движеніе самой литературы, гдѣ, хотя не смѣло и сдержанно, но, для понимающихъ, совершенно ясно высказывалось то же направленіе, то же стараніе подойти къ общественной дѣйствительности,

отвергнуть ея отживающія начала, заявить новыя требованія. Не говоримъ уже о подобной публицистической наклонности ближайшихъ друзей Бѣлинскаго, работавшихъ рядомъ съ нимъ, о дѣятельности друзей, болѣе юныхъ, какъ Валеріанъ Майковъ, и др.: это направленіе сказывалось и въ чистой беллетристикѣ, въ литературѣ „художественной". Такъ-называемая натуральная школа имѣла смыслъ — именно обращенія къ обыденной жизни массъ, указанія ихъ бѣдственности и безправія,—смыслъ филантропіи, но и протеста. Въ послѣ-гоголевской литературѣ вообще примѣнялось и развивалось общественное направленіе самого Гоголя, и у новыхъ писателей это примѣненіе становилось уже видимой цѣлью: таковы — „Разсказы Охотника", повѣсти Григоровича, въ которыхъ читатели видѣли ясные намеки на крѣпостной вопросъ; таковы были повѣсти Достоевскаго, явно разработывавшаго темы гоголевской „Шинели", „Записокъ Сумасшедшаго" и т. п.; стихи Некрасова, рѣзко задѣвавшіе „общественныя" темы; съ другой стороны, внѣ непосредственныхъ вліяній Гоголя и подъ явнымъ вліяніемъ Жоржъ-Занда— повѣсти Дружинина, отчасти Кудрявцева, указывавшія на женскій вопросъ, и т. д. Въ самыхъ повѣстяхъ г. Гончарова, рисовавшихъ жизнь безъ предвзятой цѣли, Бѣлинскій съ удовольствіемъ указывалъ ихъ общественную полезность — изобличеніе мечтательнаго бездѣлья, пустой романтики.

Оставляя въ сторонѣ теоретическій вопросъ объ „утилитарности", нельзя не видѣть, что Бѣлинскій вовсе не былъ одинокъ въ своемъ обращеніи отъ „чистаго" искусства къ тенденціозности, къ тому, что́ называютъ у него „утилитарностью". Всѣ названные писатели, за исключеніемъ развѣ г. Гончарова, были явно, несомнѣнно тенденціозны, и въ своемъ собственномъ сознаніи они не только не отвергали этой тенденціозности, но безъ сомнѣнія считали (и справедливо) ее заслугой въ тогдашнемъ обществѣ, которому хотѣли указать мрачныя и тяжелыя стороны его настоящаго, и лучшіе идеалы. Общественный голосъ и тогда, и послѣ, признавалъ эту заслугу, которая и опредѣлила ихъ историческое мѣсто. Съ Бѣлинскимъ они были совершенно солидарны.

Но по смерти Бѣлинскаго въ понятіяхъ кружка наступилъ

сначала мало замѣтный поворотъ, который чѣмъ дальше, тѣмъ обнаруживался яснѣе. Преданіе какъ будто забывалось. Одной изъ причинъ поворота было то, что въ первое время Бѣлинскому не нашлось преемника равной силы и энтузіазма, а другою то, что крайнее внѣшнее стѣсненіе литературы не позволяло и думать о продолженіи начатаго; невольное удаленіе отъ живыхъ общественныхъ задачъ обращало писателей и критику опять къ отвлеченному искусству и „эстетическому воспитанію". На мѣсто Бѣлинскаго и Валер. Майкова критиками явились Боткинъ (со взглядами его второго періода, т.-е. съ удаленіемъ отъ либеральнаго идеализма и съ культомъ чистаго искусства), Дружининъ и Дудышкинъ, одинъ — изъ самыхъ старыхъ, другіе — изъ новыхъ друзей Бѣлинскаго, которые одинаково думали теперь, что именно продолжаютъ дѣло Бѣлинскаго; и потомъ, когда послѣ этого междуцарствія въ литературѣ началось новое движеніе, и — именно съ того, на чемъ остановилось оно при Бѣлинскомъ, — многимъ изъ друзей Бѣлинскаго стало казаться, что литература, напротивъ, покидаетъ открытый имъ путь и сбивается куда-то на ложную дорогу. Бѣлинскій сталъ представляться этимъ друзьямъ какъ именно чистый эстетикъ; забывая собственную тенденціозную дѣятельность кружка, начатую еще при немъ, они противопоставляли теорію чистаго искусства новымъ возникавшимъ (или только возвращавшимся) взглядамъ, приводя въ свою защиту и Бѣлинскаго, которому приписывали ту же теорію. Когда новая критика желала отъ писателя только болѣе ясныхъ выраженій того общественнаго направленія, какое литература приняла еще въ сороковыхъ годахъ; когда при этомъ замѣчалось, что для литературы есть болѣе серьёзныя задачи, чѣмъ, напр., извѣстное „чернокнижіе", и въ жизни общества есть еще много важныхъ предметовъ, кромѣ „тайниковъ женскаго сердца"; когда вообще выражено было сомнѣніе, дѣйствительно-ли столь „свободно" то наше „искусство", о которомъ такъ много говорилось, и дѣйствительно-ли столь велики его пріобрѣтенія въ тогдашней литературѣ, — людямъ прежняго круга Бѣлинскаго казалось, что новая критика не признаетъ „вѣчныхъ" законовъ художества и хочетъ ограничить, унизить его для узкой, времен-

ной полезности. Когда новая критика желала выяснить самые законы искусства менѣе метафизическимъ способомъ, чѣмъ то дѣлалось со временъ Шеллинга и Гегеля, и пробовала указывать объясненія, болѣе соотвѣтствующія требованіямъ современнаго точнаго изслѣдованія, это показалось просто нарушеніемъ и разграбленіемъ эстетической святыни. Читатель, слѣдившій за этими предметами, припомнитъ эстетическій споръ, который велся въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ, и другой эстетическій разрывъ двухъ сторонъ въ началѣ шестидесятыхъ.

Эти полемическія отношенія отразились и на историческомъ опредѣленіи Бѣлинскаго. Враждебный взглядъ людей прежняго круга Бѣлинскаго на новыя литературныя стремленія получилъ такъ-сказать обратное дѣйствіе: свой собственный *новый* взглядъ они приписали и Бѣлинскому, и выставили Бѣлинскаго *противъ* тѣхъ идей, съ которыми спорили сами. Другими словами: ставя себя въ солидарность съ Бѣлинскимъ, они отвергали историческую связь его съ ихъ противниками, видѣли въ идеяхъ этихъ противниковъ не преемственность идеямъ Бѣлинскаго, а скорѣе прямое ихъ нарушеніе и отрицаніе.

Мы думаемъ объ этомъ совершенно наоборотъ.

Для объясненія нашихъ словъ возвратимся опять къ тѣмъ воспоминаніямъ о Бѣлинскомъ, которыя доставляютъ о немъ столько любопытныхъ подробностей и которыя, по имени автора, заслуживаютъ и требуютъ особеннаго вниманія. Воспоминанія г. Тургенева въ различныхъ отзывахъ о Бѣлинскомъ самымъ несомнительнымъ образомъ выражаютъ взглядъ, о которомъ сейчасъ говорено, и мы не можемъ обойти этихъ отзывовъ при исторической оцѣнкѣ Бѣлинскаго, такъ какъ они идутъ отъ очень авторитетнаго писателя и одного изъ ближайшихъ лицъ того кружка.

Присутствіе указанныхъ соображеній явно обнаруживается слѣдующими словами автора, въ которыхъ, кромѣ полемическаго аргумента, мы не можемъ согласиться и съ тѣмъ характеромъ, какой здѣсь приписывается Бѣлинскому.

Сказавъ о замѣчательномъ эстетическомъ чутьѣ Бѣлинскаго, г. Тургеневъ продолжаетъ:

„Другое замѣчательное качество Бѣлинскаго, какъ критика,

было его пониманіе того, что́ именно стоитъ на очереди, что́ требуетъ немедленнаго разрѣшенія, въ чемъ сказывается „злоба дня". Не въ пору гость хуже татарина, — гласитъ пословица; не въ пору возвѣщенная истина хуже лжи, не въ пору поднятый вопросъ только путаетъ и мѣшаетъ. Бѣлинскій никогда бы не позволилъ себѣ той ошибки, въ которую впалъ даровитый Добролюбовъ; онъ не сталъ бы, напримѣръ, съ ожесточеніемъ бранить Кавура, Пальмерстона, вообще парламентаризмъ, какъ неполную и потому невѣрную форму правленія. Даже допустивъ справедливость упрековъ, заслуженныхъ Кавуромъ, онъ бы понялъ всю несвоевременность (у насъ, въ Россіи, въ 1862 году)—подобныхъ нападеній; онъ бы понялъ, какой партіи они должны были оказать услугу, кто бы порадовался имъ! Бѣлинскій *очень хорошо сознавалъ*, что при обстановкѣ, среди которой онъ дѣйствовалъ, ему *не слѣдовало* выходить изъ круга чисто литературной критики. Во-первыхъ, при тогдашнихъ оффиціальныхъ, житейскихъ, цензурныхъ условіяхъ иначе дѣйствовать было слишкомъ затруднительно... а во-вторыхъ, онъ очень ясно видѣлъ и понималъ, что въ развитіи каждаго народа литературная эпоха предшествуетъ другимъ; что, не переживъ и не преодолѣвъ ея, нельзя двигаться впередъ, что критика, въ смыслѣ отрицанія фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явленія литературныя — и что именно въ этомъ и состояло его литературное призваніе. Его политическія, соціальныя убѣжденія были очень сильны и опредѣлительно рѣзки; но они оставались въ сферѣ инстинктивныхъ симпатій и антипатій. Повторяю: Бѣлинскій зналъ, что нечего было думать примѣнять ихъ, проводить ихъ въ дѣйствительность; да еслибъ оно и стало возможнымъ—въ немъ самомъ не было ни достаточной подготовки, ни даже потребнаго на то темперамента,—онъ и это зналъ—и съ свойственнымъ ему практическимъ пониманіемъ своей роли, *самъ* ограничилъ кругъ своей дѣятельности, *сжалъ* ее въ извѣстные предѣлы... Незадолго до смерти Бѣлинскій начиналъ чувствовать, что наступало время сдѣлать новый шагъ, выдти изъ того тѣснаго круга; политико-экономическіе вопросы должны были *смѣнить* вопросы эстетическіе, литературные, но самъ онъ себя уже *устранялъ* и ука-

зывалъ на другое лицо, въ которомъ видѣлъ своего преемника—на В. Н. Майкова, брата поэта"... [1]).

Противоположеніе явно сдѣлано съ полемическою цѣлью и дальше, какъ увидимъ, опять повторяется, не въ пользу Добролюбова. Но это противоположеніе есть однако чисто воображаемое, и главное — Бѣлинскому дается при этомъ, по нашему мнѣнію, невѣрная характеристика.

„Не въ пору гость хуже татарина" — такой недвусмысленной фразой авторъ желаетъ опредѣлить ошибку Добролюбова, которой, по его мнѣнію, никогда бы не сдѣлалъ Бѣлинскій. Не будемъ спорить съ авторомъ лично о Добролюбовѣ, хотя въ приведенномъ примѣрѣ не видимъ никакой особенной ошибки [2]), но никакъ не можемъ согласиться съ тѣмъ, что́ говоритъ авторъ о Бѣлинскомъ. Слова его о Бѣлинскомъ совершенно опровергаются извѣстными фактами. Неужели правда, въ самомъ

---

[1]) „Вѣстн. Евр.", 705—706.

[2]) Почтенный авторъ, имѣвшій въ теченіе своей дѣятельности не мало литературнаго опыта, долженъ согласиться, что русская литература, съ самаго начала, вовсе не имѣла относительно „истинъ" такого положенія, которое можно было бы назвать свободнымъ и нормальнымъ; никакой энтузіазмъ, никакая преданность „истинѣ" въ отдѣльномъ писателѣ не давали ему возможности полно и серьёзно развивать ее (хотя бы чисто теоретически) — такъ, какъ онъ самъ былъ въ ней убѣжденъ и какъ бы требовало ея достоинство. По собственному опыту въ русской литературѣ, авторъ знаетъ, что она и до сихъ поръ очень небогата „истинами", что самое большее, чего она достигала—было только, что ей „удавалось" намекать, сообщать о нихъ, съ грѣхомъ пополамъ, нѣкоторое приблизительное понятіе. Неужели, при такомъ положеніи вещей, „истина" есть для насъ такая обыкновенная вещь, что мы можемъ относиться къ ней съ пренебреженіемъ и трактовать ее „хуже чѣмъ татарина"? И съ другой стороны, возвращаясь къ тому же примѣру, спросимъ, неужели русская литература была въ такомъ положеніи, чтобъ ея голосъ могъ имѣть силу въ *подобныхъ* вопросахъ? „Не въ пору возвѣщенная истина", говоритъ г. Тургеневъ объ ошибкахъ Добролюбова. Но мы недоумѣваемъ, чему и кому могъ помѣшать Добролюбовъ (въ томъ смыслѣ, какъ винитъ его г. Тургеневъ) своими нападеніями на итальянскій парламентаризмъ, или какой партіи они должны были оказать услугу. Сколько мы понимаемъ, одна партія могла быть недовольна въ то время, когда писалъ Добролюбовъ, это была партія „Русскаго Вѣстника" (уже вскорѣ совершенно объяснившаяся), а когда писалъ г. Тургеневъ — партія „Вѣсти". Едва ли надо сожалѣть, если Добролюбовъ помѣшалъ которой-нибудь изъ нихъ.

дѣлѣ, что Бѣлинскій *сознавалъ*, что ему *не слѣдовало* выходить изъ круга чисто литературной критики? Если не слѣдовало — только по внѣшнимъ, цензурнымъ затрудненіямъ, которыя отъ него ни мало не зависѣли, и не оставляли для него выбора,— то это не былъ уже *его* взглядъ, и объ этомъ не стóило говорить: физическая необходимость заставляла и его, и Добролюбова одинаково покоряться этимъ условіямъ. Но никогда Бѣлинскій (кромѣ 1837—39 г.) не думалъ *самъ*, что это и есть самое лучшее положеніе для его литературной дѣятельности. Мы видѣли длинный рядъ его жалобъ и негодованія на „отеческую расправу", на „шельмованіе", на „палачей"; онъ бился какъ рыба объ ледъ, истинно страдалъ отъ того, что мысль, имъ уже высказанная, т.-е. написанная, погибала въ печати,— и ни мало не думалъ онъ, что ему *не слѣдовало* выходить изъ круга чисто литературной критики: напротивъ, ему давно наскучило говорить „все о литературѣ, и никогда о нравахъ", онъ питалъ отвращеніе къ „лисьему верченію хвостомъ", онъ рвался говорить о жизни, объ обществѣ, о томъ, чтó именно выходило изъ круга чисто литературной критики. Въ послѣдніе годы его критика въ самомъ дѣлѣ больше и больше покидала чисто литературную почву и обращалась къ вопросамъ общественной жизни. Изъ его послѣднихъ писемъ видно, до какой степени его занимали вопросы этого рода, напр., слухъ о готовящейся отмѣнѣ крѣпостного права; какъ русская повѣсть становится для него цѣнной лишь настолько, насколько въ ней присутствуютъ эти интересы общественной жизни; какъ изъ общественныхъ, и вовсе не однихъ литературныхъ, причинъ развивалась его вражда къ славянофильству и т. п. Его подавляла, томила внѣшняя невозможность говорить о подобныхъ предметахъ въ печати, какъ говорилъ онъ съ друзьями; и никогда онъ не думалъ, по доброй волѣ, что не слѣдовало говорить о нихъ самому обществу—напротивъ, это было бы самое страстное его желаніе. Если дѣйствительно, какъ замѣчаетъ авторъ, Бѣлинскій видѣлъ подъ конецъ жизни, что наступало время сдѣлать новый шагъ и при этомъ онъ себя уже устранялъ, — то конечно это могло быть сказано только или въ томъ смыслѣ, что Бѣлинскій вообще предчувствовалъ конецъ своей дѣ-

ятельности, или въ томъ, что не хотѣлъ браться за предметы (политико-экономическіе), къ которымъ не былъ спеціально приготовленъ: иначе, немыслимо, чтобы Бѣлинскій могъ думать, что ему уже *нечего* говорить, какъ будто могла истощиться масса основныхъ понятій общественнаго права и нравственности,—разъясненіе которыхъ могло бы быть еще необходимѣе для общества въ такую пору, когда бы явились передъ нимъ многозначительные вопросы общественнаго преобразованія, — и нѣтъ сомнѣнія, что по этимъ основнымъ предметамъ общественной нравственности Бѣлинскій могъ бы сказать много краснорѣчивыхъ словъ, полныхъ глубокаго убѣжденія и нужныхъ для общества.

Бѣлинскій очень хорошо видѣлъ, продолжаетъ авторъ, что „въ развитіи каждаго народа литературная эпоха предшествуетъ другимъ, что, не переживъ ея, нельзя двигаться впередъ“ и пр. Мысль не совсѣмъ опредѣленная, но если и принять ее, какъ есть, то гдѣ граница этой литературной эпохи? Кто укажетъ, гдѣ кончается она, и гдѣ должна начаться другая эпоха?

Г. Тургеневъ заключаетъ этотъ параграфъ своихъ воспоминаній повтореніемъ мысли, что дѣятельность Бѣлинскаго „неуклонно“ и строго держалась литературной почвы. Мы видѣли, что́ производило эту неуклонность: не-литературная почва была заперта. „Только въ одномъ извѣстномъ письмѣ эта страсть, которую Бѣлинскій —

«...Во тьмѣ ночной
«Вскормилъ слезами и тоской»,

прорвалась наружу — какъ тотъ огонь, о которомъ говоритъ Лермонтовъ“...

Да *эта* именно страсть и составляла весь нравственный и историческій характеръ Бѣлинскаго.

Словомъ, въ разсказѣ г. Тургенева, образъ мыслей Бѣлинскаго и его дѣятельность является, что называется honnête et modéré, когда вся его біографія есть исторія страстныхъ увлеченій, упорнаго отрицанія, которыя наполняли всю его литературную роль. „Извѣстное письмо“ представляется у г. Тургенева какъ исключеніе, какъ разъ только несдержанный (и по

сравненію съ обыкновенною „умѣренностью“, конечно, неблагоразумный) порывъ. Перечитавъ всю переписку Бѣлинскаго, какую только могли мы собрать, мы можемъ положительно сказать, что если нѣтъ въ этой перепискѣ другого письма, столько цѣльнаго, какъ это, то существуютъ письма (а существовало и больше), гдѣ порывы страсти столь же пылки и неумѣренны... Нѣкоторое понятіе о подобныхъ настроеніяхъ Бѣлинскаго могутъ дать и напечатанные теперь отрывки.

И въ другомъ мѣстѣ своихъ воспоминаній г. Тургеневъ дѣлаетъ изъ Бѣлинскаго полемическое оружіе противъ новой критики.

„Еще одно замѣчательное качество Бѣлинскаго, какъ критика,—говоритъ онъ,—состояло въ томъ, что онъ былъ всегда, какъ говорятъ англичане, „in earnest“; онъ не шутилъ ни съ предметомъ своихъ розысканій, ни съ читателемъ, ни съ самимъ собою; а позднѣйшее, столь распространенное глумленіе онъ бы отвергнулъ какъ недостойное легкомысліе или трусость. Извѣстно, что глумящійся человѣкъ часто самъ хорошенько не даетъ себѣ отчета, надъ чѣмъ онъ трунитъ и иронизируетъ; во всякомъ случаѣ, онъ можетъ воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность своихъ убѣжденій“ и т. д. [1]).

До конца параграфа идетъ противоположеніе Бѣлинскаго съ новыми писателями, подъ которыми опять нельзя не разумѣть Добролюбова... „Мнѣ скажутъ,—прибавляетъ авторъ,—что бываютъ времена, когда можно только намекать на истину, и что смѣющимся устамъ легче высказывать ее... Да развѣ Бѣлинскій жилъ въ такое время, когда можно было все высказывать на чистоту? И однако же не прибѣгалъ онъ къ глумленію, зубоскальству“...

Но вѣдь бываютъ у людей, и писателей, разные характеры, складъ ума, свойство таланта. Такая разница была между Бѣлинскимъ и Добролюбовымъ. Бѣлинскій былъ восторженный идеалистъ, всегда увлекающійся энтузіастъ; самъ онъ замѣчалъ, что онъ шутить не мастеръ, какъ говоритъ г. Тургеневъ и

---

[1]) Тамъ же, стр. 713—714.

какъ мы читали въ собственныхъ письмахъ Бѣлинскаго. Къ подобному энтузіазму, какъ у Бѣлинскаго, обыкновенно и нейдетъ охота и способность къ шуткѣ и остроумію: натура, вполнѣ экспансивная, онъ или безусловно восторгался тѣмъ, что́ ему нравилось и отвѣчало его мыслямъ, или нервно волновался, впадалъ въ раздраженіе и гнѣвъ. Добролюбовъ былъ человѣкъ иного рода: несомнѣнно и богато остроумный, также идеалистъ, онъ быстро прошелъ въ своей короткой жизни охлаждавшіе и ожесточавшіе опыты, принималъ ихъ не легко,— какъ принимаютъ люди поверхностные, — но, напротивъ, съ тяжелымъ чувствомъ, котораго горечь еще усиливалась сосредоточенностью характера, и, въ концѣ-концовъ, его талантъ, его остроуміе, приняли желчное направленіе, которому и жизнь, и литература давали, къ сожалѣнію, слишкомъ много пищи. Понятно, что дѣятельность ихъ, Бѣлинскаго и Добролюбова, сложилась въ разные оттѣнки, но г. Тургеневъ слишкомъ поспѣшно заключилъ, что это была противоположность, что Бѣлинскій „отвергнулъ бы" шутку Добролюбова. Мы думаемъ напротивъ, что противоположности не было, и—если продолжать гипотезу, въ которой г. Тургеневъ хотѣлъ выразить отношеніе между этими писателями,—то Бѣлинскій безъ всякаго сомнѣнія съумѣлъ бы понять, что́ было на душѣ у этого, и весело, а чаще желчно шутившаго человѣка: Бѣлинскому не трудно было бы понять это, потому что онъ слишкомъ хорошо зналъ условія русской литературы. Далѣе, если обратиться къ фактамъ, то литература временъ Бѣлинскаго вовсе не была лишена элемента шутки и „глумленія": такова была полемика „Отеч. Записокъ" въ рукахъ Г-на (противъ „Москвитянина"); таковы были другіе примѣры полемики, напримѣръ, нѣкоторыя статьи о Булгаринѣ, приводившія Бѣлинскаго въ восторгъ, или непечатныя стихотворныя пародіи (противъ Мих. Дмитріева, Языкова), доставлявшія ему тоже большое удовольствіе; наконецъ, что такое была статья „Педантъ", самого Бѣлинскаго, какъ не желчное глумленіе надъ противникомъ — въ томъ же стилѣ, какъ иногда бывало у Добролюбова? Притомъ, развѣ новая критика занималась однимъ глумленіемъ? Рядъ критическихъ статей Добролюбова о главнѣйшихъ писателяхъ пяти-

десятыхъ годовъ былъ написанъ съ глубокой серьёзностью, не одинъ разъ превышавшей серьёзность самыхъ произведеній, которыми онѣ были вызваны; — эти статьи, конечно, памятны тѣмъ, кто читалъ Добролюбова. Наконецъ, если ужъ загадывать возможности, по характерамъ лицъ, мы не сомнѣваемся, что Бѣлинскій съумѣлъ бы совершенно понять Добролюбова: еслибы даже отрицательное настроеніе Добролюбова перешло и тѣ предѣлы, до которыхъ шелъ самъ Бѣлинскій, то Бѣлинскій понялъ бы, что источникъ этого отрицанія есть именно та „другая сторона любви", о которой говоритъ онъ въ одномъ изъ послѣднихъ приведенныхъ нами писемъ (конца 1847 г.): за это пониманіе ручается то свойство въ характерѣ Бѣлинскаго, которое на этотъ разъ очень вѣрно указываетъ самъ г. Тургеневъ (стр. 721).

Наконецъ, и въ третьемъ случаѣ авторъ проводитъ свое противоположеніе Бѣлинскаго съ новой критикой [1]). Намекая на одинъ споръ о началахъ искусства (въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ), авторъ категорически заявляетъ, что мысли объ отношеніи искусства къ дѣйствительности и жизни, высказанныя тогда, по случайному поводу, однимъ изъ новыхъ критиковъ, только-что начинавшимъ свою дѣятельность, — что эти мысли *„не удостоились бы* отъ Бѣлинскаго ни возраженія, ни вниманія". И здѣсь авторъ забылъ историческую перспективу и перенесъ на Бѣлинскаго свое субъективное настроеніе. Мы опять думаемъ совершенно напротивъ. Мы не находимъ достаточнаго повода защищать здѣсь эти мысли объ искусствѣ, осуждаемыя г. Тургеневымъ, но полагаемъ, что Бѣлинскій очень удостоилъ бы ихъ вниманія: онъ безъ сомнѣнія понималъ бы, что въ новѣйшее время для идеи искусства наступаетъ такая же очередь пересмотра и новаго изслѣдованія, какая вообще наступила для всѣхъ прежнихъ философскихъ построеній. Бѣлинскій былъ гораздо болѣе чутокъ въ этой постановкѣ философскаго вопроса, чѣмъ заставляетъ думать г. Тургеневъ. Старое гегеліянство было имъ давно забыто, и онъ понималъ, что если для новыхъ натуралистовъ была просто

---

[1]) Тамъ же, стр. 715.

смѣшна старая, между прочимъ и гегелевская, натуръ-философія, то подобный кризисъ должны были пройти и всѣ другія области абстрактной философіи. Путь этого кризиса былъ для него ясенъ: его мысли шли здѣсь параллельно со взглядами его ближайшаго друга, автора „Дилеттантизма въ наукѣ“ и „Писемъ объ изученіи природы“, и послѣднимъ философскимъ интересомъ его былъ позитивизмъ О. Конта и Литтре, какъ рѣшительное отрицаніе метафизики. Длинный трактатъ, посвященный позитивизму въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ Бѣлинскаго, показываетъ, какъ близко было къ его мыслямъ новое ученіе, хотя данная форма ученія, у Конта, не казалась ему удовлетворительной. Во всякомъ случаѣ будущая система представлялась ему (и совершенно вѣрно) какъ основанная на точныхъ изученіяхъ, враждебныхъ всякой метафизикѣ. Говоря вообще, въ такомъ именно смыслѣ и понятъ былъ вопросъ искусства въ упомянутомъ эстетическомъ взглядѣ. Бѣлинскій могъ, конечно, не согласиться съ новымъ критикомъ въ спеціальной постановкѣ этого предмета, но несомнѣнно былъ бы заинтересованъ новымъ взглядомъ уже какъ попыткой въ новомъ направленіи, смысла и необходимости котораго онъ не могъ не чувствовать. Можно съ увѣренностью сказать, что онъ былъ бы еще болѣе заинтересованъ новой критикой, еслибы видѣлъ ея практическія примѣненія къ произведеніямъ литературы, старымъ и новымъ.

Впрочемъ, оставимъ предположенія; оставимъ также и личные вопросы, относительно которыхъ можемъ только подтвердить то, что́ сказано было другими [1]).

Словомъ, мы никакъ не находимъ между Бѣлинскимъ и его преемниками въ русской критикѣ того противоположенія, на какомъ настаиваютъ нѣкоторые изъ его современниковъ,—противоположенія, которое видитъ въ дѣятельности новой критики нѣчто въ родѣ извращенія здравыхъ принциповъ, имъ установленныхъ, нѣчто въ родѣ произвольнаго, безсодержательнаго отрицанія, не имѣющаго за собой ни корня въ прошедшемъ, ни результатовъ для дальнѣйшаго литературнаго развитія.

---

[1]) „Космосъ“, 1869, прилож., № 1, стр. 99—102.

Напротивъ, преемники Бѣлинскаго по времени были и дѣйствительными преемниками его дѣла, и какъ самъ Бѣлинскій есть несомнѣнно лицо съ историческимъ значеніемъ въ нашей литературѣ и общественности, такъ и связь его съ новой критикой есть связь исторической преемственности. Если нѣкоторые изъ людей его круга, изъ его близкихъ друзей отвергаютъ эту связь, это есть просто неправильная оцѣнка фактовъ, очень несвободная отъ чисто личныхъ предубѣжденій и пристрастій. Мы говорили въ другомъ мѣстѣ объ отношеніи двухъ поколѣній, такъ-называемыхъ „сороковыхъ" годовъ къ пятидесятымъ и шестидесятымъ, и указывали, въ чемъ состоитъ историческая связь ихъ и различіе [1]). Неизбѣжное различіе приводилось самымъ ходомъ вещей и измѣненіемъ обстоятельствъ. Въ половинѣ 50-хъ годовъ внѣшнія обстоятельства въ самомъ дѣлѣ измѣнились (на извѣстное время) чрезвычайно сильно противъ прежняго: люди „сороковыхъ годовъ" во многомъ могли увидѣть исполненіе ихъ надеждъ; новое поколѣніе, вступавшее теперь въ дѣятельность, раздѣляло ихъ благопріятное настроеніе, потому что сравненіе съ прежнимъ порядкомъ вещей было еще близко. Но, какъ замѣчено выше, взаимное пониманіе сохранилось ненадолго и кончилось раздоромъ, который уже вскорѣ, особенно подъ вліяніемъ дальнѣйшихъ обстоятельствъ, представился какъ вражда „двухъ поколѣній". Изъ являвшихся литературныхъ фактовъ становилось ясно, что писатели „сороковыхъ годовъ" относились далеко не сочувственно къ новому движенію. Со стороны послѣдняго даны были столь же несочувственные отвѣты. Явилась, наконецъ, въ области „искусства", извѣстная характеристика двухъ поколѣній, пріобрѣвшая своего рода фатальное значеніе... Этотъ раздоръ, въ своихъ личныхъ проявленіяхъ, конечно, можетъ найти свои объясненія: одно охлажденіе опыта дѣлаетъ обыкновенно старшія поколѣнія мало чувствительными къ возбужденію и энтузіазму новыхъ, и кладетъ между ними грань, которая потомъ, при какихъ-нибудь личныхъ столкно-

---

[1]) „В. Евр." 1873, іюль, стр. 257—261, или отдѣльное изданіе „Характ. лит. мнѣній", 507—511.

веніяхъ, можетъ стать непереходимой. Но этотъ раздоръ, въ которомъ дѣйствительно было много личнаго, не измѣняетъ факта исторической связи и преемственности, на который мы указывали. Самая вражда, какъ она выразилась въ нашихъ условіяхъ, и которая такъ часто дѣлитъ у насъ людей однимъ грубымъ счетомъ возраста, свидѣтельствуетъ еще о слабомъ развитіи общественнаго чувства. Смѣна поколѣній бываетъ ощутительна и въ европейскихъ обществахъ; но сколько, несмотря на то, въ этихъ обществахъ знаменитыхъ именъ людей, которые начинаютъ жизнь въ передовыхъ рядахъ движенія, и оканчиваютъ ее въ этихъ же рядахъ, не теряя мужественной энергіи, пониманія и чувства къ тому, что́ является новой задачей жизни, продолжая идти вмѣстѣ съ новыми поколѣніями, которыя находятъ въ нихъ вѣрныхъ руководителей и друзей? Таковы были тамъ многіе изъ лучшихъ людей и науки и политической жизни одинаково, въ которыхъ охлажденіе лѣтъ не подавляло, а закаляло энергію, которые черезъ долгіе годы реакцій умѣли не поддаваться малодушію и эгоизму мнимаго „опыта", и оставались до конца вѣрны лучшимъ внушеніямъ своей свѣжей поры, не смущаясь неудачами, не мѣшая своего дѣла съ разсчетами самолюбія или какими-нибудь частными раздорами. Главное объясненіе этой энергіи заключается, конечно, въ давней и крѣпкой образованности, которая и даетъ идеямъ ихъ могущественное вліяніе, и выдержку характерамъ. Наша образованность еще молода, и люди такой нравственно-общественной твердости очень рѣдки въ нашемъ обществѣ; мы слишкомъ легко поддаемся апатическому равнодушію или идемъ вспять, и это снова производитъ „неустойчивость", на которую сталъ жаловаться даже генералъ Фадѣевъ. Но не вѣчно же долженъ продолжаться этотъ „неисповѣдимый законъ судебъ". Наша образованность молода, но для лучшихъ умовъ она, конечно, уже вышла изъ ребячества, — и въ настоящемъ случаѣ отношеніе двухъ поколѣній, и именно стараго къ новому, могло бы быть иное, чѣмъ оно высказалось въ литературѣ около 1860 и въ 1869. Нельзя приказывать чувству, но можно требовать большаго пониманія, болѣе безпристрастнаго вниманія къ новымъ явленіямъ своего

же общества, своей же исторіи. Примѣръ и начало солидарности должны бы исходить именно отъ людей, которыхъ дѣятельность была началомъ послѣдующаго движенія; отсутствіе солидарности прежде всего было бы ихъ виной.... Въ настоящемъ случаѣ, нѣсколько больше этого вниманія и сочувствія— не къ лицамъ (въ этомъ можетъ не быть надобности), а къ *своему обществу*, и обвинители новыхъ поколѣній пріобрѣли бы пониманіе такихъ сторонъ, отсутствіе которыхъ извращаетъ все ихъ представленіе о предметѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ не было бы возможно появленіе въ немъ такихъ чертъ, которыя дѣлаютъ это представленіе тенденціозно-враждебнымъ. Но такова и вышла упомянутая характеристика, въ области „искусства", двухъ поколѣній, —какъ ни отрекался авторъ отъ всякой тенденціозности и враждебности. Въ послѣднемъ мы готовы ему вполнѣ вѣрить; но факты, несомнѣнныя впечатлѣнія обѣихъ сторонъ, вся позднѣйшая эксплуатація этой характеристики показываетъ, что, несмотря на волю автора, изображеніе оказалось и тенденціозно и враждебно. Неужели таково оно должно было быть? Нѣтъ, —разсматривая дѣло даже съ точки зрѣнія „искусства". „Художника" тѣмъ и отличаютъ отъ обыкновеннаго смертнаго, что онъ долженъ видѣть въ изображаемой имъ жизни не отдѣльныя лица, не частные анекдоты, не случайныя личныя увлеченія, наконецъ, не предметы своей личной досады, а типы, общія явленія, выражающія смыслъ времени, стремленія и страданія общества. Больше вниманія и сочувствія, и писатель увидѣлъ бы, что́ могло скрываться и дѣйствительно скрывалось за индивидуальными чертами, которыя въ первый разъ непривычно его поразили и къ которымъ онъ отнесся подъ слишкомъ большимъ вліяніемъ своихъ личныхъ впечатлѣній и предубѣжденій. И еслибы такимъ образомъ для дѣятелей прежняго періода разъяснилось новое движеніе, то этимъ самымъ разъяснился бы для нихъ и тотъ фактъ исторической связи поколѣній, о которомъ мы говорили. Наконецъ,—что́ мы и хотѣли объяснить,—правильное пониманіе этихъ отношеній дало бы и вѣрную оцѣнку историческаго значенія Бѣлинскаго и его отношенія къ послѣдующему литературному развитію.

И нѣтъ сомнѣнія, что Бѣлинскій, на котораго такъ несправедливо ссылаются *противъ* новой критики, сохранилъ бы эту связь—онъ остался бы и для слѣдующаго поколѣнія нравственнымъ авторитетомъ, и съумѣлъ бы понять стремленія, отличавшія послѣдующую эпоху. Для сохраненія этой нравственной связи нуженъ искренній, безкорыстный идеализмъ, который ставитъ извѣстные общіе интересы высшей цѣлью своихъ стремленій, подчиняетъ имъ свои частныя соображенія, видитъ въ нихъ нравственный долгъ, — и этимъ идеализмомъ Бѣлинскій былъ одаренъ въ высокой степени. Именно этотъ идеализмъ, такъ ярко выражавшійся въ вѣчномъ страстномъ возбужденіи Бѣлинскаго, и сохраняетъ въ людяхъ молодую свѣжесть общественнаго чувства и дѣлаетъ ихъ дорогими союзниками новыхъ поколѣній. Мы читали разсказы о томъ, съ какимъ увлеченіемъ Бѣлинскій встрѣчалъ нарождавшіеся таланты, съ какимъ участіемъ онъ ими любовался, — и какъ бывалъ нерѣдко пристрастенъ къ нимъ, безсознательно преувеличивая ихъ дѣйствительную цѣну. Это и было не столько пристрастіе къ близкимъ друзьямъ, сколько радость найти подлѣ себя новыхъ партизановъ защищаемой имъ идеи. Мы видѣли, какъ въ самыхъ противникахъ (нѣкоторыхъ изъ молодыхъ славянофиловъ) Бѣлинскій умѣлъ цѣнить искренность убѣжденія, и, съ другой стороны, при всемъ собственномъ идеализмѣ, понималъ, что̀ можетъ означать скептицизмъ, котораго не было у него самого. Наконецъ, весь характеръ Бѣлинскаго, какъ онъ отражается въ его собственныхъ признаніяхъ, никогда не позволилъ бы ему остановиться на умѣренныхъ сдѣлкахъ съ настоящимъ или поставить предѣлъ идеаламъ для будущаго. Поэтому мы и думаемъ, что новая критика была не только не различна, но совершенно однородна съ критикой Бѣлинскаго, была прямымъ ея наслѣдіемъ и дальнѣйшимъ историческимъ развитіемъ. Бѣлинскій, самъ прошедшій столько отрицаній, безъ сомнѣнія, понялъ бы и призналъ бы тѣ новыя стороны отрицанія, какія явились въ критикѣ Добролюбова и его современниковъ, и вмѣстѣ угадалъ бы въ нихъ тотъ же, ему родственный, идеализмъ. Въ подтвержденіе, напомнимъ слова Бѣлинскаго, въ его послѣдніе годы, гдѣ онъ говоритъ о кри-

тическомъ, отрицательномъ, осуждающемъ отношеніи литературы къ обществу [1]): онъ не пугался такого отношенія, какъ бы оно ни было смѣло. Наконецъ, въ письмахъ Бѣлинскаго мы не разъ отмѣчали эпизоды скептическаго сомнѣнія, которые своимъ, иногда крайне жесткимъ и суровымъ тономъ очень близки къ „отрицанію" новыхъ поколѣній, и могли бы напомнить Базарова и—его прототипы.

Бѣлинскій не замѣшался бы и въ малодушную вражду къ новымъ поколѣніямъ. Въ подтвержденіе, напомнимъ другія слова Бѣлинскаго, гдѣ онъ очень категорически говоритъ объ этомъ предметѣ [2]). Знакомые съ сочиненіями Бѣлинскаго могутъ сами умножить эти цитаты.

Силой своего идеализма и страстнаго убѣжденія Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, превышалъ всѣхъ друзей своего кружка́, кромѣ только одного, съ которымъ у него было всего болѣе общаго и который, своимъ отношеніемъ къ новому времени, могъ показать, каково было бы, по всей вѣроятности, это отношеніе у самого Бѣлинскаго.

Останавливаясь на этомъ предметѣ, мы именно хотѣли устранить тѣ невѣрныя противоположенія Бѣлинскаго новому времени, которыя извращаютъ все представленіе объ его историческомъ значеніи. Бѣлинскій тѣмъ и дорогъ для русской литературы, что его дѣятельность имѣла важность воспитательнаго элемента, вліяніе котораго несомнѣнно и оказалось въ дальнѣйшемъ литературномъ развитіи. Литературные взгляды Бѣлинскаго за послѣднее время установили новую реалистическую критику. Его общественныя понятія, какъ они были изложены имъ въ 1847, и которыя, замѣтимъ, никѣмъ въ то время не были высказаны такъ рѣшительно и такъ ясно́, могутъ считаться исходнымъ пунктомъ, съ котораго начинается новое развитіе этихъ понятій. Наконецъ, въ его положительно

---

[1]) Сочин. VIII, изд. 2, стр. 71 и слѣд.; XI, стр. 236—237.

[2]) Сочин. X, стр. 47—52. Напомнимъ еще слова одного изъ современниковъ Бѣлинскаго, приведенныя нами въ другомъ мѣстѣ („Характ. лит. мн.", стр. 471 — 472) и слова, сказанныя критикомъ „Современника" въ 1856 („Совр.", кн. 11, стр. 16—17), и гдѣ вѣрно угадана та историческая роль, которую получила потомъ критика Бѣлинскаго.

выраженныхъ мысляхъ и его идеалахъ уже были задатки многаго, что́ въ наше время становилось предметомъ общественнаго интереса и идеальныхъ увлеченій. Его личная многострадальная жизнь останется, безъ сомнѣнія, не для одного настоящаго поколѣнія высокимъ примѣромъ нравственнаго достоинства и стремленія къ жизненной истинѣ.

КОНЕЦЪ.

СОДЕРЖАНІЕ

ВТОРОГО ТОМА.

стр.

ГЛАВА VI. —Первые годы въ Петербургѣ.—Впечатлѣнія новой жизни.—Статьи о «Бородинской Годовщинѣ» и «Менцелѣ».—Новый кругъ.—Встрѣча съ московскими противниками.—Сомнѣнія и внутренняя борьба. — Кольцовъ. — Окончательный поворотъ въ мнѣніяхъ Бѣлинскаго. — 1839-1841 1

ГЛАВА VII. —«Западный» кружокъ.—Журнальная дѣятельность Бѣлинскаго.—Внутренняя жизнь.—Эстетическіе и общественные взгляды.—Вражда съ славянофильствомъ.—Отношенія къ Гоголю.—Послѣдніе годы и смерть Кольцова.—Новые философскіе интересы.—Личное настроеніе. — 1841-1842. 96

ГЛАВА VIII.—Время полнаго развитія характера и дѣятельности Бѣлинскаго.—Сближеніе московскихъ друзей съ славянофильскимъ кружкомъ, и вражда къ нему Бѣлинскаго.—Журнальныя дѣла.—Поѣздка въ Москву, лѣтомъ 1843. — Женитьба.—Кружокъ Бѣлинскаго въ Петербургѣ: разсказы гг. Тургенева, Кавелина; воспоминанія Панаева, кн. Одоевскаго.—Мнѣніе Бѣлинскаго о «народныхъ» литературахъ.—1842-1844 171

ГЛАВА IX. —Послѣдніе годы участія въ «Отеч. Запискахъ».—Новыя враждебныя столкновенія и полемика съ славянофильствомъ.—Разрывъ съ «Отеч. Запис-

стр.

ками».—Болѣзнь.—Путешествіе на югъ Россіи.—Основаніе «Современника».—Поѣздка за границу.—Переписка съ Гоголемъ.—Возвращеніе.—1844-1847. 227

ГЛАВА X. —Возвращеніе въ Петербургъ.—Журнальныя работы.—Письма къ друзьямъ.—Тяжелыя внѣшнія обстоятельства.—Послѣдняя болѣзнь и смерть Бѣлинскаго. — 1847-1848 (май). 302

ГЛАВА XI. —Заключеніе . . . . . 337—372

F

RETURN TO **CIRCULATION DEPARTMENT**
202 Main Library

LOAN PERIOD 1 **HOME USE**	2	3
4	5	6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS
Renewals and Recharges may be made 4 days prior to the due date.
Books may be Renewed by calling 642-3405.

DUE AS STAMPED BELOW

DEC 30 1991

MAR 18 1992

AUTO. DISC.

FEB 28 1992

CIRCULATION

FORM NO. DD6

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
BERKELEY, CA 94720

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY

B000547039